

СОЧИНЕНІЯ

**К. К. СЛУЧЕВСКАГО.**

ВЪ ШЕСТИ ТОМАХЪ.

---

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Проза.

---

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.  
Изданіе А. Ф. МАРКОВА.  
1898.

СОЧИНЕНІЯ

**К. К. СЛУЧЕВСКАГО.**

ВЪ ШЕСТИ ТОМАХЪ.

---

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Проза.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.  
Издание А. Ф. МАРКСА.



Типографія А. Ф. Маркса. Средн. Подъяческая, № 1



## ОГЛАВЛЕНИЕ IV ТОМА.

---

### Повѣсти:

СТР.

Голубой платокъ. (Изъ записокъ выздоровѣвшаго.) . . . . .	3
Око за око . . . . .	56
Профессоръ безсмертія . . . . .	98
Трещина . . . . .	178

### Сказки:

Альгоя. (Фантазія на южно-сибирское преданіе.) . . . . .	223
Любовь сокола . . . . .	235
Идолъ . . . . .	247
Грамматическая сказка . . . . .	262
Сосунъ . . . . .	277
Господинъ Можетъ-Быть . . . . .	294
Дымный человѣкъ . . . . .	306
Чудесная гитара . . . . .	313
Верба . . . . .	319



**Мурманскіе рассказы:**

Передъ закрытыми глазами. (На Мурманѣ.) . . . . .	327
Черная буря . . . . .	347
Безымень . . . . .	357
Моление вѣтру . . . . .	365

**Типы:**

Выстрѣлъ . . . . .	385
Капитанъ и его лошадь . . . . .	393
Человѣкъ и картоны . . . . .	405
Бабушкины пузыри . . . . .	410
Два Сидоровыхъ . . . . .	415
Новый Дулькамара . . . . .	427
Идутъ клоуновъ . . . . .	433
Какъ можно лгать . . . . .	440



# П О В Ъ С Т И.

Голубой платокъ. (Изъ записокъ выздоровѣвшаго.)—Око за око.—  
Профессоръ безсмертія.—Трещина.



## ГОЛУВОЙ ПЛАТОКЪ.

(Изъ записокъ выздоровѣвшаго.)

---

Есть ли что на свѣтѣ пріятнѣе чувства выздоровленія? Вѣроятно, что-либо подобное должна испытывать куколка гусеницы, становящаяся бабочкой: тяжкій грузъ всякихъ оболочекъ спадаетъ съ возрождающагося организма, и то, отъ чего куколка или больной не могли отдѣлаться ни во снѣ, ни на яву, ни въ чудовищныхъ скитаніяхъ мысли, руководимой бредомъ, спадаетъ, сыпается долой, какою-то шелухою, становящеюся совершенно чуждою вамъ. Вы взглянули! На дворѣ опять весна, опять цвѣты, опять вѣянія надежды, и вы не робкій ползунъ, не безпомощный волосатикъ, вы способны воспринять весну во всю ширь и свободу вашего полета, вы можете двигаться ей навстрѣчу, тогда какъ въ бреду вы не имѣли никакой воли, не могли шевельнуться и, что еще хуже, вы признавали это свое безсиліе.

Но, во сколько разъ выше, лучше, несравненно лучше, отдѣлаться не отъ простой болѣзни, а отъ психическаго разстройства, признать себя опять полноправнымъ человѣкомъ и смѣнить свой сѣрый больничный халатъ на обычное людское платье. Я даже готовъ утверждать, что если бы быть увѣреннымъ въ выздоровленіи, то стоило бы

временно сойти съ ума, только ради того, чтобы познать всю цѣну жизни, вернувшись къ ней изъ безумія.

Исторія моего сумасшествія очень проста: молодость, любовь, препятствія, борьба съ неожиданнымъ исходомъ, а затѣмъ—долгая болѣзнь и счастливое выздоровленіе. Кажется, очень не много основныхъ элементовъ: пять или шесть, но вѣдь и красокъ или цвѣтовъ въ солнечномъ спектрѣ столько же, а какое разнообразіе всего того, что существуетъ, и всего того, что существовало въ теченіе вѣковъ. Могущество Бога видно ярче всего въ безконечности сочетаній; что передъ ними неисчислимость міровъ и видовъ животныхъ и растений и все болѣе и болѣе уменьшающееся количество простыхъ тѣлъ; если такъ много возникало, возникаетъ и будетъ возникать во внѣшности міра изъ сочетаній семи красокъ солнечнаго спектра, то сколько способны произвести сочетанія въ семь разъ бѣльшаго количества простыхъ тѣлъ?

Вотъ ужъ третій годъ что я совершенно здоровъ. Прежде, блпже ко времени выздоровленія, я не любилъ думать и, тѣмъ болѣе, говорить о моемъ сумасшествіи, но теперь, чувствуя себя совершенно обезпеченнымъ отъ всякаго повторенія болѣзни, я даже люблю думать о прошедшемъ.

Въ рукахъ у меня дневникъ, который я велъ во время болѣзни. Интересная вещь. Я писалъ его, будучи «№ 3» въ отдѣленіи спокойныхъ, и писалъ очень старательно, хотя и недолго. Главный врачъ, Иванъ Андреевичъ, недавно умершій, чудеснѣйшій, сердечнѣйшій человекъ въ мірѣ, иногда просилъ меня прочесть ему что-либо изъ моихъ писаній, и я читалъ ему отрывки.

— Очень, очень вы меня радуете!—говорилъ онъ мнѣ.

— А что?

— Да то, что мы съ вами скоро на волю выйдемъ, и чудесно проживемъ.

— А куда-же я голову-то съ голубымъ платкомъ дѣну?—спрашивалъ я.

— Да, да... голову... въ голубомъ платкѣ... помню, помню я эту голову!—договаривалъ за меня докторъ.—А развѣ голова эта все такъ же часто какъ прежде является къ вамъ?

— Ахъ, докторъ, да вѣдь я сколько разъ говорилъ вамъ, что она ко мнѣ вовсе не является, а что она постоянно гдѣ-нибудь подлѣ меня, и не въ одномъ мѣстѣ, а въ нѣсколькихъ,—гдѣ только есть какое-нибудь остріе, чтобы ей можно было приткнуться. Да, вотъ, посмотрите: видите я держу перо, а на немъ... однако ея сегодня нѣтъ почему-то,—договаривалъ я, ощупывая верхній конецъ пера рукою.

— Такъ видите ли, голова иногда уходитъ отъ васъ?—отвѣтилъ докторъ, покачивая своею головою.—Это хорошо, хорошо...

— Да... кажется, иногда исчезаетъ, какъ сейчасъ; этого прежде не бывало.

— Уйдетъ, уйдетъ совсѣмъ! повѣрьте намъ!—проговорилъ онъ вставая, чтобы покинуть меня.

— А не замѣчаете ли вы, что голова все меньше становится.

— Меньше?

— Да, сообразите и скажите мнѣ объ этомъ завтра.

Помню очень хорошо, что, желая послушать любимаго доктора, котораго я цѣнилъ какъ друга, какъ брата, я, видя передъ собою голову, не разъ думалъ, какъ бы мнѣ измѣрить ее? а что, если онъ правъ, и она въ самомъ дѣлѣ уменьшается? вѣдь это выздоровленіе.

Теперь я этой головы больше не вижу; это была голова той дѣвушки, которую я любилъ и которая такъ мощно повлияла на всю мою жизнь. Голова эта теперь не появляется.

Надобно вамъ сказать, что дневникъ свой началъ я уже будучи «№ 3». Перечитывая его, я замѣчаю, что въ немъ

много непоследовательности, потому что то и другое казалось мнѣ въ то время до того простымъ, понятнымъ, обыкновеннымъ, что я вовсе даже не упоминалъ о немъ. Если, напримѣръ, писатель захочетъ описать какой-нибудь обѣдъ, то онъ непременно скажетъ о томъ, что столъ былъ накрытъ, кто и какъ собрались на обѣдъ, а я «№ 3» считалъ послѣднее совершенно излишнимъ, само-собою разумѣющимся: если обѣдъ, такъ, значитъ, есть и накрытый столъ, и обѣдающіе. Мнѣ кажется, что логика сумасшедшихъ быстрой логики здравыхъ людей: они перескакиваютъ черезъ нѣкоторыя переходныя заключенія мысли, и если они иногда сердятся чаще здоровыхъ, такъ это потому, что они обижаются ихъ непонятливости.

## I.

Прежде чѣмъ раскрыть читателю нѣсколько страничекъ моего дневника, я, все-таки, долженъ ознакомить его въ общихъ чертахъ съ его происхожденіемъ и съ тѣмъ, что было причиною того, что дневникъ появился на свѣтъ.

Мнѣ было девятнадцать съ небольшимъ лѣтъ, когда я, кончая коммерческое училище и давно уже готовясь войти въ торговля дѣла отца, влюбился. Мой отецъ принадлежалъ къ міру торговому: онъ былъ маклеромъ и, какъ таковой, жилъ не бѣдно. Большинство нашихъ знакомыхъ были русскіе и иностранные коммерсанты или купцы, но я помню также очень хорошо двухъ военныхъ генераловъ, игравшихъ на биржѣ не хуже любого биржевого зайца; лицо одного изъ нихъ, и его фамилія, были, несомнѣнно, еврейскаго происхожденія и на вискахъ его нѣчто въ родѣ пейсиковъ.

Влюбился я въ молодую и хорошенькую гувернантку, взятую къ намъ въ домъ для моихъ сестричекъ. Жилъ я у отца и имѣлъ особое съ отдѣльнымъ входомъ помѣщеніе.

Гувернантка понравилась мнѣ при первомъ взглядѣ на нее. Ее звали М-ше Терезъ. Парижанка, невысокаго роста, очень миловидная, словно выточенная изъ слоновой кости, снабженной розовымъ самосвѣщеніемъ. Голубые глазки смотрѣли довѣрчиво, говорила она немного нараспѣвъ, имѣла прелестный голосокъ и распѣвала хорошенькія пѣсенки. Помню, что особенно хорошо слагались онѣ у нея, когда она пѣла безъ аккомпанеента фортепіано; это отличительная черта жителей деревни. сельчанъ, которыя поютъ въ поляхъ и лѣсахъ какъ птицы небесныя, не таская съ собой ни фортепіано, ни гитары. Почему Тереза обладала этою способностью—не знаю, но пѣла она безъ аккомпанеента лучше.

Это было первое, что подѣйствовало на меня. Долженъ сказать, что опернаго пѣнія, пѣнія хороваго я не люблю, но одиночная, одноголосная, или двуголосная пѣсенка легко одолеваетъ меня.

Конечно, это было опущеніемъ или недосмотромъ со стороны моихъ родителей, что они, имѣя въ домѣ взрослого сына, взяли хорошенькую гувернантку, а взявъ ее, не предполагали никакой опасности. Какъ-то очень скоро, чуть ли не недѣли три спустя послѣ водворенія въ нашей семьѣ Терезы, я уже пріискивалъ случая оставаться дома и ловилъ возможность быть подлѣ нея. Я уже началъ даже, чего никогда не дѣлалъ прежде, клеить коробочки и лошадокъ моимъ младшимъ сестричкамъ; Тереза клеила очень хорошо и при этомъ распѣвала пѣсенки, которыхъ я заслушивался.

На дворѣ стоялъ іюнь мѣсяцъ. Мы жили на дачѣ на Крестовскомъ, въ то далекое время не особенно людномъ. О пароходахъ не было и рѣчи, и даже не возникалъ еще знаменитый Тайвани, со своими, никогда не исполнявшими срочныхъ рейсовъ пароходами, пыхтѣвшими во всю Неву; особенно звучно пыхтѣлъ, какъ я помню, снабженный



огромною трубою «Петръ I». Сообщались тогда съ Крестовскимъ только при посредствѣ извозчиковъ или своихъ лошадей, и кто ѣздилъ туда на дачу, тотъ отдѣлялся отъ города довольно-таки основательно, не то что теперь. У самаго моста, если съѣхать на Крестовскій съ Елагина, стоялъ на правой сторонѣ огромный деревянный трактиръ, сгорѣвшій при послѣднемъ большомъ пожарѣ; о Крестовскомъ садѣ не было и помина, о роскошныхъ дачахъ—тоже; Излерь только еще основался въ своемъ длинномъ деревянномъ баракѣ на мѣстѣ нынѣшней Аркадіи.

Но все, что касается собственно острововъ, всей роскоши Невы, бѣгущей отдѣльными рукавами вдоль всѣхъ чудесныхъ насажденій и парковъ дворцоваго вѣдомства, — все это уже имѣлось налицо и высилось почти такъ же, какъ теперь. Въ нихъ было тихо, сравнительно съ прошедшимъ, когда тутъ, на Крестовскомъ островѣ, существовать знаменитый увеселительный садъ графа Разумовскаго, на Выборгской Сторонѣ имѣлись сады Строганова и Безбородко, а на Елагиномъ островѣ, называвшемся до того Мельгуновымъ, владѣльцемъ былъ гофмаршалъ И. П. Елагинъ.

Надобно вамъ сказать, что этими историческими свѣдѣніями обязанъ я покойному отцу моему, любившему, помимо своихъ обязательныхъ биржевыхъ дѣлъ, изслѣдованія старины. Къ великому сожалѣнію, въ тѣ далекіе дни, ни о *Русскомъ Архивѣ*, ни объ *Историческомъ Вѣстникѣ*, ни о *Русской Старинѣ* и помина не было, а то отецъ мой сталъ бы зачитываться ими.

Говорять, что въ теперешнее время многія француженки и швейцарки ѣздятъ въ Россію только подъ предлогомъ для педагогическихъ цѣлей, а на самомъ дѣлѣ для того, чтобы такъ или иначе устроиться, сдѣлать карьеру. Я думаю, что это ложь, потому что въ совсѣмъ юныхъ дѣвушкахъ расчеты, подобные этому, были бы ужаснымъ развратомъ мысли. Но,

что очень юные годы, удаление от родины, сравнительная свобода и, наконецъ, всемогущество и безконечный космополитизмъ молодой любви должны вліять на процентное содержаніе многихъ печальныхъ исторій съ гувернантками, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія.

Жизнь на Крестовскомъ въ тотъ годъ была для меня восхитительна, и если бы не страхъ переэкзаменовки, являвшійся мнѣ всюду помѣхою; то, конечно, эти два-три мѣсяца были бы самыми розовыми. Я помню очень и очень хорошо, что съ самыхъ первыхъ проявленій моей любви къ Терезѣ, дѣвушка эта никогда не представлялась мнѣ иначе, какъ моею будущею женою. Можетъ-быть, въ тѣ далекіе годы, юноши по двадцатому году, кончавшіе образованіе, думали и мечтали чпще, чѣмъ юноши нынѣшніе. Въ общемъ, это, вѣроятно, такъ, потому что многихъ воспитательныхъ элементовъ послѣдняго времени не существовало, и, чтобы не быть длиннымъ въ доказательствахъ, стоить сказать, что даже оффенбаховской оперетки еще не нарождалось, а скромный Поль-де-Кокъ считался романистомъ развратнымъ. Тереза представлялась мнѣ, какъ я сказалъ, моею будущею женою; какъ и почему такъ скоро,—объяснить трудно, но фактъ несомнѣненъ.

Строгость въ домѣ нашемъ была большая, въ особенности со стороны мамы, на половину нѣмки и пуританки до конца ногтей. Сначала ей и въ голову не приходило предполагать что-либо между ея старшимъ и единственнымъ сыномъ и гувернанткою. По правдѣ сказать, намъ и скрывать-то было нечего, но тѣмъ не менѣе, изъ боязни чего-то; мы наши взаимныя сочувствія отъ другихъ все-таки скрывали. Особенно долгихъ, задушевныхъ бесѣдъ съ Терезой я имѣть не могъ, но переписка дополняла остальное. Почтаціономъ служила одна изъ щелей уединенной скамейки на Елагиномъ острову, въ которую мы прятали свои письма

и назначали: гдѣ и какъ можно видѣться. Когда я, чтобы получить подобное письмо, подходилъ къ скамьѣ, садился на нее и, просунувъ руку подъ сидѣнье, къ боковой ножкѣ скамьи, ощупывалъ бумажку, сердце во мнѣ стучало сильно-сильно. То же самое заявила и Тереза въ одномъ изъ своихъ писемъ.

Не знаю, какъ и что случилось бы дальше, если бы не два препятствія сразу, два черныхъ генія въ розовомъ свѣтѣ нашей молодой, чистой любви. Эти два черныхъ генія хорошо характеризуются въ слѣдующихъ двухъ сценахъ.

Моя двоюродная сестрица Маша, лѣтъ восемнадцать, недуренькая собою, очень шустрая, уже недѣли двѣ послѣ прибытія къ намъ въ домъ Терезы, имѣла со мною слѣдующій разговоръ:

— Ну, что, милый кузень, какъ дѣла? — спросила она однажды, выйдя со мною послѣ обѣда въ садъ и гуляя по одной изъ прямыхъ дорожекъ.

— Какія, Маша, дѣла? — спросилъ я.

— Какія? Ну, конечно, сердечныя.

— У меня — сердечныя дѣла!

— Охъ, скажите, какой невинный! Ужъ лучше бы вы не скрывали.

— Да я ничего рѣшительно не скрываю, Маша, — отвѣтилъ я и при этомъ почувствовалъ, какъ быстро и сильно прилила кровь къ моимъ щекамъ.

— Ага! покраснѣлъ, покраснѣлъ! — проговорила она скороговоркою. — Зачѣмъ покраснѣлъ? Зачѣмъ?

— Однако, Маша, я не знаю, что ты за вздоръ говоришь!..

— Нѣтъ, не вздоръ!.. Честь и мѣсто уступаю, — проговорила она, завидя Терезу, подходившую съ двумя сестричками изъ боковой аллеи къ намъ наперерѣзъ.

Сдѣлавъ реверансъ наполовину мнѣ, наполовину въ сторону Терезы, она юркнула назадъ и, какъ я видѣлъ, быстро присѣла къ нашимъ старшимъ, усѣвшимся послѣ обѣда передъ балкономъ, къ сторонѣ Невы.

«Чего же это она, въ самомъ дѣлѣ? — думалось мнѣ. — Съ какого права? На какихъ основаніяхъ? Ужъ не ревность ли?»

О другомъ черномъ геніи узналъ я отъ самой Терезы, очень скоро вслѣдъ за этимъ. Въ двѣ недѣли разъ она имѣла право уходить на одно изъ воскресеній къ своимъ роднымъ. Живя въ городѣ, я пользовался, по возможности, этими днями, чтобы, хотя на часокъ, на два, погулять съ нею; здѣсь, на дачѣ, это было невозможно.

Наступило одно изъ свободныхъ воскресеній, и я печально сообразилъ, что болѣе сутокъ не буду видѣться, не буду подлѣ нея. Она уходила обыкновенно послѣ завтрака, часу въ первомъ. Такъ было это и теперь, но, къ великому моему отчаянію, она прошла мимо меня, не остановившись, какъ обыкновенно, и глаза ея были заплаканы.

— Что же такъ холодно провожаете ее?—спросила вдругъ кузина Мапа, подскочившая ко мнѣ, видимо ожидавшая ея ухода, пожелавшая видѣть, какъ мы простимся, и подошедшая ко мнѣ со стороны крыльца.

— Да вамъ-то что за дѣло, Мапа?!—рѣзко проговорилъ я и думалъ было, не стѣсняясь ничѣмъ, пойти вслѣдъ за Терезой и спросить ее о причинѣ слезъ, но, сдѣлавъ шага три, остановился какъ вкопанный.

Я быстро осилилъ себя.

— Ну, бѣгите! бѣгите!—говорила Мапа.

Сдержавъ себя отъ дальнѣйшаго и видя, что отрицать дѣйствительность будетъ безцѣльно, я все-таки коварно уязвилъ кузину. Тихонько подойдя къ ней и наклонясь надъ ухомъ, я промолвилъ:

— Ревнуете!

Слово было направлено мѣтко и ядовито. Но, все-таки, надобно сказать, что Маша была первымъ, а не вторымъ чернымъ геніемъ нашихъ розовыхъ дней; вторымъ была горничная, соглядатай мамыши.

Проводивъ глазами Терезу и увидѣвъ, что она направляется на мостъ, то-есть, непременно къ нашей завѣтной скамьѣ, я порѣшилъ, что письмо ко мнѣ будетъ и что тогда краснота ея глазъ и необычность прощанія объяснятся. Надо было выждать. Во дворѣ у насъ поднималась голубятня, и я направился къ ней. Голубей очень любила матушка, и у насъ были экземпляры превосходные: хвалить голубей при ней, — значило ей понравиться. Хотя всѣ голуби состояли на особомъ попеченіи хозяйки дома, но, въ видѣ исключительнаго благоволенія, ключъ отъ голубятни имѣла въ своемъ распоряженіи, кромѣ мамыши, ея горничная, Агаея, жена камердинера отца, женщина лѣтъ сорока, невысокаго роста, очень юркая, ловкая, не имѣвшая дѣтей.

Когда я подошелъ къ голубятнѣ—Агаея находилась въ ней и, вооруженная граблѣй и щеткой, перетирала жерди и чистила гнѣзда; голубей въ голубятнѣ не виднѣлось, кромѣ двухъ больныхъ, одного изъ которыхъ подшибъ ястребъ. Агаея улыбалась.

«Отчего это та плакала, а эта улыбается? — вдругъ мелькнуло у меня по мысли. — Тоже черный геній!» — думалось мнѣ.

Спросивъ о какихъ-то пустякахъ Агаею, пройдя затѣмъ на конюшню и задавъ нѣсколько глупѣйшихъ вопросовъ кучеру, я вышелъ съ задняго двора въ переулочекъ. Неожиданно встрѣтилъ я отца, возвращавшагося съ рыбной ловли и, такъ какъ въ сѣткѣ его поблескивала рыба, то я зналъ, что онъ въ духѣ. Вообще онъ былъ гораздо добрѣе

матери и никакого страха къ себѣ не возбуждалъ; воли у него не было никакой, и онъ привыкъ подчиняться матушкѣ безпрекословно и даже хвасталъ этимъ.

— Куда ты?—спросилъ онъ.

— Да такъ себѣ, самъ не знаю, — отвѣтилъ я, думая о скамьѣ.

— А не хорошо, братъ, ты дѣлаешь! — быстро сказалъ отецъ, остановившись передо мною и опустивъ удилще и сѣтку съ плеча.—Зачѣмъ бѣдную дѣвушку портишь?

— Какъ, портишь, папаша! Какую дѣвушку?

Мой вопросъ былъ, конечно, глупъ, но естественъ.

«Такъ вотъ куда зашло? — думалось мнѣ. — Такъ скоро! Неужели кузина? Но, вѣдь это подло!»

— Я, собственно, — говорилъ отецъ, — давно замѣчалъ что-то, но все сквозъ пальцы смотрѣлъ. Мамаша зорче меня и, надобно тебѣ сказать, не хорошо, не хорошо... Ты бы лучше о переэкзаменовкѣ думалъ.

— Но что же я сдѣлалъ, папаша? Что же она-то сдѣлала?

— А вотъ ты у мамыши спроси, она лучше меня отвѣтитъ.

— Но плакать-то зачѣмъ заставлять? — быстро проговорилъ я, вовсе не понимая непрактичности и неумѣстности моего вопроса.

— Кого плакать заставлять? Кого?—спросилъ отецъ.

Я молчалъ.

— Нѣтъ, ты, братъ, лучше это дѣло брось. Вотъ и кузина замѣчаетъ... Вѣдь эти французенки, вѣдь онѣ вашего брата ловятъ, ну, и она тебя ловить...

— Кузина, папаша, ловить меня, а не она! — рѣзко отвѣтилъ я.

— Кузина? Маша? Да ей тебя ловить не зачѣмъ! Она тебѣ, а не ты ей лакомый кусокъ, потому что пятьсотъ тысячъ денегъ на улицѣ не валяются, а опекунъ я, и у меня онѣ сквозъ пальцы не уйдутъ. Не хорошо, не хоро-

шо! — повторилъ отецъ и, поднявъ на плечо удилице и сѣтку, прошелъ къ дому.

«Ну, теперь,—думалось мнѣ,—можно идти, времени прошло достаточно, и, прежде всего, къ объясненію причины слезъ».

Я двинулся въ путь къ парку по переулку, мимо трактира, и шелъ необычайно медленно для того, чтобы никто и подумать не могъ, что я иду въ погоню за Терезой.

«Бѣдная Тереза!—думалось мнѣ.—Если мнѣ такъ тяжело, такъ вѣдь ей, бѣднягѣ, дѣвушкаѣ, на чужбинѣ, сиротинкѣ—еще хуже».

Направляясь къ скамейкѣ, я нѣсколько разъ останавливался и оглядывался: не слѣдятъ ли, въ особенности кузина? По правдѣ сказать, я ужасно боялся того, чтобы Тереза почему-либо не вздумала остановиться и, еще много хуже, чтобы она не ожидала меня на скамейкѣ. Я соображалъ даже, какъ это будетъ ужасно, если придетъ моя мать и насъ застанутъ. Я рѣшился бы тогда на многое, это несомнѣнно, но, тѣмъ не менѣе, почувствовалъ себя очень довольнымъ, когда замѣтилъ издали, что наша скамейка пуста, и что далеко кругомъ по дорожкамъ никого не видно. Мелькнула также во мнѣ одна мысль: «вѣдь могла бы Тереза ждать меня, должна была бы ждать!» Но эта мысль немедленно погасла.

Вотъ она скамья! Скорѣе къ щели... Письмо есть—вотъ оно. Выдернувъ его, оглядѣвши и раскрывъ, я прочелъ написанное, объяснившее мнѣ ехидную улыбку Агаеи. Она наговорила мамашѣ Богъ знаетъ что, даже совершенно небывалое, о какихъ-то хожденіяхъ моихъ по ночамъ подъ окномъ гувернантки, и мамаша предупредила Терезу, что ей, при такихъ условіяхъ, оставаться въ домѣ нельзя.

«Значить, прогнали!—думалось мнѣ.—Пожалуй, не вернется! Я тогда тоже убѣгу изъ дома... я брошу училище... я прямо-таки женюсь...»

Подъ грохотъ осаждавшихъ меня мыслей, я—были такія мгновенія—лишался всѣхъ внѣшнихъ чувствъ своихъ и весь уходилъ въ соображеніе.

Сидя на скамьѣ, я опустилъ голову и глядѣлъ на песокъ. Вдругъ, волею-неволею, я вздрогнулъ, почувствовавъ на плечѣ моемъ какую-то тяжесть, и поднялъ голову: надо мною стояла милая Тереза, съ голубымъ, хорошо знакомымъ мнѣ, платкомъ-пледомъ на плечахъ. Въ тѣ дни, довольно далекіе, ношеніе пледовъ смѣнило ношеніе турецкихъ и персидскихъ шалей, п пледы были не такіе, какъ сегодня, но болѣе яркихъ, простыхъ цвѣтовъ.

Наши отношенія съ Терезою оставались такъ чисты, что мнѣ и въ голову не вошло броситься къ ней, расцѣловать, обнять. Я только схватилъ ея руку и, не вставая со скамьи, жарко, учащенно цѣловалъ ее. Я былъ такъ счастливъ, такъ счастливъ.

— Садитесь!—проговорилъ я.

— Нѣтъ, некогда, и не слѣдуетъ. Вы видите, извозчикъ ждетъ меня; я нарочно наняла его и подѣхала съ другой стороны, чтобы въ каждую минуту имѣть возможность уѣхать. Я возвращусь къ вамъ въ домъ, но съ меня взяли слово, что дальнѣйшихъ сношеній у насъ не будетъ. Ухаживайте за кузиною—это нужно, а что дальше будетъ—увидимъ. По рукамъ, да или нѣтъ, мой дорогой?—договорила она.

— Ухаживать за кузиною, для отвода глазъ!.. По рукамъ!

Мы простились; перейдя съ нею поперекъ газона на дорожку, я посадилъ ее на извозчика и, безконечно счастливый, вернулся домой. Только подходя къ воротамъ, сообразилъ я, что мнѣ надобно быть скучнымъ, и я сталъ скучнымъ. Не легко было также начать ухаживать за кузиною, но я обѣщалъ.

---



Близилась осень и въ концѣ августа почти весь Крестовскій съѣхалъ съ дачи. Крестовскій лѣсъ и Елагинскій паркъ, и Каменный островъ значительно опустѣли, и гуляющихъ даже по праздникамъ оказывалось мало. Скоро предстояла мнѣ переекзаменовка, и я, благодаря тому, что больше всего любилъ сидѣть дома, имѣлъ полную возможность подготовиться къ ней. Я и Тереза сознательно избѣгали встрѣчъ и разговоровъ, но тѣмъ искреннѣе шла переписка, при посредствѣ скамьи. Не дурно, очень не дурно, такъ казалось мнѣ, обращался я новымъ способомъ съ кузиною: я, дѣйствительно, ухаживалъ за нею, и какъ безконечно дорогъ былъ мнѣ взглядъ Терезы, украдкою бросаемый на меня, съ молчаливымъ одобреніемъ. Повидимому, не поддавалась нашему обману только одна суровая мамаша, относившаяся къ Терезѣ и ко мнѣ чрезвычайно холодно; Агаѣя продолжала появляться то тутъ, то тамъ, и ехидно улыбалась. Но кузина Маша положительнѣйшимъ образомъ торжествовала и, гордая своею побѣдою, даже не бросала на Терезу обычныхъ язвительныхъ взглядовъ.

Какъ теперь помню день 26 августа; это былъ канунъ нашего отъѣзда. Часу въ четвертомъ направился я къ заветной скамейкѣ, ожидая найти письмо, весьма для меня важное, такъ какъ въ немъ намѣчалась программа: какъ и гдѣ видѣться намъ предстоящею осенью и зимою. Я долженъ былъ найти это письмо въ скамьѣ еще вчера, но не нашелъ его, и это меня немного безпокоило. Значительно порѣдѣвшая листва давала возможность видѣть по парку гораздо дальше, чѣмъ лѣтомъ, и такъ какъ день былъ совершенно безоблачный, блестящій, то я и замѣтилъ, къ великому моему неудовольствію, что мнѣ навстрѣчу, по дорожкѣ отъ скамьи, идетъ кузина Маша. Когда мы поровнялись съ нею, она остановилась.

— Вы лгунъ!—быстро и рѣзко произнесла она, упорно

глядя мнѣ въ глаза; легкая судорога пробѣжала по ея хорошенькимъ губкамъ, а рука торопливо повертывала красный зонтикъ, лежавшій на ея плечѣ.

Я молчалъ и не зналъ что отвѣтить.

— Эта скамейка хорошо знакома вамъ, милый кузень!— проговорила она, оглядываясь въ сторону скамьи, мимо которой она только что прошла и къ которой я направлялся.

— Я васъ не понимаю!

— Ну, такъ поймете! У меня въ карманѣ письмо Терезы къ вамъ, вполне достаточное, чтобы погубить дѣвушку, если она намѣрена остаться честною. Если бы я хотѣла погубить ее, мнѣ стоило бы только направить это письмо куда слѣдуетъ и когда слѣдуетъ, въ Парижъ, или въ то мѣсто, куда она вамъ назначаетъ будущую зиму на свиданія приходить!

— Я пойду туда! я буду тамъ!—рѣзко проговорилъ я.

— Нѣтъ, вы не пойдете!

— Пойду.

— Васъ въ Петербургѣ не будетъ!

— Какъ такъ: меня не будетъ?—отвѣтилъ я, дѣйствительно озадаченный.

— Очень просто: вы уѣдете за границу. Да, вы поѣдете за границу или, иначе, Тереза будетъ опозорена, я сумѣю опозорить ее, послѣ того безсовѣстнаго обмана вашего, который, какъ оказывается, пустили вы со мною въ ходъ, по ея сочиненію и въ ея видахъ... Я имѣю право опозорить ее!

— Какъ?! И вы посмѣете?...

— О! когда оскорблено мое самолюбіе такъ, какъ оскорбили его вы, съ наущенія m-lle Терезы, то о средствахъ не думаютъ... Слушайте, кузень: что я васъ люблю, я думаю, вы это давно замѣтили, но то, что я люблю васъ такъ, чтобы не уступить кому-либо другому, въ этомъ вы

можете быть увѣрены съ настоящей минуты, когда я говорю вамъ это. Выбирайте!..

Если бы то, что совершалось со мною, имѣло мѣсто раньше, я, вѣроятно, сдержалъ бы себя и свои выраженія, но теперь, когда сердце и воля во мнѣ давно наболѣли, когда я мучился судьбою приближавшейся зимы, когда мнѣ все чаще и чаще стала приходить въ голову ужасная мысль о томъ, что, вѣдь, я могу лишиться Терезы, что она, милая, умная, красивая и кроткая, легко можетъ встрѣтить человѣка болѣе свободнаго и болѣе рѣшительнаго, чѣмъ я, и тогда все кончено... я сдержать себя не могъ.

— Если лгунъ,—отвѣтилъ я,—то вы... вы...

— Безчестна, не такъ ли?—договорила кузина.

— Да!—громко отвѣтилъ я.

Немного покачавъ головою, кузина пошла по дорожкѣ, и я двинулся рядомъ съ нею.

— Ваше письмо нашла я вчера на дорожкѣ, почти подъ этою скамьею; я цѣлыя сутки думала о томъ, что мнѣ дѣлать.

— Вы сказали кому-нибудь о немъ?

— Пока-что нѣтъ, но дальнѣйшее будетъ зависѣть отъ васъ. Я много передумала.

— Что же я долженъ сдѣлать?

— Вы должны сдать экзаменъ и немедленно уѣхать отсюда.

— Но вѣдь я еще не кончаю курса.

— Это ничего, это вы потомъ сдѣлаете?.. Папаша пошлетъ васъ теперь въ Лейпцигъ, на практику, къ одному изъ крупныхъ тамошнихъ коммерсантовъ; вы останетесь за границею ровно годъ... Тереза должна остаться здѣсь, именно въ вашемъ домѣ.

— Но какъ же я заставлю ее?

— Вы предложите ей на выборъ способъ дѣйствія.

— Но вѣдь это ужасно будетъ, это будетъ для нея пыткой!

— Какъ хотите... впрочемъ, она можетъ и не оставаться у васъ въ домѣ, если хочетъ, это мнѣ все равно...

— Ну, а черезъ годъ?—спросилъ я.

— Черезъ годъ совершится то, что нужно, и если вы дѣйствительно поймете нечестность вашего образа дѣйстви́й относительно меня, то поправите ошибку вашу.

— А если нѣтъ?

— Если нѣтъ, то письмо, находящееся у меня въ карманѣ, будетъ отправлено въ Парижъ, къ родителямъ Терезы... Выбирайте!

— Дайте мнѣ подумать,—пробормоталъ я.

— До завтра.

— Можетъ-быть немного подольше...

Дальнѣйшій путь къ дому шли мы молча и не замедлили встрѣтить Терезу съ обѣими сестричками, быстро побѣжавшими къ намъ навстрѣчу.

— Можете теперь же поговорить съ Терезой,—неожиданно сказала кузина:—я отведу дѣтей въ сторону.

Я чувствовалъ, что мысли мои начинаютъ путаться; я вполнѣ сознавалъ, что кузина обращается со мною, какъ съ мальчишкою, и изъ-за Терезы не прекословилъ ей и повиновался такъ, какъ повинуются ребенокъ строгой нянькѣ. У меня сіяла въ полной ясности одна только мысль: спасти Терезу во что бы то ни стало.

Моя милая Тереза была до крайности поражена, когда я, подойдя къ ней, немедленно сообщилъ, что мнѣ нужно съ нею говорить и что кузина взялась на это время присмотрѣть за дѣтьми. Могу себѣ представить, какъ забилося сердце Терезы!

Сообщивъ ей суть всего совершившагося, я спросилъ ее:

— Тереза! любите ли вы меня?.. Любите ли такъ, какъ я васъ?

Она опустила голову, смотрѣла молча въ землю и, ничего не отвѣчая, подняла свои глаза въ сторону къ кузинѣ, занимавшей чѣмъ-то дѣтей.

— А любить ли она васъ?—тихо проговорила она, глядя на кузину.—Если она васъ дѣйствительно любить... оставьте меня теперь же... оставьте, потому что я не въ силахъ мучиться больше, и потому что, вѣроятно, мы не суждены другъ другу...

— Любить она, или не любить меня,—отвѣтилъ я,—это мнѣ все равно, но я-то ненавижу ее.

— Правда?

— Клянусь.

— Но вѣдь она очень богата!

— Богъ съ нимъ, съ богатствомъ.

— И на ваши слова можно разсчитывать?—спросила Тереза, поднявъ на меня свой глубоко-бархатный взглядъ.

— Да! навсегда!

— Вѣрно это?

— Вѣрно.

— Тогда вы должны ѣхать за границу... на годъ, не больше, я отпускаю васъ... я думаю ждать васъ какъ слѣдуетъ, но, конечно, не въ вашемъ домѣ....

Такого быстрого и рѣшительнаго заключенія я никакъ не ожидалъ, и оно словно рѣзнуло меня по сердцу. Мгновенно и одновременно, и каждое съ полною силою заговорили во мнѣ многія-многія чувства; слышались въ нихъ: и досада, и ревность, и сомнѣніе, и безконечное обожаніе, и многое другое, и я былъ потрясенъ, глубоко потрясенъ. Послѣ краткаго молчанія я проговорилъ не громко:

— А потомъ что... черезъ годъ?

— А потомъ: или мы будемъ счастливы, или мы разойдемся съ вами, и навсегда...

— Но, вѣдь, цѣлый годъ, это ужасно, вы подумайте!

— Мнѣ будетъ тяжело, чѣмъ вамъ, — отвѣтила Тереза.

— Васъ заключють... васъ продадутъ... васъ обмануть... воскликнулъ я.

— Никогда... поѣзжайте на годъ. Это нужно, чтобы сохранить васъ для вашей семьи. Я не хочу входить въ семью съ тѣмъ, чтобы увести съ собою одного изъ дѣтей ея.. васъ!

— Но будете ли вы мнѣ вѣрны?—быстро проговорилъ я, съ горячностью, свойственною очень молодымъ годамъ, и заключилъ въ этихъ немногихъ словахъ всю суть противорѣчивыхъ чувствъ, меня одолевавшихъ.

Теперь, когда я пишу это и скоро представлю выписки изъ дневника моего, который я велъ, будучи психически больнымъ, когда прошло много, много лѣтъ, я вспоминаю съ благоговѣніемъ тогдашнюю прямолинейность и естественность моихъ чувствъ къ милой Терезѣ. Въ концѣ концовъ меня страшило больше всего не то, что я покидалъ дѣвушку, любимую мною, что ей будетъ очень тяжело, что наступятъ тяжелыя минуты одиночества, что я, наконецъ, много виноватъ въ этомъ ближайшемъ будущемъ, а то, что не измѣнитъ ли она мнѣ. Да вѣдь и измѣнить-то, собственно говоря, было нечему; мало ли кто кому нравится, но изъ этого ничего не выходитъ, и въ отношеніяхъ моихъ къ Терезѣ не было никакихъ темныхъ пятнышекъ.

Я ожидалъ отвѣта на мой послѣдній вопросъ.

— Кончили вы, наконецъ, говорить!—закричала намъ издали кузина.

Вмѣсто отвѣта мы направились навстрѣчу къ ней по той дорожкѣ, по которой пришли, и молча, не говоря ни слова,

дошли тихонько до дому, разговаривая иногда только съ бѣгавшими подлѣ насъ дѣтьми.

## II.

Время, о которомъ я рассказываю, время—далекое; тогда не существовало еще Варшавской желѣзной дороги, и за границу имѣлось только два торныхъ пути. Одинъ, это путь весенній, моремъ изъ Кронштадта, другой, преимущественно зимній—по Варшавскому шоссе семь сутокъ на Варшаву, до которой уже доходилъ заграничный рельсовый путь.

Въ концѣ октября рѣшено было, что я ѣду за границу, въ Лейпцигъ. Тереза покинула нашъ домъ и, временно, до полученія мѣста, пристроилась въ одну семью учителя французскаго языка и давала уроки. Переписка между нами шла очень дѣятельно. Жена учителя была скоро посвящена во всѣ наши отношенія и, по секрету отъ своего мужа (очень можетъ-быть, только по кажущемуся секрету?), дозволила мнѣ заходить къ Терезѣ, что я и исполнилъ нѣсколько разъ, такъ какъ отъѣздъ близился, и онъ былъ не отвратимъ. Все тяжелѣе становилось у меня на сердцѣ, въ особенности потому, что я замѣчалъ въ Терезѣ большую перемѣну; она поблѣднѣла, стала молчаливою, постоянно куталась въ свой теплый голубой платокъ и очень часто плакала.

Я помню очень хорошо, какъ, именно въ эти дни, приближавшіе насъ къ разлукѣ, я, чувствуя надъ собою невыносимый гнетъ, словно какой-то физическій гнетъ, сталъ дѣлать безсознательно нѣкоторыя глупости. Такъ, напримѣръ, постоянно трусливый относительно суровой матери моей, я, однажды, въ присутствіи гостей, нарочно,—въ присутствіи гостей,—сознательно и убѣжденно объяснилъ, когда рѣчь зашла о моемъ близкомъ путешествіи, что я, уѣхавъ уѣду, но вернувшись, непременно женюсь на Те-

резѣ. Пораженная неожиданностью моей выходки, мать моя предложила мнѣ тогда же выйти вонъ изъ комнаты, что я и исполнилъ, и пропалъ изъ дому на цѣлый день. Но въ другой разъ сдѣлалъ я нѣчто, уже совершенно не нормальное.

Послѣ двухъ, трехъ совершенно безсонныхъ ночей съ болью въ головѣ и какою-то дикою рѣшимостью совершить что-нибудь крупное, рѣшительное, и совершить непременно теперь же, сейчасъ, я часу въ девятомъ утра, зная, что отецъ уже сидитъ въ своемъ кабинетѣ, а матушка еще не выходила изъ спальни, пришелъ къ отцу. Должно-быть, что видъ мой былъ не вполнѣ суразенъ, потому что отецъ, увидѣвъ меня, быстро спросилъ:

— Что съ тобою?

— Ничего, папаша,—ствѣтилъ я:—только у меня есть намѣреніе, исполнить которое вы можете помочь мнѣ.

— Что такое?

— Видите ли, папаша: кузина украла нѣсколько писемъ ко мнѣ Терезы; она обѣщала мнѣ послать ихъ къ ея отцу, если я не поѣду за границу... Такъ какъ я этого не хочу, то и ѣду за границу...

-- Ну хорошо! что же дальше?—спросилъ отецъ, вставъ съ кресла и отойдя отъ стола.

— Ты помоги мнѣ вернуть эти письма, и тогда я за границу не поѣду.

— То-есть какъ вернуть?

— Достать ихъ!

— Но, во-первыхъ — это не мое дѣло, а во-вторыхъ, какъ это сдѣлать?

-- Если не отдать добромъ, такъ взять силою.

— Силою!?

— Ну, если не силою, такъ украсть ихъ, но письма мнѣ нужны, непременно нужны, въ особенности одно изъ нихъ,—добавилъ я весьма рѣшительно.



Отецъ, очень любившій меня, былъ видимо потрясенъ всѣмъ сказаннымъ.

— Да ты, сумасшедшій?—проговорилъ онъ не громко, подойдя ко мнѣ, поднимая на лобъ мой свою руку и глядя мнѣ въ глаза. Повидимому, это смотрѣніе мнѣ въ глаза подѣйствовало на отца очень неуспокоительно. Вопросъ о томъ: сумасшедшій ли я, былъ, конечно, тоже вполне неумѣстенъ и могъ быть объясненъ только крайнею неожиданностью того положенія, въ которое я поставилъ отца.

Я не совсѣмъ ясно помню, что и какъ произошло за это время, что отвѣтилъ мнѣ отецъ, что совершилось въ этотъ и въ ближайшіе дни. Помню только очень ясно, что съ отъѣздомъ моимъ стали торопиться, что призывали какого-то доктора, что мнѣ прописали какое-то лѣкарство, которое я вышвырнулъ. Очень ясно помню я сквозь глубокую неурядицу впечатлѣній одинъ разговоръ мой съ матерью. Призвавъ меня къ себѣ въ спальню, въ которой я уже засталъ отца, она быстро и рѣзко спросила меня:

— Кузина говорила мнѣ, будто ты отказываешься ѣхать за границу?

— Я?.. развѣ я говорилъ это?

— Ты предлагалъ отцу своему помочь тебѣ достать отъ кузины какія-то компрометирующія Терезу письма?

— О да! эти письма были бы мнѣ дороги.

— И ты дѣйствительно любишь Терезу?

Пораженный неожиданнымъ оборотомъ рѣчи матушки, я не сразу нашелся отвѣтить ей и молчалъ; она повторила свой вопросъ. Я все-таки молчалъ. На изнуренный, измученный мозгъ мой этотъ вопросъ оказалъ какое-то удручающее дѣйствіе. «Сомнѣваться въ моей любви?» думалось мнѣ, но я, все-таки, ничего не отвѣчалъ.

— Такъ ты дѣйствительно любишь ее? Ну, такъ видишь ли, какое мы, съ отцомъ твоимъ, приняли рѣшеніе. Если

ты черезъ годъ, по возвращеніи изъ-за границы, останешься при этомъ, если Тереза, за которою мы будемъ слѣдить, окажется не аферисткою...

— Аферистка Тереза!—почти вскрикнулъ я, точно ужаленный; руки мои дрожали, колѣни подкашивались, въ глазахъ потемнѣло.

— Нѣтъ, я не то хотѣла сказать,—поспѣшила объяснить мать моя.

— Не то, не то, конечно,—добавилъ отецъ.

— Я хотѣла сказать, что она, конечно, не аферистка... что, можетъ-быть, и даже я думаю, что она любитъ тебя, и въ такомъ случаѣ, черезъ годъ, когда ты вернешься...

— Когда ты вернешься,—договорилъ отецъ,—мы позволимъ тебѣ жениться на ней...

Что лучше: осторожность или неосторожность со стороны родителей въ такихъ случаяхъ, какой имѣлъ тогда мѣсто? Если мозгъ юноши натруженъ, если онъ болѣетъ,—хорошо ли задавать ему новую работу? А если не задавать, если предоставить его самому себѣ, не будетъ ли это умышленнымъ ослабленіемъ его дѣятельности, не будетъ ли это допущеніемъ затхлости въ мозгу? Конечно, ни отецъ, ни мать, не были психіатрами и дѣйствовали въ силу самыхъ простыхъ доводовъ, но отъ этого не было легче мнѣ, болѣвшему, и я отнесся къ словамъ матери съ наивнымъ прямодушіемъ. Мнѣ и въ голову не приходило видѣть въ этомъ ея предложеніи какое-либо ехидство, простое средство заставить меня уѣхать, а тамъ, дальше, будь что будетъ...

Послѣ этого состоялось у меня съ Терезой еще одно свиданіе, но не въ квартирѣ, а согласно ея настоящему желанію,—на улицѣ, и именно, подъ колоннадою Казанскаго собора. Я передалъ ей слова матери, къ которымъ она отнеслась почему-то очень холодно. Она была чрезвычайно блѣдна и малоразговорчива, и сообщеніе о словахъ матери

и возможности свѣтлаго будущаго вызвало на ея губахъ какую-то странную улыбку.

— Все это очень хорошо,—проговорила она, наконецъ,—но не поздно ли? Увидимся ли мы снова?

— Какъ увидимся ли?—быстро отвѣтилъ я и, схвативъ ее за обѣ руки, крѣпко сжалъ ихъ въ своихъ рукахъ.—Какъ увидимся ли? Но вѣдь ты любишь меня? Вѣдь я люблю тебя... Вѣдь ты подумай, что я, для писемъ твоихъ, чтобы ихъ получить, расстаюсь съ тобою... Вѣдь ты подумай, какая радость ждетъ насъ въ будущемъ... Вѣдь это все, дастъ Богъ, будетъ!

Она освободила свои руки изъ моихъ и только промолвила:

— Будетъ ли?

Безконечнымъ страхомъ и холодомъ пахнули на меня эти слова ея, и блѣднѣе прежняго свѣтилось ея лицо. Ужасная, тлетворная мысль нашла себѣ поводъ возникнуть въ моемъ, видимо мутнѣвшемся сознаніи.

«А что, если она покончить съ собою? Что-то фатальное видится мнѣ въ ея слегка подергивающихся чертахъ лица! Она хочетъ плакать, но воздерживается! О, какъ хотѣлъ бы я быть съ нею теперь наединѣ, а не на улицѣ! Я сказалъ бы ей, обнявъ ее, какъ дитя: «Плачь, плачь, Тереза, плачь безъ страха предъ кѣмъ бы то ни было! Я осушу твои слезки! Хочешь ли, я самъ буду плакать съ тобою...»

И думая это, я молчалъ и не зналъ самъ, что мнѣ говорить, что дѣлать?

— Когда ты ѣдешь?—наконецъ, проговорила она.

-- Послѣзавтра, утромъ, со вторымъ пароходомъ, въ 11 часовъ, въ Кронштадтъ, а затѣмъ, оттуда, уже послѣзавтра, чуть свѣтъ, утромъ, на какомъ-то датскомъ пароходѣ,—въ Киль.

— Конечно, всѣ твои будутъ провожать тебя?..

— Къ несчастію...

— Но вѣдь къ отходу парохода, на зарѣ, послѣзавтра ихъ не будетъ?

— Думаю, что нѣтъ.

— Ну, такъ я буду,—рѣзко проговорила она.—А черезъ годъ?..

— Черезъ годъ опять увидимся... Я буду писать тебѣ каждый день, ты мнѣ... Годъ пройдетъ незамѣтно, и тогда, тогда...

Разговоръ между нами происходилъ все время на ходу; мы останавливались только изрѣдка, когда, дойдя до конца одной изъ колоннадъ собора, должны были повернуть обратно. Случилось такъ, что какъ разъ въ то время, когда мы находились у главнаго входа, подлѣ котораго толпились нищіе, потаптывавшіе ногами и переминавшіеся, въ виду быстро и неожиданно наступившаго мороза, и когда уже значительно стемнѣло, намъ пришлось совершенно одновременно увидѣть отца моего, выходившаго изъ собора съ непокрытой головой и съ носовымъ платкомъ у глазъ... Онъ плакалъ.

Отецъ былъ всегда чрезвычайно набоженъ и, поэтому, посѣщеніе имъ Казанскаго собора, въ такую тяжелую минуту жизни, какъ время моего отъѣзда, являлось совершенно естественнымъ. Онъ немедленно увидѣлъ насъ и подошелъ.

— Богородица поможетъ вамъ, дѣтки, Богородица... Я васъ не вижу, не встрѣчалъ и ничего не знаю, ничего не знаю...

Говоря это, отецъ оглядывался по сторонамъ, видимо боясь неожиданнаго прихода матушки, конечно, а не кого другого. Несомнѣнно, что онъ боялся этого больше, чѣмъ боялся я, и ни для кого изъ насъ не было тайною, что мамаша производила на него какое-то не то удручающее, не то нервное впечатлѣніе, и отецъ, чувствуя надъ собою, не первыйя пяткомъ лѣтъ, какую-то факсинацію матушки.

сжился съ этимъ, какъ съ чѣмъ-то неотклоннымъ и вполне правильнымъ.

— Ну, пойдемъ, пойдемъ со мною,—быстро проговорилъ отецъ.—А вы, Тереза,—сказалъ онъ, обращаясь къ ней,—вѣдь вы въ Бога вѣрите?.. Ну, конечно, вѣрите... Надѣйтесь, надѣйтесь. А теперь прощайте... Ну, а съ нимъ, конечно, вы не прощаетесь, потому что навѣрно провожать будете... Будете?.. такъ ли?..

Мы простились съ Терезой, пожавъ другъ другу руку и обѣщавъ видѣться еще разъ. Уходя съ отцомъ, я часто оглядывался. Тереза стояла въ голубомъ платкѣ неподвижно, словно изваяніе между колоннъ, и затѣмъ какъ-то сразу исчезла.

«Милая! чудесная!»—думалъ я, идя съ отцомъ по направлению къ нашему дому. Мысли мои путались до такой степени, что я, были мгновенія, не соображалъ: завтра ли въ дорогу, или еще не завтра, и при чемъ тутъ Казанскій соборъ, и точно ли встрѣтили мы отца моего?

### III.

Описывая теперь, на разстояніи многихъ лѣтъ, эти тяжкіе дни, именно со времени того, что имѣло мѣсто подъ колоннадою Казанскаго собора, въ памяти моей событія сохраняются, какъ я сказалъ, не вполне ясно и послѣдовательно, а какими-то урывками, клочками. Помню я очень хорошо, что въ день отъѣзда изъ Петербурга въ Кронштадтъ, въ самомъ концѣ октября, наступили очень ранніе морозы; помню, что мы поѣхали въ Кронштадтъ утромъ и шли въ невѣроятно густомъ туманѣ; помню, что меня провожали отецъ и мать, кузина и еще двое изъ нашихъ старыхъ знакомыхъ, и что на всѣхъ ихъ были мѣховые воротники. Очень ясно вспоминаю я, что я хранилъ все время глубо-

кое молчаніе, и что въ мысляхъ у меня совершалась какая-то болѣзненная, именно болѣзненная, то-есть, съ ощущаемою болью работа. Со мною много разъ заговаривали, но я упорно молчалъ.

Пароходъ, на которомъ я долженъ былъ плыть, назывался «Occident», стоялъ въ купеческой гавани, вплотную къ береговому граниту, и что въ немъ больше всего меня поразило, такъ это высота его красной ватерлінія: она поднималась даже въ уровень съ верхнимъ краемъ берегового гранита. Тогда же объяснилось, что, въ виду наступившихъ заморозковъ, всѣ рѣшительно торговые пароходы уже покинули Кронштадтъ, что «Occident» оставался послѣднимъ и торопился уйти даже безъ балласта, совершенно не нагруженнымъ. Это представлялось опаснымъ, какъ говорили, но это пропускалъ я мимо ушей.

Съ какимъ чувствомъ радости душевной остался я на пароходѣ одинъ-оди́нѣшенекъ послѣ того, какъ всѣ провожавшіе меня сошли на берегъ, торопясь поспѣть къ послѣднему пароходу, отходившему въ Петербургъ. Тьма наступила очень быстро, прежде чѣмъ я ознакомился съ пароходомъ; ознакомиться съ нимъ, при свѣтѣ нѣсколькихъ тусклыхъ, керосиновыхъ фонарей и свѣчей, кое-гдѣ мелькавшихъ,—было трудно; капитанъ видимо экономничалъ на освѣщеніи, а со мной, такъ какъ я былъ единственнымъ пассажиромъ 1-го класса, да еще очень молодымъ человекомъ, церемониться было нечего, и пароходъ оставался ночью почти совсѣмъ окутаннымъ тьмою.

Капитанъ, краснолицый датчанинъ, безъ усовъ и бакенбардъ, но съ плотною бородкой подъ подбородкомъ, говорилъ кое-какъ по-нѣмецки, и мы могли съ нимъ объясняться. Его помощникъ и прочій персоналъ говорили только по-датски. Пассажировъ, какъ я сказалъ, не было ни одного, и только мелочная работа съ погрузкой дровъ и прочаго

свидѣтельствовали о томъ, что на пароходѣ есть жизнь. Одиночество и тьма были мнѣ по-сердцу. Я весь ушелъ въ ожиданіе: когда же увижу я ее?.. Сегодня?.. Завтра? Она легко можетъ опоздать!

И я разспрашивалъ капитана о томъ: дѣйствительно ли мы выйдемъ чуть-свѣтъ?

— Ну, это не такъ ужъ необходимо, мы не будемъ торопиться.

Благодѣтельно подѣйствовали эти слова на состояніе моего надломленнаго духа. Хотя, при здоровомъ разсужденіи, Тереза должна была непремѣнно и въ настоящую минуту быть уже въ Кронштадтѣ, пначе ей не успѣть на утро, но ясно было мнѣ, что въ потемкахъ, въ почти безлюдную гавань, не зная ни стоянки парохода, ни пути къ нему,—она не прибудетъ. Тѣмъ не менѣе, я до ночи ожидалъ ее, и заходилъ по временамъ въ каюту только для того, чтобы обогрѣться и снова выйти на рубку и разглядѣть что-либо во тьмѣ.

Помню, что я всю ночь не спалъ, помню, что при первыхъ признакахъ свѣта я былъ уже на рубкѣ и ждалъ, сравнительно, спокойно, потому что капитанъ объявилъ мнѣ, что раньше десяти часовъ онъ не тронется, такъ какъ къ нему пришло распоряженіе: ожидать на утро присылки какого-то пакета изъ датскаго посольства, весьма важнаго и слѣшнаго.

Часовъ въ восемь утра стоялъ я на рубкѣ и увидѣлъ Терезу. Бѣдняга, вѣроятно, не запаслась еще теплымъ платьемъ, такъ какъ, благодаря морозу, она накинула на кофту свой голубой платокъ. Погода стояла совсѣмъ дурная; рѣзкій порывистый восточный вѣтеръ поднималъ вокругъ тяжелую, заунывную музыку и хлесталъ довольно небрежно подвязанными снастями парохода; не то снѣжокъ, не то снѣжная пыль носились въ воздухѣ и настолько за-

темняли безсвѣтныи денекъ, что саженьяхъ въ пятидесяти трудно было отличить что-либо. На пароходѣ поднималась даже рѣчь о томъ, что, можетъ-быть, въ виду туманности, придется не выходить сегодня вовсе; капитанъ былъ положительно противъ этого, такъ какъ къ окончанію навигаціи онъ долженъ былъ непременно зазимовать въ Кплѣ.

Быстро, необычайно быстро, сбѣжалъ я по трапу съ парохода на берегъ и, подбѣжавъ къ Терезѣ, сжалъ обѣ ея руки. Она, видимо, продрогла, и я немедленно повелъ ее къ себѣ на пароходъ. Всѣ каюты были въ моемъ распоряженіи, равно какъ и главный салонъ.

Я посадилъ Терезу на бархатный диванъ, я грѣлъ ея руки, велѣлъ подать чаю, самъ снялъ съ нея голубой платокъ, шапочку, и былъ счастливъ, счастливъ до невѣроятія. Собственно говоря, я еще ни разу не оставался съ Терезою наединѣ такъ свободно, безъ свидѣтелей, и, сравнительно, долго—какъ теперь, потому что въ нашемъ распоряженіи было, по крайней мѣрѣ, три часа времени.

Не знаю, такъ ли безупречно, какъ мы, проводятъ такое время другіе молодые люди. Предстояла годовая разлука; любовь несомнѣнно имѣлась налицо; имѣлось налицо даже какое-то особенное, жгучее, небывалое веселье и нашла мѣсто разговорчивость. Особенно ободряло меня и радовало состояніе духа Терезы: она, видимо, превозмогла что-то, что-то осилила, къ какому-то рѣшенію пришла, и она такъ глубоко смотрѣла мнѣ въ глаза.

Я умолялъ ее взять денегъ на шубку; у меня ихъ было довольно, такъ какъ въ этомъ отношеніи родители не поскупились. Но Тереза упорно и многократно отказывалась.

— Милая, дорогая Тереза,—говорилъ я ей,—ради Бога, возьми, возьми, сколько хочешь; ну, возьми половину!

— Нѣтъ, не возьму!

— Ну, хоть что-нибудь!



— Нѣтъ, дорогой мой,—отвѣтила она улыбаясь,—ни за что не возьму; тамъ, куда ты ѣдешь, вѣдь будутъ же и другія дѣвушки...

— Другія!—перебилъ я ее,—другія! Да какъ могла ты сказать, какъ могла подумать!

— Ну, не сердись, не сердись!—прервала она меня, — а вотъ, хочешь ли, я держу съ тобою пари, что отъ моего подарка ты не откажешься... я тебѣ дамъ что-то на память... вотъ моя фотографія...

Сказавъ это, она вынула изъ кармана небольшой медальонъ и подала его мнѣ; фотографіи въ то время были новостью и смѣняли дагерротипы.

— О! дорогая моя... спасибо, спасибо.

И я цѣловалъ поданный мнѣ медальонъ, никогда не дерзнувъ коснуться моимъ поцѣлуемъ оригинала.

— Поймай, поймай!—сказала она,—вѣдь ты на фотографіи прическу испортишь.

Я спряталъ медальонъ въ свой кошелекъ и крѣпко пожалъ руку Терезы.

Время проходило быстро. Мы переговорили о всемъ рѣшительно, много мечтали, многое вспоминали; условлено было, какъ и когда писать. Но какъ ни чудны были эти три часа, проведенные вмѣстѣ, пришлось разлучиться. Турманъ сталъ разсѣваться и капитанъ рѣшилъ идти въ море; вѣтеръ не стихалъ и не становился ровнѣе, и пароходъ даже на причалкахъ покачивался. Капитанъ объявилъ, что черезъ четверть часа мы тронемся и что моей гостей пора сойти на берегъ. Тереза стала одѣваться. Въ салонѣ не было никого.

— А если бы... если бы...—сказала она неожиданно,—если бы мы съ тобою никогда больше не увидѣлись, вѣдь это возможно!

— Невозможно!—почти вскрикнулъ я, и почувствовалъ,

въ одно мгновеніе ока, что въ мозгу моемъ опять что-то физически заболѣло, точно кто ущемилъ его.

Только что промелькнувшія минуты безусловнаго, небывалаго счастья забылись мгновенно; самыя черты лица Терезы какъ будто затемнились передо мною, и это была больше не Тереза, а только ея фотографія, да, да, фотографія не въ краскахъ, а черная съ бѣлымъ, тонкія тѣни и свѣтъ, трауръ, вотъ и все.

— И ты, дѣйствительно,—продолжала Тереза,—никогда, никогда не забудешь меня? Будешь помнить?!

— Да... клянусь...—отвѣтилъ я ей.

Совершенно неожиданно кинулась мнѣ Тереза на шею... Какъ это сдѣлалось, не помню, но только я обнялъ ее, обнялъ со всей силой остававшейся во мнѣ, и мы поцѣловались...

Наступила минута разставанья.

— Такъ ты простишь меня за это...—сказала Тереза, направляясь къ трапу.

— За что?

— За это...

— О! за твой поцѣлуй... простить...

— И не помянешь меня лихомъ? и не проклянешь?..

— Тереза...

Вотъ единственное, что могъ я ей отвѣтить.

Мы одѣлись и вышли изъ салона. Холодный, порывистый вѣтеръ завывалъ по сторонамъ и сильно ударялъ въ паромъ, шумно разводившій пары. Мгла, которая съ утра облекла весь горизонтъ непрерывною завѣсою, благодаря вѣтру, была разорвана на клочья и вдаль можно было смотреть только въ ея просвѣты.

Но вотъ сошла Тереза на берегъ, и я съ нею вмѣстѣ. Народу было мало, стыдиться было некого, и я обнялъ ее и поцѣловалъ.

— Такъ ты простишь меня! — проговорила она со словами на глазахъ,—не помянешь лихомъ?

Я тоже плакалъ и ничего не отвѣчалъ. Начали убирать сходни, и мнѣ пришлось возвратиться на пароходъ. Пока снимали причалы, Тереза стояла противъ меня, на берегу, шагахъ въ шести, не болѣе, а между тѣмъ, можетъ-быть, между нами лежала цѣлая вѣчность. Наконецъ, причалы были сняты, трапъ поднятъ, раздался свистки, команда капитана, и колеса дали первый оборотъ. Пароходъ сталъ давать кругъ, немедленно и разстояніе между мною и Терезою быстро увеличилось. Я помню, что, глядя на нее, я соображалъ, что скоро, пожалуй, мы войдемъ въ слой тумана, и она закроется отъ меня, и голубой платокъ, ясно видный мнѣ, тоже исчезнетъ, какъ и все остальное... Я продолжалъ смотрѣть упорно, усиленно въ одну точку: въ голубой платокъ...

Затѣмъ... обманъ ли глазъ... или что-то иное... я уже не соображалъ... вижу, что голубой платокъ какъ бы взвѣвается, виситъ въ воздухѣ, опускается... еще немного... и онъ въ водѣ... внизу...

О! какая это была минута! Ясно, ясно зазвучали у меня въ ушахъ послѣднія слова Терезы: ты не помянешь меня лихомъ и не проклянешь... а теперь... не прошло и минуты... она... она... Тереза... утопленница... изъ-за меня... а этотъ поцѣлуй, еще горящій на губахъ моихъ... а эти слова... ты не проклянешь меня... Господи!.. Господи!.. А пароходъ уходилъ все дальше и дальше... казалось бы, можно еще руку подать, но тутъ уже цѣлая вѣчность и безконечность разлуки!

Мнѣ говорилъ какъ-то потомъ капитанъ, что я почему-то зарыдалъ. Они не смотрѣли на берегъ и не поняли, отчего я рыдаю? Но пароходъ движется... колеса работаютъ быстро... тѣма окончательно заволокла берегъ. Я ни одного мгновенія не думалъ о томъ, чтобы просить остановить па-

роходъ... вѣдь мы были еще на рейдѣ. Я чувствовалъ себя до такой степени ослепленнымъ какою-то неумолимою судьбою, сильною выше всякихъ человѣческихъ силъ, что я не думалъ сопротивляться. Пароходъ—это судьба... а я... а она... помню, помню, что я очень много и долго плакалъ, и мозгъ мой отказывался работать и въ немъ что-то щемило меня, и этотъ голубой платокъ... и поцѣлуй... и «ты не помянешь меня лихомъ»... О! я! я бѣдный, бѣдный, безпомощный, несчастный... а голубой платокъ все-таки передъ глазами! Да не было ли это обманомъ зрѣнія, не было ли все совершившееся обманомъ зрѣнія? Можетъ-быть, Тереза не утопленница, можетъ-быть, она теперь уже на пароходѣ по пути въ Петербургъ?..

Я сидѣлъ въ одной изъ каютъ уже нѣсколько часовъ подъ рядъ. Помню, что капитанъ самъ позвалъ меня обѣдать... я пошелъ... но я держалъ себя прилично и даже что-то ѣлъ. Капитану и его помощнику, обѣдавшему съ нами, не было до меня никакого дѣла, и я былъ очень радъ этому.

Погода крѣпчала не на шутку, и пароходъ покачивался во всѣ стороны.

Теперь, доведя мое повѣствованіе до отъѣзда моего изъ Кронштадта и до страшной катастрофы съ голубымъ платкомъ, опустившимся на моихъ глазахъ въ море, доведя его до той минуты, какъ я себя помню, я помѣщу нѣсколько выдержекъ изъ моего дневника, веденнаго въ домѣ умалишенныхъ, когда я значился въ немъ подъ № 3.

# 1.

Февраль, № 3.

Это все-таки ужасно! Они хотятъ теперь доказать мнѣ, что Тереза жива! Помилуйте, я самъ видѣлъ, какъ она бросилась въ воду, и видѣлъ плившій трупъ ея! Чего же

больше... Особенно старательно говорить объ этомъ мамаша, которая вдругъ проявила ко мнѣ особенную нѣжность. Но какое это было ужасное время. Пароходъ отчаливаетъ... морозный туманъ облекаетъ мѣстность... порывистый вѣтеръ! Только-что поцѣловала меня Тереза... я ее вижу... и затѣмъ голубой платокъ мелькаетъ... она бросается въ воду... и затѣмъ туманъ густой, непроглядный...

Первымъ дѣломъ было остановить пароходъ... я къ капитану: «Остановите... выпустите меня... я заплачу вамъ, много заплачу!» Но капитанъ, видимо, не понимаетъ въ чемъ дѣло.

— Но вѣдь она бросилась въ воду, я долженъ вернуться!

— Кто бросился?—удивленно спрашиваетъ онъ.

— Она! Тереза!

— Гдѣ бросилась?

— Тамъ, на берегу! Развѣ вы не видѣли?

Подходилъ его помощникъ, заинтересованный рѣзкостью моихъ рѣчей.

— Остановите! остановите! — продолжалъ я звать, должно-быть, очень дикимъ голосомъ.

Капитанъ объяснилъ что-то по-датски своему помощнику, и оба весьма непривѣтливо посматривали на меня.

Пароходъ, выходящій въ море, подхватывается громадными волнами и, такъ какъ онъ недогруженъ, то качался мы невообразимо. Съ каждымъ оборотомъ колеса, я удаляюсь отъ тонущей Терезы... Она теперь уже потонула... но холодъ воды, конечно, ранѣе смерти оковалъ ее... она теперь опускается ко дну и ее такъ же, какъ и меня, покачиваетъ. Я вижу, вижу, какъ она колыхается, опускаясь ко дну. Бросили ли веревки? Кинулся ли кто-нибудь за нею?

— Остановите пароходъ, остановите! Спустите меня!—продолжаю я кричать и почти бѣгу къ кормѣ парохода, которая все-таки ближе къ Терезѣ, чѣмъ рубка. Матросы, на свистки капитана, подходятъ съ разныхъ сторонъ и меня

схватываютъ. Я не сопротивляюсь, потому что если мнѣ сопротивляться, то я уже никакъ не помогу Терезѣ. Капитанъ что-то приказываетъ и меня ведутъ въ каюту. Когда я прохожу мимо него, я останавливаюсь и говорю:

— А развѣ въ Ревелѣ или гдѣ-нибудь мы не остановимся?

— Остановимся, остановимся!—отвѣчаетъ капитанъ, качаетъ головою, и меня сводятъ въ каюту.

## 2.

Воскресенье и среда.

Вотъ уже второй день, что мы плывемъ. Буря все сильнѣе, и капитанъ бросилъ якорь у острова Сескара. Я даже и не зналъ о существованіи такого острова. Холодно, морозъ, буря. Холодно также и бѣдной Терезѣ.

За мною присматриваютъ и одного на палубу не пускаютъ. Если бы не бросили якорь, то черезъ два дня мы были бы въ Килѣ, и я не былъ бы отрѣзанъ отъ всего міра, я могъ бы узнать! А теперь?! Теперь — безспіе, ужасъ, одиночество... и постоянно она на глазахъ, она, моя дорогая, мое все...

Пароходъ стоитъ за вѣтромъ, но насъ все-таки сильно качаетъ; волны высоки и, разрѣзываемыя носомъ парохода, бѣгутъ съ обѣихъ сторонъ выше бортовъ. До берега сажень сто. Островъ покрытъ соснами. Слыхалъ я, что тутъ есть маякъ. Можетъ-быть, на маякѣ можно будетъ узнать что-нибудь. Холодъ такъ великъ, что пробѣгающія вдоль бортовъ волны оставляютъ ледяной слѣдъ; льдомъ блестятъ и снасти...

Мнѣ дали какое-то лѣкарство, и я долго спалъ, въ первый разъ спалъ, но Тереза и тутъ покачивилась передо мною, опускаясь на дно... А они, въ особенности мамаша, хотятъ доказать мнѣ теперь, что она жива, и что я ее увижу. Да я безъ того каждую секунду ее вижу. Въ осо-

бенности ясна мнѣ ея голова; она всегда со мною... мертвая голова.

## 3.

14-е число.

Помню утро. Пароходъ стоитъ на якоряхъ, но вдругъ онъ ужасно вздрагиваетъ, срывается съ якорей и его быстро несетъ на берегъ. Капитанъ и всѣ остальные страшно перепуганы... бѣгаютъ... кричатъ... а мнѣ-то что: я даже радуюсь, потому что буду на землѣ, а не на водѣ, на которой я отрѣзанъ отъ цѣлаго міра... За мною даже не наблюдаютъ... Мы все ближе къ землѣ, ближе... Вотъ уже и пески близки и пароходъ, переставъ двигать по направлению къ нимъ, останавливается и начинаетъ клониться на бокъ; что если опрокинется...

Мы стали на мѣстѣ, какъ вкопанные. Я заявляю желаніе съѣхать сейчасъ на берегъ. Опять между капитаномъ и его помощникомъ идутъ какіе-то таинственные переговоры.

На берегу появились какіе-то люди—чужны; между ними старикъ-офицеръ въ морской формѣ. На берегъ передали канаты и закрѣпили ихъ. Пароходъ лежитъ совсѣмъ на боку, но онъ неподвиженъ; ходить по немъ очень трудно. Вѣтеръ еще сильнѣе и холоднѣе прежняго; на обнаженныхъ скалахъ — ледъ, по берегу кое-гдѣ бѣлые снѣговые наносы.

Скорѣй на берегъ, скорѣй... Вѣдь это земля, не вода; правда, что только островъ, но все-таки земля, твердая земля, а не отвратительная влага, въ которой тонуть и которая отрѣзываетъ людей отъ міра.

Я сошелъ на берегъ... хорошо... но надо скорѣе ѣхать. Капитанъ передалъ меня старику морскому офицеру. Это смотритель маяка. Я услышалъ русскій языкъ — какое

счастье! Прошли сквозь невысокій лѣсъ и прибыли на маякъ. Тамъ старушка, жена смотрителя... Ахъ, какіе они хорошіе люди... Я имъ скоро все разсказалъ, и они все, все рѣшительно поняли... Вѣдь вотъ, она не мать мнѣ, а какъ ласкова, какъ добра. Они оба полюбили Терезу заглазно, а когда я имъ показалъ фотографію, то тогда они ее еще больше полюбили...

Сегодня, когда я написалъ эти строки, ко мнѣ пришелъ старшій докторъ больницы, нашъ Иванъ Андреевичъ, котораго всѣ очень любятъ, даже совсѣмъ сумасшедшіе любятъ. Онъ меня поразилъ.

— Покажите,—говорилъ онъ мнѣ,—вашу завѣтную фотографію Терезы.

— А что?—быстро отвѣтилъ я, схватившись за карманъ, въ которомъ держалъ эту фотографію, изъ боязни, чтобы ее у меня не отняли; вѣдь я привыкъ къ разнымъ насиліямъ, и думаю, что съ ними не останутся. — Вѣдь я много разъ показывалъ ее вамъ!

— Да, вы показывали... но я бы хотѣлъ посмотреть еще разъ... Мнѣ кажется, будто въ самомъ дѣлѣ я встрѣтилъ особу, очень на нее похожую.

Докторъ зорко смотрѣлъ на меня.

— Гдѣ встрѣтили вы ее?

— На Елагинѣ.

— Гдѣ, гдѣ?

— А если сойти съ Крестовскаго моста—пойти по шоссе налѣво, потомъ взять вправо къ мостику на прудѣ...

— Да, да, къ скамейкѣ,—быстро перобилъ я доктора и, вынувъ изъ кармана фотографію, далъ ее ему.

Докторъ пристально посмотрѣлъ на меня, а затѣмъ сталъ глядѣть на фотографію.

— Да, да, или я очень ошибаюсь, или я видѣлъ именно ее...



## 4.

Продолженіе вчерашняго.

На островѣ Сескарѣ жить долгое время было нельзя, потому что всѣмъ намъ, пароходнымъ людямъ, пришлось бы умереть съ голоду. Чухонскій поселокъ маленький, — у зрителя маяка только на себя да на жену припасовъ приготовлено; на команду его изъ трехъ человѣкъ — тоже мало. А у насъ на пароходѣ припасовъ взято всего на переѣздъ въ Киль, на четыре-пять дней, а команда больша — семнадцать человѣкъ.

Не знаю, что будутъ теперь дѣлать съ этимъ, но только... не это мнѣ важно, а она, она! Чудесную головку ея вижу я на каждомъ шагу, и она не покидаетъ меня и во снѣ... Утопленница... а если не утопленница... и я раза четыре садился писать Терезѣ письма. Добрая смотрительница обѣщала непременно переслать ихъ при первой возможности...

Но вѣдь это адъ, настоящій адъ! Я ничего не знаю, я видѣлъ, какъ она бросилась, видѣлъ! Нѣтъ, я положительно схожу съ ума... Быть отрѣзаннымъ отъ всего міра, не мочь шевельнуться, чтобы узнать что-нибудь на этомъ дикомъ островѣ. Все сосны, сосны, холодъ, и который ужъ день буря...

Сегодня вѣтеръ началъ стихать и рѣшено было послать въ Выборгъ баркасъ, съ просьбою о высылкѣ припасовъ. Рѣшено было, что поѣдетъ помощникъ капитана и я, и прямо къ датскому консулу.

Я не могъ дожидаться отплытія. Баркасъ стали готовить; на-ново, на-скоро просмолили; новую мачту сдѣлали, а вмѣсто скамеекъ поставили двѣ бочки. Я ходилъ смотрѣть на нихъ. Завтра утромъ тронемся. Парусъ будетъ рогожевый, и трое чухонъ проводниками, и съ ними малый парнишка.

Жду не дождусь отплытія. Ночью я не спалъ вовсе и смотрительница тоже не спала и все сидѣла со мною.

Не дождусь отплытія. Буря какъ будто слабѣетъ.

## 5.

Іюль—. . . .

Мнѣ кажется, что у меня воруютъ мой дневникъ. Вотъ и сегодня опять я не нахожу нѣсколькихъ страничекъ, а именно тѣхъ, которыя были писаны мною и сообщали о томъ, что совершилось отъ времени моего отплытія съ Сескара на баркасѣ въ Выборгъ, — до этой страшной встрѣчи Терезы въ морѣ... встрѣчи, отъ которой меня коробить и которая окончательно убѣдила меня въ томъ, что она утопилась.

Надобно повторить. Отплыли утромъ, на зарѣ. Я и помощникъ капитана сидѣли въ баркасѣ на двухъ поставленныхъ на днищѣ его бочкахъ; у рогожеваго паруса было двое чухонъ, на рулѣ сидѣлъ третій, подлѣ него паренекъ. Помню также, что все днище баркаса и его борта блестѣли рыбьями чешуйками. Все море бушевало бѣлыми вихрами волнъ, и сдвинуть баркасъ до извѣстной глубины оказалась не особенно легко и для этого были пущены въ ходъ всѣ наличныя мужскія силы острова. Добрая смотрительница проводила меня съ молитвою и перекрестила. Я долго видѣлъ ее стоявшею у каменнаго основанія неуклюжаго маяка.

И затѣмъ это люди лгали, что море стихло, не правда! холодъ значительно увеличился.

Я очень удивился, когда понялъ, для чего были взяты съ нами въ баркасъ какія-то колотушки: онѣ назначались, какъ я скоро въ этомъ убѣдился, для того, чтобы отбивать отъ бортовъ баркаса ледъ, который то и дѣло нарасталъ

на немъ отъ прибоя волнъ; если не отбивать, то можно, значить, пойти ко дну.

Должно полагать, что опасно было плыть при такихъ условіяхъ. Баркасъ, сравнительно съ его величиною, былъ очень мало нагруженъ, и большія, крутыя волны хозяйничали съ нимъ совершенно свободно. Иногда освобождалась отъ воды цѣлая половина его, то носовая, то кормовая, и висѣла секунду или три на воздухѣ, при чемъ съ очень не глубокаго обнаженнаго кия сливались въ море струйки воды. Иногда поднимался баркасъ такъ высоко, что все море, съ тысячами волнъ и ихъ вихровъ, виднѣлось мнѣ далеко кругомъ, сѣрое, бушующее, страшное; но не прошло нѣсколькихъ секундъ, какъ скатывался баркасъ въ воронку между двухъ чудовищныхъ волнъ, и тогда, кромѣ этихъ двухъ волнъ, поднимавшихся стѣнами, сквозившихъ на свѣтъ холодною сѣризною и увѣнчанныхъ скатывавшимися въ нашу сторону могучими вихрами, какъ бы готовыми влиться къ намъ въ баркасъ и затопить, — не было видно ничего. Въ эти минуты нахождения баркаса въ воронкѣ, кромѣ вихровъ волнъ надъ головами нашими, можно было наблюдать сотни расплывавшихся по поверхности волны какъ бы ползучихъ струекъ, снабженныхъ хорошенькими бордюрчиками изъ пузырей, а въ каждой изъ этихъ рамокъ видѣлъ я личико Терезы... все море было въ такихъ личикахъ!

Грохотъ вокругъ стоялъ страшный; хотя небо было подернуто облаками, но за многодневнымъ терзаніемъ ихъ вѣтромъ они были обращены въ какую-то совершенно одноцвѣтную массу, въ какой-то бѣлесоватый пологъ безъ всякихъ чертъ и оттѣнковъ. Вокругъ было чрезвычайно свѣтло...

Но затѣмъ... о! какъ страшно было это затѣмъ... такъ страшно, что послѣ этого я уже совершенно потерялъ сознаніе, и оно возвратилось ко мнѣ только тогда, когда я

очутился въ этомъ домѣ подѣ № 3 и сталъ писать этотъ дневникъ.

Помню, что, подражая совершенно бессознательно тому, что дѣлали другіе, и то отколачивая колотушкою образывавшійся на бортахъ баркаса ледъ, то отливая ковшомъ захлестываемую вѣтромъ на днище его воду, я вдругъ, словно съ электрическимъ ударомъ, почувствовалъ подлѣ себя близость Терезы...

Да, да... я почувствовалъ ее подлѣ себя, раньше чѣмъ увидалъ, и... почему-то взглянулъ вправо, на вершину волны... баркасъ находился въ это время на самомъ днѣ воронки... И вижу я, на самомъ верху волны, подлѣ вихра, въ самой массѣ ея — вся освѣщенная бѣлымъ свѣтомъ... плыветъ Тереза! Голубой платокъ обвертываетъ ея тѣло и движается по волнамъ своими углами; знакомое платье мелькаетъ подлѣ него... обозначаются руки, ноги... лица я не видѣлъ... Это она изъ Кронштадта приплыла!..

И вообще я не видѣлъ ничего больше до тѣхъ поръ, пока сталъ № 3.

## 6.

Весна, май, 14.

Мнѣ что ни день, то легче. Мнѣ очень нравятся ванны; мнѣ дѣлаютъ ихъ изъ какой-то душистой травы.

Сегодня мнѣ очень хорошо; теплый майскій день и мнѣ позволили выйти въ садъ. О! какъ хороша весна, какъ живительно солнце.

Были у меня сегодня отецъ и мать; лица ихъ сіяютъ радостью: докторъ объявилъ мнѣ, что мнѣ гораздо лучше. Особенно пріятна мнѣ доброта матери. Она какъ будто бы хочетъ загладить свою ошибку.

Она сообщала мнѣ въ очень неясныхъ выраженіяхъ, что

не ошибаюсь ли я въ судьбахъ Терезы, что дѣйствительно ли ея не существуетъ.

Но въ такомъ случаѣ что же дѣлали мои глаза, мои соображенія... гдѣ же, наконецъ, правда...

Днемъ я очень доволенъ собою, но ночи боюсь, боюсь ужасно, потому что меня посѣщаетъ одинъ и тотъ же безсвязный, мучительный сонъ. Днемъ я уже не вижу повсюду голову Терезы, — о чемъ я и заявилъ Ивану Андреевичу, но ночью, ночью я не властенъ въ своемъ сознаніи.

Вернувшись въ свою комнату изъ сада, я былъ очень доволенъ собою; къ вечеру, неизвѣстно отъ кого, мнѣ былъ присланъ восхитительный букетъ цвѣтовъ. Розы и орхидеи чередовались однѣ съ другими. Кто же могъ прислать мнѣ этотъ букетъ? Что за таинственные намеки на Терезу. Развѣ мертвые воскресаютъ?

Сегодня въ нашей бильярдной, вечеромъ, былъ я невольнымъ слушателемъ одного разговора двухъ изъ моихъ товарищей по больницѣ, сидѣвшихъ на диванѣ.

— А вы ночью хорошо спите?—спрашивалъ одинъ.

— Очень дурно сплю.

— А сны бываютъ?

— Два, три сна повторяются, не больше того.

— И страшные?!..

На этотъ вопросъ спрашиваемый ничего не отвѣтилъ; онъ быстро вскочилъ съ дивана, рѣзко захлестнулъ одну на другую полу своего халата, взглянулъ на меня и, показывая пальцемъ на своего собесѣдника, проговорилъ:

— Дурракъ!

А между тѣмъ ночь близилась. Я чувствовалъ тяжесть въ головѣ, я сознавалъ, что всѣ мои пріобрѣтенія силъ, сдѣланныя сегодня на прогулкѣ въ саду и при полученіи букета, сразу оставляютъ меня. Я ощущалъ глубокое паденіе духа, удрученность его, столь хорошо знакомую мнѣ

за все время, съ Крестовскаго острова начиная. Больные мало-по-малу расходились, бильярдная опустѣла, въ коридорахъ видѣлось тоже не много народа. Я медленно поднялся съ мѣста и тихо, очень тихо, точно разслабленный, побрелъ въ свою комнату.

На столѣ стоялъ букетъ. Чей? Отъ кого? А эти разговоры о Терезѣ, эти таинственныя обѣщанія, эта увѣренность въ томъ, что я видѣлъ собственными глазами...

Ночь, ночь! зачѣмъ сходишь ты на землю? зачѣмъ терзаешь ты бѣдныхъ больныхъ?

## 7.

Этотъ сонъ мой дѣйствительно ужасенъ. Было уже около десяти часовъ вечера, когда я, вернувшись изъ нашего сумасшедшаго клуба и раздѣвшись, легъ въ кровать. Я лежалъ на-сторожѣ, какъ бы мнѣ, такъ сказать, по своей волѣ заснуть, въ хорошую минуту, какъ бы, засыпая и чувствуя, что ко мнѣ приходитъ опять тотъ же проклятый сонъ,—имѣть возможность проснуться. И вдругъ случилось такъ, что не сонъ ко мнѣ пришелъ, не я его подстерегъ, а я вошелъ въ него самъ, и, уже находясь въ немъ, созналъ, что попался.

Вотъ онъ опять — этотъ бѣлый глазетовый гробъ, вотъ она—эта церковь, совсѣмъ, совсѣмъ знакомая,—Смоленскаго кладбища. Напрасно увѣряю я кого-то, какъ будто полицейскаго, что Терезу здѣсь хоронить нельзя, что она католичка, но полицейскій ничего не отвѣчаетъ.

— Здѣсь безпорядки будутъ, — говорю я ему, — здѣсь пляска пойдетъ...

— Ничего не знаю!—отвѣчаетъ голосъ.

Я въ отчаяніи. Я мечусь по церкви, отыскивая родственника, друга... Никого. Мое рысканье по церкви, какъ будто не имѣющей дверей, убѣждаетъ меня окончательно, что я

опять несомнѣнно въ ней, съ тѣми же приглашенными на похороны, и хотя я, правда, выходилъ, отлучался изъ нея куда-то, но только на одну минуту; а между тѣмъ эта одна минута, по моему ясному соображенію, это тѣ три-четыре дня, которые прошли вслѣдъ за послѣднимъ сномъ, когда я стоялъ пменно тутъ, на этомъ самомъ мѣстѣ, нюхалъ этотъ самый ладанъ, слышалъ этого самага священника и этотъ самый хоръ пѣвчихъ; вотъ онъ и знакомый дискантъ мальчишки-кантониста полкового хора, выводящій всѣмъ знакомое: «Плачу и рыдаю, егда помышляю»...

При этихъ словахъ я, какъ и тогда, совершенно безсознательно поворачиваю глаза мои къ покойницѣ... Да, да... неимущую лика, это, правда... но, вѣдь это поется почти плясовая пѣсня... вотъ и пѣвчіе опять начинаютъ отбивать тактъ ногами, пошевеливаясь на клиросѣ; вотъ уже гдѣ-то въ углу, въ церкви, тамъ, подальше, за приглашенными зрителями, какая-то парочка прямо пустилась въ плясъ... Господи! да неужели же повторится то же самое... да вѣдь я сплю, вѣдь это только сонъ, не болѣе какъ сонъ...

— Ну, ужъ это вы извините, — говоритъ мнѣ кто-то, — это вовсе не сонъ, потому что сонъ никакого матеріальнаго слѣда не оставляетъ, а вы сами видите, что деревянные, золоченые лучи надъ иконами пошевеливаются отъ плясового вѣтра, идущаго изъ алтаря, они непременно подъ утро погнутся, отчасти поломаются, и вы убѣдитесь въ этомъ завтра утромъ, если пріѣдете въ церковь не во снѣ, а на яву...

— Да вѣдь я уже былъ въ церкви, послѣ второго моего сна, былъ, и самъ видѣлъ, что всѣ лучи на иконахъ такіе же прямые, и закоптѣлые, и запыленные, какъ были, но не было между ними погнутокъ, поломанныхъ...

— Но ты ошибаешься, — говорятъ мнѣ другой голосъ, замѣнивъ любезное «вы» болѣе дружелюбнымъ «ты». — Ты

спалъ, когда ты ѣздишь на кладбище осматривать эти лучи, а теперь—ты не спишь, теперь ты видишь на яву!

— О! ради Бога! кто бы вы ни были, отпустите меня,—восклицаю я, дайте мнѣ возможность пошевелиться, ну хоть мизинцемъ шевельнуть, чтобы хоть кто-нибудь изъ живыхъ, если такіе есть въ церкви, замѣтилъ, что я еще живъ, и спасъ меня! Дайте мнѣ возможность отойти отъ этого ужаснаго гроба убитой мною дѣвушки...

Но нѣтъ! никто меня не слушает! ризы священника и дьякона тоже двигаются на-отмашъ и изъ боковыхъ дверей алтаря начинаютъ вытягиваться двумя живыми гирляндами знакомыя мнѣ танцовщицы; въ прошлый разъ въ царскихъ дверяхъ стояла одна изъ нихъ, теперь почему-то царскія двери закрыты. Но эти танцовщицы, какія онѣ хорошенькія, какія у нихъ коротенькія газовыя платьица, и какъ онѣ смотрятъ, какъ смотрятъ... ну ужъ про этихъ нельзя сказать «непмуція лика». Впрочемъ, этихъ словъ и не поютъ больше, поютъ что-то совсѣмъ, совсѣмъ другое... Танцовщицы направляются къ намъ двумя бѣлыми вереницами, охватываютъ двумя гирляндами гробъ и меня... Какаѣ старая исторія. Зачѣмъ, зачѣмъ все это... Ну да, да, я убійца этой дѣвушки, но вѣдь на то есть судъ, есть цѣлое министерство, есть печать! это, по крайней мѣрѣ, будетъ публично, правильно, а тутъ... вѣдь это хуже тюрьмы инквизиціи...

Но, наконецъ, вотъ и самое страшное, вотъ оно подходитъ, наступаетъ; оно не могло не наступить, это уже совсѣмъ законно дѣлается... но, какъ же мнѣ спастись, какъ уйти, исчезнуть, провалиться... Господи! вѣдь сны созданы тобою для величайшихъ наказаній... уничтожь его, погаси!..

Но я тоже уже пляшу. На правомъ плечѣ у меня лежатъ лѣвая рука моей Терезы, страшно тяжелая, тяжелая, какъ весь памятникъ Петра Великаго, правою сжимаетъ



она своими холодными пальцами мои пальцы, давно, еще при жизни, за все время моей болѣзни и столбняка, слезавшимися... Лицо ея... лицо должно быть гдѣ-то совсѣмъ близко, потому что отъ него въ мое лицо холодомъ вѣетъ, но я его почему-то не вижу... гдѣ лицо? Голубой платокъ, Богъ вѣсть откуда взявшійся, обвиваетъ насъ; удивительно, что онъ не мѣшаетъ намъ плясать, въ ногахъ не путается, а окружаетъ какою-то лазурною сферою, по которой играютъ отблески церковныхъ лампадъ и свѣчей...

— Ну, пляши, пляши, голубчикъ, — говоритъ она, — видишь ли какъ хорошо, не правда ли? Сколько лазури!

— Но вѣдь тебѣ плясать неловко, въ твоемъ длинномъ бѣломъ балахонѣ, — отвѣчаю я, — ноги запутаются, да и я упаду.

— Ну, это не важно, что ты упадешь, а я-то своими мертвыми ногами, въ мертвыхъ складкахъ, отлично работаю. Видишь, какъ ловко, видишь ли?

Музыка и пѣніе ускоряются, частятъ, уже всѣ люди пляшутъ, уже всѣ деревянные лучи на иконахъ выются какъ живые... Совершенно безсознательно отвѣчаю я какому-то непреоборимому теченію и двигаюсь, двигаюсь въ размѣръ страстной плясовой пѣсни, исполняемой всѣми нами вмѣстѣ... Танцовщицы, это тоненькія, хорошенькія флейты въ бѣлыхъ юбочкахъ съ помпончиками на головахъ...

— И мы тоже дѣтей рожали, — говорятъ онѣ, — и мы тоже были счастливы и теперь тоже очень, очень счастливы! Пляши! Пляши съ нами! у тебя чудесная дама, единственная дама! вѣдь ты, помнишь, цѣловалъ, обнималъ ее.. тра-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла! Только твоя дама такая тяжело вѣсная, не то, что мы! уложи ее скорѣе, уложи... Пойдемъ съ нами!

Нѣтъ! я не могу больше дышать... я — не я... меня нѣтъ, я ничего не вижу... сердце стучить ужасно... воздуха

нѣтъ, а есть одинъ только ладанъ... Спасите, хоть убейте, но спасите!

Въ это самое время, рѣшительно не знаю откуда, появляется гдѣ-то на воздухѣ, выше пляшущихъ, ликъ Богоматери, и именно Казанской Богоматери, которой отецъ молился, когда я и Тереза ходили подъ колоннадою... Этотъ ликъ много разъ являлся спасать меня отъ сна, и спасалъ; какъ это я не вспомнилъ о немъ, какъ не призвалъ спасать? Чудесное видѣніе несется, несется ко мнѣ изъ какихъ-то благодатныхъ пространствъ, оттуда, гдѣ есть спасенье, гдѣ меня, наконецъ, услышали!.. Звуки, острые какъ ножи, звуки плясовой, смѣшавшіеся вмѣстѣ съ заупокойными, быстро слабѣютъ, танцовщицы затуманиваются, правое мое плечо освобождается отъ гранитной тяжести на немъ лежавшей... гроба нѣтъ... лазури нѣтъ... церкви нѣтъ, и первая струя живого, прохладнаго, чистаго воздуха, впервые послѣ долгаго отсутствія, побѣдно, какъ пасхальная пѣснь, врывается въ мою истерзанную, горячую, словно залитую кровью въ какой-то чудовищной бойнѣ, безсильную, одрябшую грудь.

Господи! какъ легко! какъ мнѣ хорошо!

#### IV.

Я привелъ нѣсколько выписокъ изъ моего «Дневника», веденнаго мною, когда я былъ «№ 3». Въ немъ есть нѣкоторыя страницы, полныя безумнаго бреда. Теперь всѣ онѣ для меня одинаково любопытны.

Есть страницы замѣчательной послѣдовательности въ изложеніи, напримѣръ, хотя бы описанія пути съ Сескара въ Выборгъ и бури. Читаю я ихъ, и перечитываю, и думаю: неужели же, когда я писалъ такъ, я былъ сумасшедшій?

Но, какъ интересно смотрѣть на самого себя издали,

безпристрастно, смотрѣть какъ на нѣчто совсѣмъ объективное, ничего общаго съ вами не имѣющее. То былъ одинъ я, а теперь существуетъ и смотритъ другой я.

Передъ тѣмъ, чтобы быть выпущеннымъ изъ больницы, я выдержалъ опасную, острую мозговую болѣзнь и, кажется, еще что-то въ родѣ тифа. Выздоровленіе мое шло медленно и рѣшено было сообщить мнѣ съ великою осторожностью, что Тереза дѣйствительно жива. Мнѣ объяснили сначала появленіе въ больницѣ таинственныхъ букетовъ, затѣмъ сказали, что Тереза чудеснымъ образомъ спаслась, затѣмъ сказали, что она за границей у родныхъ, что она скоро пріѣдетъ и что, вотъ, мнѣ отъ нея письмо... Это письмо вручила мнѣ сама матушка моя.

Я схватилъ письмо и опустилъ съ нимъ руку. Въ глазахъ моихъ потемнѣло, и я ничего не помню. Можетъ-быть, мнѣ сообщили объ этой радости слишкомъ рано, не соразмѣривъ важности извѣстія съ возобновлявшимися силами моими.

Тогда я пожелалъ свиданія съ Терезою, и оно устроилось...

И вотъ, не прошло года послѣ нашего послѣдняго свиданія въ Кронштадтѣ. О холодной осени, мглѣ, вихряхъ не было и помину; стояла прекрасная іюльская погода. Я, правда, былъ еще очень слабъ, но молодой организмъ быстро пересплывалъ эту временную немощь, и я чувствовалъ себя безконечно полнымъ жизни и радости.

Мнѣ сказали, что Тереза пріѣдетъ скоро, что она уже выѣхала изъ Париза, что, вотъ, еще день, два, что вотъ это будетъ, наконецъ, завтра... и это завтра наступило.

Семья наша жила, опять-таки, на Крестовскомъ и на той же дачѣ; все, все имѣлось налицо, начиная отъ голубятни и Агаѣи, кромѣ, однако, кухни—такъ какъ она куда-то уѣхала. Мнѣ сказали, что Тереза пріѣдетъ сегодня около полудни.

Свиданіе наше устроили очень осторожно, въ томъ смыслѣ, что я очутился съ Терезою, съ глазу на глазъ, безъ свидѣтелей. Помню, что я, въ ожиданіи... долго ходилъ у себя по комнатѣ, нѣсколько разъ выходилъ въ садъ, возвращаясь, опять ходилъ и, наконецъ, усѣлся въ кресло. Сердце мое билось очень сильно; я думаю, что для того, чтобы выдержать такое клокотанье его, надобно имѣть очень сплывую грудь. Помню, что, совершенно для меня неожиданно, когда я, измаявшись ожиданіемъ, спдѣлъ въ какомъ-то почти безсознательномъ состояніи, съ потерей самочувствія, въ комнату вошла Агабья.

— Барышня Тереза пріѣхали!—сказала она и, вслѣдъ за этимъ, немедленно вслѣдъ за быстрымъ уходомъ Агабьи—на порогъ комнаты увидѣлъ я Терезу.

— Ты... ты!—воскликнуть я и кинулся къ ней...

Все забылъ я, все рѣшительно: мать, отца, болѣзнь, страхъ, забылъ гдѣ мы, что мы, и, въ какомъ-то мгновенномъ опьяненіи всѣхъ силъ моего возрождавшагося духа, обнялъ ее и цѣловалъ, цѣловалъ... Вѣдь я цѣловать мою невѣсту, въ этомъ я не сомнѣвался ни одного мѣновенья. Тогда, осенью, при отъѣздѣ, въ полной безнадежности отчаянія, поцѣловала она меня, теперь очередь была за мною и, должно полагать, что я исполнилъ свою обязанность не дурно.

Я подвелъ Терезу къ окну и сѣлъ съ нею на тотъ именно диванчикъ, стоявшій къ окну бокомъ, на которомъ такъ часто, и такъ безнадежно спживалъ я, выслѣживая мелькавшую съ дѣтми, въ зелени сада Терезу.

Я наклонился къ ней и молча всматривался въ лицо. Тереза была тоже очень блѣдна, но прелестна, прелестна до безконечности.

— Можно мнѣ войти!—неожиданно улыхалъ я изъ-за дверей голосъ мамани.

— О! да, да! войдите!

— Я не одна, я съ докторомъ, съ Иваномъ Андреевичемъ,—проговорила мамаша, входя въ комнату.

Оба они, дѣйствительно, имѣлись налицо. Отецъ отсутствовалъ, а Иванъ Андреевичъ, видимо, былъ приглашенъ на всякій случай, изъ опасенія.

— Докторы! дорогой докторъ! Иванъ Андреевичъ! — воскликнулъ я и бросился обнимать его.

— Позвольте мнѣ,—сказала мамаша, обращаясь къ Ивану Андреевичу,—представить вамъ невѣсту моего сына

Она подвела къ нему сильно озадаченную и безмолвную Терезу.

— Такъ это вы та Тереза, чью фотографію носилъ вашъ женихъ постоянно въ карманѣ? Задали вы намъ хлопотъ, нечего сказать. Ну, да слава Богу, все благополучно кончилось, слава Богу!

Тѣмъ временемъ я не удержался отъ того, чтобы не подойти къ моей матушкѣ и не поцѣловать ея рукъ. Я зналъ, что при ея непреклонномъ, вполнѣ мужскомъ характерѣ, слова, сказанныя доктору, что Тереза моя невѣста, были совершившимся фактомъ.

— Ну, что же дальше?—спросилъ докторъ, обращаясь ко мнѣ,—дневника вашего писать больше не будете? Ну, конечно, не будете! А если будете, то уже навѣрное ни мнѣ, ни мамашѣ, никому другому не покажете, все секреты будутъ, ха-ха-ха...

И докторъ добродушно смѣялся.

Этой роскошной минуты моей жизни—свиданія съ Терезой, я, конечно, никогда не забуду, но, не могу не упомянуть, что, чувствуя всю великость жертвы, принесенной для меня, теперь уже давно умершею, матушкой, я оставался къ ней холоденъ, хотя и почтителенъ, навсегда. Должно отдать справедливость Терезѣ, что она, ставъ моею

милою женою, сторицею вознаградила матушку мою своими къ ней ласками. Склоняясь передъ ея умомъ и авторитетностью, Тереза не пережила тѣхъ минутъ, что я пережилъ: ей становилась поперекъ дороги совершенно чуждая ей женщина, тогда какъ мнѣ мѣшала жить моя родная мать... Но, это только къ слову, потому что благодарность моя къ ней не имѣетъ границъ, и я къ памяти ея благоговѣю.

На самыхъ первыхъ дняхъ нашего счастья, на второй или на третій день свадьбы, но не раньше, заговорилъ я съ Терезой о тяжеломъ времени нашего прощанія.

— А гдѣ же твой голубой платокъ?—спросилъ я ея.

— Какой голубой платокъ? Ахъ, да тотъ, теплый, въ который я, помню, бывало, такъ куталась, онъ должно быть гдѣ-то очень далеко въ морѣ. Когда твой пароходъ отошелъ, ты помнишь страшные порывы вѣтра. Я не могла стоять дольше, такъ сильны были эти порывы, и только что повернулась, чтобы уйти, какъ налетѣлъ вихрь, сорвалъ съ меня платокъ, въ который я хотѣла плотнѣе закутаться и для этого нѣмного раскрыла его, и откинулъ въ воду... Но почему ты спросилъ объ этомъ платкѣ?

Тогда же объяснилъ я ей причину моего вопроса и страшное видѣніе въ морѣ. Позже узналъ я изъ рассказовъ: какъ прибылъ мой баркасъ въ Выборгъ, какъ меня, ничего не помнившего, бѣднаго полупомѣшаннаго, сдали на руки датскому консулу, у котораго въ домѣ провелъ я цѣлую ночь, до утра, когда можно было отправить меня въ Петербургъ; лица этого консула я совсѣмъ не помню. Смотрительницѣ маяка, какъ разъ вслѣдъ за свадьбою нашею, послали мы съ Терезою два простенькихъ столовыхъ прибора, на шесть человѣкъ: чайный и столовый; я помнилъ очень хорошо полуразбитыя чашки и тарелки, въ которыхъ добрая смотрительница поила и кормила меня.

---

Много лѣтъ миновало послѣ всего разсказаннаго. Еще живъ и до сегодня мой отецъ; очень старый, но, сравнительно, бодрый, давно передавшій мнѣ всѣ дѣла свои. Знакомы мы и съ кузиною Машею—нынѣ матерью обширной семьи; кузина титулуется «ваше высокопревосходительство», и всѣ сыновья ея окончили Пажескій корпусъ. У насъ дѣтей нѣтъ, но нельзя же имѣть всѣхъ благословеній.

Въ довершеніе маленькая картинка. Я съ женою посѣтили въ текущемъ году Сескаръ. Устроилось это такъ, что одинъ изъ богатыхъ коммерсантовъ, англичанинъ, имѣющій свою паровую яхту, предложилъ намъ, вмѣстѣ съ другими, прогулку по Финскому заливу—въ Выборгъ, Нарву, Ревель и Гангё. Я напомнилъ о существованіи Сескара и просилъ, нельзя ли побывать на немъ.

— Это легче легкаго!—отвѣтилъ любезный коммерсантъ,—и мы сдѣлаемъ это по пути изъ Выборга въ Нарву.

Поѣздка устроилась.

Чудесный былъ вечеръ, когда наша красивая яхта подходила къ Сескару. Издали завидѣли мы знакомый мнѣ маякъ, который, когда мы бросили якорь, казался розовымъ въ сіяніи поздняго заката. Хотя лѣтняя ночь была совершенно свѣтла, но, въ видѣ роскоши, взошла также и полная луна. Рѣшено было, до ужина, съѣхать на берегъ, и наши шлюпки,—ихъ было на яхтѣ двѣ,—скоро доставили насъ къ берегу, при посредствѣ, конечно, мѣстнаго человѣка, лодмана: я вспомнилъ, какъ трудно было спустить на соответствующую глубину нашъ неуклюжій, плоскодонный баркасъ.

Зашли мы на маякъ. Смотрителя и его старушки жены даже не помнили; его смѣнилъ уже третій, а куда дѣлся тотъ, что былъ при мнѣ, и его старушка жена, никто не могъ бы сказать намъ, если бы не единственный свидѣтель, бывший на баркасѣ нашемъ парнишка. Такъ какъ

все наше общество, приблизительно знало мою исторію, а о крушеніи моего парохода подлѣ Сескара я самъ разсказалъ, то оно не только не удивлялось разспросамъ, но само помогало дѣлать ихъ.

— Такъ ты помнишь,—спросилъ я чухну лопмана, свезшаго насъ на берегъ,—когда тутъ датскій пароходъ «Oscident» на берегъ выкинуло.

— Помню. Давно было...

— А его потомъ сняли?

— Сняли весною.

— А помнишь ты баркасъ, и какъ онъ въ Выборгъ поплылъ, въ самую бурю.

Чухна улыбнулся во весь ротъ.

— Помню... и васъ тоже помню!—произнесъ онъ неожиданно для всѣхъ насъ.

— Меня!—невольно воскликнулъ я, крайне удивленный, равно какъ и всѣ мои товарищи по яхтѣ. — Да кто же я такой?

— А ты баринъ на бочкѣ сидѣлъ...—чухна продолжалъ улыбаться:—молодой былъ.

— Ну, дальше!

— Ты... того былъ... шальной былъ баринъ... говорилъ намъ: вотъ она, вотъ она плыветъ!.. а никакого она нѣтъ, только волны... мы тебя на берегъ свезли, къ консулу.

Сообщилъ намъ чухна также и о томъ, что смотритель съ женою давно уже куда-то съ острова отбыли и что подлѣ Сескара суда и теперь нерѣдко разбиваются.

Во время разсказа чухны, я стоялъ держа подъ руку Терезу, и чувствовалъ, какъ сильно прижалась она ко мнѣ.





# ОКО ЗА ОКО.

---

## I.

Отравился стрихниномъ и умиралъ молодой человекъ Михаилъ Петровичъ Картаевъ. Старшій, на двадцать лѣтъ, братъ его, Ѳеодоръ Петровичъ, два врача и фельдшеръ находились тутъ же.

Спальня, въ которой лежалъ умирающій, выходила по Англійской набережной на Неву; сквозь опущенныя бѣлыя шторы высокихъ оконъ сквозилъ, готовый погаснуть, совершенно пасмурный зимній денекъ; было 3 часа полудни.

Смерть, при отравленіи большими дозами стрихнина, наступаетъ далеко не одинаково быстро: отъ нѣсколькихъ минутъ до нѣсколькихъ часовъ; въ данномъ случаѣ смерть не торопилась; доктора возились съ больнымъ уже болѣе двухъ часовъ времени. Глубокая неопикуемая тревога обуяла умиравшаго; два приступа столбняка уже прошли, и приходилось ожидать третьяго — будетъ ли онъ послѣднимъ?

Старшій братъ, Ѳеодоръ Петровичъ, только-что отойдя отъ кровати, вышелъ въ другую комнату и, такъ какъ шторы въ этой комнатѣ опущены не были, сталъ смотрѣть на

Неву. Нева заволакивалась тѣмъ непригляднымъ, сѣро-зеленымъ покровомъ мглы, гдѣ не было солнечныхъ лучей, но чувствовалась сырость воздуха, насыщеннаго дымомъ. Не болѣе свѣтло было и на душѣ Ѳеодора Петровича, такъ неожиданно и такъ страшно терявшаго горячо любимого брата.

И онъ, хотя косвенно, чувствовалъ себя виновнымъ въ этой смерти. Онъ, съ юныхъ лѣтъ и отнюдь не по нуждѣ,—потому что былъ замѣчательно богатъ—но соп аморе, любилъ естественныя науки, былъ и химикомъ, и фізіологомъ, и врачомъ, и имѣлъ у себя дома всякіе препараты, реагенты, яды и проч. Братъ, невѣдомо для него, конечно, воспользовался стрихниномъ, и отравившемуся оставалось жить недолго: надежды не могло быть никакой...

Мрачны были мысли Ѳеодора Петровича. Одна изъ быстро мелькавшихъ мыслей его была какъ-будто неумѣстна: «отъ чего онъ, братъ мой,—думалось ему,—не безпозвоночное животное, не ракъ или жукъ, на которыхъ стрихнинъ не дѣйствуетъ?» Но эту мысль быстро перешибли другія, гораздо болѣе своевременныя... Братъ его погибалъ вслѣдствіе...

— О! если бы мнѣ только извести эту женщину! Если бы скорѣе сдѣлать это... основательнѣе. Спалить бы эти проклятые, цыганскіе, черные глаза ея... или... или...

Въ это время быстро вошедшій въ комнату одинъ изъ докторовъ сообщилъ Ѳеодору Петровичу, что новый приступъ, третій счетомъ, можетъ-быть послѣдній, приближается. Ѳеодоръ Петровичъ быстро вернулся къ брату.

Умиравшій являлъ на себѣ всѣ страшныя особенности смерти отъ стрихнина, достаточно ясно различимыя присутствовавшими, благодаря довольно сильному освѣщенію двумя электрическими лампочками, сіявшими въ спальнѣ.

Невѣроятно учащенное дыханіе порывисто вздымало грудь его и томительное, неописуемое безпокойство обуяло уми-

равшаго, который, несмотря на подступавшій припадокъ, сохранялъ, однако, полное сознаніе...

— Охъ! скорѣе бы, скорѣе бы, — процѣживалъ онъ съ трудомъ сквозь непроизвольно сжимавшіеся зубы...—Гдѣ же священникъ?

— Отецъ Илья прибудетъ черезъ нѣсколько минутъ, — отвѣчалъ ему Ѳеодоръ Петровичъ, ставъ вплотную къ кровати и наклонившись къ нему.

Кровать была отодвинута отъ стѣны. Это было необходимо, потому что при особомъ свойствѣ судорогъ, вызываемыхъ стрихниномъ, нужно было поддерживать корчившагося больного съ двухъ сторонъ.

— Поддержите! поддержите!—проговорилъ онъ, чувствуя приближеніе ужасной судороги.

Оба врача, братъ и фельдшеръ, по-двое съ каждой стороны кровати, расположились у середины ея и послѣдно просунули руки подъ поясницу умиравшаго, начинавшую отдѣляться отъ тюфяка. Неистовый крикъ больного опередилъ судорогу. Крѣпко сжались зубы, и ярко бѣлѣли среди лица, сдѣлавшагося темнокраснымъ, бѣлки выкатившихся глазныхъ яблокъ. Спина все выше и выше отдѣлялась отъ кровати, поддерживаемая восемью руками стоявшихъ подлѣ людей. Затылокъ упорно, неудержимо скользилъ по направлению къ пяткамъ, которыя подвигались къ нему навстрѣчу; сине-багровымъ становилось страшное лицо; рѣзко напряженные мышцы груди и живота выпячивались и, въ концѣ припадка, все тѣло представляло изъ себя какъ бы дугу, поддерживаемую на-вѣсу людьми. чтобы она не свалилась на сторону; грудь и животъ были тверды, какъ доска.

Искусственное дыханіе, а также вдыханіе хлороформа не помогали болѣе въ данномъ случаѣ; сильные приемы хлораль-гидрата оказались ненужными. Третьяго приступа столбняка Михаилъ Петровичъ не пережилъ: онъ былъ

имъ задушенъ. Дыханіе и пульсъ остановились, зрачки расширились, и тѣло посинѣло. Столбнякъ перешелъ въ трупное окоченѣніе.

Удостовериться въ смерти этого человѣка было не трудно, какъ только разогнулось тѣло его и заняло мѣсто вдоль кровати. Особенно старательно и долго закрывалъ фельдшеръ глаза умершаго, бѣлѣвшіе на страшно потемнѣвшемъ лицѣ мертвеца.

Въ эту минуту вошелъ священникъ.

— Поздно, батюшка,—проговорилъ ему навстрѣчу Ѳеодоръ Петровичъ и, рыдая, обнялъ почтеннаго пастыря, бывшаго духовникомъ обонхъ братьевъ и ихъ умершаго пятнадцать лѣтъ назадъ отца.

## II.

Многіе въ Петербургѣ говорили, что Ѳеодоръ Петровичъ Картаевъ, извѣстный коммерціи совѣтникъ и кавалеръ, миллионеръ, холостякъ человѣкъ пятидесяти лѣтъ отъ роду—бѣлится и румянится, какъ женщина. Но это была неправда: такъ естественно свѣжа была кожа его лица; такъ ровны, мягки и бархатны здоровыя краски. Подобная свѣжесть лица встрѣчается только въ деревняхъ, и то не часто, но, такъ какъ Картаевъ былъ въ полномъ смыслѣ слова горожаниномъ, то и могъ служить полнѣйшимъ опроверженіемъ мнѣнія, будто въ Петербургѣ не житье для здоровыхъ людей. Кровь его, въ мозгу, въ сердцѣ, при пищевареніи, не застаивалась и работала безъ напряженія, безъ усилія, ровно и правильно.

Въ концѣ знаменитой «Исторіи консульства и имперіи» Тьера, говорится о томъ, что пульсъ Наполеона I былъ не въ мѣру медленъ, и это, надобно полагать, обуславливало

въ самыя критическія минуты жизни отличавшее его поразительное спокойствіе.

Высокій ростъ, красивыя очертанія лица, пріятный голосъ и самыя простыя, вполнѣ джентльменскія манеры отличали Ѳедора Петровича не только среди кушцовъ и биржевиковъ русской породы, но и людей аристократическаго происхожденія.

Это было тѣмъ удивительнѣе, что Картаевъ явился на свѣтъ, такъ сказать, безъ роду, безъ племени, не изъ томъ смыслѣ, чтобы родъ его былъ непочтененъ, но еще очень недавно о Картаевыхъ никто не зналъ и не вѣдалъ. Лѣтъ сто тому назадъ нѣкій раскольникъ безпоповщинскаго согласія—Картай сталъ торговать лѣсомъ и хлѣбомъ на Волгѣ. У этого Картая былъ сынъ Петръ, уже не Картай, а Картаевъ, продолжавшій отцовское дѣло. По веснѣ гналъ онъ лѣсъ изъ Ярославля до Астрахани; по срединѣ лѣта поднималъ изъ Саратова хлѣбъ къ Рыбинску. Сначала былъ у него одинъ плотъ и небольшая барка; черезъ двадцать лѣтъ спускались Картаевскіе плоты на протяженіи цѣлыхъ губерній, а величавыя баржи, со сторожками для жилья рабочихъ на палубахъ, буксировались собственными пароходами. Ни съ какими банкирскими конторами, ни съ вежселедателями Петръ Картай, отецъ Ѳедора Петровича, дѣла не имѣлъ, торговалъ въ чистую, а условіемъ служило: «по рукамъ!» Тысячами считалъ онъ судовыхъ рабочихъ, и все то были раскольники разныхъ толковъ, люди непьющіе, честные; чужія баржи гибли, хлѣбъ подмачивался, пароходы ломались, а Картаевскія суда проходили благополучно. Денегъ онъ не копилъ; сведетъ, бывало, счета по окончаніи лѣта, смотришь: у Картая уже и имѣнье, или домъ присмотрѣны, а затѣмъ и куплены. Громкое было у него имя на Волгѣ, но въ столицахъ имя Картаевыхъ стало извѣстно только тогда, когда старикъ умеръ и, какъ гла-

силы корреспонденціи газетъ, однимъ судебнымъ приставамъ за разныя описи заплачено будто бы болѣе ста тысячъ рублей.

Дожилъ Петръ Картай до 88 лѣтъ и умеръ на Волгѣ, въ любимой комнатѣ своей любимой усадьбы. Это была комната съ массивными, краснаго дерева стульями, большимъ дубовымъ столомъ, поломъ, покрытымъ цыновками; въ красномъ углу висѣлась божница. Особенность вкуса старика сказывалась въ обояхъ: всѣ они представляли различные сцены: лѣто, осень, охоту, замки съ рыцарями; въ парадной комнатѣ видѣлись обои, привезенные кѣмъ-то изъ Америки. Тутъ развѣшивалась цѣлая картина по четыремъ стѣнамъ: Ніагарскій водопадъ, скалы, горы, пароходы, корабли, желѣзно-конная дорога, военные смотры, видъ Нью-Йорка съ капитоліемъ, выгрузка товаровъ на пристани. Весь этотъ широкій пейзажъ былъ чрезвычайно оживленъ верховыми, пѣшими, всякими янки, неграми и даже краснокожими индѣйцами съ перьями на головныхъ уборахъ. Обои эти, судя по костюмамъ женщинъ, шляпамъ и скортукамъ мужчинъ—явились на свѣтъ въ тридцатыхъ годахъ. Какъ попали они на Волгу?

— Люблю на это глядѣть,--говаривалъ старикъ,--люблю жизнь!

Любилъ онъ жизнь, и все-таки пришлось ему умереть, глядя на эти обои. Послѣ него осталось два сына. Смерть младшаго изъ нихъ—Михаила, обусловила то, что раздѣлившееся пополамъ огромное состояніе снова соединилось въ рукахъ старшаго брата—Федора. Федоръ Петровичъ, блестящимъ образомъ окончившій курсъ въ Московскомъ университетѣ; не прерывалъ и дѣлъ на Волгѣ, но жилъ въ Петербургѣ. Онъ владѣлъ многими домами, имѣлъ большіе вклады въ банкахъ; ему, по разнымъ уѣздамъ разныхъ губерній, принадлежитъ не одинъ десятокъ тысячъ десятинъ

земли, и три четверти акцій одной изъ желѣзныхъ дорогъ въ его же рукахъ.

Состояніе Ѳедора Петровича, какъ сказано, могло бы быть ровно вдвое меньше, если бы не умеръ младшій братъ его, Михайлъ. Братья, несмотря на разницу лѣтъ, жили душа въ душу, и ранняя смерть младшаго сильно поразила Ѳедора Петровича. Михайлъ покончилъ съ собою, какъ говорится, изъ-за любви. Была одна великосвѣтская барыня, нѣкая Нина Марковна Клѣтова. Она брала съ него деньги безъ совѣсти, но главное, извела его своею вѣтреностію и связями съ другими, осчастливленными ею за меньшія средства, чѣмъ давалъ Михайлъ Картаевъ. «Приволжскіи купчикъ», какъ звала она его за глаза, не имѣлъ достаточно характера, чтобы такъ или иначе покончить со своею связью, и предпочелъ отравиться. Онъ умеръ на глазахъ нѣжно любившаго и знавшаго всю его печальную исторію брата. Послѣднимъ поводомъ къ самоубійству послужила новая связь Нины Марковны съ княземъ Сарскимъ, пожилымъ аристократическимъ карьеристомъ, умѣвшимъ пользоваться, въ жизни своей, всѣмъ тѣмъ, что дурно лежало, и что можно было съ выгодною для себя подобрать; подобралъ онъ и Нину Марковну.

Есть сильныя ощущенія, которыя не забываются, они сохраняются въ душѣ человѣка, какъ неизсякающій родникъ, вѣчно примѣшивающій свои струи ко всѣмъ рѣшительно теченіямъ жизни человѣка.

Чего ни дѣлалъ Ѳедоръ Петровичъ, чтобы спасти своего брата! Ничто не помогало. Нина Марковна оставалась неуязвимою. Михайлъ Петровичъ погибъ.

Эта смерть, несомнѣнно, послужила тѣмъ неизсякающимъ родникомъ, который какъ бы объединилъ въ Ѳедорѣ Картаевѣ всѣ его прежніе взгляды на жизнь и направилъ всѣ его послѣдующія дѣйствія.

Въ немъ появилось нѣчто совершенно радикальное, но не въ смыслѣ политическомъ. Въ немъ явилось озлобленіе ко всякому тунеядству, ко всякой людской низости, въ чемъ бы она ни проявлялась.

Въ огромномъ кабинетѣ его, обставленномъ съ большою роскошью, два года спустя послѣ смерти Михаила Картаева, въ глубокую зиму, въ первомъ часу пополудни, сидѣли: хозяинъ и старинный товарищъ его по университету, Иванъ Макаровичъ Кавлинъ.

На Ѳедорѣ Петровичѣ была австрійская, сѣрая, съ зеленой строчкой, охотничья куртка. Онъ сидѣлъ за столомъ, приставленнымъ вплотную къ окошку, и глядѣлъ въ микроскопъ, разговаривая черезъ плечо съ Кавлинымъ, усѣвшимся къ дивану. Около микроскопа стояли различные аппараты: баночка, накрытая стекломъ, щипчики и ножички разныхъ величинъ, лупы, нѣсколько скляночекъ съ жидкостями и проч.

На стѣнахъ, бокъ-о-бокъ съ превосходными картинами, видѣлись: щитъ гигантской черепахи, арматура изъ боевыхъ принадлежностей, одѣлій и музыкальныхъ инструментовъ жителей Зондскаго архипелага; на нѣсколькихъ столахъ красовались атласы, кипсеки, альбомы; въ одномъ углу, подставкою большого канделябра бѣлѣлъ огромный сѣверный медвѣдь; въ другомъ—исполняя то же назначеніе—высилъ великолѣпный ослабившій зубы и готовый броситься тигръ.

По стѣнѣ, противоположной пяти окнамъ кабинета, поднимались два огромныхъ шкапа съ книгами и между ними, на высокой подставкѣ изъ сѣраго сердобольскаго мрамора—бѣлый мраморный бюстъ покойнаго брата Ѳедора Петровича—Михаила.

На стѣнахъ, кромѣ картинъ и арматуръ, кое-гдѣ висѣли фотографіи; по угламъ видѣлись фигуры въ костюмахъ,



привезенныхъ Картаевымъ изъ кругосвѣтнаго плаванія. На одномъ изъ столовъ, подъ большимъ стекляннымъ колпакомъ, красовался громадный гепардъ на тонкихъ, высокихъ ногахъ; когда-то гепардъ этотъ, совершенно ручной, подобно тому, о которомъ рассказываетъ Брэмъ, ходилъ за Ѳедоромъ Петровичемъ во время пребыванія его на Зондскихъ островахъ,—какъ собака.

Подлѣ оконъ стояли тоже столы, съ колбами, склянками и ретортами. Въ двухъ шкапахъ, подлѣ боковыхъ стѣнъ, виднѣлись изъ-за стеколъ всякіе скелеты, чучела, коллекціи камней, металловъ, бабочекъ и жуковъ.

— Что новенькаго? — проговорилъ хозяинъ, продолжая смотрѣть въ микроскопъ.

— Особеннаго ничего. Здравствуй!

— Неужели ничего?—спросилъ Ѳедоръ Петровичъ.

— Да, самая крупная, братецъ ты мой, новость: назначеніе князя Сарскаго дѣло рѣшеное.

— Поздравляю! Убьютъ бобра!

— То-то Нина Марковна въ гору пойдетъ, — замѣтилъ Кавлинъ.

Картаевъ поднялся отъ стола, молча взглянулъ на стоявшій у стѣны бѣломраморный бюстъ умершаго брата, подошелъ къ Кавлину и сѣлъ въ кресло.

— Я, — заговорилъ Кавлинъ, — во вниманіе къ этому назначенію князя, его въ члены нашего общества завербовалъ. И зачѣмъ ты Ѳедуева, который только что мнѣ у подъѣзда встрѣтился, не придержалъ маленько...

— Не подумалъ. Не зналъ, что ты придешь.

— У тебя опять, значить, какая-нибудь затѣя литературная, если репортера принимаешь? Онъ, конечно, денегъ просилъ; ты ему, вѣроятно, не отказалъ; деньги, значить, теперь при немъ; я бы десять рубликовъ членскихъ у него отсчиталъ и новымъ бы сочленомъ общества обзавелся.

— Ты думаешь?

— Думаю.

— И ты думаешь, что хорошее бы дѣло сдѣлалъ.

— Убѣжденъ.

— Послушай, Иванъ Макарычъ,—проговорилъ Картаевъ послѣ нѣкотораго раздумья, — потолкуемъ серьезно; вѣдь шушера—ваше это благотворительное общество?

— Это по-твоему такъ.

— Вѣдь главари и главарихи воруютъ!

— Воруютъ!—воскликнулъ Кавлинъ.—Такъ заяви мнѣ объ этомъ официально; я членъ совѣта, на обсужденіе внесу. Ты вотъ только все конфиденціально сообщаемъ, а отъ послѣдствій отбояриваешься.

— Безполезны, братецъ, всякія послѣдствія; кромѣ скандала, ничего не выйдетъ! Ну, какъ мнѣ доказать, наприимѣръ, если я безымянный жертвователь, что я далъ денегъ госпожѣ такой-то и что онѣ пропали?!

— Конечно, не докажешь! Не давай безыменно! — возразилъ Кавлинъ.—Ну, а какъ намъ, наприимѣръ, опровергнуть ту клевету, которая ходитъ по городу, будто у начальницы нашего пріюта легкія свиданія устраиваются и что она за это деньги беретъ! Вѣдь чепуха несомнѣнная, но какъ ты ее опровергнешь? Ты вотъ что скажи!

Картаевъ широко раскрылъ глаза. Онъ былъ удивленъ неожиданностью; доводъ, который былъ готовъ у него въ качествѣ обвиненія противъ Кавлина, являлся вдругъ въ совершенно другой, обратной окраскѣ.

— Такъ ты и о свиданіяхъ этихъ слыхалъ? — проговорилъ Картаевъ,—знаешь и молчишь, и не хочешь видѣть истины?

— А гдѣ истина?

— Голубчикъ,—перебилъ его Кавлинъ,—у тебя какая-то манія не только видѣть во всемъ одно дурное, а облюбо-

вывать всякую гадкую вещь, нянчиться съ нею, отыскивать гадость! И обидя́е всего то, — добавилъ онъ, — что самъ ты человѣкъ хорошій, и что судьба поставила тебя въ такія условія, при которыхъ можно бы добра дѣлать видимо-невидимо.

— Испортился я, братецъ!—тихо проговорилъ Картаевъ.

— Да!—сказалъ Кавлинъ.—Какъ припомнишь наше университетское время, да посравнишь... и это тебя твоя дурацкая программа, твое направленіе испортили и разбросали. Ну, самъ скажи: ну, что ты такое? Купецъ? По званію, безспорно,—да, но на дѣлѣ?

— Нѣтъ.

— Ты ученый?

— Нѣтъ.

— Землевладѣлецъ? фабрикантъ? чиновникъ? литераторъ?

— Нѣтъ! нѣтъ! ни то, ни другое, ни третье.

— Безформенное, значитъ, бытіе, тѣнь, фикція, психологическое животнорастеніе!

Картаевъ громко и искренно захохоталъ.

— Психологическое животнорастеніе! Это прелестно... У тебя иногда, Иванъ Макарычъ, удивительныя мысли про-скакиваютъ... противъ твоей воли, можетъ-быть, даже.

— Merci!

— Только жаль; скоро эти мысли гаснутъ!

— И за это спасибо!

— Да, товарищъ, — проговорилъ Федоръ Петровичъ, вставъ съ кресла, подойдя къ Кавлину и хлопнувъ его по плечу,—ты дѣйствительно правъ; я—ничто, я—фикція! Въ одномъ только ты ошибаешься: университетъ я хорошо помню и тепломъ того времени живу! Я дѣйствительно фикція... но у насъ, въ Россіи, такой развалъ всѣхъ понятій, такое поголовное вырожденіе, такое легкое переходеніе изъ типа въ типъ, такая фикція бытія, что дѣйствительно

существующимъ, какъ опредѣленную фигуру, нельзя признать почти никого. Никто рѣшительно, за бесконечно малыми исключеніями, ни къ какой рѣшительно группѣ въ этой безпашабной, лихорадочной жизни не подходитъ! Это, если хочешь, движеніе назадъ въ нашемъ развитіи шести-десятихъ годовъ, но, будемъ надѣяться, что это, подобно отмаху руки, для того, чтобы дальше бросить мячъ.

Оедоръ Петровичъ былъ не изъ болтливыхъ, но минута случилась подходящая, и присутствіе Кавлина пахнуло на него старымъ, хорошимъ временемъ товарищескихъ бесѣдъ и ораторствованій, которыхъ у теперешней молодежи не бываетъ. Онъ ожидалъ одного извѣстія, въ высшей степени интересовавшего его: предстояло завершеніе многихъ хлопотъ, трудовъ и усилій, онъ могъ получить въ руки крупные векселя той именно Нины Марковны, которая убила его брата, и того именно князя Сарскаго, которому, по словамъ Кавлина, предстояло крупное служебное повышение.

— Мечтатель ты, со своимъ мячомъ, — отвѣтилъ ему Иванъ Макарычъ, — такіе люди, какъ ты, только въ Америкѣ и возможны.

— Въ Америкѣ и въ Россіи, только въ нихъ! Но я не мечтатель... мечтатель тотъ, кто думаетъ создать что-либо, сложить, построить, а я — я только отбрасываю, вычитаю, примѣняю имѣющееся, пользуюсь готовымъ матеріаломъ и остаюсь именно ничѣмъ; только потому, что я — отрицаю и дѣлаю я что-либо и этимъ наполняю свою жизнь.

— Воображаешь, что дѣлаешь и Нарциса изъ себя представляешь, своимъ собственнымъ изображеніемъ въ водѣ любишься! Ты мнѣ, однако, дѣйствительно, наше студенческое время на память приводишь! Легкомысліе! А вѣдь ты посѣдѣлъ, пора бы и одуматься.

Кому не случалось испытать, какъ вдругъ выплываютъ,

изъ тьмы прошедшаго, яркіе образы былыхъ мнвуть? Это бываетъ часто; но трудно, чтобы двое настроились одинаковымъ образомъ; еще труднѣе, это уже почти чудо,—одинаковое настроеніе, слитіе въ одномъ чувствѣ едновременно многихъ людей; это какъ бы сошествіе на апостоловъ огненныхъ языковъ! Многолюдное собраніе ихъ, вслѣдствіе совершенно особыхъ обстоятельствъ, оказалось вдругъ настроеннымъ, въ каждой душѣ, въ каждой мысли совершенно одинаково; всѣ сразу почувствовали одно чувство, всѣмъ вдругъ сдѣлалось ясно одно и то же! Сразу, много полузабытаго, но испытаннаго таинственно воплотилось въ нихъ; это было много сердець и много разумовъ, проявившихся какъ одно сердце и одинъ разумъ. Картаевъ и Кавлинъ настроились одинаково.

— Эхъ! какое это было чудесное время—эти годы студенчества, — проговорилъ Кавлинъ. — Въ системы мы вѣрили, принципамъ служить готовились, воображали, что заря займется именно въ тотъ день, какъ мы въ жизнь вступимъ!

— А вольно же тебѣ теперь не вѣрить, — проговорилъ Картаевъ.

— Мало развѣ причинъ извѣряться?

— Въ себя, братецъ, вѣрь, а не въ другихъ,—пояснилъ Оедоръ Петровичъ.

— Помимо другихъ нельзя; одинъ въ полѣ не воинъ.

— Нѣтъ, вотъ, чортъ возьми! одинъ-то въ полѣ и есть настоящій воинъ, а прочее—толпа, стадо!—почти крикнулъ Картаевъ.

— Да что же одинъ-то сдѣлаешь? Въ какой формѣ?

— Формы, формы; вамъ все только формы,—быстро возразилъ Оедоръ Петровичъ. —Формы всѣ дрянны; попробуй безъ нихъ! А нѣтъ—такъ свою изобрѣти. Вѣдь изобрѣли же когда-то готическій стиль; изобрѣли рококо; изобрѣли

Оффенбахъ оперетку. Ну, вотъ, и я свою безформенную форму дѣйствій избрѣлъ. Посмотри на меня!

Кавлинъ, дѣйствительно, посмотрѣлъ на него, какъ будто было на чтѣ. Онъ не узналъ Картаева, ходившаго по кабинету. Человѣкъ, обыкновенно спокойный, точно весь просіялъ; легкая блѣдность, несвойственная его здоровому лицу, придавала блеску глазъ какую-то особенную ясность сознанія, выраженіе какой-то глубокой, несокрушимой вѣры въ самого себя и въ какой-то неизбѣжный въ своемъ рѣшеніи фатализмъ. Будто онъ несомнѣнно что-то нашелъ, понялъ, усвоилъ—все это чувствовалось въ немъ.

— Ну, гляжу! Такъ что же? — успѣлъ только проговорить Кавлинъ..

— Я очень силенъ, товарищъ,—продолжалъ Картаевъ,—тѣмъ именно силенъ, что отъ всякой клички отказался; тѣмъ, что ничьему образцу не слѣдую и отъ предшественниковъ, или, какъ говорятъ, прецедентовъ, ничего не заимствую! Этимъ я неуязвимъ. Были у насъ концессионеры—свѣялись! Были у насъ радикалы—свѣялись! Были у насъ люди сердца и пессимисты — свѣялись! Были эксперты — свѣялись! А я не свѣялся,—потому что меня нѣтъ; потому что я не существую; потому что ни въ какую кличку меня не вдавить... Неприглядно, скверно, конечно, то время,—добавилъ Картаевъ, немного обождавъ,—въ которое, чтобы быть хоть чѣмъ-нибудь, нужно быть ничѣмъ!

Сказавъ это, Картаевъ снова сѣлъ, погрузился въ раздумье и замолчалъ.

Кавлинъ зналъ въ своемъ пріятелѣ эти періоды неожиданной созерцательности.

— Гдѣ мы съ тобою теперь?—спросилъ онъ, проницески улыбаясь.

— Гдѣ? гдѣ?.. — отвѣтилъ Ѳедоръ Петровичъ: — я—въ

нѣмецкомъ періодѣ мышленія, въ обобщеніи факта, въ четвертомъ измѣреніи.

— Потому-то, братецъ, — замѣтилъ Кавлинъ, — у тебя пепелъ сигары на колѣна скатился! Сукно сожжешь! Это будетъ обобщеніе факта. Ха-ха-ха!

Картаевъ стряхнулъ пепелъ съ платья и продолжалъ молчать.

Кавлинъ, какъ человекъ заурядный, не могъ въ сго годы продолжительно удерживать впечатлѣніе, подъ которымъ онъ недолгое время находился: оно тяготило его. Чтобы отдѣлаться отъ этого впечатлѣнія, онъ обратилъ вниманіе на пепелъ сигары, а чтобы сорвать на чемъ-нибудь этотъ моментъ своей слабости, нужно было сказать что-нибудь злое, язвительное. Люди будничные жестоко боятся благодушія: они думаютъ, что это примуть за глупость.

— И я бы, голубчикъ, Ѳедоръ Петровичъ, — сказалъ Кавлинъ, — согласился быть ничѣмъ въ такой, какъ ты, обстановкѣ: на коврахъ, пружинахъ, въ бронзахъ и мраморахъ!!

— Зло сказано!—отвѣтилъ Картаевъ.—Да только не по адресу. Мои милліоны тебѣ глаза колютъ; ты во мнѣ ихъ только и видишь, они меня заслоняютъ; но ты ошибаешься жестоко. Кто же изъ капиталистовъ посмѣетъ сказать, что онъ, подобно мнѣ, понялъ все сладострастіе капитала, всю титаническую мощь денегъ?! Водки и вина я, братецъ, не пью; картъ не люблю; женщинъ люблю да не очень; какихъ-нибудь коллекцій гравюръ или фламандцевъ не собираю; но капиталы мои люблю!! Вы, господа, одну только сторону капитала знаете, а всѣхъ возродительныхъ, истинно творческихъ силъ его не видите и не признаете! Творчество капитала—въ смыслѣ двигателя земледѣлія, фабрикъ, торговли, промышленности и проч., признаваемое вами,—это только одна сторона всемогущества капитала. Это даетъ

капиталисту удовлетвореніе холодное, умственное. Но капиталъ можетъ усладить и самое требовательное, самое чуткое сердце! Когда я, ворочая капиталомъ, сознательно направляю чью-либо дурную волю на дурную, извожу сквернаго человѣка сквернымъ же человѣкомъ и присутствую при ихъ взаимномъ самоуничтоженіи; когда я, какъ гомерическій богъ, съ высокаго облака наблюдаю бой этихъ темныхъ силъ и предоставляю себѣ право метнуть свое копьё въ кого, когда и гдѣ найду нужнымъ; когда я давно рѣшилъ вопросъ о томъ, что иначе ничего не подѣлаешь; что есть случаи въ жизни, гдѣ подлости честью не осилишь, и поэтому надо дѣйствовать соотвѣтственно... т.-е. подлостью, по-іезуитски, требовать ока за око... О! тогда, дѣйствительно, я достигаю того, что иногда наслаждаюсь чудеснѣйшимъ зрѣлищемъ и вкушаю благополучіе неопи-санное, когда гибнетъ дурной человѣкъ. Жизнь моя этимъ полна, и я никогда не скучаю. И попробуйте предпринять противъ меня что-нибудь; попробуйте, прежде всего, уличить меня, найти, обезсильть, парализовать! Этого нельзя! Меня нѣтъ! Я—ничто! А найти ничто невозможно... Нѣтъ, дружище, я студенческаго времени не забыть; я себя сыскалъ и стариться не желаю!

У cadaго изъ насъ есть такія мысли, такія клѣточки въ мозгу, которыя откликаются съ особенною чувствительностью, чуть только прикоснуться къ нимъ. Коснувшись капитала, Кавлинъ затронулъ въ Оедорѣ Петровичѣ именно такую основную клѣточку и вызвалъ на откровенности. Картаевъ сжился съ этою своею мыслью.

Иногда казалась она ему самому даже вполне безобразною, извращенною, въ основаніи своемъ іезуитскою, рѣшительно непригодною, а самъ себѣ казался онъ рехнувшимся!

— А результаты?—думалось ему...

Результаты бывали нерѣдко вполне желательные, вполне



хорошіе. Невольно высказавъ мысль о благородной подлости, Картаевъ тронулъ въ себѣ больное мѣсто и тронулъ его въ такой именно моментъ жизни, когда мысль эта дѣйствовала во всю и шла полнымъ ходомъ для пораженія двухъ ненавистныхъ ему людей: князя Сарскаго и Нины Марковны. Онъ, какъ сказано, жаждалъ увѣрить себя, что его мысль справедлива, хороша, честна. Сколько добрыхъ результатовъ обусловились ею въ прошедшемъ! Не можетъ быть добра отъ худа? А можетъ-быть и можетъ?..

— Видишь ли что, Иванъ Макарычъ,—заговорилъ, наконецъ, Картаевъ, послѣ довольно долгаго молчанія и какъ бы продолжая вслухъ свое молчаливое умствование.—Всякая скверность на свѣтѣ чрезвычайно сильна тѣмъ, что она на все способна, тогда какъ добро очень слабо потому, что способно не на все! Скверность много разъ торжествовала, именно потому, что нисколько не стѣснялась надѣвать на себя любую маску, даже добра. Тартюфы царятъ.

— Конечно!

— Ну, скажи самъ, можетъ ли зло не торжествовать, когда оно совершенно свободно хозяйничаетъ тамъ, куда добро, по врожденной ему чистоплотности, войти гнушается? Зло—это, нѣкоторымъ образомъ, кавалерія, а вы, добро,—пѣхота, и зла не догоните. Такъ ли?

— Говори дальше, я слушаю!—отвѣтилъ Кавлинъ.

— Ну, вотъ, я и говорю,—продолжалъ Федоръ Петровичъ,—что если добро бываетъ побѣждаемо зломъ, такъ это только потому, что добро слишкомъ чистоплотно и мало-подвижно! Грязная работа въ жизни нужна; одною чистою не обойдешься. Злые люди справляютъ всѣ необходимыя имъ грязныя работы безъ отвращенія, а для исполненія чистой они надѣваютъ маску! Они рассчитываютъ навѣрняка и достигаютъ своихъ цѣлей потому только, что знаютъ впередъ, какъ и что будутъ дѣлать и чего не будутъ

дѣлать противъ нихъ добрые люди! Обыкновенная тактика добрыхъ людей, извѣстная міру еще по школьнымъ прописямъ, это—простота душевная, и она, для враждебнаго добру зла, заранее извѣстный, купленный у противника планъ кампаніи... Но когда злой человѣкъ, какъ напримѣръ, князь Сарскій, или Нина Марковна, спокойно возвращаются въ своей подлости, увѣренные, что добрые люди имъ палку въ колеса не кинутъ, потому что дурно бросать человѣку палки въ колеса, а отъ злыхъ людей злой человѣкъ и самъ охраниться сумѣетъ! Когда злой человѣкъ считаетъ себя обезпеченнымъ затворами и замками—тутъ-то именно и слѣдуетъ напасть на него врасплохъ и сокрушить... Въ этомъ наслажденіе неописуемое. Я знаю людей, платившихъ сотни тысячъ за пару итальянскихъ статуй; знаю людей, проигрывающихъ въ карты суммы не меньшія. Но развѣ ступить Нину Марковну не лучшая въ мірѣ статуя, не самый крупный изъ крупныхъ выигрышей?!

Кавлинь, молчаливо слушавшій Картаева, покачалъ головою и кинулъ папироску въ каминъ.

— Вся твоя теорія, всё твои доводы—это своего рода карбонарство, масонство, нигилизмъ,—отвѣтилъ онъ. — Это, наконецъ, и не серьезная программа дѣйствія, потому что своихъ картъ никому не раскрываютъ, а ты, вотъ, ихъ мнѣ раскрылъ! вѣдь я—пріятель Нины Марковны?

— Раскрылъ,—да. Ты подумай: я, — ничто, раскрываю тебѣ свои карты! Смотри въ нихъ, коли хочешь, играй противъ меня, т.-е. противъ—«ничто»!

— Могу, конечно, могу такъ или этакъ! Могу, наконецъ, пойти къ Нинѣ Марковнѣ, на которую ты теперь представляешь сѣть, и ее предупредить!

— А почему же ты знаешь, кто и гдѣ этотъ человѣкъ, котораго я хочу сокрушить,—возразилъ совершенно спокойно Картаевъ.—Вѣдь я могъ тебѣ Нины Марковны не

называть и князя Сарскаго не вспоминать. Да я, милый мой, не то что отдѣльныхъ людей,—я учрежденія и конторы губилъ, если находилъ ихъ вредными и противными идеѣ добра. И много, много на это я истратилъ; но зато сколько наслажденія испыталъ!

— Но кто поручится тебѣ за то, что ты, губя кого-нибудь, не ошибаешься?

— Верховная коллегія!..

— Какъ!—такъ и верховная коллегія у тебя?! Такъ это все-таки, какъ мнѣ казалось, дѣйствительно, цѣлое общество, пожалуй—заговоръ?

Федоръ Петровичъ вошелъ уже въ свою обычную колею, начавши относиться, какъ это онъ всегда дѣлалъ, критически къ только-что завершившемуся моменту своего мышленія, былъ очень доволенъ тѣмъ, что Кавлинъ давалъ ему возможность если не извернуться,—Федору Петровичу, вообще, претило изворачиваться,—потому—что сдѣлано, то сдѣлано—но потѣшиться!

— По-русски говорятъ тебѣ: у меня есть верховная коллегія,—есть нѣчто вродѣ конспиративной квартиры!

— О!—промолвилъ Кавлинъ,—такъ это дѣйствительно есть?!

— Есть, есть! Это моя совѣсть... Совѣсть никогда не лжетъ, и я спокойно обманываю дурныхъ людей и притворяюсь. Не забудь, что нѣкоторые изъ величайшихъ учителей нравственности тоже должны были притворяться, называя себя тѣмъ, чѣмъ на самомъ дѣлѣ не были, и этимъ достигали своей цѣли.

Неожиданный звонокъ телефона прервалъ разговоръ, и Картаевъ пошелъ на зовъ колокольчика. Между нимъ и кѣмъ-то неизвѣстнымъ происходилъ разговоръ.

— Да... такъ ли?.. сейчасъ же... очень радъ.. наконецъ... и т. д.

— Ну! — проговорилъ Ѳедоръ Петровичъ, отойдя отъ телефона и обратившись лицомъ къ Кавлину.—Нина Марковна въ моихъ рукахъ... всѣ векселя ея—моя собственность... и тѣ два большихъ главныхъ, съ бланковыми надписями князя, будутъ у меня.

— Ну и что же ты сдѣлаешь съ ними?—спросилъ Кавлинъ.

— По мѣрѣ возможности,—пущу ее по міру.

— И это по-христіански?—возразилъ Кавлинъ.

— Нѣтъ! Это пзъ новой вѣры, которой, дружище, тебѣ и многимъ, очень многимъ,—никогда не понять.

Сказавъ это, Картаевъ молча взглянулъ на бюстъ брата.

— Доволенъ ли?!.. — промелькнуло въ мысли Ѳедора Петровича.

Мраморъ молчалъ, а Кавлинъ этого вопроса не слышалъ.

Ему пора было идти и, простившись съ Картаевымъ, онъ удалился. Онъ сдѣлалъ это съ тѣмъ большимъ удовольствіемъ, что цѣль своего прихода достигъ, и порученіе Нины Марковны исполнилось, такъ сказать, само собою.

### III.

Въ одномъ изъ кабинетовъ Милютиныхъ лавокъ готовились приступить къ закускѣ, или лучше къ завтраку, Нина Марковна Клѣтова и князь Сарскій. Они недавно пришли. Шубу Клѣтовой человѣкъ, только-что встряхнувъ, повѣсилъ на вѣшалку, а Клѣтова сама еще стояла передъ зеркаломъ и оправляла волоса. Хорошо были знакомы ей за долгіе годы зеркала этихъ петербургскихъ отдѣльныхъ кабинетовъ; даже именно это зеркало знакомо ей: въ самомъ верхнемъ углу, направо, вырѣзано алмазомъ кольца, бывшаго у нея на рукѣ и теперь, ея уменьшительное имя. Она кинула на зеркало взглядъ, нашла свое имя и продолжала оправляться.

Князь въ это время вынулъ изъ бокового кармана своей англійскаго покроя жакетки газету и, сѣвъ къ окну, сталъ ее просматривать.

Если правда, что внѣшность человѣка можно охарактеризовать однимъ словомъ: горбатый, косой, толстый, рыжій, то князю подходило бы болѣе всего слово—пергаментный. Не то что бы онъ высохъ, не то что бы онъ лоснился, какъ древній пергаментъ, но все вмѣстѣ взятое, включительно до пестраго галстука, до брюкъ изжелта-темнаго цвѣта, до тусклыхъ помутившихся бѣловъ глазъ, напоминало пергаментъ. Можетъ-быть, когда-нибудь эти осунувшіяся щеки играли румянцемъ, можетъ-быть, эти помутившіеся глаза загорались иногда яркимъ свѣтомъ, но теперь—теперь исчезъ въ нихъ всякій слѣдъ жизни. Хотя движенія рукъ князя, повертывавшихъ газету, были изящны, хотя одна нога его, положенная на другую, раскачивалась вполне плавно, естественно, но вся фигура, вмѣстѣ взятая: чпстая, лоснящаяся, джентльменская, если угодно, даже красивая, несмотря на сѣдины и морщины лица, была полна такой мертвенности, что, несомнѣнно, могла остановить своимъ присутствіемъ всякій порывъ искренности, радущія, благорасположенія. Нельзя же въ самомъ дѣлѣ чувствовать расположеніе къ трупу.

Мало проникательный человѣкъ могъ бы, при встрѣчѣ, почувствовать къ князю нѣкоторое уваженіе, можетъ-быть, робость, но только не удовольствіе.

Еще не очень давно, далеко въ Сибири, въ одномъ изъ разговоровъ средѣ ссыльныхъ, одинъ изъ нихъ, отбывавшій десятый годъ изъ пятнадцати ему назначенныхъ, рассказывалъ своимъ товарищамъ слѣдующій эпизодъ изъ жизни князя:

— И вотъ-съ,—говорилъ ссыльный,—стоитъ только захотѣть потопить князя, бери поличное! И какъ это только

его не словять, ей-Богу не знаю! На Болдыревскомъ заводѣ, вотъ, гдѣ мой братъ покойникъ орудовалъ, удивительную они штуку устроили. Заводъ этотъ въ старой, княжеской, наслѣдственной усадьбѣ поставленъ; маіоратъ это у него; склепъ у нихъ тамъ семейный. Такъ изволите ли видѣть, какая у нихъ тамъ штука сдѣлана, и по настоящее время дѣйствуетъ!

Слушатели-ссылные старались не пропустить ни одного слова изъ того, что готовился сообщить имъ собесѣдникъ,—словно какое-то откровеніе.

— Дѣло въ томъ-съ,—говорилъ ссыльный,—что задача у нихъ, на водочныхъ заводахъ, была всегда такая: нужно имъ, впдите ли, какъ можно больше вина выкурить и какъ можно меньше выкуреннаго показать! За показанное контрольнымъ снарядомъ,—прехитрая штука этотъ контрольный снарядъ,—количество вина, акциза съ ведра столько-то рублей платить: самому же заводу ведро почти въ десять разъ дешевле обходится! Такъ вотъ вы и посчитайте, какую прибыль хитростью получить можно, если по акцизной-то цѣнѣ безакцизное вино въ торговлю пустить?! Вопросъ, значить, въ томъ, чтобы курить вино и имѣть его помимо контрольнаго снаряда. Разные способы для этого въ ходу бывають! Въ Болдыревскомъ у князя для этого приспособленіе въ холодильникѣ сдѣлано: чрезъ его подставку проведена труба подъ землею, да прямо въ княжескій кабинетъ и пущена, и край тамъ устроенъ! Ну и дѣйствуетъ!

— Ишь ты!—воскликнули слушатели.

— Который уже годъ! Любопытно тоже,—что мнѣ покойникъ братъ рассказывалъ: трубу-то вѣдь онъ самъ по готовымъ рисункамъ строилъ, — такими рисунками, говорятъ, цѣлая торговля шла. Ну вотъ, когда рѣшено было самую трубу класть, такъ ее какъ разъ на графскій склепъ прокладывать бы приходилось, ну а тамъ церковь у нихъ, предки

лежать, видите ли, какъ разъ между графскимъ домомъ и заводомъ. Говорилъ, помню я, объ этомъ мой братъ князь. Пошли они въ склепъ.

— Гдѣ же ее тутъ положить?—спрашиваетъ князь,—по которому изъ предковъ?!

— А вотъ здѣсь: матушку и дѣдушку побезпокоить придется.

— Ну, что же, безпокойте!—отвѣтилъ князь.

— Въ это самое время, какъ онъ это сказалъ, знаете, часы-то надъ склепомъ вдругъ звонить стали! Старинные это у нихъ часы; я ихъ видѣлъ и слышалъ! Бой такой важный, тихій... Подумалъ, это, князь, головой покачалъ! не велѣтъ, однако, предковъ безпокоить; труба по окрестнѣ церкви снаружи проложена, такъ и теперь осталась!

Этого разговора, происходившаго, какъ сказано, далеко, далеко въ Сибири, между ссыльными, отчасти достаточно для нѣкоторой характеристики князя. Люди утверждаютъ, будто трудовая жизнь мужика, рудокопа, фабричнаго, въ концѣ-концовъ, можетъ измѣять человѣка; измѣять былъ и князь, и его жизнь была тоже трудовою, въ своемъ родѣ, и не легко давалась ему.

Совсѣмъ, совсѣмъ другою по внѣшности являлась его собесѣдница въ особомъ кабинетѣ Милютиныхъ лавокъ — Клѣтова.

Пока она стояла передъ зеркаломъ, оправляя волосы и поднявъ для этого руки, можно было поистинѣ любоваться всею ея фигурою. Очень вѣроятно, что многое въ этой фигурѣ было «не своимъ», но это «не свое» было прилажено такъ искусно и незамѣтно, что не могло нарушить обаянія, которое сказывалось во всей ея особѣ, несмотря на то, что ей шелъ уже пятый десятокъ лѣтъ.

Давно замѣчено было юристами-фізіономистами, что наружность преступныхъ женщинъ гораздо меньше выдаетъ ихъ

грустное прошлое, чѣмъ наружность преступныхъ мужчинъ. Отчего зависить это — сказать трудно. Сложилась цѣлая легенда, что молодыя женщины, приговариваемыя къ ссылке за преступленія очень тяжкія, прибывъ въ Сибирь, только начинаютъ вторую, такъ сказать, жизнь и, какъ ни въ чемъ не бывало, оказываются нѣжными, ласковыми, веселыми, любятъ и заставляютъ любить себя. Клѣтова была недосигаема для обвиненій такого рода. И въ самомъ дѣлѣ: развѣ она была виновата въ смерти отравившагося — Михаила Картаева? Конечно, нѣтъ. Была ли она виновата во многихъ дѣйствіяхъ пергаментнаго князя, хотя бы въ только-что рассказанномъ обманѣ акцизнаго вѣдомства? Конечно, нѣтъ,—но деньги-то были нужны князю именно для нея.

А глаза Клѣтовой—черные, пылающіе какимъ-то внутреннимъ свѣтомъ—были чудесны. Они, казалось, свидѣтельствовали о вполне безупречной, спокойной совѣсти. Черные волосы ея, длинные и жесткіе, говорятъ, давали искры въ темнотѣ, когда по нимъ проходила гребенка; прелестныя руки ея, обильно украшенныя цѣлою радугою драгоценныхъ каменьевъ, нѣжныя, холеныя, служили когда-то для моделировки рукъ одной изъ прелестныхъ статуй извѣстному скульптору. Изящная грація всѣхъ ея движеній была врожденная и старательно усовершенствована воспитаніемъ. Время на нее почти не дѣйствовало. Во всей фигурѣ Клѣтовой не было совсѣмъ замѣтно той рѣзкости, той сухости движеній, которыя отличаютъ наступленіе старчества. И она, и князь Сарскій были, въ нѣкоторомъ смыслѣ, баловнями судьбы..

Когда, оправляя прическу, Клѣтова взглянула вверхъ, въ уголъ зеркала на свое нацарапанное тамъ имя, она мгновенно вспомнила всю обстановку, когда было вырѣзано это имя. Она жила уже въ то время съ княземъ и отважно обманывала его. Мелькнулъ въ ея памяти и богатый куп-



чикъ Миша Картаевъ, покончившій съ собою. При этомъ она взглянула на князя, на его галстукъ: какая у него булавка? Булавка была именно та, которую купилъ отравившійся купчикъ для именинного подарка князю, котораго она для него, для купчика, по ея увѣренію, обманывала.

Эта женщина была окружена въ отдѣльномъ кабинетѣ своими воспоминаніями, какъ сказалъ бы французскій авторъ, описывая ту сцену, о которой идетъ рѣчь.

Покончивъ съ уборкой волосъ, Клѣтова отошла отъ зеркала и сѣла подлѣ князя на диванъ, столъ передъ которымъ за это время преобразился: явились разныя закуски, водки, а посрединѣ въ хрустальной вазѣ роскошныя фрукты.

Разговоръ между княземъ и Клѣтовой шелъ по-французски.

— Ну что ваша милая кузина?—спросила она.—Отсрочилъ ей банкъ?

— Вѣроятно,—отвѣтилъ князь, не поднимая глазъ отъ газеты.—Я не видѣлъ ея.

— Да вы-то сдѣлали для этого что-нибудь?

— Конечно, сдѣлалъ.

— А что именно?

— Я молчалъ гдѣ было нужно,—отвѣтилъ князь,—а это очень, очень много.

Онъ отложилъ газету и всталъ со стула.

— Мы Кавлина ждать не будемъ,—сказалъ онъ, подходя къ столу.

— Конечно, не будемъ. Сомнѣваюсь я, однако, милый князь, чтобы ему удалась его дипломатическая миссія: ну какой онъ дипломатъ!

— Не дипломатъ плохъ, а миссія трудна,—возразилъ князь, взявъ бутылку водки.—Вамъ налить?

— Подрюмки... вотъ такъ... merci.

— Миссія Кавлина трудна потому,—продолжалъ князь,— что господинъ Картаевъ не проболтается... И, говоря откровенно, зачѣмъ Картаеву знать, гдѣ наши векселя? Не все ли равно, въ самомъ дѣлѣ?

— Ну просто такъ!—возразила Клѣтова.

— Вотъ, ужъ именно. что «просто такъ»,—отвѣтилъ князь.

Онъ позвонилъ и приказалъ вошедшему человѣку откупорить бутылку Шабли. Рюмки были налиты.

— Не говорите,—замѣтила Клѣтова;—важно, очень важно ознакомиться съ мѣстомъ сраженія и недостаточно знать только то, что сраженіе будетъ и что оно неизбежно. Иногда, и вовсе нерѣдко, вдругъ явится такая особенность, такая возможность примѣниться... какъ бы это сказать...

— Примѣниться къ мѣстности!—перебилъ князь.

— Да, да, именно, примѣниться къ мѣстности, такая возможность, что и не ожидаешь.

— Ну, Картаевъ мѣстность вовсе неудобная,—заговорилъ князь,—а что онъ въ яромъ преслѣдованіи за вами и за мною, это мы давно знаемъ. Не понимаю я только: зачѣмъ ему эти наши малоденежные векселя? Чудакъ, да и только!

— А мечь, а брать! помните!

— Но вѣдь нельзя же изъ одной только мести? изъ-за этого одного чувства, незачѣмъ, такъ сказать,—платить огромныя деньги.

— А сѣсть въ родовую княжескую усадьбу князей Сарскихъ, царить въ Болдыревкѣ, и, и...

При этомъ Клѣтова зорко взглянула на князя, готовившагося поднести ко рту вилку. Вилка остановилась на полпути. Князь молча взглянулъ на Клѣтову и только покачалъ головою.

Собесѣдники поняли другъ друга... Они точно подслушали разговоръ ссыльныхъ въ Сибири.

— Entrez!—отвѣтили одновременно Клѣтова и князь Сарскій, услышавъ стукъ въ двери.

Кавлинъ, успѣвшій на пути отъ Картаева отрезвиться отъ его фантастическихъ бредней, какъ отъ угара, вошелъ веселый и свѣжій, вполне довольный, что вернулся, такъ сказать, въ свою обыденную сферу, въ кругъ сродныхъ и понятныхъ ему людей.

— Ну что? знаетъ онъ?—спросила Клѣтова, здороваясь съ вошедшимъ.

— Можетъ-быть, знаетъ,—отвѣтилъ Кавлинъ, цѣлуя протянутую ему руку.

— Но ищеть?—спросилъ князь.

— Ищеть, усердно ищеть! Даже по телефону увѣдомляли,—отвѣтилъ Кавлинъ, подавая князю руку.

— Ну, садитесь и позавтракаемъ,—сказала Клѣтова.

Кавлинъ не заставилъ просить себя дважды и быстро примостился къ водкѣ и закускѣ.

— Объясните вы мнѣ, пожалуйста, многотимый!—заговорилъ князь,—неужели, въ самомъ дѣлѣ, наша милая собесѣдница права? Она объясняетъ преслѣдованія господина Картаева только местию. Но вѣдь это же безконечно глупо!

— Нѣтъ-съ! Это у него цѣлая система.

— Система?..

— Да, система! — быстро отвѣтилъ Кавлинъ,—это, такъ сказать, задача жизни, верховная коллегія! заговоръ какой-то!

— Что-о-съ?—спросилъ князь, какъ-то сурово и протяжно. При словахъ: заговоръ, верховная коллегія—онъ вдругъ и совершенно для него неожиданно почувствовалъ подъ ногами другую, прочную почву.

— А что, если онъ, въ самомъ дѣлѣ,—подумалъ князь,—онъ, Картаевъ, — какой-нибудь нигилистъ, динамитчикъ?

Вѣдь это совсѣмъ, совсѣмъ другое... вѣдь это тогда... вѣдь подобные казусы бывали...

И промелькнули въ памяти князя нѣсколько именъ, еще не очень давно возмущавшихъ русское общество своимъ печальнымъ значеніемъ.

Задумалась, было, и Клѣтова, но быстро, чрезвычайно быстро опомнилась и звонко засмѣялась тѣмъ откровеннымъ, наивнымъ, заразительнымъ смѣхомъ, не увлечься которымъ иногда невозможно.

Улыбнулись и начали, мало-по-малу, глядя на нее, смѣяться князь и Кавлинъ.

— Что же за глупость сказалъ я, однако,—думалъ Кавлинъ.

— Чортъ возьми!—какъ это нелѣпо и съ моей стороны,—подумалъ гораздо болѣе сообразительный князь.—И умна же она, какъ бѣсъ!—думалось ему, глядя на Клѣтову.

— Нѣтъ... нѣтъ... этого вздора не ожидала я...—проговорила она, наконецъ, когда пароксизмъ смѣха началъ утихать и далъ ей возможность говорить.—Нѣтъ, знаете, эта верховная коллегія... этотъ заговоръ... этотъ динамитчикъ... это прелестно, это неподражаемо... Картаевъ — динамитчикъ?!

И она вторично залилась звонкимъ смѣхомъ, вызвавшимъ на этотъ разъ на глаза ея слезы.

Далѣе слѣдовала сценка молчаливая, непродолжительная, но очень характерная: каждый изъ собесѣдниковъ, по-своему, конечно, приходилъ въ себя. Приказано было подать еще бутылку, и было подано горячее блюдо. Появленіе чело-вѣка съ блюдомъ способствовало общему успокоенію.

Первою заговорила Клѣтова.

— Однако, господа, довольно шутить—къ дѣлу. Намъ остается до срока векселей ровно полгода.

— Нѣтъ, пять мѣсяцевъ,—перебилъ князь.

— Ну, вотъ еще, конечно, полгода!

— Конечно, пять мѣсяцевъ,—увѣренно повторилъ князь. Клѣтова нетерпѣливо покачала головою.

— Зачѣмъ же спорить на вѣтеръ,—сказала она,—доказательство тутъ. У васъ моя записочка для памяти?—проговорила она, обращаясь къ Кавлину и протягивая руку.

— У меня-съ, у меня-съ!—быстро отвѣтилъ онъ, просовывая руку въ лѣвый карманъ сюртука.

Бумажника въ карманѣ не оказалось.

Кавлинъ, ощупавъ пустой карманъ, быстро, на мгновенье весь замеръ. Замѣтила это и Клѣтова.

— Ну, что же?—спросила она.

Кавлинъ молча поднялся съ мѣста. Лицо его выражало необъяснимый испугъ, глубочайшее смятеніе.

— Дома или у него забыть я?!—мелькнуло въ мысляхъ Кавлина.—Если у него... то...

— Что съ вами, Кавлинъ?—спросилъ князь.

— Потеряли? Но гдѣ потеряли?—быстро добавила Клѣтова.—Вѣдь вы сюда прямо отъ Картаева?

— Прямо-съ!—тихо процѣдилъ въ отвѣтъ все еще стоявшій неподвижно подлѣ стола Кавлинъ.

Съ необычною быстротою, не протрившись, не оглянувшись, схвативъ шапку, бросился Кавлинъ вонъ изъ кабинета и даже не закрылъ за собою двери.

Молча переглянулись князь и Клѣтова.

— Но что же у него тамъ въ бумажникѣ? — спросилъ испуганный князь.

— Имена нашихъ милыхъ благодѣтелей.

— И только-то?

— Только! Но развѣ этого мало?—спросила, вставая изъ-за стола, Клѣтова.—Однако, не оставаться же намъ тутъ въ ожиданіи отвѣта,—добавила она и, направившись къ зеркалу, стала прикалывать шляпку.

— Никто, какъ свой! — замѣтила она князю; — и кромѣ того, если я почему-нибудь неожиданно засмѣюсь, это для меня всегда дурная, очень дурная примѣта.

Приказчикъ въ бѣломъ фартукѣ, получившій деньги по счету, выбѣжалъ на улицу посадить отъѣзжавшихъ въ карету.

#### IV.

Свѣдѣніе о возможности получения главныхъ, самыхъ крупныхъ векселей Нины Марковны, сообщенное Картаеву по телефону, оказалось фальшивою тревогою, и вотъ почему. Минутъ пять спустя послѣ того, какъ вышелъ за двери Кавлинъ, и Ѳеодоръ Петровичъ готовился было сѣсть за микроскопъ, проходя мимо столика, подлѣ котораго они только-что сидѣли, онъ замѣтилъ бумажникъ своего пріятеля, оставленный на столѣ.

— Вотъ разиня! — подумалъ онъ и взялъ довольно толстый бумажникъ въ руки. — Набить онъ какъ-будто сотенными бумажками! — думалось Картаеву.

Ѳеодоръ Петровичъ безсознательно развернулъ его; вывалилось письмо.

— Почеркъ Нины Марковны! — промелькнуло въ умѣ его.

Онъ быстро, судорожно схватилъ письмо въ руки. Какъ часто приходилось ему видѣть этотъ зловѣщій почеркъ на раздушенныхъ письмахъ этой женщины, адресованныхъ къ брату? Эти духи, эти письма сдѣлали свое; тутъ — то же самое. Еще бы ему не узнать этого почерка, этихъ духовъ? Совершенно безсознательно, безъ всякихъ предварительныхъ размышленій, открылъ онъ конвертъ, вынулъ письмо, развернулъ и сталъ читать.

«Прилагаю при этомъ», — значилось въ серединѣ письма, — «5.000 руб., о которыхъ я вамъ говорила; скажите Ону-

фріеву, что, если онъ чрезъ полгода, отсрочить на годъ, то, помимо процентовъ, получить и эти деньги. Если онъ согласится—вручите ему ихъ сейчасъ».

— Онуфріевъ!.. такъ вотъ кто?—думалось Картаеву,—а телефонное сообщеніе—вздоръ! Вотъ настоящій адресъ! А гдѣ же 5.000 руб.?

Федоръ Петровичъ взялъ бумажникъ, порылся въ немъ и тотчасъ увидѣлъ чекъ въ 5.000 руб. Подписалъ этотъ чекъ князь Сарскій.

— Онуфріевъ! Онуфріевъ!—думалъ Картаевъ.—Сейчасъ къ нему, сейчасъ.

Онъ нажалъ кнопку колокольчика. Вошелъ человѣкъ.

— Лошадь! одиночку! Живо! Если придетъ кто, въ особенности господинъ Кавлинъ,—сказать, что я выѣхалъ, неизвестно куда. Скорѣй!

Человѣкъ, удивленный нервностью Федора Петровича, быстро и безмолвно повернулся и ушелъ передать приказаніе.

— Что съ нимъ такое?—думалъ человѣкъ.

У Федора Петровича было правиломъ давать на закладку одиночки—четверть часа. Онъ подошелъ къ несгораемому шкапу и вынулъ одну изъ своихъ чековыхъ книжекъ. Въ головѣ его происходилъ переполохъ необычайный. Положивъ чековую книжку въ карманъ, онъ началъ быстро ходить по комнатѣ.

— Воръ! вѣдь я воръ! несомнѣнный воръ!—думалось ему.—Какое право имѣю я пользоваться указаніемъ случайно забытой у меня моимъ пріятелемъ записки? Вѣдь это мошенничество, воровство! и какъ быстро, какъ помимо воли втягиваются, иногда, люди въ преступленіе? Я взялъ въ руки бумажникъ... ну, это еще ничего! Я его раскрылъ—это уже безчестно. Но что я прочелъ вывалившееся письмо Нины Марковны и, пользуясь этимъ, нечестно полученнымъ,

уворованнымъ свѣдѣніемъ, буду дѣйствовать противъ нея— это уже подлость! скрывать передъ собой нечего!

Федоръ Петровичъ ходилъ все быстрее и быстрее.

Точно толчея какая-то шла у него въ головѣ! Но въ этомъ хаосѣ всякихъ про и contra съ полною настойчивостью слышались два главные теченія мыслей:

— Дрянъ я человѣкъ!—думалось ему.—Хочу отступить передъ какимъ-то призракомъ душевной чистоплотности? И когда же? когда стою у порога дѣла? Хорошо, что я все-таки не отступаю и, навѣрное, не отступлю. Вѣдь они, мерзавцы, всякія Нины Марковны и другіе, передъ призраками чистоплотности не отступаютъ, оттого и остаются хозяевами положенія и будутъ ими, потому что передъ ними дѣйствуютъ такіе безкостные слизняки, какъ я! Жилъ я своими убѣжденіями! Дѣйствовалъ въ извѣстномъ направленіи! Правду и мощь своихъ дѣйствій нерѣдко признавалъ! Дѣйствительныхъ успѣховъ достигалъ! А тутъ вотъ предстоитъ мнѣ одну изъ самыхъ легкихъ формъ нечестнаго сдѣлать, и я, какъ-будто, отступаю! Дрянъ! дрянъ! Правда: въ данномъ случаѣ имѣются, пожалуй, маленькія уклоненія, маленькія облегчающія обстоятельства! Оправдывать себя для собственнаго утѣшенія я, пожалуй, могу! Но глупо уже и то, что я себя утѣшаю! Какъ это оправдывать себя за хорошее дѣло?

И, продолжая быстро ходить по комнатѣ, Картаевъ началъ снова повторять сказку про бѣлаго бычка:

— Какъ было дѣло: мнѣ предстояло взять для хорошей пѣли письмо... нѣтъ, не взять, а украсть... нѣтъ, отчего же украсть, а не взять? Впрочемъ, все равно: предстояло просто-на-просто прочесть случайное письмо для противо-дѣйствія подлости... Кой чортъ противодѣйствіе! лежало себѣ письмо,—а я взялъ его, да и укралъ... А, впрочемъ, дрянъ я, слизнякъ-человѣкъ! Еще сомнѣваюсь! Не сдѣлавъ



шага, боюсь споткнуться!.. Ну, а въ концѣ концовъ все-таки я взялъ письмо, и оно меня къ дѣйствию приводитъ! Что-то будетъ? и вдругъ—ничего! Тогда зачѣмъ же я дѣлаю это? Тьфу! Ничего не пойму! Можетъ-быть, пойму со временемъ вполне... А поступаю-то я, какъ тамъ ни верти, по ясному побужденію, отнюдь не случайно, не инстинктивно. Только въ доброкачественности своего поступка я инстинктивно теперь сомнѣваюсь, вотъ это такъ!

Это было одно теченіе мыслей Ѳедора Петровича, уже само по себѣ чрезвычайно сбивчивое, неопредѣленное, мѣнявшее направленія чуть не при каждомъ шагѣ его по комнатѣ.

Другое теченіе, другой циклъ соображеній вдвигался въ первый циклъ, какъ вата во вновь образовавшійся прорывъ матеріи или подкладки; а прорывы то-и-дѣло образовывались!

«Если я не правъ, если я дѣйствительно воръ», думалось ему, «то зачѣмъ же я жилъ такъ, какъ жилъ? Не такъ слѣдовало мнѣ жить, не такъ дѣйствовать... Но вѣдь вторично жить не начнешь, да и неизвѣстно еще, виновать ли я въ системѣ моей былой жизни и въ поступкѣ, который теперь совершаю! Дрянъ я человекъ, слизнякъ! Но откуда же, однако, такъ много хорошихъ результатовъ въ быломъ, въ томъ, что я дѣлалъ въ моей жизни? Вѣдь, если послѣдствія оказались хороши, такъ и причины, значить, были правильны?»

И припомнилось Ѳёдору Петровичу многое изъ того, что онъ въ силу своей системы дѣлалъ; мелькнули передъ нимъ одни за другими давно померкнувшія лица всякихъ негодныхъ людей, сокрушенныхъ имъ, и тѣ способы, которыми онъ достигалъ этого...

Онъ остановился. Сердце его сильно билось. Ему сей часъ доложить, что лошадь подана. Ну, что же, какъ рѣ-

шить? И мелькнула въ головѣ его неожиданная мысль найти опредѣленіе воровства въ книгахъ юристовъ, у теоретиковъ.

Быстро подошелъ онъ къ одному изъ шкаповъ и, вынувъ курсъ уголовного права, открылъ на соотвѣтствующей страницѣ и началъ читать.

— Нѣтъ, я не воръ, ни въ какомъ случаѣ не воръ. Всякое воровство, говорятъ юристы, предполагаетъ три необходимыхъ момента. Корыстную цѣль! Этой цѣли у меня, безъ сомнѣнія, нѣтъ и не было. Оно предполагаетъ, непременно, дѣйствіе тайное... Этотъ моментъ въ моемъ поступкѣ, пожалуй, есть. Третье: украденный предметъ долженъ имѣть цѣнность. Какую? Денежную? Но, вѣдь я потеряю свои деньги, я заплачу за документы, т.-е. я этимъ самымъ документъ безусловно обезцѣниваю... т.-е. не обезцѣниваю, а, напротивъ того, даю ему огромную цѣнность именно потому, что вексель приобретаю я... но какую цѣнность?... Не ту, конечно, которую предполагають юристы...

Холодный потъ выступилъ на лбу Федора Петровича, и онъ провелъ по немъ рукою, положивъ книгу на столъ. Мысли его окончательно отказывались работать въ этой стремнинѣ самыхъ противорѣчивыхъ, пестрыхъ и яркихъ противорѣчій.

Когда подана была лошадь и Картаевъ приказалъ кучеру ѣхать къ Онуфриеву, онъ отчасти совладалъ съ собою и, какъ будто, даже торжествовалъ побѣду. Въ немъ тихо, но упорно начинала сіять снова мысль о томъ, что лучше во сто кратъ участвовать въ игрѣ дѣйствительности съ живыми людьми, съ фактическими интересами, чѣмъ смотрѣть на какую-нибудь даже очень умную комедію съ актерами, только изображающими, будто они чувствуютъ что-то. Лучше во сто кратъ лишиться возможности дѣйствовать дурного человѣка, чѣмъ гоняться по городамъ Европы за рѣдкою гра-

вурою или за какою-нибудь уникою, четырехугольною греческою монетою съ изображеніемъ длинноносаго малоазіатскаго властителя.

## V.

Онуфріевъ, къ которому направился Ѳеодоръ Петровичъ, былъ хорошо ему извѣстенъ, какъ денежный дѣлецъ, какъ человѣкъ биржи и процента; еще болѣе былъ извѣстенъ Онуфріеву Картаевъ, какъ капиталистъ. Видѣлись они рѣдко, очень рѣдко, домами не были знакомы вовсе, и поэтому, когда человѣкъ доложилъ Онуфріеву о пріѣздѣ Ѳеодора Петровича, онъ былъ немного удивленъ этимъ; но онъ не сомнѣвался ни на минуту въ томъ, что основаніемъ посщенія будетъ вопросъ денежный.

Небольшая квартира, которую занималъ Онуфріевъ, Спиридонъ Спиридоновичъ, человѣкъ пятидесяти лѣтъ и холостой, носила на себѣ что-то удивительно характерное. Ни одного стула, ни одной лампы, ни одного стола или шкапа, начиная съ прихожей и кончая кухней, не было въ ней безъ прямой въ нихъ надобности. Шторы на окнахъ имѣлись, — но занавѣсей не было; вмѣсто ковровъ — матъ въ прихожей и дорожки между шкапами; не было ни одной лампы, ни одного подсвѣчника съ фигурною или вычурною ножкою; ни одна картинка, ни одна фотографія не украшали стѣнъ; висѣли только обрывные календари, таблицы тиражей и проч., ни одной бездѣлушки или хорошенькой пепельницы, или спичечницы на столахъ; маленькія иконы висѣли по угламъ, но онѣ были такія мизерныя, закопѣлыя, что жалость брала смотрѣть на нихъ въ этой сухой, скупой, отталкивающей обстановкѣ квартиры.

Самъ Спиридонъ Спиридоновичъ, напротивъ того, являлся, по внѣшности, человѣкомъ вполне благообразнымъ, чисто-плотнымъ, даже франтоватымъ. Сынъ почетнаго гражда-

нина, кончившій курсъ коммерческаго училища, онъ вступилъ въ жизнь, имѣя нѣкоторыя средства и умѣя пользоваться ими. Быстро возрастали его капиталы, и ростъ этотъ обусловливался разными способами, нерѣдко неприглядными. Для чего и для кого копилъ этотъ человѣкъ деньги, — неизвѣстно: ни женщины, ни родственника, ни ребенка, ни какой-либо страсти къ вину, ѣдѣ или картамъ не имѣлъ онъ. Гарпагонъ — тотъ, въ минуты вдохновенія, любовался своими червонцами, пересыпалъ и мять ихъ въ рукахъ, услаждаясь ихъ звономъ и блескомъ, а Спиридонъ Спиридоновичъ никогда ничего подобнаго не дѣлалъ. Разъ два въ сутки, правда, просматривалъ онъ общій сводъ своихъ капиталовъ, номенклатуру и помѣщеніе цѣнностей, измѣнялъ въ немъ что надо, вычеркивалъ и приписывалъ новое. Скупымъ онъ не былъ никогда, и если, — что случилось не рѣдко, — ему приходилось угощать кого-либо, по тому или другому случаю, въ ресторанѣ, или когда надо было поднести кому-нибудь подарокъ, или пожертвовать на подарокъ актрисѣ или на богадѣльню, — все равно, — то онъ не скупился. Силы капитала онъ какъ будто не признавалъ, особаго назначенія капиталу, вродѣ того, которое намѣчалъ Картаевъ, онъ не давалъ. Этотъ человѣкъ жилъ, со дня на день наживая деньги, жилъ такъ, потому что это было присуще ему съ юности и потому что онъ другихъ цѣлей жизни, какъ богатѣть, и другой дѣятельности ума, какъ обсужденіе выгоды или невыгоды дѣла, — не зналъ, не имѣлъ и не могъ имѣть. Въ особыхъ ящикахъ, подъ этикетками и нумерами, хранились его дѣла; ихъ зналъ онъ и помнилъ въ совершенствѣ и никогда не скупалъ, не болѣлъ, не хандрилъ и мало чему удивлялся.

Услышавъ о прибытіи Федора Петровича, Онуфріевъ пошелъ къ нему навстрѣчу и поздоровался самымъ радушнымъ образомъ.

— Давно, давно не видѣлись, многоуважаемый Ѳеодоръ Петровичъ! Чему я обязанъ и чѣмъ могу служить? Пропу садиться.

— По правдѣ,—сказалъ Картаевъ, поглядывая, гдѣ бы сѣсть поудобнѣе и не находя ничего, кромѣ гнущей мебели,—я давно уже хотѣлъ васъ посѣтить, да все не случилось. А теперь, дѣйствительно, дѣло есть.

Хозяинъ и гость сѣли одинъ противъ другого подлѣ стола.

— Не курите ли? Могу ли предложить?—сказалъ Онуфриевъ, подставляя свой золотой портсигаръ.

— Благодарю васъ! Къ своимъ привыкъ, — отвѣтилъ Картаевъ.

Когда папирсы были закурены, первымъ заговорилъ Ѳеодоръ Петровичъ.

— Вотъ въ чемъ мое дѣло,—началъ онъ;—я хочу купить у васъ два векселька, которые теперь, должно быть, у васъ.

— А почему же вы, Ѳеодоръ Петровичъ, знаете, что они у меня?—спросилъ хозяинъ, ехидно улыбаясь.

— Ну, намъ съ вами нечего финтить,—отвѣтилъ онъ,—знаю да и конецъ.

— А чьи это, позвольте узнать

— Нины Марковны Клѣтовой, вѣроятно, съ бланковою надписью князя Сарскаго?.. Есть они у васъ?

— Точно, они у меня-съ. и изъ самыхъ крупныхъ, по 50.000 каждый.

— 100.000 рублей, срокомъ еще на шесть мѣсяцевъ?

— Точно такъ.

— Я хочу купить ихъ у васъ, Спиридонъ Спиридоновичъ.

— Ой-ли? Да вѣдь сами знаете, Ѳеодоръ Петровичъ, какую имъ цѣну назначить? Ну, во что цѣнить. По номинальной?

— Ну, по номинальной будеть многонько, Спиридонъ Спиридоновичъ. Хотите по 40 к. съ рубля?

— Что вы, что вы!!..

— Ну, да ужъ не больше, право, не больше, и то вы хорошее дѣло сдѣлаете; вѣдь сами, пожалуй, по двугривенному, а то и по гривеннику ихъ получили?

— Что вы, что вы, Ѳеодоръ Петровичъ...

— Ну, да чтѣ намъ съ вами лясы разводить? Знаемъ мы другъ друга! по рукамъ, что ли?

Спиридонъ Спиридоновичъ всталъ съ мѣста и направился къ несгораемому шкапу; пошаривъ въ карманѣ, онъ вытащилъ ключъ, открылъ шкафъ и вынулъ изъ него, опять-таки, несгораемый ящикъ; щелкнулъ второй ключъ; взявъ изъ ящика небольшую пачку, Онуфріевъ порылся въ ней и досталъ векселя.

Тѣмъ временемъ Картаевъ снова подчинился, помимо своей воли, тому водовороту мыслей о правовомъ значеніи своего поступка, который, еще очень недавно, сразу, неожиданно и мощно охватилъ его. Замелькали въ головѣ его въ невообразимо быстрыхъ сочетаніяхъ былые годы, лица людей, воспоминанія, мысли и соображенія и пр., и пр. Спутывались, неслись и вертілись одни за другими— и печальный, мраморный обликъ брата, и жгучія очи Нины Марковны, и бумажникъ, и конвертъ, и Кавлинъ, и системы міровоззрѣнія, и опыты прежнихъ дней, и юридическія тонкости...

«Еще можно бы остановиться!» думалось Картаеву, «еще ничего не сдѣлано! Еще можно умыть руки, которыя я черезъ минуту уже не смогу умыть... еслп только нужно будетъ мыть ихъ послѣ такого хорошаго дѣла... Дрянъ я человѣкъ», думалось Картаеву, «впередъ, впередъ!.. а гдѣ же моя стойкость, гдѣ мой характеръ?»

Тѣмъ временемъ подошелъ Онуфріевъ.

— Конечно, безъ оборота. на меня?—спросилъ онъ Ѳедора Петровича.

— Ну, еще бы! — тихо отвѣтилъ Картаевъ. — Значить, мы съ вами теперь писаніемъ займемся?—Пожалуйте перышко. Я вамъ на сосѣдній съ вами банкъ чекъ въ сорокъ тысячъ дамъ, а вы мнѣ—векселя съ освобождающею васъ надписью.

— Не сорокъ ли пять тысячъ?—спросилъ еще разъ, но, видимо, для проформы, Спиридонъ Спиридоновичъ.

— Полноте! Зачѣмъ вы хорошему дѣлу только мѣшаете. Минуты черезъ три, документы были написаны и обмѣнены.

Готовясь уйти и прощаясь съ хозяиномъ, Картаевъ чувствовалъ себя все еще не совсѣмъ ладно; смутно было въ его сознаніи: мгла какая-то облекала немного свѣтлѣвшія до того мысли.

— До свиданія, Спиридонъ Спиридоновичъ! — говорилъ онъ хозяину, но говорилъ это машинально и думалъ о со всѣмъ другомъ.

— До пріятнаго свиданія!—отвѣчалъ Онуфріевъ.

— Сдѣлано! сдѣлано! но что же я сдѣлалъ?—вопрошалъ себя Картаевъ, сходя съ лѣстницы... Домой,—сказалъ онъ кучеру и, быстро мчась по улицѣ, задумался.

Внутренняя борьба, которая одолѣвала Ѳедора Петровича, въ концѣ концовъ, не помѣшала ему сознательно совершить, съ благою, будто бы, цѣлью, то, что самъ онъ называлъ мошенничествомъ, кражею. По совершеніи борьба замолкла въ немъ сразу. Это—отличительная черта всѣхъ, несомнѣнно здоровыхъ людей; для долгихъ и звонкихъ откликовъ въ сердцѣ и мысли человѣка необходима нѣкотораго рода дряблость въ сердцѣ и мысли, необходимы пустоты, необходимы, такъ сказать, тѣ голосники, замуро-

ванные въ стѣны нашихъ древнихъ монастырскихъ церквей, что даютъ этимъ церквамъ необыкновенную звучность. Въ здоровой натурѣ такихъ голосниковъ нѣтъ; она сплочена изъ прочныхъ, отправляющихъ свои прямыя обязанности тканей, не разорванныхъ, не надтреснутыхъ, не похожихъ на губку, не туберкулезныхъ.

Едва только вернулся Картаевъ домой, какъ, первымъ дѣломъ, вложилъ онъ въ одно изъ отдѣленій своего несгораемаго шкапа пріобрѣтенные векселя. Вынувъ оттуда временно спрятанный бумажникъ Кавлина, онъ положилъ его въ конвертъ, запечаталъ и послалъ къ нему на домъ. На конвертѣ надписалъ онъ: «Не слѣдуетъ забывать».

Вызванный звонкомъ человѣкъ доложилъ, что скоро вслѣдъ за отъѣздомъ Ѳедора Петровича приходилъ Кавлинъ, спрашивалъ, куда уѣхали и, не получивъ опредѣленнаго отвѣта, ушелъ. Отдавая бумажникъ человѣку, для доставленія по адресу, Картаевъ вспомнилъ также о тѣхъ 5.000 рублей, которые онъ возвращалъ.

«Вѣдь, собственно говоря», думалось ему, «если бы я былъ вполне послѣдователенъ и безусловно вѣренъ своей системѣ, я бы долженъ былъ взять теперь и эти 5.000 рублей, такъ какъ они мои, если я пожелаю продолжить сроки векселей? Ну, да Богъ съ ними! ихъ я не возьму, но зато и векселей не отсрочу. А вѣдь, собственно говоря, слѣдовало бы лишить Нину Марковну и ея сіятельнаго друга и этой суммы?»

Ѳедоръ Петровичъ почему-то улыбнулся; какое-то маленькое, ужъ очень маленькое недовольство собою проявилось въ немъ, но оно было такое маленькое, сказалось на послѣдяхъ такихъ гораздо болѣе крупныхъ, умственныхъ и сердечныхъ волненій, что вовсе не повліяло на то успокоеніе, которое все настоятельнѣе сказывалось въ немъ.



— И притомъ же, такъ или иначе, дѣло сдѣлано... хорошо или дурно, сдѣлано... я все-таки сломилъ себя, я не слизень—человѣкъ, я не мягкотѣлое...

Вечеръ этого дня Картаевъ провелъ въ театрѣ.

Особенно живительно дѣйствуетъ на такихъ здоровыхъ, какъ онъ, людей—сонъ. Ѳедоръ Петровичъ проспалъ ночь великолѣпно. Еще передъ тѣмъ, чтобы заснуть, ощущалъ онъ въ себѣ нѣкоторые слабые отклики недавнихъ размышлений.

— Зачѣмъ, однако,—думалось ему,—сдѣлать я все это? Пожалуй, лучше было не дѣлать... да и самъ ли я сдѣлалъ это? самъ ли?...

И вотъ, на этой именно мысли улавливалъ себя Ѳедоръ Петровичъ въ явленіи довольно обычномъ: въ желаніи обмануть самого себя, утаить отъ себя свое дѣяніе.

— Какъ: самъ ли я сдѣлалъ? Конечно, самъ! Тысячу разъ самъ! и въ этомъ моя побѣда, большая побѣда... я бы и второй разъ сдѣлалъ то же, и въ третій, и въ четвертый... нѣтъ, я не слизнякъ, я не мягкотѣлое...

Часу въ десятомъ утра ему доложили о приходѣ Кавлина.

Гость вошелъ въ кабинетъ совершенно своеобразно въ томъ отношеніи, что, едва миновавъ дверь, онъ вперилъ въ хозяина свой взглядъ и пошелъ на него какъ-то особенно энергично и прямо. Весь онъ представлялъ изъ себя молчаливый, томительный, ждущій разрѣшенія вопросъ.

Картаевъ навстрѣчу Кавлину улыбался.

— Ну!—процѣдилъ, наконецъ, Кавлинъ, подойдя къ нему вплотную, и поздоровался съ нимъ.

Ѳедоръ Петровичъ продолжалъ улыбаться.

— Такъ, значить, дѣйствительно, сдѣлано? Ты былъ у Онуфріева?

— Былъ!

— А теперь что предпримешь?

— Подамъ ко взысканію!

— Да на какомъ правѣ основываясь?.. да вѣдь это мошенничество... это не слыханно... — рѣзко воскликнулъ Кавлинъ.

— Къ несчастію, добрыя дѣла, продѣланныя твоею Ниною Марковною, слыханны, и они вполнѣ родственны моему.

— Ну, а моя дружба къ тебѣ, а наши долгіе годы знакомства! За что же я-то отвѣчаю? За пустую разсѣянность мнѣ—голову долой!

— А за чтò отвѣтилъ этотъ человѣкъ, а съ нимъ и многіе другіе, — громко возразилъ Картаевъ, подходя къ бюсту брата своего.—За чтò?

Прошло нѣсколько мгновеній молчанія.

— Мы съ тобою болѣе не увидимся?! никогда не увидимся!—проговорилъ Кавлинъ.

— Какъ хочешь!—отвѣтилъ хозяинъ.

Федоръ Петровичъ перешелъ Рубиконъ и вполнѣ сознательно почувствовалъ себя человѣкомъ сильнымъ... и, по своему, онъ былъ правъ.



## ПРОФЕССОРЪ ВЕЗСМЕРТІЯ.

---

Лѣтъ десять тому назадъ, Семену Андреевичу Подгорскому, молодому человѣку краспвому и не бѣдному, вышедшему изъ Московскаго университета кандидатомъ и служившему въ одномъ изъ министерствъ, предстояла на лѣто командировка въ калмыцкія степи. Командировки требуютъ нѣкоторыхъ подготовленій къ предстоящему дѣлу, и Семень Андреевичъ занимался ими. Между прочимъ обратился онъ и къ бывшему попечителю калмыцкаго народа, за старостью лѣтъ вышедшему въ отставку, и получилъ отъ него много матеріаловъ, справокъ, совѣтовъ.

Между прочимъ бывшій попечитель калмыковъ сказалъ ему, что въ степяхъ познакомится онъ, даже непремѣнно долженъ познакомиться, съ чудакомъ перваго разбора, нѣкіемъ докторомъ медицины Петромъ Ивановичемъ Абатуловымъ; что небольшая усадьба его, на берегу Волги, Родниковка, это рай земной и, какъ мѣсто отдохновенія, самое лучшее; что жена его, Наталья Петровна—женщина краспвая, но очень вольная и, даже, какъ выразился попечитель, можетъ-быть преступная; что самъ Абатуловъ посвятилъ себя даровому лѣченію всякихъ больныхъ и что онъ «пронсвѣдуетъ» что-то очень дикое, а именно доказываетъ,

какъ онъ выражается, по даннымъ совѣмъ научнымъ, что душа человѣка не можетъ не быть безсмертною, но, въ то же время, самъ въ церковь не ходитъ.

— Я, случайно, какъ-то,—объяснилъ бывшій попечитель калмыцкаго народа,—присутствовалъ при одномъ подобномъ его разговорѣ и, помню очень хорошо, доказывалъ онъ намъ какъ-то очень странно безсмертіе души человѣческой. Чудакъ! его такъ и можно назвать «профессоромъ безсмертія»!

Бывшій попечитель калмыковъ снабдилъ Семена Андреевича письмомъ къ Абатѣулову.

— Смотрите, не попадитесь на удочку къ Натальѣ Петровнѣ,—сказалъ онъ, отдавая письмо.

Всѣ эти сообщенія не пропали для Семена Андреевича и, вырабатывая свой маршрутъ по калмыцкимъ степямъ, онъ устроилъ такъ, чтобы ему побывать въ Родниковѣ два раза, вмѣсто одного.

## I.

На самомъ берегу Волги, южнѣе Сарепты, расположено, какъ бы сказать... помѣстье? нѣтъ! слово помѣстье напоминаетъ помѣщика,—между человѣкомъ и землею существовала связь, не меньшая, чѣмъ между слѣдствіемъ и причиною, при чемъ опредѣленіе того: помѣщикъ ли породилъ помѣстье, или помѣстье помѣщика, являлось изстари повтореніемъ вопроса о молотѣ и наковальнѣ.

Эти тридцать девять десятинъ земли въ нашемъ разсказѣ не помѣстье, а собственность Петра Ивановича Абатѣулова, человѣка лѣтъ пятидесяти отъ роду, доктора медицины, высокаго роста, съ небольшою лысиною, чрезвычайно доброго, хотя и необходимого, задумчиваго.

Поземельная собственность Петра Ивановича, расположенная на правомъ, нагорномъ берегу Волги, вытягивалась

вдоль рѣки узкой полоскою и являла въ двухъ половинахъ своихъ, низменной и высокой, такія двѣ противоположности, сопоставленіе которыхъ рядомъ, бокъ-о-бокъ, граничило съ чудомъ.

На верху, на правомъ берегу Волги вдоль отрога, вплотную къ его краю, начиналась на сотни верстъ степь, голая, преголая, лѣтомъ совершенно выжигаемая солнцемъ, поросшая будяками и полынью; зимою—царство бурановъ и снѣговъ. Внизу подъ крутымъ, полупесчанымъ и полуглинянымъ, промытымъ дождями откосомъ берега, возвышавшимся сажень на тридцать, лицомъ къ другимъ безконечнымъ степямъ лѣваго берега Волги и восходящему солнцу, имѣлось налицо нѣчто совсѣмъ другое; тутъ пробивался обильный, всегда одинаково звонкій родникъ холодной, хрустальной воды и давалъ жизнь и красоту человѣческому жилью. Онъ пробивался для совсѣмъ короткой, но въ высшей степени богатой жизни. Считаая всѣ многочисленные извивы, которые дѣлалъ ручеекъ, скатываясь отъ горы къ Волгѣ, какъ бы стараясь продлить свое существованіе, въ немъ отъ истока до устья было никакъ не менѣе двухсотъ сажень длины. Послѣдній извивъ его былъ особенно любопытенъ; ручей, круто повернувъ назадъ, почти отъ самой Волги, приближался къ своему истоку; вернувшись къ нему издали, онъ былъ, казалось, уже такъ близко къ цѣли своего возвращенія, къ своей колыбели,—но могучая осокорь, словно вспѣнивъ жирную, твердую почву своими корнями и поднявъ ее, направляла возвращавшагося сына земли назадъ, вспять, въ странствіе, къ Волгѣ; источникъ попадалъ въ небольшое, ровное русло и сбѣгалъ къ Волгѣ, уже безъ всякихъ извивовъ, прямехонько, всего сажень пятьдесятъ, точно убѣдившись въ тщетѣ своихъ стараній, тихонько журча по мелкимъ камешкамъ, по тихому, тихому склону. Богатая вода источника дѣлала лѣтомъ изъ этого

уголка, подъ защитою высокихъ откосовъ, рай земной. Давно ли существуетъ этотъ источникъ, Богъ его знаетъ, но вѣрно только то, что въ долгіе, долгіе годы, онъ намыль и образовалъ подлѣ себѣ богатый сочный наносъ чистѣйшаго чернозема и что подлѣ него, подлѣ его чистыхъ, хрустальныхъ струй, на жирной землѣ, подъ ласкою южнаго солнца, росли и красовались такіе образчики растительнаго царства, которымъ могъ бы позавидовать любой ботаническій садъ.

— Далеко ли до Родниковки?—такъ называлось владѣніе Петра Ивановича, — спрашиваетъ у ямщика случайный проезжій.

— А вотъ она ужò изъ земли вынырнетъ, баринъ! отвѣчалъ ямщикъ;—недалече!

Трактовая дорога пробѣгала саженьхъ въ 50 отъ домика Петра Ивановича, открывавшагося подъѣзжавшему дѣйстви-тельно сразу, отъ края берегового отрога. Ямщики съ великимъ удовольствіемъ заѣзжали въ Родниковку: ихъ накормятъ, напоятъ, а если, чего не дай Богъ, въ семьѣ у ямщика больной есть, или самъ онъ чѣмъ боленъ, или другой кто больной просилъ по пути завезти, такъ Петръ Ивановичъ и совѣтъ дать, и лѣкарство даромъ отпустить.

Жена Петра Ивановича, женщина лѣтъ тридцати, Наталья Петровна, красивая и бойкая, считала мужа только безумцемъ; когда-то фельдшерица, взятая имъ въ жены, она не цѣнила его; онъ видѣлъ въ ней болтушку, кокетку и, противъ всякой очевидности, думалъ, что на этомъ она и останавливается. Никкимъ образомъ не представлялъ онъ изъ себя Отелло, но не имѣлось подлѣ него и Яго, который задался бы мыслью раскрыть ему глаза. Дѣло шло какъ пописанному: Наталья Петровна брала отъ жизни все, что хотѣла взять, а Петръ Ивановичъ оставался въ невѣдѣніи и любилъ жену безконечно. Насколько въ уѣздѣ и губерніи чтили въ народѣ его, настолько не жаловали ее. Всякаго,

направлявшагося въ Родниковку, злые языки предупреждали, что для Натальи Петровны, въ ея похожденияхъ,— море по коѣна, и что добрейшій въ мірѣ мужъ ничего рѣшительно не знаетъ и, повидимому, даже не хочетъ знать.

## II.

Занялось прекрасное іюньское утро надъ Волгою. Вспыхнуло оно гдѣ-то далеко, за необозримыми степями лѣваго берега, и залило краснымъ полымемъ усадьбу Петра Ивановича, притаившуюся подъ тридцатисаженнымъ отрогомъ праваго берега, лицомъ прямо на востокъ. Пойдетъ солнце на полдень, наклонится къ западу, и усадьба будетъ объята мягкою полутѣнью, прохладою. Рай земной! Но теперь, раннимъ утромъ, всѣ невеликія комнатки ея были залиты косыми, красными лучами востока; блистали жемчугами и алмазами родники, а въ садикѣ, подлѣ него раскинутомъ, пылали и свѣтились насквозь тѣмы отъ тѣмъ всякихъ розовыхъ, голубыхъ, пунцовыхъ и бѣлыхъ цвѣтовъ, при чемъ особенно нѣжно сквозили, словно напваясь алою кровью жизни, бѣлыя лиліи, исключительно любимыя хозяиномъ.

— Я ихъ особенно люблю,—говаривалъ Петръ Ивановичъ,—потому что лиліи цвѣтокъ Благовѣщенія! Кругомъ меня степь, обильно поросшая полынью, о которой не разъ упоминается въ «Апокалипсисѣ», когда намѣчаются мрачныя краски послѣднихъ дней міра; подлѣ меня, въ саду, дорогой мнѣ цвѣтокъ Благовѣщенія. Когда-то всѣ, нынче посохшія, безводныя степи Іорданскія покрывались лиліями Соломоновыхъ пѣсней; оттого-то, что ихъ было тамъ такъ много, и взята она Архангеломъ Гавріиломъ, по пути, въ часть благовѣствованія; ну и люблю я ихъ очень, потому что очень люблю самое Благовѣщеніе!

— Да вѣдь вы въ праздники не вѣрите?

— А все-таки Евангеліе первая въ мірѣ книга, и по-  
вѣствованіе о лиліи взято непременно съ натуры. Кто изъ  
насъ не ожидаетъ какого-либо благовѣщенія? Я, вотъ, въ  
церковь, дѣйствительно, мало хожу, а благовѣста церков-  
наго, безъ отзыва ему въ сердцѣ, слышать не могу.  
Я не имѣю поводовъ, къ великому моему горю, при-  
знать въ силу умственныхъ заключеній божественности  
Святаго Писанія—но я словно предчувствую это...

— Но вѣдь это противорѣчіе?

— И даже очень большое, но что же дѣлать, иначе не  
могу, пока-что не разъяснилъ себѣ.

Съ самой той минуты, какъ заронились первые багровые  
лучи въ комнаты усадьбы, Петръ Ивановичъ находился  
уже при занятіи въ своей амбулаторной комнатѣ: онъ при-  
нималъ больныхъ—прижигалъ, полоскалъ, рѣзалъ, перевя-  
зывалъ. Это повторялось рѣшительно каждый день. Мѣстные  
люди, большею частью калмыки, знали этотъ порядокъ,  
однажды заведенный. Издалека, съ обонхъ береговъ Волги,  
верстѣ за двѣсти и болѣе, наѣзжали они къ доктору и раз-  
считывали время своего прѣбытія, по возможности, такъ,  
чтобы быть въ усадьбѣ съ вечера. Всю ночь, каждую  
ночь, подлѣ нея располагался небольшой караванъ при-  
бывшихъ, мѣнявшійся въ своемъ личномъ составѣ почти  
ежедневно. Пускались по степи стреноженные лошади,  
виднѣлся, изрѣдка, отдохавшій въ лѣжку верблюдъ, про-  
совывая кверху, на длинной шеѣ, свою губастую голову и  
совершая жвачку; затепливались костры, строились кибитки,  
растягивались пѣлоги, звучала калмыцкая, рѣже нѣмецкая,  
еще рѣже русская рѣчь, но пѣсенъ почти не слышалось.  
Да и до пѣсенъ ли было людямъ усталымъ съ дороги; вся-  
кій здоровый являлся со своимъ больнымъ, со своею пе-  
чалью. Къ восходу солнца открывалась амбулаторія.



На этотъ разъ больныхъ прибыло особенно много, и Петръ Ивановичъ не могъ кончить всей работы съ ними до отъѣзда переночевавшего у него, при отъѣздѣ благочинія, священника, отца Игнатія. Наталья Петровна ранѣе полудня никогда не вставала, такъ что кофе гостямъ приготавлилъ самъ Петръ Ивановичъ. Отношенія его къ священнику были взаимно-дружескія; встрѣчались они часто, знакомы были давно и давно переговаривали обо всемъ рѣшительно. Абадуловъ пріостановилъ пріемъ больныхъ и вышелъ въ кабинетъ къ отцу Игнатію, которому предстояло выѣхать въ десять часовъ утра.

Обличіе отца Игнатія представлялось чрезвычайно внушительнымъ: высокій ростъ, длинная сѣдая, совершенно бѣлая и тщательно содержимая борода, длинные кудри густыхъ сѣдыхъ волосъ на головѣ, небольшіе, но очень выразительные глаза и необыкновенно спокойное выраженіе лица,—вотъ что поражало человѣка при встрѣчѣ съ нимъ въ глухихъ степяхъ; казалось, что ему болѣе подобало бы священнодѣйствовать въ какомъ-нибудь столичномъ соборѣ, а не въ этихъ мѣстахъ.

Бесѣда между нимъ и хозяиномъ, за чашкою кофе, шла на обычные предметы, въ значительной степени «интимнаго» свойства. Въ половинѣ десятого казачокъ, парнишка, взятый изъ деревни и прислуживавшій въ домѣ, пришелъ доложить, что тарантасъ готовъ. Собесѣдники поднялись съ мѣстъ, и прощаніе ихъ служило, такъ сказать, общимъ выводомъ долгаго разговора.

— Такъ какъ бы это сдѣлать, Петръ Ивановичъ,—говорилъ священникъ,—чтобы Наталья Петровна ну хоть когда-нибудь, хоть для видимости, въ церковь заѣхала? Вѣдь, право, людей совѣстно, разспросовъ...

— Ну ужъ тутъ ничего не подѣлать съ нею.

— То-то, вотъ, отъ рукъ отбилась! Не хорошо, право,

не хорошо. Молодая она и красивая женщина! Вѣдь и не-  
вѣсть что говорить могутъ, да и говорить...

— Знаю, знаю,—перебилъ Петръ Ивановичъ,—но что же  
мнѣ-то дѣлать?...

Петръ Ивановичъ только махнулъ рукою, и отецъ Игна-  
тій замолчалъ, находя излишнимъ продолженіе рѣчи, уже  
неоднократно и на тотъ же предметъ веденной.

— Любишь ее больно сильно, Петръ Ивановичъ, вотъ  
что!!.. ну и отпускаешь... а тоже потому, что самъ въ вѣрѣ  
не крѣпокъ. Вотъ ты въ душу безсмертную вѣришь, добрыя  
дѣла творишь, сердцемъ чистъ, а тоже въ церковь мало  
ходишь, тоже только для виду наѣзжаешь; молитву на устахъ  
имѣешь, а въ сердцѣ ея нѣтъ, потому что вѣры настоящей  
въ тебѣ нѣтъ... Не хорошо, не хорошо и жалко!

— Да откуда же ея, вѣры, взять-то, отецъ Игнатій, если  
Богъ не далъ?

— Богъ и плодовъ и хлѣбовъ земныхъ не далъ, если  
ихъ собирать, а на деревьяхъ, да на стебляхъ оставлять; ты  
глядишь и не видишь, оттого и вѣры не имѣешь. Ну и  
пусто должно быть подлѣ тебя, Петръ Ивановичъ, и въ  
сердцѣ тоже холодно, пусто!!..

Хозяинъ ничего не отвѣтилъ и ограничился довольно глу-  
бокимъ вздохомъ. Собесѣдники простились; отецъ Игнатій  
сѣлъ въ тарантасъ, кони тронули, и колокольчикъ зазве-  
нѣлъ. Не успѣлъ священникъ доѣхать до заворота на трак-  
товую дорогу, какъ навстрѣчу ему попался тарантасъ Се-  
мена Андреевича. Встрѣчные поглядѣли другъ-на-друга и  
разѣхались въ разныя стороны.

Петръ Ивановичъ, заслышавъ приближеніе другого коло-  
кольчика, продолжалъ стоять у подъязда. Кто бы это могъ  
быть? думалось ему. Обыкновенно приѣзжіе ночевали у  
него и нерѣдко сутки и болѣе, проведенныя въ прохладной,  
уютной, отгнѣнной высокими деревьями, усадьбѣ, послѣ

жгучихъ переѣздовъ по степи, являлись жгивительнымъ бальзамомъ, смягчавшимъ и улаживавшимъ припаленные степнымъ блескомъ глаза и высохшую подъ острымъ дыханіемъ грудь. Петръ Ивановичъ радъ былъ всякому человѣку. Въ этомъ отношеніи онъ являлся какъ бы тонкимъ гастрономомъ: новый человѣкъ былъ для него новымъ блюдомъ, и онъ знакомился съ нимъ, наблюдалъ, изучалъ. При условіи полного душевнаго одиночества, несмотря на присутствіе очень шумной жены, при нерушимой регулярности занятій—новый человѣкъ былъ для него—театромъ, музыкою, книгою, посѣщеніемъ общества, чтеніемъ газеты, любопытнѣйшимъ опытомъ и изслѣдованіемъ.

Семенъ Андреевичъ слѣзъ съ тарантаса и назвалъ себя по фамиліи, прося позволенія воспользоваться гостепріимствомъ Петра Ивановича на самый краткій срокъ.

— Чѣмъ дольше, тѣмъ лучше! — отвѣтилъ хозяинъ и предложилъ пріѣзжему войти въ домъ.

— Жена моя еще не выходила. такъ не взыщите, что угощать васъ кофеемъ или чаемъ буду я.

— Благодарю васъ,—отвѣтилъ Подгорскій, но я только что пилъ.

— Гдѣ?

— Я ночевалъ за двадцать верстъ отъ васъ въ Казачьемъ хуторѣ.

— Отчего же не у меня? Ну, такъ я покажу вамъ вашу комнату, пожалуйста, освѣжитесь.

— Въ комнату, если позволите, пройду, а освѣжаться мнѣ тоже не отчего, утро прохладно, и переѣздъ сдѣланъ небольшой.

Хозяинъ провелъ Подгорскаго въ небольшое помѣщеніе для гостей, только-что прибранное послѣ отца Игнатія. За нимъ внесли чемоданъ.

— У меня къ вамъ, Петръ Ивановичъ, есть письмо отъ бывшаго попечителя калмыковъ.

— А! очень, очень пріятно. Ну что онъ? Здоровъ ли? Какъ устроился?

— Все какъ слѣдуетъ. Благодаря ему, я, подъѣзжая къ вамъ, зналъ, что значить этотъ бивакъ подлѣ вашего дома.

— Да, да, все по-старому. Сегодня у меня ихъ особенно много; время жаркое и хирургическимъ больнымъ очень тяжело. Вотъ уже одиннадцатый часъ, а я еще не кончилъ съ ними.

— Такъ позвольте ужъ и мнѣ посмотреть.

— Сдѣлайте ваше одолженіе.

Любопытства ради Семенъ Андреевичъ присутствовалъ при приѣмѣ больныхъ.

Какія страшныя язвы зазіяли передъ нимъ, какія видѣлись страданія людскія, изрѣдка сопровождаемая, въ отвѣтъ на рѣзаніе ножа, на острую боль прижиганія или прополаскиванія, то стономъ, то крикомъ,—предстали передъ нимъ? Даже въ описаніи дантовскаго ада мало такихъ картинъ страждущаго челоѣчества, какъ тѣ, что нашли себѣ мѣсто тутъ, на берегу Волги.

Но еще поразительнѣе казалось Семену Андреевичу то невозмутимое, какъ бы нечелоѣческое хладнокровіе, съ которымъ врачъ исполнялъ свои обязанности, подвязавъ бѣлый передникъ и засучивъ рукава; словно мясникъ какой-то, вылуцивалъ онъ, вырѣзывалъ, жегъ, сшивалъ.

— Надо, однако, быть безсердечнымъ, думалось Семену Андреевичу, чтобы дѣлать все это съ такою невозмутимостью!

Гость почувствовалъ вначалѣ даже какое-то отвращеніе къ хирургу, но чувство это исчезло такъ же быстро, какъ пришло и, такъ сказать, потонуло въ томъ морѣ спокойствія и сознанія исполняемаго долга, которыя сказывались въ твердыхъ движеніяхъ рукъ Петра Ивановича. Часамъ къ

двѣнадцати утра рѣзанія, прижиганія, перевязыванія подошли къ концу и на многихъ изъ пріѣзжихъ калмыковъ, нѣмцевъ и русскихъ, готовившихся къ отбытію, бѣдѣли чистыя повязки и бинты.

Покончивъ работу и отпустивъ послѣдняго изъ больныхъ, Петръ Ивановичъ снялъ свой передникъ, прибралъ инструменты и тщательно обмылъ руки.

— Ну-съ, теперь можно и къ женѣ пройти,—проговорилъ Петръ Ивановичъ, вытирая руки полотенцемъ;—это время ея завтрака. Милости просимъ!

Хозяинъ провелъ гостя въ садъ, расположенный въ котловинѣ, по косогору. Бесѣдка, къ которой спускались они, находилась какъ разъ на полпути къ низменнымъ, песчанымъ наносамъ Волги, и совершенно утопала въ зелени. Отънесенная высокими осоками, она была обвита, какъ громадною сѣтью, изумрудною листвою тыквы, расположенною на свѣтлыхъ, змѣвидныхъ стебляхъ. Наталья Петровна дѣйствительно уже сидѣла подлѣ стола и, покуривая папиросу, допивала вторую чашку кофе. Она приняла гостя очень любезно, протянула руку и просила сѣсть.

— А я теперь, съ вашего разрѣшенія,—сказалъ Петръ Ивановичъ,—пойду журналъ сегодняшнимъ больнымъ писать.

— Чудесная литература,—громко проговорила Наталья Петровна:—прыщи, раки, наросты, вывихи, изломы!!.

Петръ Ивановичъ улыбнулся и ушелъ. Подгорскаго будто что кольнуло въ сердце. Съ минуты прихода въ бесѣдку Семень Андреевичъ не могъ не замѣтить красоты Натальи Петровны и весьма свободнаго обращенія, вполне соответствовавшего той славѣ, которая о ней ходила. Въ голубоватой тѣни бесѣдки, кое-гдѣ прорѣзанной необычайно жгучими, чисто итальянскими лучами солнца, она казалась брюлловскою картиною. На ней было бѣлое, береговое платье, съ кружевной оборкой, сквозь которую бѣжала пунцовая

ленточка; черные глаза подъ тонкими, чрезвычайно изящными бровями и черные волосы, заплетенные въ могучую косу, кое-какъ приколотую на затылкѣ шпильками, замѣтны были рѣзче остального.

— Ну, какъ понравилась вамъ, Семенъ Андреевичъ, мясницкая мастерская моего мужа? Аппетитъ къ кофе возбудила? Не хотите ли?

Подгорскій отказался.

— Нѣтъ, серьезно,—продолжала Наталья Петровна,—я не знаю какъ другимъ, но для меня это невыносимо.

Семенъ Андреевичъ находился подъ впечатлѣніемъ чрезвычайно смутнымъ; задумчиво настроенный дѣятельностью доктора, онъ, подлѣ жены его, во вниманіе къ красотѣ ея и, въ особенности, припоминая рассказы о ней, былъ сразу объятъ стремниною самыхъ непримиримыхъ одно съ другимъ чувствъ. Протнворѣчивость этихъ чувствъ вызвала въ немъ, помимо его воли, прежде всего, недовольство собою, потому что онъ попалъ въ это положеніе совершенно помимо желанія и не могъ не сознавать, что какъ-то связанъ, лишенъ свободы дѣйствій, что онъ—самъ не свой. Это настроеніе выразилось въ немъ, прежде всего, молчаливостью. Она становилось еще несуразнѣе благодаря нѣкоторой особенности его характера: Семенъ Андреевичъ чрезвычайно быстро привязывался къ женщинѣ, перемѣнъ не любилъ, а тутъ, во всеоружіи красоты, свободы и полной доступности, выросла передъ нимъ, въ степяхъ, словно изъ земли поднялась, женщина видимо неспособная къ мало-мальски продолжительной привязанности. Молчаливость его становилась молчаливостью злобною.

«Чортъ занесъ меня сюда, однако!» думалось ему, и это было какъ бы нѣкимъ разрѣшеніемъ путаницы мыслей и чувствъ.

Разговоръ не клеился. Подгорскій воспользовался своимъ

положеніемъ пріѣзжаго изъ столицы и нагородилъ цѣлый ворохъ свѣдѣній о томъ, о семъ, что для Натальи Петровны, во всякомъ случаѣ, являлось новинкою. Онъ умѣлъ говорить и, очень хорошо прикрывая состояніе своего духа словами, иногда очень ловкими, вызывалъ въ хозяйкѣ улыбки и даже смѣшки. Она, несомнѣнно, обманулась въ немъ; ничто не подкупаетъ женщинъ, какъ умѣнье заставить ихъ смѣяться; мужчину этимъ не подкупишь.

— Вы ѣдете въ Астрахань, Семенъ Андреевичъ?—проговорила она.

— Да-съ.

— И мнѣ туда надобно; хотите, поѣдемъ вмѣстѣ? Вы на сколько времени ѣдете?

— Право не знаю,—чуть слышно проговорилъ Подгорскій, окончательно сбитый съ толку предложеніемъ Натальи Петровны: она, видимо, не теряла времени.

— Тамъ гоститъ теперь какой-то цыганскій хоръ. Вы цыганъ любите?

— Очень люблю, въ особенности, если ихъ слушать въ присутствіи хорошенькихъ женщинъ,—быстро отвѣтилъ Семенъ Андреевичъ, словно выпалилъ, для приданія себѣ бодрости, но въ то же время почувствовалъ какую-то необычайную тоску, какъ бы боль въ сердцѣ, какую-то томительную глупость, безвыходность своего положенія.

«Да она, словно, всасываетъ меня въ себя!!! какъ та красавица на Цейлонѣ, о которой говорилъ мнѣ мой пріятель, кругосвѣтный путешественникъ: послѣ двухъ дней стоянки, его пришлось тащить на фрегатъ почти силою, по приказанію капитана», подумалъ Подгорскій и, не безъ удовольствія, замѣтилъ спускавшагося по косогору Петра Ивановича. Съ нимъ шло освобожденіе. За хозяиномъ слѣдовалъ какой-то отставной военный, человѣкъ лѣтъ трид-

цати, съ тоненькими усиками и несомнѣнно красивой наружности.

— Оедоръ Лукичъ! милости просимъ!—громко произнесла Наталья Петровна,—какими судьбами?

«Вѣроятно одинъ изъ счастливецъ?» невольно подумалъ Семенъ Андреевичъ, опытный въ этихъ дѣлахъ.

— Я къ вамъ съ предложеніемъ,—отвѣтилъ Оедоръ Лукичъ развязно, войдя въ бесѣдку.

Новыхъ знакомцевъ представили другъ другу; когда всѣ заняли мѣста, то Оедоръ Лукичъ объяснилъ, что сегодня, къ тремъ часамъ пополудни, прибудетъ дистанціонный путейскій пароходъ, что на немъ ѣдетъ большое общество, что цѣль путешествія—рыбная ловля en grand: съ собою везутъ сѣти, рыбаковъ, палатки для устройства бивака, припасы, что взять поваръ исправника и что прогулка разсчитана на три дня.

— Можетъ-быть и гость поѣдетъ съ нами,—проговорилъ Оедоръ Лукичъ,—а, можетъ-быть, и самъ Петръ Ивановичъ? Будутъ всѣ власти: исправникъ, товарищъ-прокурора, слѣдователь, лѣсничій, инженеръ, путеецъ, акцизный, такъ что на цѣлыхъ три дня люди останутся безъ всякаго управленія.

— Да, да, поѣдемте, Семенъ Андреевичъ, отличные господа! ознакомитесь также съ нашими рыбаками,—проговорила Наталья Петровна.

— Нѣтъ, благодарю васъ, мнѣ нельзя будетъ, такъ какъ я уже распорядился о вызовѣ сюда нѣсколькихъ калмыцкихъ старшинъ.

— О! мы ихъ назадъ отправимъ, — увѣренно и четко проговорилъ Оедоръ Лукичъ,—стоитъ только сказать исправнику, и конецъ.

— Нѣтъ! увольте, прошу васъ, много благодаренъ.

— А ты, Петръ Ивановичъ?—спросила хозяйка.

— Я съ гостемъ останусь.



— Да, ужъ Петра Ивановича не вытащишь,—проговорилъ отставной военный.—И такую хорошенькую жену да на цѣлыхъ три дня отпускать, да еще съ такими, какъ мы, молодцами—это смѣло, очень смѣло,—добавилъ онъ съ какимъ-то худо скрытымъ и даже не скрываемымъ цинизмомъ.

«Должно - быть, думалось Подгорскому, этотъ господинъ дѣйствительно является очереднымъ у Натальи Петровны?»

Положеніе Подгорскаго стало какъ-то чрезвычайно неловко, онъ взглянулъ исподлобья на Петра Ивановича: хозяинъ чуть-чуть покачалъ головою, и едва замѣтная снисходительная улыбочка промелькнула по губамъ его.

— Ну ужъ! къ этому мы привыкли,—замѣтила очень громко Наталья Петровна и махнула рукою.

«Несомнѣнно, что мое предположеніе вѣрно», заключилъ мысленно Подгорскій.

Разговоръ перешелъ на разные предметы, касающіеся края; говорили о рыбной ловлѣ, о какихъ-то недавно произведенныхъ, въ одномъ изъ кургановъ, раскопкахъ; позлословили на счетъ нѣкоторыхъ пзъ лицъ, отправлявшихся на прогулку, курили папирсы, пили кофе и, наконецъ, разошлись.

### III.

— Ёдутъ! Ёдутъ!—закричалъ, часа въ два пополудни, Ѳедоръ Лукичъ, взбѣгая по крутизнѣ сада къ дому отъ берега Волги.

— Вотъ это правильно!—отвѣтила ему изъ окна Наталья Петровна.

Она высунулась изъ окна и взглянула сквозь листву высокихъ осокорей вверхъ по Волгѣ. Дѣйствительно: черный дымъ парохода видѣлся очень явственно въ яркомъ свѣтѣ

горячаго дня, за однимъ изъ отроговъ, и, минутъ черезъ тридцать послѣ этого, подлѣ домика Петра Ивановича образовались двѣ своеобразныя, одна съ другою не сливавшіяся, кучки людей, весьма типичныя для живописца.

Въ одной кучкѣ, здороваясь у подъѣзда съ хозяйкою и Ѳедоромъ Лукичомъ, толпились прїѣзжіе гости, пассажиры парохода, съѣхавшіе на берегъ всѣмъ обществомъ, для принятія на пароходъ Натальи Петровны. Чрезвычайно длинный, съ гусиной шеей, представитель прокуратуры съ женою, какъ нельзя болѣе походившей на уточку; сухой, болѣзненный, вѣроятно чахоточный, судебный слѣдователь; немного сутуловатый горный инженеръ, съ биноклемъ на ремнѣ черезъ плечо; очень жирный акцизный чиновникъ съ племянницею (подъ этимъ именемъ извѣстна была хозяйка его дома, одна изъ величайшихъ мастерицъ міра въ кулинарномъ искусствѣ, что не мало способствовало прочности связи дяди съ племянницею); лѣсничій, молодой человекъ, не болѣе двухъ лѣтъ тому назадъ окончившій лѣсной институтъ и сильно прїударявшій за только-что названною кулинарною племянницею; онъ же корреспондировалъ въ столичныя газеты и, въ этомъ отношеніи, считалъ себя двойною властью. Вполнѣ величественъ оказался начальникъ парохода, громадный путеецъ; онъ и взошелъ-то на гору позже всѣхъ и здоровался съ меньшимъ наклоненіемъ головы; за спиною его покачивалось ружье, и красивая, почти розовая собака, изъ породы сетеровъ съ помѣсью ливретки, не отходила отъ его ногъ. Эта кучка гостей шумѣла, егозила, двигалась, много смѣялась и на свѣтлыхъ одѣяніяхъ ея, на кителяхъ мужчинъ, на бѣлыхъ зонтикахъ и легкихъ платьяхъ дамъ, какъ бы лежало сіянье: такъ любо было жаркому, степному солнцу глядѣть на этихъ веселыхъ, смѣющихся, довольныхъ міромъ и собою людей.

Другая кучка, расположившаяся въ нѣкоторомъ удаленіи

отъ подѣзда, между кибитокъ и тарантасиковъ, представляла изъ себя нѣчто вполне противоположное. Полное молчаніе царило надъ нею и ярко бѣлѣли, между сѣрыхъ кафтановъ, охабней и темныхъ женскихъ юбокъ, молочно-свѣтлыя перевязки и бинты, недавно наложенные Петромъ Ивановичемъ. Невзрачные, скулистые, съ рѣдеными бородками, калмыки, толстые, сочные колонисты-нѣмцы и очень немногіе русскіе: больные сидя, другіе, здоровые, стоя, взирали на пріѣзжихъ, почтительно снявъ шапки. Не было между ними лицъ, если не задумчивыхъ, то, по крайней мѣрѣ, не сосредоточенныхъ и, насколько смѣялась и тараторила первая кучка здоровыхъ представителей власти, настолько молчала и соображала вторая кучка, состоявшая изъ больного народа.

— А, это ты, Захаръ!—проговорилъ лѣсничій, завидѣвъ въ послѣдней кучкѣ осанистаго мужика и подходя къ нему.— Какія это у тебя не клейменныя бревна нашлись? Не въ первый разъ, братецъ! Смотри, плохо придется.

— Да вѣдь онъ и у меня свидѣтелемъ по другому дѣлу вызванъ; сегодня повѣстку послалъ,—добавилъ судебный слѣдователь, подойдя къ Захару вплотную.

Захаръ поворачивалъ шапку въ рукахъ и молчалъ.

— А гдѣ же, господа, главная власть, исправникъ, Ѳаддей Ѳаддеичъ?—громко проговорила хозяйка, не замѣчая его между прибывшими.

Ей объяснилъ немедленно судебный слѣдователь, что исправникъ, по пути, съѣхалъ на другой берегъ Волги, гдѣ его ожидалъ становой, для полученія какихъ-то приказаній относительно недалекой отсюда ватаги рыболововъ.

Вышелъ, наконецъ, на крыльцо и самъ Петръ Ивановичъ. Длинный, блѣдноватый, съ просьдью въ бородѣ, онъ, здороваясь съ пріѣзжими, просилъ зайти въ домъ, но этого не исполнили, а прошли прямо въ садъ, въ бесѣдку. Тамъ

находился Семенъ Андреевичъ—послѣдовало взаимное представленіе, приглашеніе гостя принять участіе въ прогулкѣ, его отказъ, упрасиванія и опять отказъ и, наконецъ, минуть черезъ двадцать, вся шумная компанія налетѣвшихъ властей направилась къ пароходу, и въ Родниковкѣ настала глубочайшая тишина; молчаніе яркой степи отовсюду надвинулось на нее.

Наступилъ пятый часъ—время обѣда, и Петръ Ивановичъ съ Семеномъ Андреевичемъ отправились къ столу, накрытому въ бесѣдкѣ. Разговоръ между ними принялъ не сразу опредѣленное направленіе, но къ концу обѣда онъ сталъ любопытенъ обоимъ.

— Да,—говорилъ Семенъ Андреевичъ, глотнувъ кофе и потянувъ дымъ своей чрезвычайно тоненькой папироски,—я очень интересуюсь именно метафизическими вопросами и, при томъ направленіи, которое имѣютъ современные изслѣдованія естественныхъ наукъ, я положительно недоумѣваю: какъ можно не интересоваться ими. Вѣдь связь духа съ матеріею такъ наглядна, такъ ощутима, что, право, не-видитъ ея развѣ только слѣпой.

— Вы, Семенъ Андреевичъ, говорите, что интересуетесь метафизическими вопросами, но я за метафизику, простите меня, гроша не дамъ. Хотя очень умный человѣкъ—Погодинъ—и сказалъ, что мистическаго никто не искоренить изъ человѣческаго духа, но я—живое ему опроверженіе. Что касается до связи духа съ матеріею, то это дѣло другого рода; но мнѣ любопытно знать: говорите вы это *in verba magistri* человѣка, занимавшагося естественными науками и философіею съ равною любовью, или только со словъ другихъ?

— Нѣтъ, я занимался ими и никакъ не забуду, какъ въ моемъ присутствіи закончилъ въ Гейдельбергскомъ университетѣ свои лекціи о результатахъ естественныхъ наукъ знаменитый Гельмгольцъ.

— А вы слушали и его?—перебилъ, видимо затронутый за живое. хозяинъ.

— Да, и очень долго. Онъ ознакомилъ насъ съ результатами, съ послѣдними словами естествознанія, читалъ онъ намъ по пяти разъ въ недѣлю, и аудиторія его бывала полнехонька. Намъ, слушателямъ, на послѣдней лекціи, онъ сказалъ: «Господа, прощаясь съ вами, я долженъ, на дорогу вамъ, сказать слѣдующихъ нѣскольکو очень вѣсѣкихъ словъ. Не все, господа, можемъ мы объяснять одними только физико-химическими законами: есть вопросы, дойдя до которыхъ, естествознаніе останавливается и, повидимому, начинаютъ дѣйствовать законы другой компетенціи, а именно: философіи и метафизики, изложеніе которыхъ въ мою задачу не входитъ и должно быть предоставлено другимъ. Прощайте, господа!—заключилъ профессоръ,—и помните мои слова».

— Онъ такъ это и сказалъ? вы помните хорошо?—спросилъ видимо встревоженный Петръ Ивановичъ.

— Помню, у меня эти слова даже записаны.

— Какъ удивительно, однако, совпадаютъ они.—продолжалъ хозяинъ,—съ другою картиною, другого мыслителя—Вундта! Вы и его слушали? Вѣдь онъ тоже профессорствовалъ въ Гейдельбергѣ, кажется, одновременно съ Гельмгольцемъ?

— Да, я и его слушалъ.

Петръ Ивановичъ протянулъ гостю руку и, съ видимымъ удовольствіемъ, пожалъ ее.

— Да, это было славное время Гейдельбергскаго университета,—замѣтилъ Подгорскій.—Тогда еще Страсбургъ не принадлежалъ французамъ. Я не разъ бесѣдовалъ съ Шлоссеромъ, Страусомъ, Гервинусомъ, Миттермайеромъ, Кирггофомъ, Бунзеномъ, Блюнчли... теперь, кажется, большинство ихъ въ могплахъ.

— Да, да, Вундтъ говорилъ совершенно то же, что и

Гельмгольцъ,—продолжалъ Петръ Ивановичъ, какъ бы кончая вслухъ мышленіе, совершившееся втихомолку,—я вамъ найду это мѣсто, найду... Вундтъ говоритъ, приблизительно, такъ: на все рѣшительно, что лежитъ передъ нами въ самомъ полномъ свѣтѣ познанія, накладываетъ свою колоссальную тѣнь причина причинъ и, дальше говоритъ онъ, что на все живущее ложится хотя что-нибудь изъ безконечности идей религіи... и это сказалъ не присяжный теологъ, а крупный изслѣдователь-естественникъ!

— Однако,—возразилъ Семенъ Андреевичъ,—о безсмертіи души человѣческой никто изъ нихъ не заикался?

Эти слова сказаны были гостемъ съ цѣлью окончательнаго опредѣленія почвы, на которую хотѣлось ему вызвать «профессора безсмертія». Онъ не ошибся: Петръ Ивановичъ, видимо очень довольный совершенно неожиданною возможностью говорить съ ученикомъ Шлоссера, Гервинуса, Гельмгольца и другихъ, развернулся всѣмъ своимъ существомъ. Глаза его блестяли, и онъ кинулъ недокуренную папироску на землю.

— Мнѣ очень пріятно видѣть,—проговорилъ Семенъ Андреевичъ, вовсе не желая мѣшать хозяину и обливаетъ его холодною водою,—что вы, врачъ, естествоиспытатель, думаете такимъ образомъ.

— Я не первый-съ, много было первыхъ...

Петръ Ивановичъ остановился. Онъ поплылъ на всѣхъ парусахъ по хорошо знакомому ему морю, и Семену Андреевичу предстояло очень немного труда, чтобы подогнать это плаваніе.

— Послушайте, Семенъ Андреевичъ,—сказалъ Абатюловъ послѣ непродолжительнаго молчанія,—я вижу, что эти два, три дня, чтѣ вы проведете у меня, будутъ рядомъ бесѣдованій, но, до того, чтобы разумно бесѣдовать, прочтите небольшую тетрадку, мною написанную. У меня, ви-

дите ли, доведена до конца очень большая работа, доказывающая безсмертіе души человѣка естественно-научнымъ путемъ.

— Съ естественно-научными доказательствами? — спросилъ Подгорскій.

— Да, съ доказательствами. Всей огромной работы моей, идущей очень издалека, отъ фактовъ микроскопіи, вамъ въ короткое время не прочесть, но заключеніе ея, послѣдній выводъ я вамъ представлю, объясню на словахъ, чтобы провѣрить себя. Для того, однако, чтобы вы могли логически слѣдовать за моимъ изустнымъ изложеніемъ сдѣлайте мнѣ великое одолженіе и прочтите тѣ нѣсколько страничекъ, которыя я вамъ дамъ. Если вы прочтете ихъ внимательно, то увидите, что мои доказательства безсмертія могу я представить вамъ только въ томъ случаѣ, если вы признаете несомнѣннымъ, непоколебимымъ, непреложнымъ два окончательные вывода моей работы, предшествующіе доказательству безсмертія, а именно: первое, что организмы на землѣ, отъ временъ древнѣйшихъ, постоянно совершенствуются, и второе, что однажды достигнутое совершенствованіе—сохраняется. Вы, можетъ-быть, уже видите, какъ отъ этихъ двухъ несомнѣнностей перейду я къ доказательству безсмертія? Развѣ не свѣтитъ вамъ въ выводѣ изъ нихъ безсмертная, свободная, трепещущая въ радости душа человѣка?

— Нѣтъ, не вижу этого,—отвѣтилъ, улыбнувшись, Семень Андреевичъ,—но нѣкоторое смутное понятіе о той сторонѣ, въ которую вы будете двигаться въ вашихъ доказательствахъ, я, приблизительно, имѣю. Во всякомъ случаѣ, это крайне любопытно, и я прошу васъ дать мнѣ тетрадку.

— Вы не рассказываете въ томъ, что не поѣхали на пароходѣ?

— Ни мало.

— Только объ одномъ напоминаю я вамъ, Семенъ Андреевичъ, самымъ настоящимъ образомъ: я хочу и буду объяснять вамъ мою теорію, но я могу объяснить вамъ ее только при томъ условіи, что вы, какъ я, примете за несомнѣнные, вполне научно, помните—научно, доказанныя двѣ истины: постоянное совершенствованіе организмовъ и сохраненіе усовершенствованныхъ формъ! Это, немножко, Дарвинъ, если хотите, но не совсѣмъ Дарвинъ. Когда вы прочтете мою тетрадку, то скажите мнѣ: согласны или нѣтъ? Если не согласны и этихъ двухъ выводовъ не признаете, то о дальнѣйшемъ не можетъ быть и рѣчи; если же вы признаете—тогда поговоримъ.

Вечерѣло. Пылающій жаръ окрестныхъ степей начиналъ спадать, когда собесѣдники направились къ дому и прошли въ кабинетъ, гдѣ, на письменномъ столѣ, въ одномъ изъ угловъ, лежала небольшая, листовъ въ шесть или семь, тетрадка. Петръ Ивановичъ вручилъ ее гостю.

— Помните,—сказалъ онъ, отдавая ее,—безъ того, чтобы вамъ признать «совершенствованіе» и «сохраненіе» усовершенствованныхъ формъ организмовъ, дальнѣйшаго разговора между нами быть не можетъ. А теперь, пока что, я пойду къ моимъ больнымъ, вечеръ всегда оказываетъ удивительное вліяніе на хирургическихъ больныхъ. Думаю, что этому много причинъ и, между прочимъ, можетъ-быть, вліяніе красокъ въ атмосферѣ. Что краски очень сильно вліяютъ на состояніе душевно-больныхъ, это подтверждено недавними опытами: больныхъ помѣщали въ комнаты съ разной окраской; меланхолики, въ розовыхъ комнатахъ, успокаивались даже на другой день; красный цвѣтъ дѣйствовалъ хорошимъ, возбуждающимъ образомъ на больныхъ съ угнетеннымъ состояніемъ духа; синій, голубой и зеленый успокаивали, особенно голубой. Взгляните, какимъ ла-



зурнымъ стало къ вечеру наше палящее небо; моимъ больнымъ, должно-быть, легче; хотите взглянуть?

— Пойдемте, — проговорилъ Семенъ Андреевичъ, хотя сказалъ онъ это не особенно охотно, потому что тетрадка, находившаяся у него въ рукахъ, могла быть прочитана въ какіе-нибудь полчаса, и ему ужасно этого хотѣлось.

Когда оба они пошли по направленію къ кибиткамъ калмыковъ, люди, находившіеся у кибитокъ, увидя ихъ, задвигались; многіе приподнялись съ мѣстъ и сняли шапки.

#### IV.

Тетрадка, переданная Семену Андреевичу и прочитанная въ тотъ же вечеръ Подгорскимъ, заключала въ себѣ слѣдующее:

«Оконченная мною работа, которой посвятилъ я около двадцати лѣтъ труда, которая, можетъ-быть, появится когда-либо въ печати, цѣликомъ, раздѣляется на два крупныхъ отдѣла.

#### *Первый отдѣлъ.*

Тутъ, прежде всего, замѣчаются мною права гипотезы въ наукѣ вообще; въ данномъ случаѣ это тѣмъ болѣе необходимо, что, во вниманіе къ самому предмету, подлежащему доказательству, доказать его ощутимо, *ad oculos*, совершенно невозможно. Моя гипотеза не является чѣмъ-то безусловно новымъ, невиданнымъ, въ силу общаго закона «пульсаціи» въ мысляхъ человѣчества, т.-е. того, что въ мысляхъ этихъ, какъ и въ органической жизни вообще, то и дѣло возникаютъ уже бывшія сочетанія. О томъ, что подъ солнцемъ ничто не ново, говорилъ еще царь Соломонъ. Но подобно тому, какъ въ природѣ ни одинъ ударъ пульса не можетъ быть похожъ на другой, какъ ни тожде-

ственные они съ перваго взгляда, уже потому, что одинъ ударъ является «предшествующимъ», другой «послѣдующимъ», возникающимъ при совершенно новой обстановкѣ какъ самаго организма, такъ и всего остального міра, такъ и въ мірѣ психической дѣятельности человѣчества есть свои пульсаціи, но нѣтъ повтореній.

За изложеніемъ сказаннаго я, вооружившись, на сколько могъ, выводами естествознанія, подкрѣпленными многими сотнями примѣровъ, прихожу къ заключенію, что въ природѣ, между міромъ неорганическимъ и органическимъ, т.-е. между всѣми такъ-называемыми тремя царствами природы, существуетъ связь самая полная, единеніе и перекрещиваніе самое внушительное; что перегородки между царствами природы и въ нихъ самихъ поставлены только человѣкомъ; что онѣ, фактически, не существуютъ, но могутъ и должны быть сохраняемы только для удобства изслѣдованій и изученія.

Такое же точно единеніе, такую же точно цѣлостность должно видѣть въ силахъ и законахъ, заправляющихъ всѣми царствами природы, такъ какъ нельзя не признать свѣта, тепла, электричества, движенія и пр. по существу своему вполне тождественными; если гдѣ эта тождественность, это единеніе не доказаны, то это только вопросъ времени, труда и удачи. Въ качествѣ чего-то очень близкаго къ правдѣ надо признать, что, въ строгомъ смыслѣ, въ природѣ нѣтъ ни прошедшаго, ни настоящаго, ни будущаго, нѣтъ великаго и малаго, быстрого и медленнаго, сильнаго и слабого, и т. д. Перегородки, и въ этомъ отношеніи, поставлены только человѣкомъ, подлежатъ, для удобства изученія, сохраненію, но фактически не существуютъ.

Установивъ, такимъ образомъ, полное единеніе въ природѣ, признавъ то, что, по справедливости, называется

«божественнымъ строемъ мірозданія», я доказываю, вслѣдъ за тѣмъ, что и человѣкъ не составляетъ никакого исключенія и ни въ чемъ не является снабженнымъ особыми привилегіями, кромѣ, однако, одной: въ качествѣ послѣдняго слова творенія, въ качествѣ его *corona triumphalis*, дальнѣйшее развитіе мірозданія, согласно всему прежде бывшему, можетъ совершаться впредъ, такъ сказать, только сквозь него. «Пока что», человѣкъ не что иное, какъ послѣднее звено въ безконечной цѣпи всѣхъ развитій, сотворенное въ послѣдній, шестой день творенія и, какъ таковое, находится, если угодно, въ положеніи исключительномъ.

Для доказательства того, что между человѣкомъ и остальною природою нѣтъ никакого скачка, я привожу своевременно тоже весьма достаточное количество фактовъ и затѣмъ прихожу къ исключительно важному для меня выводу того, что законы, созидающіе и направляющіе жизнь въ природѣ, во многомъ тождественны съ законами, направляющими все то, что творитъ человѣкъ при посредствѣ своего духа; что въ мірѣ мысли и чувствъ своеобразно повторяется «причинность», существующая въ химіи, физикѣ, динамикѣ, статикѣ, механикѣ, зоологіи, ботаникѣ, астрономіи и пр.

При изложеніи этого существенно важнаго для меня вывода, я, волею-неволею, не имѣя возможности, какъ объ этомъ было сказано выше, распоряжаться видимыми доказательствами, прибѣгаю къ убѣдительности аналогій, сходствъ, тождествъ. Если чрезвычайно вѣскою въ наукѣ является поставленная прочно гипотеза, то не менѣе внушительны и аналогіи; если одна овца—не стадо, двѣ, три овцы—не стадо, но, положимъ, пятьдесятъ овецъ—уже несомнѣнно стадо, то то же должно сказать и объ аналогіяхъ: если одна, двѣ, десять, сто аналогій еще не доказательства, то достигнуть же онѣ, наконецъ, своей числен-

ностью, своею яркостью такой убѣдительности, окажутъ такой дружный напоръ на мышленіе человѣка, что явятся во всеоружіи несомнѣнныхъ доказательствъ *ad oculos*.

Сѣверъ находится на одной изъ сторонъ нашего горизонта, и тождественныя указанія всѣхъ магнитныхъ стрѣлокъ подтверждаютъ это; мои аналогіи и магнитныя стрѣлки, въ данномъ случаѣ, одно и то же.

Особенно сподручною и цѣнною для меня, на службѣ моимъ выводамъ, должна служить самая молодая изъ всѣхъ наукъ—«психофизика», уже открывшая, по вопросу о связи духовной дѣятельности человѣка съ физическимъ міромъ, необычайно много. Она, въ недалекомъ будущемъ, безспорно дастъ мнѣ недостающія теперь доказательства *ad oculos*, при лицезрѣніи которыхъ будетъ уже совершенно ясно, что все исходящее отъ души человѣка (т.-е. изъ его мыслей, фантазіи, чувствъ и т. д.) и составляющее объекты ея творчества, а именно: науки, искусства, законодательства, дѣянія, военное дѣло, ораторская рѣчь, симфонія, домъ, мостъ, философская система, каналъ и пр., и пр., составляютъ не что иное, какъ продолженіе творчества самой природы, творчество ея черезъ посредство человѣка, нѣчто подобное тому, что совершаетъ дерево, наливая свой плодъ и давая сѣмя. Въ исторіи творчества человѣка, т.-е. въ развитіи всей его дѣятельности, въ самомъ широкомъ ея значеніи, нельзя не признать частнаго вида творчества самой природы; это можетъ быть доказано, и доказывается мною въ длинномъ рядѣ примѣровъ зарожденій, развитія, болѣзней, прививки, распространенія, смерти и другихъ біологическихъ и фізіологическихъ актовъ въ существованіи произведенія творчества человѣческаго духа. Ихъ можно, для удобства, назвать не совсѣмъ точнымъ именемъ «психическихъ организмовъ», не въ томъ смыслѣ, чтобы они имѣли голову, ноги, сердце и т. д. (хотя и суще-

ствують організми безъ органівъ), а въ томъ, що въ своєобразномъ мірѣ произведень творчества людського духа, складающемъ въ нашомъ мірѣ отнюдь не меншій, чѣмъ онъ, міръ, они являються якъ бы отдѣльними, самостійними, своє бытіє имѣючими «індивидуумами». Напоминаю, що ще св. Августинъ назвавъ міръ «самимъ більшимъ изъ всѣхъ видимихъ організмівъ». Вспомнимъ також, що який-небудь мікроскопічеської амеби єя удлинєніє замѣняєть органи движенія и хватанія, що весь організмъ єя, по словамъ Грюна, одночасно: рука, ротъ и пищеварительный судинъ. Потрібно ли, щобы и у організма непремѣнно имѣлись органи? Я буду просити читателя обратити особене уваженіє на эти, на першій взглядъ, «психическіє організми» моего сочинєнія. Лучшаго слова, чѣмъ «організмъ», въ особєнности во уваженіє къ тому, що сущєствують въ природѣ організми безъ органівъ, я положительнѣйшимъ образомъ подобрати не могъ. Названіє это смѣшно съ першаго взгляда, но только съ першаго. Психическимъ організмомъ называю я все рѣшитєльно, безъ всякаго исключєнія, що сотворєно духомъ людського: дѣянє, пѣсню, картину, мостъ, химическій опытъ, битву, исторію, законодавєство и т. д. Всѣ эти організми, всѣ безъ исключєнія, имѣють своє зародженіє, развитіє, болѣзни, смерть и т. д. Возьмємъ, для рѣзкости примѣра, «мостъ». Я не знаю количества всѣхъ мостовъ, сущєствующихъ на свѣтѣ, но я знаю, що ихъ столько, что, наприкладъ, количество слоновъ на землѣ, безъ всякаго сомнѣнія, гораздо менше; у нихъ єсть своя исторія, свои системы, свои районы распространєнія, свои слабые стороны, т.-е. болѣзни, и вліянє ихъ на жизнь земли вполне и ежеминутно ощутимо. Приведемъ еще другой примѣръ: какъ велико количество типовъ и лицъ, созданныхъ беллетристами, поэтами, драматургами? Это тоже психическіє

организмы, населяющіе землю очень своеобразнымъ населеніемъ, и попробуйте отрицать причинность ихъ появленія, ихъ развитія, распространенія, вліянія на жизнь человѣка и пр.! Психическіе организмы въ моей системѣ чрезвычайно важны, такъ какъ есть основаніе полагать, что слѣдующее развитіе родовъ и видовъ животныхъ, какъ полагають Спенсеръ и Грюнъ, совершится не въ отношеніи физическомъ, но развитіемъ мозговыхъ отправленій человѣка, а вѣдь это-то и есть мои «психическіе организмы»!?

Напомню также, что этотъ взглядъ мой на соотношеніе творчества природы и человѣка тоже давно уже, только недостаточно ярко, сознавался другими. Знаменитый языковѣдъ Миллеръ, какъ извѣстно, считалъ науку языковѣдѣнія одною изъ составныхъ частей естествовѣдѣнія; старикъ Винкельманъ думалъ примѣнить къ оцѣнкѣ художественныхъ произведеній естественно-научный методъ; знаменитый Бэръ пытался объяснять вопросы исторіи чрезъ посредство естественныхъ наукъ, а бессмертный Шиллеръ намѣтилъ полное сходство между процессомъ, происходящимъ въ зернѣ, до появленія ростка, и тѣмъ, что происходитъ въ душѣ художника до появленія на свѣтъ его произведенія. Такихъ примѣровъ могъ бы я привести цѣлый рядъ.

Такъ какъ при изложеніи всего перечисленнаго мнѣ нужно было придерживаться какой-либо изъ болѣе извѣстныхъ и наиболѣе подходящихъ мнѣ системъ, то я предпочелъ придерживаться системы Дарвина и его ближайшаго дополнителя и послѣдователя Геккеля. Дарвинъ, надѣлавшій еще такъ недавно столько шума и, несмотря на то, быстро забываемый, все-таки остается однимъ изъ величайшихъ мыслителей. Конечно, много правды также и въ его возраженіяхъ, напримѣръ, въ Данилевскомъ, и несомнѣнно сильные удары нанесены его знаменитой теоріи

«себяприспособленія» хотя бы недавнимъ открытіемъ на глубинѣ четырехъ тысячъ метровъ въ пучинахъ морскихъ, куда не проникаетъ ни одинъ солнечный лучъ, рыбъ, снабженныхъ чрезвычайно сложными глазами и богатыхъ красками, что, по теоріи Дарвина, было бы немислимо, такъ какъ глаза въ вѣчной тьмѣ должны бы были подвергнуться полному уничтоженію (атрофіи); самъ Дарвинъ отъ многого подъ конецъ отказался; но, тѣмъ не менѣе, система его, все-таки, остается полною системою. Для цѣли, мною себѣ намѣченной, очень сподручною оказалась схема физиологическихъ и біологическихъ явленій, выработанная Геккелемъ. Я взялъ ее почти цѣликомъ и наполнилъ параграфы ея, весьма послѣдовательно развивающіе бытіе «организмовъ природы», характеристиками бытія «психическихъ организмовъ» творчества человѣческаго духа. Къ великому изумленію моему, и почти противъ ожиданія, по окончаніи этой многолѣтней и кропотливой работы, получилъ я нѣчто достаточно цѣльное, свидѣтельствующее очень наглядно, что и въ творествѣ человѣческаго духа есть свои формации, своя біологія, несомнѣнно, есть зарожденія и смерти организмовъ, есть графически ясное ихъ распространеніе по землѣ, есть въ нихъ болѣзни острые и хроническія, есть причины преждевременной и старческой смерти и т. п.

Когда, такимъ образомъ, параллельность, или тождественность, въ бытіи произведеній природы и произведеній творчества человѣка опредѣлилась для меня съ достаточною полнотою, я не могъ не вывести двухъ главныхъ основаній, общихъ для того и другого бытія:

1) Въ исторіи развитія организмовъ всего міра, начиная отъ протоплазмы и кончая мыслью Ньютона или Шекспира, ясно, какъ Божій день, что, съ нѣкоторыми исключеніями, съ нѣкоторыми отступленіями (регрессами), все твореніе

несомнѣнно совершенствуется (по-Дарвиновски—дифференцируется), улучшается, и что

2) У совершенствованіе, однажды имѣвшее мѣсто, съ малыми исключеніями и отступленіями, сохраняется и на будущее время, чѣмъ обусловливается рожденіе еще болѣе усовершенствованныхъ формъ, устраняющихъ и замѣняющихъ формы менѣе совершенныя.

Этими двумя, чрезвычайно важными для моей теоріи, выводами, закончилъ я «первый отдѣлъ» моего труда. Если кто изъ людей, ознакомившихся съ нимъ, найдетъ, что какъ общая мысль, такъ и эти два послѣднихъ вывода неправильны или не доказаны, или недостаточно мотивированы, или не ясно изложены и дурно, не логично, не научно выведены, то я просилъ бы такого читателя вовсе не затруднять себя чтеніемъ «второго отдѣла»; у такого читателя не будетъ подъ ногами почвы, и ему придется гулять въ красивыхъ, любопытныхъ, но воздушныхъ замкахъ.

Если же, наоборотъ, извинивъ ту или другую неточность, допустивъ ту или эту неполноту, выводы эти, въ общемъ ихъ значеніи и несомнѣнности, будутъ приняты читателемъ, то я могу идти съ нимъ рука объ руку дальше, къ доказательствамъ наивѣличайшей истины: безсмертія единоличной души человѣка. Я думаю, что многое въ Священномъ Писаніи, въ общихъ чертахъ своихъ, можетъ найти вполне научныя объясненія и подтвержденія, и въ этомъ смыслѣ наука такая, какою ей предназначено быть, наука, сомнѣвающаяся во всемъ, даже въ самомъ Богѣ, испытующая все, даже самого Бога, дерзающая изслѣдовать все, даже молчаливую молитву человѣка, наука, которая, если можно такъ выразиться, будетъ дышать сомнѣніемъ, исполнить извѣстное приглашеніе молитвеннаго стиха, гласящаго: «Всякое дыханіе да хвалить Господа!» Вѣчно сомнѣвающаяся наука непремѣнно восхвалитъ Бога! Я ду-



маю не солгать, сказавъ, что критической оцѣнкой Бога, т.-е. изслѣдованіемъ Его, занимается каждый теологъ въ своей книгѣ, каждый церковный проповѣдникъ въ своей проповѣди. Отчего же не сдѣлать этого философу и естествовнику? Принимая на себя смѣлость подвергнуть критической оцѣнкѣ идею безсмертія, я приглашаю пошедшаго со мною читателя, пугающагося, однако, продерзости изслѣдователя и видящаго, въ силу привычки или щепетильности, святотатство не только въ обстановкѣ и методѣ изслѣдованій этихъ великихъ истинъ, но уже и въ самомъ намѣреніи изслѣдовать ихъ, припомнить одно мѣсто изъ «Дѣяній апостольскихъ», а именно: извѣстное видѣніе сосуда, спускавшагося съ неба и наполненнаго гадами, которые предложено было апостолу Павлу съѣсть; апостоль отказался; тогда въ другой разъ заговорилъ голосъ съ неба, объясняя ему: «Что Богъ очистилъ, того ты не почитай нечистымъ». Сомнѣніе во всемъ можетъ показаться гадомъ, но человѣку данъ умъ, и этотъ умъ снабженъ оружіемъ сомнѣнія, и именно на тотъ конецъ, чтобы онъ пользовался имъ вездѣ и всегда».

На этомъ оканчивалась тетрадка—рукопись Петра Ивановича. Семенъ Андреевичъ прочелъ ее, какъ сказано, въ тотъ же вечеръ.

## V.

Наступило утро. Хороша ты, степь безконечная, въ твоемъ величіи, особенно утромъ! Никого кромѣ птицы не видится надъ тобою въ пространствахъ небесныхъ; нѣтъ у тебя самой ни очей, ни слуха, а между тѣмъ такъ и кажется, что кто-то присущъ въ тебѣ, кто-то думаетъ надъ тобою, или сама ты задумалась думою необъятною, думою безконечною! Какъ бы отчаяваясь въ невозможности измѣ-

рить тебя и, все-таки, желая обозначить вещественнымъ знакомъ, что возникло у кого-то такое дерзкое намѣреніе—измѣрить, кто-то раскидалъ по тебѣ еле-видными морщинами глубокіе, черныя буераки, въ которые, въ темную, воробьиною ночь, какія тутъ иногда бываютъ, валятся и путникъ и звѣрь, а въ осенніе и весенніе ливни устремляется небесная вода и бурлитъ, и клокочетъ, и размываетъ землю, и становится грязною. Весною, вся въ тюльпанахъ, ты, степь,—подвѣчная красавица; палящимъ лѣтомъ ты высохшая мумія египетской властительницы, принимавшей когда-то на свои розовыя щеки поцѣлуи всемогущаго царя весны—фараона; въ долгую осень ты своеправная, дряхлѣющая въ великихъ размѣрахъ своихъ и еще большихъ воспоминаніяхъ о быломъ, римская матрона, а зимою—ты наша русская красавица, съ алымъ румянцемъ на щекахъ, теплая, горячая, потому что, гдѣ же, какъ не въ снѣгахъ, отогрѣвается путникъ, застигнутый роковою метелью: ты приголубливаешь его, грѣешь и ты спасаешь.

Такъ, или не такъ, думалъ Семень Андреевичъ на утро слѣдовавшаго за передачей ему тетрадки дня, отправившись въ степь погулять,—сказать трудно, но что онъ шелъ глубоко задумчивымъ, такъ это несомнѣнно.

Еще вчера вечеромъ прочелъ онъ всю тетрадку; сегодня утромъ прочелъ онъ ее еще разъ, прочелъ внимательно, о чемъ и сообщилъ Петру Ивановичу, случайно встрѣтившись съ нимъ на порогѣ дома: хозяинъ вышелъ посмотреть на своихъ больныхъ, на прежнихъ и на вновь прибывшихъ.

Что это такое за человѣкъ Петръ Ивановичъ,—думалось двигавшемуся по степи Семену Андреевичу;—сумасшедшій, или оригинальный умъ? Что сказалося въ тетрадкѣ: бредъ галлюцината или начальный лепетъ какой-то будущей чу-

десной рѣчи, первые звуки совсѣмъ новаго характера, новаго инструмента, незнакомые нашему слуху, но способные сложиться во что-то необыкновенно величавое, въ какую-то міровую музыку? Если Семень Андреевичъ думалъ такъ и не отнесся къ тетрадкѣ и человѣку, ее написавшему, болѣе сдержанно, то это надо приписать, конечно, его молодости и воспріимчивости.

Если признать Петра Ивановича за сумасшедшаго, то, думалъ онъ, во-первыхъ, откуда же эта ясность его жизни, это глубокое, хрустальное спокойствіе, казалось бы, вовсе не обусловливаемое его семейными отношеніями? Если онъ сумасшедшій, то какъ объяснить несомнѣнную логичность общаго изложенія всей его системы, выработанной, повидимому, до мелочей, потребовавшей двухъ десятковъ лѣтъ работы и громаднхъ свѣдѣній? Какъ понять это долгое, сознательное упорство въ преслѣдованіи своей мысли, поднимающее его надъ уровнемъ житейскихъ нуждъ въ какое-то олимпійское спокойствіе? Можетъ ли чепуха дать олимпійское спокойствіе? Правда: говорятъ, что и сумасшедшіе, со своихъ точекъ зрѣнія, строго покойны, логичны, что они тоже безконечно упорны, но ни съ этою ихъ логикой, ни съ этимъ ихъ упорствомъ не могутъ согласиться другіе люди—не сумасшедшіе. А между тѣмъ, думалось Семену Андреевичу, я, какъ будто, не прочь согласиться. Или я самъ сумасшедшій?

Подгорскій, при этой страшной мысли, даже приложилъ руку къ головѣ и остановился.

Степь раскидывалась далеко кругомъ, быстро нагрѣваемая утреннимъ солнцемъ; вправо, кое-гдѣ, за возвышенностями, поблескивала Волга. Родниковка виднѣлась позади, вершинами своихъ старыхъ осокорей, виднѣлись кибитки подлѣ нея, а мимо Семена Андреевича проѣхала, дребезжа по сухотѣ пустыни, еще новая кибитка, напра-

вляясь туда же. Высоко въ небѣ рѣяли ястреба, и запахъ полыни слышался все сильнѣе и сильнѣе; полыни росло вокругъ видимо-невидимо и, при ходьбѣ по ней, запахъ этотъ словно пробуждался отъ своей утренней дремоты и билъ въ носъ.

Семенъ Андреевичъ, какъ бы дохнувъ свѣжести и величія степи, озаренной солнцемъ, немедленно убѣдился въ томъ, что онъ самъ не сумасшедшій, и даже улыбнулся своей мысли.

Но если, продолжалъ онъ думать, Петръ Ивановичъ тоже не сумасшедшій, какъ и я, то отчего же, совершенно помимо моего собственнаго желанія, чувствую я, что отношусь къ нему какъ-то свысока, саркастически? Вѣдь онъ, видимо, безконечно умнѣе, начитаннѣе меня, а по характеру жизни, по добру, которое онъ дѣлаетъ—и сравнивать насъ нечего? и почему же имѣю я право относиться къ нему свысока? Гдѣ мои основанія? И почему же, чувствуя въ себѣ присутствіе какой-то смѣшливости, я, тѣмъ не менѣе, безмѣрно заинтересованъ разоблаченіемъ его доказательствъ безсмертія? Вѣдь онъ, въ концѣ концовъ, всѣ свои сужденія вилами на водѣ пишетъ, потому что, по самому существу дѣла, они не могутъ быть иными. Но что особенно сильно подкупаетъ меня, такъ это полное отсутствіе въ немъ всякаго мистицизма; этотъ человѣкъ, повидимому, отваживается прикасаться къ самымъ отвлеченнымъ вопросамъ, такъ сказать, прямо пальцами и при полномъ дневномъ свѣтѣ. Удивительно! и очень, очень любопытно, если не глупо! Но какъ шутить, однако, жизнь человѣческая: этакому Петру Ивановичу дать такую жену, какъ Наталья Петровна? Этакого Петра Ивановича посадить къ калмыкамъ, въ Родниковку? Что-то дѣлаетъ теперь развеселая пароходная компанія, и какъ провели они первую ночь?

Сообразивъ, что ранѣе часу Петръ Ивановичъ отъ своей работы не освободится, Подгорскій предпочелъ посидѣть и взглянуть въ тетрадку, которую онъ несъ съ собою, еще разъ. Онъ отыскалъ заключеніе «Перваго отдѣла», гдѣ говорилось о необходимости признанія двухъ главныхъ основаній, согласившись съ которыми, можно идти впередъ во «Второй отдѣлъ».

— Особенно сильныхъ опроверженій тому, что въ природѣ имѣется нѣкоторый ходъ къ лучшему, къ усовершенствованію, я, пожалуй, не подберу... да и противъ того, что однажды имѣвшее мѣсто усовершенствованіе удерживается, сохраняется на будущее время, хотя и условно, я тоже сокрушающихъ возраженій не имѣю... Все дѣло въ тѣхъ фактахъ, которые, какъ говоритъ Петръ Ивановичъ, приведены имъ въ огромномъ числѣ и по всѣмъ отраслямъ знаній и изъ всей дѣятельности человѣка; приходится вѣрить на слово. Удивительно дерзка мысль «психическаго организма»! Дѣяніе человѣка, пѣсня, научное изслѣдованіе, Троицкій мостъ, симфонія Бетховена, доброе дѣло, злой поступокъ—все это, если слѣдовать теоріи Петра Ивановича,—«психическіе организмы» или «индивидуумы», и у нихъ имѣется своя жизнь. Такъ и видятся у нихъ и глаза и уши? Впрочемъ, это не совсѣмъ такъ, потому что Петръ Ивановичъ прямо говоритъ гдѣ-то, что произведенія творчества человѣка называетъ онъ «психическими организмами» не въ силу того, чтобы у нихъ имѣлись голова, ноги, сердце и что въ самой природѣ имѣются на-лицо организмы безъ всякихъ органовъ. Но, въ концѣ концовъ, все это мелочи, пустяки, пробѣлы, если угодно, а съ двумя послѣдними выводами я, какъ будто бы, долженъ согласиться. Я соглашусь съ ними, конечно, хотя бы только на словахъ, чтобы вызвать Петра Ивановича на дальнѣйшее сообщеніе, къ самому доказательству безсмертія. Любо-

пытно, въ высшей степени любопытно! А вѣроятно же всего, что, все-таки, вилами на водѣ пишеть!

Семенъ Андреевичъ, съ тетрадкою въ рукахъ, обуреваемый самыми противорѣчивыми соображеніями, сидѣлъ на краю буерака, свѣсивъ въ него ноги. На днѣ буерака еще залегала невеликая тѣнь, но цѣлая семья небольшихъ змѣй, чую приближеніе жаркаго времени, уже выползла изъ норокъ и шуршала въ сухихъ стебляхъ умершихъ прошлою осенью травъ, сложенныхъ сюда осенними вѣтрами; прошло еще нѣсколько минутъ, и чешуйки на змѣяхъ заискрились въ солнечныхъ лучахъ. Со стороны Волги раздался свистокъ парохода, и виднѣлся черный дымокъ. Съ другой стороны, со стороны степи, вдругъ обозначилось какое-то облачко пыли; что-то двигалось оттуда, по направленію къ Семену Андреевичу, и скоро различилъ онъ, что, прямо на него, мчался весьма большой табунъ. По мѣрѣ приближенія, облако пыли росло неимоვნно и несло въ мѣстѣ съ конями. Табунъ быстро близился, земля начинала звенѣть и дрожать, и не трудно было отличить сквозь пыль, окружавшую лошадей, что ихъ подгоняли, сидя на коняхъ и помахивая длинными арапниками, два калмыка въ большихъ, вислouxихъ шапкахъ. Табунъ мчался прямо на буеракъ, на краю котораго сидѣлъ Подгорскій, и кони, двигавшіеся по степи широкою лавою, по мѣрѣ приближенія къ началу буерака, стягивались къ нему и, одни за другими, начали спускаться въ глубь его, по направленію къ Волгѣ; несомнѣнно, что путь былъ имъ знакомъ—путь къ водопою. Необычайно красиво совершался этотъ спускъ табуна, стягивавшагося на всемъ скаку въ темное углубленіе буерака; вскинувъ хвосты и помахивая гривами, стлकивались одна съ другою лошади разнообразнѣйшихъ мастей, отъ пѣгихъ до саврасыхъ, вплотную одна къ другой, и словно вливались въ буеракъ какою-то покрытою пѣною

живую стремнину. Калмыки заскакивали съ боковъ, направляя къ буераку тѣхъ немногихъ коней, что не знали своего дѣла и не хотѣли попасть въ буеракъ. Направивъ, куда слѣдовало, весь табунъ, табунщики сами спустились, сползли, внизъ по самой кручѣ боковъ буерака, со смѣлостью и ловкостью поразительною. Непосредственно вслѣдъ за этимъ налетѣла на Семена Андреевича поднятая табунномъ невообразимо-густая пыль, и солнце, сквозь нее, показалось ему коричнево-золотистымъ.

Солнце стояло уже очень высоко, и слѣдовало вернуться въ Родниковку, для опроса старшинъ мѣстныхъ калмыковъ, вызванныхъ Семеномъ Андреевичемъ еще съ вечера. Онъ возвратился весь объятый своими противорѣчивыми мыслями, но вполне готовый признать, хотя бы на словахъ, «совершенствованіе» организмовъ и «сохраненіе усовершенствованныхъ формъ», для того, чтобы вызвать Петра Ивановича на доказательство безсмертія.

## VI.

Въ послѣобѣденное время, въ самый жаръ, Родниковка покоилась, объята самымъ полнымъ молчаніемъ, что случалось съ нею чрезвычайно рѣдко, такъ какъ у Наталы Петровны постоянно гостили гости. На этотъ разъ не было ни самой хозяйки, ни кого-либо изъ обычныхъ гостей, потому что большинство ихъ уѣхало на пароходѣ, а кто остался въ уѣздномъ городѣ и могъ бы пріѣхать, тѣ всѣ знали, что хозяйка въ отлучкѣ, а съ Петромъ Ивановичемъ необычайно скучно, и ѣхать въ Родниковку незачѣмъ.

Невеликій домикъ помѣщался, какъ сказано, въ котловинѣ на правомъ берегу Волги и, благодаря этому, еще отъ одиннадцати часовъ утра и до поздняго вечера, находился въ постоянной тѣни и отличался замѣчательною про-

хладом. Комната Петра Ивановича, такъ-называемый кабинетъ, и, рядомъ съ нимъ, лабораторія и амбулаторія выходили четырьмя окнами своими къ источнику, и вѣчный говоръ неумолкающихъ струй его проникалъ въ комнаты и замиралъ между множества стлянокъ, банокъ, ретортъ и книгъ. И тутъ, какъ въ бесѣдкѣ, широкіе, изумрудные листья тыквы, на толстыхъ, свѣтлыхъ, змѣеобразныхъ, очень длинныхъ стебляхъ, одѣвали наружную стѣну и всползали даже на черепичную крышу домика и лѣзли въ окна. Въ комнатѣ, на стѣнѣ, противоположной окнамъ, въ качествѣ картины, но не образа, висѣло превосходное, писанное масляными красками изображеніе Распятія—копія съ извѣстнаго Распятія Брюллова, находящагося въ Петербургѣ въ лютеранской Петропавловской церкви; книгъ виднѣлось очень много, и на письменномъ столѣ лежала особнякомъ грузная библія синодальнаго изданія. Въ амбулаторіи, что поражало посѣтителя, въ двухъ противоположныхъ углахъ помѣщались два изображенія: въ одномъ освѣщалась лампадою икона Богородицы всѣхъ скорбящихъ радости, въ другомъ калмыцкая икона съ Буддою въ срединѣ и съ четырьмя его воплощеніями по угламъ. Для большинства больныхъ, посѣщавшихъ Петра Ивановича, имѣла значеніе именно эта икона.

Часы только-что пробили пять пополудни, когда Петръ Ивановичъ, съ своимъ гостемъ, послѣ обѣда, вошли въ кабинетъ и размѣстились совершенно удобно въ двухъ большихъ креслахъ, другъ противъ друга, подлѣ окна.

— Ну, что же-съ,—спросилъ Петръ Ивановичъ,—прочли?

— Прочелъ. Я, безусловно, отношусь къ числу тѣхъ читателей, которые желаютъ идти съ вами впередъ.

— Но вѣдь вы должны мнѣ вѣрить на слово, что я дѣйствительно имѣю въ своемъ распоряженіи множество фактовъ изъ всѣхъ отраслей человѣческаго бытія, подтвер-



ждающихъ мою основную мысль о томъ, что произведенія творчества человѣка или, какъ я называю ихъ не совсѣмъ удачно, «психическіе организмы», во многомъ подчинены тѣмъ же законамъ, что и произведенія самой природы, и что творчество человѣка есть только продолженіе творчества природы.

— Я вѣрю вамъ.

— Въ такомъ случаѣ, — сказалъ Петръ Ивановичъ, — я приступлю, если угодно, къ изложенію моей системы. Но съ самаго начала я долженъ предупредить васъ, что, если вамъ угодно будетъ прослушать изложеніе моей теоріи о безсмертіи, то я, при изложеніи, зачастую даже, буду прямо, и безъ обиняковъ, говорить вамъ, что на то или другое я вамъ наглядныхъ доказательствъ дать не могу. Но вы ихъ и требовать не можете! Вѣдь и естествовикъ часто не даетъ вамъ таковыхъ и въ томъ или въ другомъ мѣстѣ своего изслѣдованія непремѣнно останавливается передъ загадкою. Очень добросовѣстенъ въ этомъ случаѣ Тиндаль, говорящій прямо, что, въ сущности, сама матерія мистична и трансцендентальна, а изъ Шопенгауэра и Гартмана ясно, что въ человѣкѣ даже пищевареніе—мистично! Естествовикъ, имѣя довольно ясное пониманіе о томъ, какъ изъ протоплазмы развивается органически жизнь, самаго появленія протоплазмы все-таки не понимаетъ! Намъ, людямъ, дано дѣйствовать своимъ умомъ только въ какомъ-то ограниченномъ свѣтломъ кругу, за которымъ для насъ существуетъ одна только великая тьма. Этотъ свѣтлый кругъ, это мѣстечко, въ которомъ мы можемъ работать, очень не велико. Человѣчество окружено, собственно говоря, двойною тьмою: тьма по протяженію, по пространству, потому что мы не знаемъ, гдѣ границы, есть ли границы вселенной и что за ними, и тьма во времени, ибо мы не знаемъ, что было, что будетъ; но мы очень хорошо

знаемъ, что дѣлается кругомъ насъ. Уносясь въ каждое мгновеніе, со всею нашею солнечною системою, куда-то, въ одну сторону, по одному направленію, наша земля уносить съ собою и этотъ свѣтовой районъ знанія, въ которомъ мы работаемъ, сотворенные Богомъ, согласно библіи, въ шестой день. Во всякой наукѣ есть своя периферія свѣтлаго круга, и исключеніе составляетъ, почему-то, одна только математика съ ея развѣтвленіями, не имѣющая, такъ сказать, ограниченія периферіею. Почему для нея такое исключеніе—не скажетъ вамъ никто, это тайна, но оно, пока что, несомнѣнно. Велика, по протяженію въ пространствахъ небесныхъ, компетенція нѣкоторыхъ изъ естественныхъ наукъ нашихъ, но, такъ сказать, рукъ своихъ они ни до какого свѣтила не протянуть и водорода, имѣющагося на солнцѣ, не зачерпнуть, тогда какъ въ вычисленіяхъ астронома, основанныхъ на томъ, что  $2 \times 2 = 4$ , функционируетъ отдаленнѣйшая планета и, несмотря на то, что она вѣситъ въ сто, въ тысячу разъ болѣе нашей земли, она подчиняется вычисленію, входитъ въ него скромною цифрою и, въ данное мгновеніе, дѣйствительно явится на томъ мѣстѣ, гдѣ астрономъ скажетъ ей быть. Почему эта исключительная сила математики—не знаю. Я буду, поэтому, просить васъ, при моихъ доказательствахъ довольствоваться тѣмъ, что я могу доказать, и уволить разъ навсегда отъ всякой метафизики.

— Я сказалъ, что математическое вычисленіе не ограничивается никакою периферіею. Какія причины этой особенноти положенія математики въ ряду другихъ наукъ—я не знаю, но я знаю, что у нея самой есть удивительная особенность: она не допускаетъ никакой лжи, никакой ошибки. Полагаю также, что во всей вселенной математика должна быть одна и та же и тоже не допускаетъ лжи. На Сатурнѣ или на Солнцѣ можетъ не хватать того или дру-

гого элемента или газа, могутъ существовать особыя животныя, для которыхъ кислорода не надо, и, наоборотъ, могутъ произрастать растенія, питающіяся кислородомъ, могутъ существовать сирены съ рыбьими хвостами, циклопы съ однимъ глазомъ или гуляющіе на головахъ, но что  $2 \times 2 = 4$ , это должно имѣть мѣсто и тамъ. Скажу къ слову, такъ, въ видѣ анекдота, что и наша земля иногда какъ бы шалить съ общими законами: у насъ существуютъ мясоядныя растенія, есть растенія, дышашія кислородомъ, есть двигающіяся растенія, есть тѣла, въ противность общему правилу, расширяющіяся при охлажденіи; въ противность другимъ веществамъ, холодѣетъ отъ растягиванія каучукъ. Подобною же какъ бы шалостью можно назвать и то, что ощущеніе свѣта въ нашихъ глазахъ не трудно вызвать химически—пріемомъ нѣкоторыхъ веществъ и механически—ударомъ или надавливаніемъ глаза; электрическимъ токомъ можно вызвать къ дѣятельности не только наше зрѣніе, но также и слухъ, и обоняніе, и вкусъ, и совершенно правъ Бернштейнъ, когда говоритъ, что всѣ наши пять чувствъ это только развитіе одного основного чувства—осознанія: слѣпые видятъ ощупью, рыбы слышатъ костями и если бы, случайно, нашъ слуховой нервъ сросся съ глазнымъ, а глазной со слуховымъ, то мы могли бы видѣть симфонію и слышать картину. Вы видите, что и тутъ такое же единеніе, какъ между царствами природы и силами, ими управляющими. Но это анекдотическая вылазка—я перейду къ дѣлу.

— Эрстедтъ, этотъ почтенный Гумбольдтъ Даніи, замѣчаетъ совершенно справедливо, что если разнообразіе формъ бытія во всей вселенной можетъ быть безконечно велико, такъ велико, что земля съ ея формами окажется вполне бѣдною, убогою, то основные законы движенія, тяготѣнія, физическіе и химическіе, у насъ, несомнѣнно, одни и тѣ же со всѣми мірами. Если тяжесть на Юпитерѣ въ  $2^{1/2}$

раза больше, чѣмъ у насъ, сутки длятся только 10 часовъ, годъ равенъ нашимъ 11 годамъ, а солнце кажется въ 25 разъ меньшимъ, чѣмъ намъ, то это именно различіе доказываетъ единство закона. Кругъ, эллипсъ, парабола пишутся мыслящими существами другихъ планетъ, если они есть и если они пишутъ, не иначе, какъ нами, а чувства красоты и безобразія, въ общихъ основаніяхъ, должны быть у нихъ тѣ же самыя, что у насъ.

— Я намѣтилъ нѣсколько общихъ линій, — продолжалъ Петръ Ивановичъ, — и теперь, для того, чтобы идти дальше, позвольте мнѣ задать вамъ одинъ вопросъ, отъ отвѣта на который будетъ зависѣть возможность дальнѣйшей бесѣды. Представляете вы себѣ бытіе земли и вселенной, какъ нѣчто системное, логичное, опредѣленнымъ законамъ подчиненное и, въ силу этого, непременно направляющееся къ извѣстной цѣли, стремящееся къ ней, или, наоборотъ, видите вы въ этомъ бытіи нѣчто, хотя и подчиненное законамъ и всей ихъ строгости, но ни къ какой цѣли не направляющееся, какую-то толчею на мѣстѣ, хотя и вполне закономерно совершающуюся, но все-таки толчею, безъ опредѣленной цѣли и неизвѣстно во имя чего? Одно изъ двухъ? Что признаете вы, Семенъ Андреевичъ?

Сказать по правдѣ, Семенъ Андреевичъ уже заслушивался Петра Ивановича, его спокойной, увѣренной рѣчи, которой такъ чудесно вторилъ родникъ подъ окномъ. Онъ не ждалъ этого вопроса.

— Какъ вы говорите? что спрашиваете? — проговорилъ онъ быстро. — Да, понимаю, понимаю, сообразилъ! Толчею не могу я признать ни въ какомъ случаѣ! Должна быть конечная, или, лучше, ближайшая цѣль, иначе міръ — безуміе, а какіе же въ безуміи могутъ быть законы?

— Ну, конечно, — отвѣтилъ Петръ Ивановичъ, — слѣдовательно: существуетъ логика бытія, цѣль... Обращу теперь ваше

вниманіе на нѣкоторое удивительное совпаденіе естественной науки и ученія библии. Много вызывало святотатственныхъ насмѣшекъ ученіе библии о томъ, что земля образована прежде солнца, а между тѣмъ, новѣйшая наука, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, возвращается къ геоцентрическому воззрѣнію. Такъ, нѣкоторые ученые замѣчаютъ, что земля дѣйствительно болѣе удобна для развитія высшей мысли, чѣмъ, напримѣръ, Меркурій, гдѣ жаръ и свѣтъ въ 7 разъ сильнѣе, чѣмъ у насъ, или Нептунъ, гдѣ онъ въ 900 разъ слабѣе. Въ этомъ смыслѣ мы, люди, имѣемъ нѣкоторое основаніе полагать, что человѣкъ, въ данную минуту, есть высшее развитіе органической жизни мірозданія и что, въ этомъ смыслѣ, мы дѣйствительно тѣ «избранные», о которыхъ говорится въ библии, и говорится не разъ. Напомню вамъ также, что интеллектуальнымъ центромъ мірозданія признавалъ землю и Гегель, причемъ довольно забавно, въ порывѣ любви къ землѣ и предпочтенія ея, называлъ звѣзды не болѣе какъ «свѣтовою пылью», блестящею для земли; почтенный философъ, какъ вы видите, увлекался!

— Теперь,—продолжалъ Петръ Ивановичъ,—я суммирую то, что сказалъ вамъ: во-первыхъ, не требуйте отъ меня доказательствъ *ad oculos*—ихъ иногда должно не хватить; во-вторыхъ, не забудьте, что земля, какъ мѣсто для развитія высшей мысли, является въ условіяхъ значительно лучшихъ, чѣмъ многія другія планеты; въ-третьихъ, что выводы, дѣлаемые нами на основаніяхъ математики и естествознанія, обязательны и для всѣхъ уголковъ вселенной; въ-четвертыхъ, что въ бытіи вселенной имѣется на-лицо законная логичность, имѣется цѣль и направляющая къ ней, и что, въ-пятыхъ, эта направляющая свидѣтельствуетъ намъ, что жизнь и ея формы идутъ къ улучшенію и что однажды совершившееся улучшеніе сохраняется, не исчезаетъ. Вотъ въ этомъ-то сохраненіи, въ этомъ неисчезаніи

высшихъ формъ и заключается мое доказательство. несомнѣннаго безсмертія души человѣка...

Сказавъ эти слова съ бѣльшею ихъ разстановкою и немного усиливъ голосъ, Петръ Ивановичъ остановился; свѣтлая, но глубокая дума осѣнила его лицо...

Пока Петръ Ивановичъ молчалъ, звуки родника усилились необычайно, такъ показалось, по крайней мѣрѣ, Семену Андреевичу, потому что, волею-неволею, Подгорскій подчинялся несомнѣнно гипнозу, всегда сообщающемуся отъ человѣка убѣжденнаго и вѣрящаго и проявляющемуся иногда съ такою явственностью и несомнѣнностью.

— Теперь,—продолжалъ Петръ Ивановичъ,—къ самому доказательству... Тысячи, многія тысячи лѣтъ нужны были землѣ, чтобы изъ паровъ и каленія отложить твердыя основы, чтобы на нихъ могла развиваться растительная и животная жизнь, чтобы, мало-по-малу, отъ самыхъ слабыхъ, еле видимыхъ начатковъ жизненной индивидуальности въ какой-нибудь зооспорѣ, развивать ее, т.-е. личность, индивидуальность, въ другихъ высшихъ организамахъ, и чтобы, наконецъ, появился въ шестой день человѣкъ, вѣнецъ творенія, высшее, пока что, слово его, самая полная индивидуальность. Съ появленіемъ человѣка, высшаго индивидуума, появились на землѣ умъ, мысль, въ дѣйствительномъ ихъ значеніи и со всѣми необычайно великими, дурными и хорошими, послѣдствіями; въ человѣкѣ, пока что, достигло кульминаціоннаго или, правильнѣе, высшаго пункта (кульминація предполагаетъ обратное вслѣдъ за тѣмъ движеніе развитія внизъ, къ чему мы, въ данномъ случаѣ, не имѣемъ ни малѣйшаго научнаго основанія) развитіе «индивидуума», характерною особенностью котораго являются всѣ безтѣлесныя способности человѣка, т.-е. то, что называется «душою». Начатки, первообразы этихъ способностей имѣются, какъ извѣстно, также въ низшихъ животныхъ, въ инфу-

зоріяхъ, монадахъ, зооспорахъ, амѣбахъ, они достигаютъ значительно бѣльшаго развитія въ высшихъ животныхъ, но послѣднимъ, высшимъ словомъ этого развитія является индивидуальная, непремѣнно индивидуальная, душа человѣка. До души животныхъ, сказывающейся иногда даже съ поразительною интенсивностью, намъ нѣтъ никакого дѣла, потому что мы должны говорить только о высшемъ, что имѣется на-лицо, о томъ, что подлежитъ, слѣдовательно, дальнѣйшему развитію, потому что этого дальнѣйшаго развитія изъ низшей формы, скачкомъ въ высшую, минуя среднюю, мы никоимъ образомъ допустить не можемъ, не противорѣча общему ходу развитія бытія, во всей его послѣдовательности тысячелѣтій. Выше человѣческой души созданіе, до сегодня, не произвело ничего и, по существу своему, такая душа, какъ сказано, должна быть непремѣнно индивидуальна. Собрательная (коллективная) душа, т.-е. «душа человѣчества», какъ и безсмертіе такой «души человѣчества», тоже не совсѣмъ абстрактъ, но меня, въ данномъ случаѣ, не касается.

— Ну, скажите же теперь сами: можетъ ли это быть, чтобы твореніе, то и дѣло развиваясь, съ трудомъ и съ усиліями необычайными вырабатывая, на основаніи непреложныхъ законовъ, высшую форму, душу человѣка, непремѣнно «индивидъ», личность, сразу обрывалось на смерти этого «индивида», на уничтоженіи, съ такимъ трудомъ и въ такое долгое время, доразвившейся «души»? Всегда и вездѣ природа сохраняла, сберегала высшую изъ выработанныхъ формъ бытія, чтобы изъ нея идти дальше, а тутъ, на самой высшей формѣ, вдругъ, ни съ того, ни съ сего, отступаетъ она отъ этого тысячелѣтіями соблюдавшагося закона и умерщвляетъ ее! Одно изъ двухъ: или все бытіе земное ничто, какъ безумье, иронія, мыльный пузырь,—но тогда зачѣмъ же предвѣчные, несомнѣнные, непреклонные,

математически - точные законы мірозданія, зачѣмъ вся эта обстановка строгой логичности для надувательства кого-то, для какого-то важнаго, триумфальнаго, законнаго шествія въ глупѣйшее ничто? или, наоборотъ, если законы—не шутка, если жизнь дѣйствительно логична и развитіе въ извѣстномъ направленіи—есть суть, тогда признайте въ гибели единоличной души человѣка, т.-е. высшаго индивидуума, совершеннѣйшую невозможность, полное отрицаніе всей остальной жизни, всѣхъ несомнѣнныхъ законовъ бытія, какой-то невѣроятный, безпричинный скачокъ по совершенно противоположному всему движенію бытія направленію! Но, признавъ невозможность гибели души, что будетъ совершенно правильно, предоставьте же ей, въ силу сохраненія однажды выработанныхъ, улучшенныхъ формъ, дальнѣйшее развитіе, т.-е. загробную жизнь...

— Вы знаете, что я врагъ всякой метафизики и, могу васъ увѣрить, что я не выйду, какъ не выходилъ до сихъ поръ, изъ того свѣтлаго круга мышленія, въ которомъ назначено намъ мыслить. До периферіи его я васъ доведу, но слѣдовать за вами далѣе не буду. Если вамъ угодно, вы пойдете дальше сами, но я въ метафизику ни на шагъ.

— Первыми и самыми важными вопросами, возникшими, конечно, и въ васъ, если допустить загробную жизнь души, являются вопросы о томъ: можно ли представить себѣ душу безъ тѣла и гдѣ же совершаться дальнѣйшему развитію индивидуальной души? Отвѣчу на нихъ по порядку, безъ всякой метафизики.

— Можно ли представить себѣ душу безъ тѣла? Отвѣта на этотъ вопросъ я вамъ дать не могу, по принципу, потому что онъ чисто метафизическаго свойства и, думаю, что поступаю основательно, сказавъ прямо, безъ обиняковъ, что этого я не знаю. Въ данномъ случаѣ я поступаю, мо-



жетъ-быть, слишкомъ даже добросовѣстно; я могъ бы воспользоваться и метафизикой, потому что даже такой реалистъ, какъ Вундтъ, не отрицаетъ, что существуютъ метафизическія основанія, взятые прямо изъ опыта и науки. Но я буду вѣренъ себѣ. Упомяну только къ слову, что многіе, нашъ казанскій профессоръ Лобачевскій, иностранцы Риманъ, Шмицъ-Дюмонъ, считаютъ себя въ правѣ придти къ заключенію, будто бы алгебра даетъ намъ возможность прозрѣвать, провидѣть другія измѣренія пространства, чѣмъ тѣ, которыя намъ извѣстны? Я не математикъ, провѣрить ихъ не могу, но и отрицать не смѣю. Если дѣйствительно существуетъ четвертое измѣреніе, намъ неизвѣстное, но только угадываемое, и его предвидятъ математики, на основаніи математики, то я рѣшительно не вижу причины не предполагать возможнымъ отдѣльное существованіе, въ неизвѣстныхъ намъ условіяхъ, однажды образовавшейся души? Но, какъ я уже сказалъ, я не буду говорить о возможномъ, я останусь при необходимомъ и несомнѣнномъ. На этотъ вопросъ я вамъ отвѣта, какъ сказано, не дамъ.

— Перехожу ко второму вопросу: гдѣ же совершаться дальнѣйшему развитію души? Или, другими словами: можетъ ли она исчезнуть для насъ? Исчезаетъ ли что-либо изъ мірозданія?

— Законъ, открытый въ 1824 году Карно и распространенный въ его послѣдствіяхъ на все мірозданіе, въ 1853 году, Томсономъ, гласитъ такъ: «Только въ томъ случаѣ, если тепло переходитъ отъ тѣла болѣе нагрѣтаго къ тѣлу менѣе нагрѣтому, можетъ оно быть преобразовано въ механическую силу, и то только нѣкоторою частью своею». Большая часть переходитъ безъ всякой работы и ведетъ лишь къ уравниенію температуры; тѣла, одинаково нагрѣтая, обмѣниваются лучистою теплотою, но работы при этомъ

происходить не может, между тѣмъ какъ механическая сила переходитъ въ тепло непрерывно. Если вселенная будетъ предоставлена совершенію нынѣшнихъ физическихъ условій, то, въ концѣ концовъ, весь запасъ силъ движенія перейдетъ въ тепло, а тепло, въ свою очередь,—въ равновѣсіе температуры. Тогда исчезнетъ причинность какихъ-либо измѣненій, какой-либо жизни, тогда настанетъ полнѣйшій застой рѣшительно во всѣхъ жизненныхъ отправленіяхъ природы, тогда окончится жизнь растений, животныхъ, человѣка, и вселенная, по словамъ Гельмгольца, будетъ обречена войти въ вѣчный покой. «Вѣчный покой»! но вѣдь это нашъ молитвенный стихъ! Но вѣдь это значитъ безсмертіе покоя? Безсмертіе извѣстнаго градуса температуры, безсмертіе, или *statu quo*, матеріи? Безсмертіе успокоившейся матеріи? Т.-е. все-таки длинный рядъ безсмертій, съ которыми наши ученые рѣшительно не знаютъ что имъ дѣлать и предъ лицомъ котораго становятся втупикъ! «Естественно», что растенія и животныя существовать тогда не будутъ; обреченная на вѣчный покой, оставшаяся не у дѣлъ, матерія будетъ тоже совершенно «естественна», да и самый покой этотъ будетъ вполне «естественъ». Дѣйствовавшія прежде силы, обуславливавшія всю красоту бытія и самаго человѣка, «естественно» преобразятся, станутъ невидимы, войдутъ въ равновѣсіе температуры, совершивъ круговоротъ... Ничего «неестественнаго», какъ вы видите, въ этомъ не будетъ; какая-то жизнь тоже какъ бы останется, но только въ грустномъ видѣ равновѣсія температуры. Слѣдовательно, получается не одно, а многія «безсмертія» и при этомъ полнѣйшая «естественность» этого безсмертія по наукѣ. Силы, созидавшія жизнь, преобразятся въ равновѣсіе температуры и останутся не у дѣлъ, потому что работа, имъ предстоявшая, будетъ совершена, и онѣ, при тѣхъ условіяхъ, которыя въ то время,

или, лучше сказать, въ то безвременье, сложатся и будутъ наличными, окажутся неспособными къ работѣ.

— Не могу удержаться и тутъ отъ того, чтобы не вспомнить опять-таки Священнаго Писанія, къ которому, какъ вы знаете, я отношусь очень критически, но, очень не рѣдко, поражаюсь имъ. Совершенно такъ же вѣрно, какъ повѣдано въ библии, сотвореніе міра не мгновенное, а во времени, въ шесть дней, здѣсь, въ безсмертномъ «покоѣ» вселенной, предусматриваемомъ наукою, не вспоминаете ли вы того «покоя блаженныхъ», о которомъ повѣствуетъ намъ все-таки та же библия? И необозримо много въ ней и другихъ истинъ, до которыхъ человѣчество дорабатывается только усиліями тысячелѣтій, которыхъ мы еще не увидѣли, хотя онѣ и видимы, которыхъ мы еще не постигли, но когда-нибудь поймемъ. Только нѣчто исключительное, божественное могло создать такую книгу, какъ библия!

— Если признать за справедливое, что величественный мертвый или вѣчный покой мірозданія обусловится равномѣрностью температуры, то это признаніе можетъ сослужить мнѣ въ моемъ доказательствѣ большую службу. Возрастаніе и развитіе единоличной души человѣка, принявъ въ расчетъ всю животную и, въ особенности, мозговую дѣятельность индивидуума, за всю его, иногда, очень долгую жизнь, поглощаетъ, что несомнѣнно, весьма большое количество энергій. Значительное подтвержденіе этимъ словамъ найдете вы у Мошешота. Совсѣмъ не безсмысленно было бы смотрѣть на индивидуумъ человѣка, совершившій свое земное, видимое бытіе, какъ на нѣкое жизненное явленіе, поглотившее, устранившее изъ мірового обращенія весьма значительное количество тепла; смерть человѣка, въ такомъ случаѣ, была бы ничѣмъ инымъ, какъ кажущимся исчезновеніемъ нѣкоего количества тепла, и душа его, за

гробовою доскою, чѣмъ-то совершившимъ исполнѣ жизненный круговоротъ, кончившимъ возможную, въ условіяхъ нашего, нынѣшняго міра, работу, и безвозвратно отошедшимъ отъ участія въ жизни, и тѣмъ болѣе видимости и осязательности, но не сгинувшимъ.

— Здѣсь, на атомъ мѣстѣ, я долженъ остановиться, достигнувъ периферію того свѣтлаго пространства, въ которомъ пазпачено намъ мыслить и трудиться. Пи пяди далѣе не могу я двигаться безъ того, чтобы не удариться въ метафизику. До смерти человѣка, до дверей въ загробную жизнь и указанія на нихъ, могъ я довести мое изслѣдованіе, путемъ, не противорѣчившимъ естествознанію, — далѣе идти я не могу. Дверь въ безсмертіе видна, я ставлю васъ передъ нею, но что за нею — это внѣ свѣтоноснаго круга моихъ человѣческихъ соображеній.

— Вполнѣ непозволительно было бы слѣдовать Сведенборгу съ его расквартированіемъ душъ. Если пуститься этимъ путемъ, то предположеній можно бы сдѣлать видимо-невидимо. Одно изъ нихъ, отчасти, совпадало бы, опять-таки, съ бібліею. Будущее души въ загробной жизни, дальнѣйшее ея развитіе и усовершенствованіе можно представить себѣ нѣкимъ оплотненіемъ, матеріализаціею ея, обратнымъ воплощеніемъ въ матерію, но въ матерію иную, чѣмъ нынѣшняя, уже потому, что она минуетъ фазисъ посмертнаго покоя, а именно: уравниженія температуры, который ей несомнѣнно предстоитъ. Не таково ли будетъ и воскресеніе мертвыхъ? «И увидѣлъ я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали», повѣствуется въ Откровеніи Іоанновомъ, причемъ сказано, что старое небо «скроется свившись какъ свитокъ».

— Заглянуть въ судьбы души въ загробной жизни было бы со стороны человѣка не только нелѣпостью, не

меньшею чѣмъ если смотрѣть на звѣзды въ микроскопъ, но явилось бы умаленіемъ значенія безсмертія, потому что всякое описаніе его являлось бы, при нашихъ средствахъ познанія и мышленія, простымъ антропоморфизмомъ, низкопробнымъ очеловѣченіемъ тѣхъ высшихъ, намъ совсѣмъ неизвѣстныхъ законовъ и формъ, для описанія которыхъ, по самому существу дѣла, у насъ, еще не умершихъ, не кончившихъ круговорота жизни, не можетъ быть ни линій, ни красокъ, ни соображеній, ни буквъ. Подобное описаніе могло бы удаться, хотя сколько-нибудь, только въ томъ случаѣ, если бы загробное будущее стало настоящимъ. Есть одно чудесное мѣсто въ Евангеліи Іоанновомъ, подкрѣпляющее мои слова и свидѣтельствующее о томъ, что намъ, по нашимъ законамъ и формамъ, не судить о законахъ и формахъ загробнаго бытія. Ученики Христовы допрашивали однажды Спасителя о томъ: куда Онъ идетъ? что обѣщаетъ? «Въ домъ Отца Моего обителей много»,—отвѣтилъ Онъ имъ,—«а если бы не такъ, Я сказалъ бы вамъ: Я иду приготовить мѣсто вамъ». Въ отвѣтъ этомъ имѣется несомнѣнный намекъ на другія, многія «обители», новыя и намъ неизвѣстныя, бытіе которыхъ не обуславливается даже такою необходимостью, какъ «мѣсто» ихъ существованія! Спаситель прямо говоритъ, что Онъ избѣгъ, и не сказалъ слова «мѣсто», а сказалъ гораздо болѣе широко и неуловимо—«обители», прибавивъ еще для поясненія, что «ихъ много».

— Этихъ «обителей», этихъ иныхъ формъ бытія, не пугающихся въ «мѣстѣ»—мы не знаемъ и знать не можемъ. Онѣ явятся фактическимъ настоящимъ только для умершихъ людей. Если я сказалъ съ увѣренностью, что открытую дверь въ единоличное безсмертіе я вижу, то съ тою же совершенно увѣренностью, и на тѣхъ же самыхъ основаніяхъ, утверждаю я самымъ положительнымъ обра-

зомъ, что никакого общенія физическаго между умершими и живыми быть не можетъ. Весь спиритизмъ, весь медиумизмъ—это нѣчто въ родѣ слабоумія или даже идіотизма въ мышленіи человѣка. Совершенно такъ же, какъ невозможно обратить въ механическую силу, отработавшую въ конецъ и пришедшую къ равновѣсію часть тепла, и она для міра безвозвратно исчезаетъ, успокаивается, совершенно на томъ же основаніи говорю я, что душа умершаго человѣка, никомъ образомъ, ни подъ какимъ видомъ, въ общеніе съ покинутымъ ею міромъ войти не можетъ! Существуютъ ли отошедшіе здѣсь, между нами, или обрѣтаются они гдѣ-либо въ пространствахъ—это вопросъ праздный и совершенно безсмысленный; если бы было возможно какое-либо физическое общеніе, то душа умершаго еще не окончила бы земного бытія своего, вполне съ нимъ не рассчиталась, была бы непременно, если можно выразиться, «матеріеспособною», т.-е. еще не улетучившеюся частью тепла, была бы причастна «земляности»; это послѣднее совершенно подходящее слово нашелъ я гдѣ-то въ сочиненіяхъ паломника Муравьева. Ожидать появленія кого-либо изъ мертвыхъ—это совершенно то же, какъ если бы какое-нибудь земноводное каменноугольной формаціи вдругъ пожелало встрѣтиться съ другимъ земноводнымъ изъ формаціи мѣловой? Между ними легли время и невозможность, и появленіе мертваго явилось бы полнымъ отрицаніемъ причинности и условій загробнаго бытія. Видѣнія, несомнѣнно, могутъ имѣть мѣсто, но они будутъ явленіями чисто субъективными, способными исчезнуть при надавливаніи пальцемъ одного глаза въ сторону и нарушеніемъ параллельности глазныхъ осей.

— Вотъ основныя черты моихъ доказательствъ, Семенъ Андреевичъ,—договорилъ хозяинъ.—Есть много мелкихъ, несущественныхъ вопросовъ, висящихъ подлѣ этихъ основ-

ныхъ линій. напримѣръ, вопросы о томъ: въ какой моментъ жизни, въ эмбрионѣ ли, и когда именно образуется душа, пригодная для безсмертія? Имѣютъ ли душу идіоты отъ рожденія? Не можетъ ли сложившаяся для безсмертія душа, вслѣдствіе чего-либо, сгннуть или регрессировать, т.-е. не совершится ли съ нею то, что сказано въ Дѣяніяхъ Апостольскихъ, «что всякая душа, которая не послушаетъ Пророка того, истребится изъ народа?» Не слѣдуетъ ли предполагать, въ этомъ смыслѣ, что всякій человѣкъ, уподобляющійся низшему организму, т.-е. животному, въ звѣрствѣ, плотскости и т. п., добровольно спускается на низшую степень развитія въ бытіи земли и, слѣдовательно, такая душа, для дальнѣйшаго развитія въ будущей жизни, становится непригодною? Что будетъ съ самоубійцами? Какіе будутъ у души внѣшніе облики и будутъ ли? Какъ опредѣлятся отношенія мужей, имѣвшихъ двухъ или трехъ женъ, къ этимъ своимъ половинамъ, да и насколько сохраняются идеи мужъ или жена—и пр., и пр. Но эти и множество всякихъ другихъ вопросиковъ обойду я совершенно; не забудьте только и обратите ваше вниманіе на то, что въ признаніи безсмертія души кроется цѣлая система высокой нравственности, своеобразная, естественно-научная этика, возбраняющая человѣку быть дурнымъ, злымъ, мстительнымъ и требующая отъ него добра, благотворенія, милости и прощенія другихъ. Посмотрите, какъ правильно опредѣляется при этомъ взглядъ нашъ на воспитаніе дѣтей, на семью, на всѣхъ малыхъ сихъ? Какъ понятно и просто объясняется уваженіе къ предкамъ, къ родителямъ, какъ становится необходимо и понятно почтеніе къ могилѣ, въ которой почилъ остатокъ того, что послужило куколкой для развитія безсмертной души? Какое обрисовывается тутъ поразительное сходство, опять-таки, съ требованіями Евангелія, передъ которымъ не могу не

благоговѣтъ?! Но все это можетъ составить предметъ не одной такой бесѣды, какъ наша, а цѣлаго ряда бесѣдъ. На этотъ разъ, Семень Андреевичъ, вы меня извините; мы уже и такъ засидѣлись, а мои больные ждутъ—пора идти!

Петръ Ивановичъ и Подгорскій поднялись съ мѣстъ.

— Одно слово, Петръ Ивановичъ, — спросилъ Подгорскій. — Я близокъ къ тому, чтобы согласиться съ вашими доводами о логической необходимости безсмертія; я неоднократно слышалъ отъ васъ указанія на замѣчательныя совпаденія словъ «Священнаго Писанія» съ выводами науки. ну, а гдѣ же мѣсто въ системѣ вашей для сути сутей этихъ кнпгъ: вѣры, церкви, молитвъ?!

Темное облако прошло по выразительному лицу Петра Ивановича, и онъ, взявъ фуражку, для того, чтобы выйти изъ дому, остановился. Подгорскій продолжалъ:

— Вотъ, напрымѣръ, нѣчто для меня необъяснимое. Въ вашей амбулаторіи икона Богоматери виситъ, какъ ей подобаетъ,—иконою, и передъ нею теплится лампада, а вотъ это превосходное изображеніе Распятія, здѣсь, въ вашемъ кабинетѣ, помѣщено какъ бы въ видѣ картины; что это значить?

— Тамъ, въ амбулаторіи, — медленно проговорилъ Абадуловъ,—икона виситъ для народа... здѣсь, въ кабинетѣ, для меня... и это больное мѣсто всей моей системы... я, видите ли, достаточной причины для того, чтобы признать идею вѣры, иконы, не имѣю. И это, повѣрьте мнѣ, великая грусть моя, если угодно—трагическое положеніе. Тутъ нужна вѣра, а ея-то у меня и нѣтъ... Я не вижу достаточной причины въ необходимости вѣры, когда вѣрить могу я только одному убѣжденію... Вы, можетъ-быть, Семень Андреевичъ, удивляетесь той увѣренности, съ которою я говорю это? Но я буду откровененъ, какъ былъ; тамъ, гдѣ мнѣ не хватало увѣренности, я всегда прямо.



сообщалъ вамъ, что доказательствъ не имѣю, и, на томъ же основаніи безусловной правдивости, я долженъ сказать вамъ, что многого въ моей системѣ и моихъ заключеніяхъ я самъ не понимаю... есть пробѣлы... есть темнота... Если для меня вполне ясна логическая необходимость признать единоличное безсмертіе души, то я до сихъ поръ все-таки еще не могъ найти положительнаго, или хотя мало-мальски сообразнаго съ моей системой, опредѣленія значенія вѣры, земной церкви и молитвы. Если наука документируетъ мнѣ безсмертіе, то зачѣмъ мнѣ вѣра? Если я могу обойтись безъ вѣры, зачѣмъ мнѣ—внѣшняя, обрядовая, земная церковь? Если не нужно ни вѣры, ни церкви, тогда зачѣмъ мнѣ молитва, служащая связью имъ обоимъ, пускающая свои корни и имѣющая свою причинность только въ этихъ двухъ? Непониманіе мною этихъ трехъ «психическихъ органпзмовъ» поистинѣ пугаетъ меня... Что если лжива вся моя система? Ну, а теперь,—заключилъ Петръ Ивановичъ,—пойдемте къ моимъ больнымъ.

Оба они вышли изъ комнаты и направились къ кибиткамъ, подъ шумъ неумолкавшаго родника.

## VII.

Не успѣли Петръ Ивановичъ со своимъ гостемъ, находившимся, надо сказать правду, въ какомъ-то одурманеніи отъ очень длинной лекціи хозяина, мѣстами въ высшей степени любопытной, выйти изъ ограды Родниковки въ сторону кибитокъ, какъ вдругъ, изъ-за угла ограды, почти наскочилъ на нихъ конный калмыкъ. Ограда Родниковки состояла изъ небольшого валика и рва передъ нимъ, густо заросшихъ бурьяномъ, будяками, полынью и перекасти-поле, между которыхъ засѣли прошлогодніе остатки тѣхъ же травъ, поломанные, сѣрые и колючіе, что, вмѣстѣ взятое, образо-

ывало дѣйствительно не шуточную преграду; конь калмыка, сразу осажженный, даже скользнулъ обѣими задними ногами въ ровикъ. Завидѣвъ Петра Ивановича, калмыкъ снялъ шапку.

— Что, братецъ? — спросилъ Петръ Ивановичъ, — ты ко мнѣ?

Калмыкъ не сразу отвѣтилъ; онъ видимо стѣснялся говорить. Это стѣсненіе было проявленіемъ той удивительной чувствительности простого народа, никогда и никѣмъ ему не преподаваемой, которая врождена ему и которая подсказываетъ простому человѣку, что сообщать кому-либо о несчастіи надо не вдругъ, а исподволь.

— Чтѣ случилось? говори! — спросилъ Петръ Ивановичъ. — Бѣда какая, что ли?

Калмыкъ утвердительно покачалъ головою.

Петръ Ивановичъ переглянулся съ Семеномъ Андреевичемъ; подошли изъ дому садовникъ, кучеръ, казачокъ и кухарка; мало-по-малу стали подходить люди отъ кибитокъ и образовали вокругъ кольцо.

— Барыня ваша утонула! — проговорилъ калмыкъ, слѣзая съ лошади и кинувъ поводья.

Глаза всѣхъ присутствовавшихъ сразу обратились на Петра Ивановича; долго смотрѣлъ онъ на калмыка исподлобья, не шевелясь, не моргнувъ глазомъ. Единственное, чтѣ слышалось подлѣ этой, довольно значительной толпы людей—это частая передышка лошади и похрустываніе подъ ногами ея сухого валежника, къ которому она наклонила голову, чтобы обнюхать. Калмыкъ доставалъ что-то изъ-за пазухи.

— Да ты это видѣлъ самъ, или тебѣ только сказали? — медленно, но внятно спросилъ Абатудовъ.

— Исправникъ нарочнаго отъ Оюминой ставки послали до Нѣмецкихъ ручьевъ, оттуда къ намъ колонистъ при-

скакалъ, а вотъ и записка, — отвѣтилъ калмыкъ, подавая небольшой конвертъ, завернутый въ какую-то тряпичку.

Пока Петръ Ивановичъ развертывалъ и читалъ записку, калмыкъ, отвѣчая на разспросы разохавшейся и качавшей головою кухарки, сообщилъ, что это произошло утромъ, но какъ именно — не знаетъ.

— Ну, поди на кухню, покормись, — сказалъ Петръ Ивановичъ калмыку, свертывая письмо и поворачиваясь, чтобы идти къ дому; толпа молча и почтительно разступилась.

— Но такъ ли это, Петръ Ивановичъ? — почелъ за нужное спросить глубоко пораженный неожиданностью и слѣдовавшій подлѣ Абадулова Семенъ Андреевичъ, — можетъ-быть, это еще только предположеніе?

— Нѣтъ! — это совершилось! — отвѣтилъ Петръ Ивановичъ. — Пароходъ уже былъ бы здѣсь, если бы не неожиданная поломка въ машинѣ... Но ея земное странствіе покончено! Лодка опрокинулась: плавать жена не умѣла со всѣмъ... Тѣла ея, пока еще, не нашли.

Подойдя къ дому, Петръ Ивановичъ кликнулъ кучера.

— Поѣзжай ты, братецъ, къ отцу Игнатію; онъ долженъ ночевать сегодня у священника въ Казачьемъ хуторѣ, расскажи о томъ, что видѣлъ и слышалъ. Скажи, что я очень прошу ихъ, если можно, пріѣхать теперь же. Запряжешь Липку и Сѣраго въ маленькій тарантасикъ. Извинишься, что я ничего отцу Игнатію не пишу, а на словахъ только прошу. Поторопись!

Абадуловъ вошелъ въ домъ.

— Иди мнѣ за нимъ, или нѣтъ? — думалось Семену Андреевичу, чувствовавшему несказанно глубокое уныніе. — Нѣтъ! лучше не пойду. Вотъ она — смерть! Это уже не теорія, а практика, и какая страшная, какая непосредственная.

Подгорскій въ домъ не вошелъ, а направился черезъ садъ внизъ, къ Волгѣ.

Въ полномъ безучастіи къ горю и радости людской опускался на землю безоблачный вечеръ. Блестая внизъ и вверхъ по теченію плесами и курьями, катила Волга свои мутныя струи, образовывая на нихъ гдѣ стремнины, гдѣ завитки, порою запузыриваясь и пуская внизъ по теченію многія сотни еле-замѣтныхъ, кружившихся воронокъ-водо-воротиковъ; однѣ струи шли быстрѣе, другія отставали, но стоявшему возлѣ самой воды Семену Андреевичу казалось, что вся эта могучая водная масса катилась какъ бы по какому-то кругу необычайно великаго діаметра. Кое-гдѣ, играя въ пунцовыхъ лучахъ опускавшагося солнца, кремнистыми и слюдяными блестками лежали неподвижнымъ покровомъ береговые пески и отмели, и только изрѣдка кустилась, просовываясь сквозь нихъ, блѣдная зелень ивняка. Бока крутыхъ уступовъ праваго берега, на которомъ находился Семенъ Андреевичъ, уже заволакивались голубоватою тѣнью, но воздухъ былъ такъ чистъ, такъ свѣтелъ, что дальнѣйшіе отроги берега виднѣлись за много верстъ. На лѣвой, противоположной сторонѣ, или на острову, торчали остріями невеликіе шалаши рыболовной ватаги, шла ловля, забрасываніе сѣти и какъ будто слышалась пѣсня. Повыше ея запаузился караванъ барокъ, а посрединѣ рѣки гордо и могущественно поднималась, стоя на якорѣ, громадная бѣляна, съ тремя сторожками наверху, и на кормѣ ея народъ собрался къ ужину и усѣлся въ кружокъ.

Подгорскій пошелъ вдоль берега; вода была невысока и въ пескахъ виднѣлись ракушки, куски снастей, кирпичные и деревянные полавки. Дойдя до устья ручья Родниковки, Семенъ Андреевичъ услышалъ его клокотанье, очень хорошо памятное ему за все время объясненія Петромъ

Ивановичемъ своихъ доказательствъ безсмертія. Это знакомое клокотанье направило его мысли знакомою стезею.

— Отчего это, въ самомъ дѣлѣ,—думалъ онъ,—испытываю я, человѣкъ вовсе чужой Петру Ивановичу и тѣмъ болѣе его покойницѣ, какое-то удручающее стѣсненіе, какъ бы чувство холода? Да и всегда, передъ лицомъ смерти, въ особенности въ первыя минуты сообщенія о томъ, что смерть скосила кого-либо изъ родныхъ или знакомыхъ, далеко или близко, чувствуется этотъ холодъ? Ужъ не та ли это мистическая потеря тепла съ отбытіемъ всякой живой души, о которой говорилъ Петръ Ивановичъ? Несомнѣнно, что этотъ холодъ чувствуется за тридевять земель при извѣстіи о смерти знакомаго человѣка.

Семень Андреевичъ даже улыбнулся неожиданности своего несомнѣнно мистическаго заключенія, въ стилѣ «профессора безсмертія», и затѣмъ, также совершенно неожиданно, вспомнилась ему, особенно ясно, погибшая Наталья Петровна.

— Это она-то хотѣла къ цыганамъ въ Астрахань ѣхать! Такая живая, жизнерадостная! Это она-то мнѣ съ собою ѣхать предлагала! А теперь! Исправникъ пишетъ, что тѣла ея еще не нашли, да и найдутъ ли? Вонъ какая она могучая, матушка Волга, попрочнѣ Невы будетъ, а и въ Невѣ, какъ это у Чернышевскаго въ «Что дѣлать» значится, тѣла утопившагося человѣка не нашли... Что, если... что, если...—И Семена Андреевича сразу, и вовсе не спрашивая его, осянула необычайно дикая мысль:—Отчего же и вѣтъ?.. Что, если это обманъ? если это способъ удрать отъ мужа? Утонула, да и конецъ, при всѣхъ утонула... а тамъ гдѣ-нибудь за пивнякомъ тройка ждала, степь тоже ждала... и поминай какъ звали! Что жъ!? возможно, и пменно для Натальи Петровны возможно, и она, въ такомъ случаѣ, въ настоящую минуту, вовсе не плывущая или лежащая гдѣ-

нибудь на днѣ утопленница, не безмолвная покойница, а вольная птичка, мчащаяся, любезно и весело воркуя, гдѣ-нибудь на пароходѣ или по желѣзной дорогѣ, и какъ она хохочетъ, какъ хохочетъ! а мы-то здѣсь ея мертваго тѣла ожидаемъ, за священникомъ послали!..

Подгорскій бродилъ вдоль берега довольно долго подъ наплывомъ самыхъ противорѣчивыхъ мыслей. Одно только чувствовалъ онъ очень ясно—это великую жалость къ Петру Ивановичу, который, въ обѣихъ случаяхъ, какъ при смерти, такъ и при бѣгствѣ жены, являлся лицомъ пострадавшимъ, на которое обрушилась тяжкая, непоправимая невзгода. И по мѣрѣ того, какъ темнѣло въ небѣ, въ Подгорскомъ, неизвѣстно отчего, все настойчивѣе и настойчивѣе становилась увѣренность въ томъ, что тутъ хозяйничала не смерть, а обманъ.

Одна мысль рождала другую въ этомъ направленіи, и онѣ плодились быстро, быстро, очень сходно съ тѣмъ, какъ густѣли сумерки, замѣняя, вытѣсняя свѣтъ дневной.

— Отчего же не идти дальше?—думалось ему.—Ужъ если несчастье—такъ полное несчастье; Наталья Петровна, готовясь къ бѣгству, похищаетъ, положимъ, у мужа изъ шкапа или изъ стола деньги, большія деньги; сѣвъ на пароходъ, она немедленно передаетъ ихъ своему сообщнику по бѣгству; кому? Конечно, Ѳедору Лукичу съ красивыми усами! Но этотъ Ѳедоръ Лукпчъ, до конца ногтей проходимецъ, желаетъ не столько Натальи Петровны, сколько ея денегъ; онъ устраиваетъ прогулку съ нею вдвоемъ въ лодкѣ, что устроить очень легко; затѣмъ ѣдетъ онъ съ нею и, въ такомъ мѣстѣ, откуда ихъ не видно, на глубинѣ стремнины, опрокидываетъ лодку... дикое, испуганное до столбняка, выраженіе лица Натальи Петровны видится изъ воды... Черты лица покоробились... ея косу вода уже успѣла размыть, и она, распутившись, окружаетъ голову

и шею... онъ, Ѳеодоръ Лукичъ, плавать умѣетъ отлично, онъ схватился за опрокинутую лодку... лодка, за которую онъ держится, плыветъ внизъ по теченію быстраго, чѣмъ Наталья Петровна...

— Извергъ!—кричитъ она, захлебываясь, уплывающему Ѳеодору Лукичу вслѣдъ.

А ему—что? еще два-три порыва съ ея стороны... буль-буль-буль... и больше ничего! поверхность Волги стала опять совсѣмъ гладкою; а онъ, Ѳеодоръ Лукичъ, весь мокрый (кромѣ денегъ—тѣ остались сухи на пароходѣ), испуганный, чуть не рыдающій. часа черезъ два возвращается на пароходъ съ ужасными подробностями гибели женщины, которую онъ «любилъ, любилъ страстно и навѣки»...

— Да, наконецъ, откуда же у меня эти дурацкія мысли!—подумалъ Семенъ Андреевичъ, будто спохватившись и съ нѣкоторою досадою на самого себя.—Вѣдь для нихъ у меня нѣтъ рѣшительно никакихъ основаній! Хотя бы скорѣе какое-либо разрѣшеніе; но, во всякомъ случаѣ, завтра утромъ уѣду, непременно уѣду! Что же я имъ, въ самомъ дѣлѣ, какъ не совершенно чужой человѣкъ; очень мнѣ нужно чужого горя прикасаться!

Всѣ яркія, безчисленныя звѣзды безоблачнаго, темнаго неба заняли свои мѣста, когда издали мелькнули красный и зеленый фонари поднимаившагося вверхъ, противъ теченія, парохода. Онъ шелъ медленно, очень медленно; вотъ вскинулось надъ трубою пламя, и можно даже отличить искры, выбрасываемыя ею; значитъ, близко, ближе чѣмъ можно было ожидать; какъ, однако, обманчивы позднія сумерки! Вотъ остановился пароходъ, какъ разъ противъ Родниковки; вотъ отдали якорь, потому что загремѣла цѣпь... еще минуты три-четыре, и отъ парохода отдѣлилась шлюпка и стала держать къ берегу.

Слѣдившій за всѣмъ этимъ Семенъ Андреевичъ былъ

такъ далекъ отъ мысли, что онъ находится на молчаливомъ берегу не одинъ, былъ такъ всецѣло погруженъ въ свои несуразныя соображенія, что, услыхавъ неожиданно подлѣ себя голосъ Петра Ивановича, непривычно-рѣзко окликнувшего его по имени, даже вздрогнулъ.

Абатуловъ очень быстро подошелъ къ нему, рѣзко схватилъ за обѣ руки и нагнулся лицомъ къ лицу вплотную. На немъ не было фуражки, волоса были взъерошены, коломьянковая жакетка — не застегнута и во всей фигурѣ его, насколько можно было различить при сильномъ звѣздномъ свѣтѣ, сказывалось что-то необычайно встревоженное, почти безумное.

— Господи!—подумалъ Семенъ Андреевичъ,—да неужели же я былъ правъ... Онъ дѣйствительно нашелъ отпертый столъ... деньги похищены... можетъ-быть, нашелъ какую-нибудь записку отъ нея!

— Привезли?!—проговорилъ Петръ Ивановичъ какимъ-то глухимъ, будто не своимъ голосомъ, крѣпко сжавъ обѣ руки Подгорскаго и пугливо глядя въ сторону парохода.

— Успокойтесь, Петръ Ивановичъ.

— Вотъ, вотъ когда,—быстро проговорилъ онъ, отпустивъ руки Семена Андреевича и медленно проводя правою рукою по лбу,—вотъ когда нуженъ мнѣ священникъ! А отецъ Игнатій не ѣдетъ, но онъ могъ бы быть здѣсь... Когда человѣкъ въ себѣ самомъ сокрушенъ, тутъ мѣсто одной только вѣрѣ... Я не могу болѣе думать! Покойница уже здѣсь, подлѣ, а отца Игнатія нѣтъ какъ нѣтъ.

Петръ Ивановичъ опять взглянулъ на пароходъ. Къ этому времени шлюпка, отчалившая отъ него, приблизилась къ устью ручья, гдѣ находилось самое глубокое мѣсто и были положены на кѣзла доски. Одновременно съ этимъ приближались со стороны усадьбы замелькавшіе въ нѣсколькихъ мѣстахъ фонари; они сползали съ нагорной кручи, одинъ быстрее, другой медленнѣе; въ одномъ мѣстѣ ихъ двига-



лось два рядомъ, и между нихъ виднѣлось высокое очертаніе священника.

Петръ Ивановичъ смотрѣлъ то на нихъ, то на шлюпку, но съ своего мѣста не двигался. Первымъ соскочилъ съ подтѣхавшей шлюпки и подошелъ къ нему исправникъ, за нимъ лѣсничій; исправникъ сталъ говорить ему что-то. Семенъ Андреевичъ, воспользовавшись тѣмъ, что лѣсничій очутился подлѣ него, спросилъ его вполголоса:

— Тѣло нашли? привезли?

— Да, оно на пароходѣ. Но другого тѣла мы не сыскали.

— Кого?

— Оедора Лукича! Всѣхъ насъ опрокинулось восемь человѣкъ, и я тоже. Наталья Петровна попала прямо въ стремнину, и какъ камень ко дну пошла... Оедоръ Лукничъ бросился за нею... нырялъ-нырялъ, да такъ и не вынырнулъ. Ее нашли—его нѣтъ; послѣдній разъ видѣлъ я его саженой на сто ниже по теченію; должно-быть, вытащатъ гдѣ-нибудь на низовой ватагѣ.

Вѣроятно, что всего этого, сказаннаго вполголоса, Петръ Ивановичъ, стоявшій шагахъ въ пяти, не слышалъ; исправникъ, покончивъ говорить съ нимъ, крѣпко пожалъ ему руку. Петръ Ивановичъ молча ожидалъ приближенія отца Игнатія. По мѣрѣ того, какъ сошлись всѣ фонари,—а ихъ горѣло больше десятка,—отецъ Игнатій, одѣтый въ бѣлую полотняную рясу, съ золотымъ крестомъ на груди, приближаясь, словно выросталъ; бѣлѣе рясы свѣтилась его широкая, серебряная борода и длинныя пряди кудрястыхъ волосъ, падавшихъ изъ-подъ шляпы съ небольшими полями на плечи.

Не успѣлъ онъ подойти къ Петру Ивановичу, какъ тотъ, не двигаясь съ мѣста, но трепеща всею своею длинною фигурою и поднеся обѣ руки къ вискамъ, точно сви-

дѣтельствуя о большой физической въ нихъ боли, проговорилъ:

— Батюшка! поддержите меня, болѣю душою! Холодно... темно... не могу...

И при этомъ восклицаніи Петръ Ивановичъ бросился къ священнику въ ноги и, павъ лицомъ къ песку, громко зарыдалъ.

— Великъ Богъ во святыхъ Его! — спокойно и звучно отвѣтилъ отецъ Игнатій. — Онъ призрѣть тебя... Не я благословляю тебя, а самъ Господь... Поднимись!

Немедленно поднявшись отъ земли, Петръ Ивановичъ, перекрестившись чрезвычайно медленно и во всю грудь, бросился къ отцу Игнатію на шею; священникъ крѣпко обнялъ его, не какъ пастырь церковный, а какъ соболѣзнующій великому горю челоуѣкъ.

Ночь засвѣтила всѣ свои безсчетные огни; фонари, въ рукахъ людскихъ, мало-по-малу стали расползаться по сторонамъ, и молчаніе степи оглашалось однимъ только звукомъ парохода, выпускавшаго пары. Почти полная луна поднялась невысоко надъ горизонтомъ. Степь зажила особенною жизнью ночи, и въ полусвѣтѣ мѣсяца забѣгали по ней, выползши изъ норокъ, суслики; они перебѣгали по степной сухотѣ съ быстротою удивительною, казались миллионами какихъ-то неопредѣленныхъ, изсѣра-свѣтлыхъ рѣющихъ точекъ и давали всей поверхности степи какое-то не то движеніе, не то морганіе, объяснить себѣ которое, безъ помощи мѣстныхъ людей, пріѣзжій челоуѣкъ не могъ. По мѣрѣ окончательнаго воцаренія тьмы родниковскій ручей поднималъ свой голосъ все сильнѣе и сильнѣе...

### VIII.

Прошло ровно три недѣли. Семенъ Андреевичъ покинулъ Родниковку на утро слѣдовавшаго, послѣ прибытія парохода съ тѣломъ Натальи Петровны, дня, такъ что онъ не

присутствовалъ при печальныхъ обрядахъ. Если очень сильное впечатлѣніе произвелъ на него самъ Петръ Ивановичъ съ его системою безсмертія, то еще сильнѣе, но уже въ другихъ сферахъ его душевныхъ способностей, сказалась смерть Натальи Петровны. Безконечное число разъ приходилъ ему на умъ вопросъ: чтò совершилось въ самомъ Петрѣ Ивановичѣ и заставило его упасть въ ноги священнику, представителю той церкви, вѣру въ которую считалъ онъ недостаточно причиннымъ явленіемъ? почему онъ перекрестился? А что-нибудь да произошло въ немъ непремѣнно, но чтò? Слова, сказанныя Петромъ Ивановичемъ: «болѣю душою... холодно... темно...» постоянно звучали въ его ухахъ, какъ бы сказаны они были только-что, за минуту!

Обѣхавъ уѣздъ и побывавъ въ Астрахани, Подгорскій направлялся обратно въ Петербургъ. Онъ поднимался по Волгѣ на одномъ изъ пароходовъ Зевеке и рѣшилъ остановиться въ Родниковкѣ, на сутки или на двое. По мѣрѣ приближенія къ ней, воспоминанья объ очень тяжелыхъ минутахъ, проведенныхъ имъ въ день катастрофы съ Натальею Петровною, возникали въ немъ съ ясностью необыкновенною. Онъ никакъ не могъ дать себѣ отчета въ томъ: какимъ образомъ сложилась тогда въ его фантазіи совершенно небывалая исторія съ деньгами, будто бы похищенными женою у мужа, ея бѣгство съ Ѳедоромъ Лукичомъ, удивительное измышленіе о томъ, что онъ, Ѳедоръ Лукичъ, топить Наталью Петровну, и она кричитъ ему, утопая и захлебываясь,—«извергъ»? И вдругъ, что же? Наталья Петровна дѣйствительно утонула, но утонулъ также, спасая ее, и Ѳедоръ Лукичъ. Пожалуй, думалось Семену Андреевичу, я проѣхалъ на пароходѣ гдѣ-нибудь близехонько надъ его трупомъ, или подлѣ него, если его не вытащили.

Сильно занимало его посмотреть, каковъ теперь Петръ Ивановичъ, «профессоръ безсмертія»? Подгорскій видѣлъ его на берегу Волги, при свѣтѣ фонарей, безъ шапки, простоволосымъ, бросившимся въ ноги священнику, почти обезумѣвшимъ. Петръ Ивановичъ показался ему тогда такимъ безнадежно слабымъ, такимъ во всѣхъ чувствахъ и мысляхъ въ конецъ подкошеннымъ, настолько рухнувшимъ въ себя, что въ ту минуту, сразу, свѣялся изъ мыслей Подгорскаго тотъ убѣжденный «профессоръ безсмертія», который на нѣкоторое время начертался въ нихъ достаточно четко, вслѣдъ за долгою и любопытною бесѣдою въ кабинетѣ, подъ шумъ родника.

Подгорскій сошелъ съ парохода, часа въ четыре пополудни, противъ Родниковки, и шлюпка доставила его къ знакомому устью ручья и доскамъ на козлахъ. Пока лодочникъ привязывалъ лодку и вытаскивалъ чемоданъ, Семенъ Андреевичъ направился въ гору, и первое, на чтѣ онъ натолкнулся—это была могила Натальи Петровны. Бѣлый деревянный крестъ, окруженный деревянною рѣшеткою, какъ и крестъ не окрашенною, поднимался на самомъ краю отрога, у подошвы котораго струился ручей. Знакомые звуки ручья перенесли мысли Подгорскаго къ тому, чтѣ имѣло мѣсто три недѣли тому назадъ. Онъ поднялся къ кресту и обошелъ его. Вспомнилась ему она, веселая, болтливая, сіяющая здоровьемъ и красотою, и какъ звала она его въ Астрахань; теперь онъ возвращался изъ Астрахани, а она, уже почти столько же времени, покоилась подъ землею. Во чтѣ обратилась она теперь?

Садъ, въ который прошелъ Подгорскій вслѣдъ затѣмъ, сіялъ, какъ прежде, множествомъ цвѣтовъ, а лиліи, цвѣтокъ Благовѣщенья, серебрились въ огромномъ количествѣ.

Подлѣ дома и въ самомъ домѣ, къ которому прошелъ онъ знакомой дорожкой, не замѣчалось никакого измѣненія.

и такія же, какъ прежде, кибитки и люди съ бѣлыми бинтами расположились подлѣ него. Семенъ Андреевичъ прошелъ въ садъ и направился прямо къ окну кабинета. Онъ не ошибся: Петръ Ивановичъ сидѣлъ за письменнымъ столомъ подлѣ окна и тотчасъ же замѣтилъ прибытіе гостя.

— Пожалуйста, пожалуйста! милости просимъ! — проговорилъ онъ и впустилъ Семена Андреевича въ кабинетъ, со стороны балкона.—Очень, очень радъ!

Войдя въ комнату, Семенъ Андреевичъ не могъ не замѣтить весьма существеннаго въ ней измѣненія: изображеніе Распятія освѣщалось лампадкою, а библія, лежавшая до того на столѣ, помѣщена подъ образомъ на особой полочкѣ. Самъ Петръ Ивановичъ какъ будто немного поблѣднѣлъ, но добродушная улыбка его осталась тою же самою, что и была. Онъ усадилъ гостя, предложилъ курить и, въ ожиданіи обѣда, распорядился о томъ, чтобы принесена была превосходная персиковая вода, холодная и искрившаяся не хуже шампанскаго.

Пока все это совершалось, Семенъ Андреевичъ, прислушиваясь къ шуму источника, взглянулъ въ окно и былъ пораженъ картиною, ему представившеюся. Между вѣтвей высокихъ и густыхъ осокорей открыта просѣка, возможно круглаго очертанія, и въ зелени листвы, какъ въ бархатной рамкѣ, вся озаренная свѣтомъ солнца, виднѣлась могила Натальи Петровны. Густота зелени, благодаря залежавшимъ въ ней тѣнямъ, была такъ велика, бѣлизна креста въ солнечныхъ лучахъ надъ могилою такъ ярка, воздухъ такъ прозраченъ, что, казалось, крестъ находился близехонько къ кабинету, чуть не въ кабинетѣ; за нимъ разстидалось голубое небо и нескончаемая даль заволжскихъ степей. Семена Андреевича настолько поразила картинность этого вида, что Абатуловъ замѣтилъ его пристальный взглядъ.

— Да, да, съ могилой этой вышло очень хорошо! Я не думалъ, что такъ хорошо выйдетъ; у меня теперь въ моемъ кабинетѣ какъ будто однимъ жильцомъ больше; покойная жена, по правдѣ сказать, не особенно-то часто хаживала ко мнѣ; я гораздо чаще заходилъ къ ней, потому что всѣ мои деньги находились у нея. Ну, а теперь мы больше вмѣстѣ, больше...

— Да-съ,—продолжалъ Петръ Ивановичъ,—горе жизни есть великое просвѣтлѣніе души человѣка! При томъ горѣ, которое такъ негаданно-быстро постигло меня, я убѣдился во многомъ, совершенно для меня новомъ и даже неожиданномъ. Вотъ, напримѣръ, самое важное, въ чемъ я убѣдился, это то, что я уразумѣлъ значеніе вѣры! Помните, Семенъ Андреевичъ, я говорилъ иначе, я въ ея причинности сомнѣвался, я не ясно понималъ, какое именно можетъ занимать она мѣсто, къ чему она, если допустить, что объясненій науки вполне достаточно? Теперь я знаю. Есть минуты въ жизни, когда, въ силу внутреннего сокрушенія всей духовной системы, парализуются въ человѣкѣ не только всѣ орудія мышленія, но, и это главное, нѣтъ времени на соображеніе, на приведеніе въ дѣйствіе этихъ орудій самоуясненія и самозащиты. Это тѣ страшныя минуты жизни, въ которыя невѣрящій накладываетъ на себя руку, или совершаетъ преступленіе, или, наоборотъ, вполне бездѣйствуетъ и тѣмъ обусловливаетъ горе себѣ и другимъ. Для вѣрящаго въ такія минуты достаточно одной только мгновенной мысли о Богѣ, достаточно ухватиться... Говорятъ: кто не тонулъ, тотъ не молился! Это ужасно вѣрно! И я, Семенъ Андреевичъ, ухватился, помолился впервые именно тогда! Я тонулъ и уразумѣлъ причинность и мѣсто вѣры. Но объ этомъ послѣ, а теперь скажите мнѣ, какъ провели вы время?—спросилъ Петръ Ивановичъ,—удачно ли исполнили порученіе? Помогли ли вамъ свѣдѣнія моихъ калмыковъ?

— Да, кое-что исполнилъ, — отвѣтилъ Семенъ Андреевичъ, — и, въ общемъ, доволенъ. Но что за безобразная трубная музыка въ молитвенныхъ ставкахъ, въ хурулахъ калмыковъ? эти двухсаженные трубы, подвѣшенные къ верху шатра, трубы змѣиныхъ обликовъ, къ амбушюрамъ которыхъ для того, чтобы играть на нихъ, калмыки подсаживаются на землю? Какъ далеки отъ молитвеннаго настроенія эти дерущіе слухъ звуки? Неужели и такая молитва можетъ улаживать?—Все это Подгорскій сказалъ съ намѣреніемъ вызвать Петра Ивановича на дальнѣйшія объясненія, вовсе не желая отлагать ихъ на «послѣ». Глубочайшее, свѣтлѣйшее спокойствіе этого человѣка поражало его, и онъ чувствовалъ въ этомъ спокойствіи присутствіе какого-то глубоко-осмысленнаго рѣшенія.

— А вы развѣ сомнѣвались? — спросилъ Петръ Ивановичъ.—Мнѣ всегда приходило въ голову, что эти религіи азіатскаго востока, съ ихъ ревомъ и грохотомъ служенія, какъ бы отголоски тѣхъ вулканическихъ катаклизмовъ, которые когда-то совершались въ тѣхъ странахъ; ихъ религіи зародились въ трескѣ и крушеніи огнедышащихъ явленийъ земли, и вотъ откуда ихъ чудовищныя музыки. Наша молитва—иная, и, повѣрьте мнѣ, что молитву эту, такъ же какъ и значеніе вѣры, можно познать полностью только въ горѣ. Вспоминается мнѣ при этомъ опять-таки очень любимый мною Тиндаль. Онъ говоритъ гдѣ-то, что если молитва человѣка прямого дѣйствія на физическій міръ не оказываетъ, то она дѣйствуетъ на духъ человѣка; не подлежитъ сомнѣнію, что она орудуетъ въ силу закона сохранения и распредѣленія силъ и еще «прославить», какъ говоритъ Тиндаль, этотъ законъ въ его крайнихъ предѣлахъ. Я испыталъ на себѣ это «прославленіе». Молитва можетъ быть иногда такъ быстра, тонка, сильна, высока, такъ неуволимо-духовна, что мы даже и характеризовать

ея не можемъ! По Гризингеру, не подлежитъ сомнѣнію, что хотя наши слова и принадлежать къ сферѣ дѣятельности человѣка, но бываютъ, все-таки, такія минуты, когда наша внутренняя жизнь становится выше формы слова, т.-е., попросту, намъ не хватаетъ словъ; какъ изъ глубины души поднимается тогда вдругъ нѣчто невыразимо-чудесное, невысказываемое, никогда не достигавшее слуха человѣка, и въ такія минуты намъ кажется, что все, что мы знаемъ и до чего можемъ достигъ, никогда не можетъ быть выполненіемъ того блаженства, которое въ подобныя минуты обѣщано намъ нашимъ внутреннимъ чувствомъ! Помните также у Достоевскаго въ «Идіотѣ» есть сходная съ этимъ характеристика эпилептического состоянія: ощущенія больного удесят�ерялись, умъ и сердце озарялись необыкновеннымъ свѣтомъ, всѣ волненія, всѣ безпокойства умиротворялись разомъ и разрѣшались какимъ-то высшимъ спокойствіемъ, полнымъ ясной, гармонической радости и надежды, полнымъ разума и окончательной причины; эти минуты проходили быстро, какъ молнія, и, даже послѣ припадка, вспоминались больному, какъ полное примиреніе, какъ «молитвенное», высшее сліяніе съ синтезомъ жизни. Я вовсе не говорю, что молитва есть эпилептическое состояніе; я вспомнилъ Достоевскаго только для одного слова: «молитвенное», употребленное имъ для объясненія *pes plus ultra* освобожденія души отъ «земляности»... А молитву Спасителя въ Геесиманскомъ саду помните: у евангелиста Маттея сказано: «Душа моя скорбитъ смертельно»... у евангелиста Марка: «И началъ ужасаться и тосковать. И сказалъ имъ: душа моя скорбитъ смертельно»; у евангелиста Луки: «И находясь въ бореніи, прилежнѣе молился; и былъ потъ его какъ капли крови, падающія на землю!» Евангеліе! вотъ ужъ по-истинѣ книга откровеній! Въ немъ, то и дѣло, чередуются откровенія. Вотъ хоть бы эта молитва Спасителя!



Господи, что бы можно было дать за то, чтобы имѣть ее передъ глазами, именно ее, эту Геесиманскую молитву души, которая «скорбѣла», «находилась въ бореніи», «начала ужасаться», — замѣтитъ: не «ужасалась», а «начала ужасаться», что безмѣрно сильнѣе! Эта молитва, вызывавшая «потъ какъ капли крови», несомнѣнно свидѣтельствуе намъ о двухъ вещахъ: во-первыхъ, что Спаситель непремѣнно находился въ сомнѣніи, и, во-вторыхъ, находясь въ немъ, обратился ни къ чему иному, какъ къ молитвѣ! И я, въ своемъ горѣ, постигъ такую именно молитву, какой не постигалъ, не чаялъ прежде, и—успокоился! Не что иное, какъ горе, вразумило, научило меня...

— Простите меня,—замѣтилъ Подгорскій,—но уже этихъ двухъ приобрѣтеній—вѣры и молитвы—вполнѣ достаточно для того, чтобы человѣку желать горя?

— Желать это будетъ не по-божески, но, что одно только горе улучшаетъ, очищаетъ, направляетъ человѣка, такъ это вѣрно; помните, что значитъ «несеніе своего креста!» И не только эти два даянія принесло мнѣ горе, оно дало мнѣ еще и третье, до той поры мнѣ тоже не вполнѣ ясное. Я понялъ, наконецъ, значеніе земной церкви и ея служителей. Я не совсѣмъ ясно помню, что именно говорилъ я на берегу, когда подошелъ къ вамъ въ вечеръ прибытія парохода съ тѣломъ; вѣдь я, кажется, къ вамъ подошелъ,—и говорилъ что-то, что—не знаю, но вспоминаю, очень хорошо, что чувствовалъ, что хотѣлъ сказать! Какъ воздухъ задыхающемуся, нуженъ мнѣ былъ служитель церкви, вещественный знакъ церкви, этого прямого свидѣтельства Бога на землѣ! Мнѣ казалось, что душа моя уходитъ и она ушла бы, непремѣнно, если бы не появился мой дорогой отецъ Игнатій! Да-съ, Семенъ Андреевичъ, въ минуты полной расшатанности человѣка, когда онъ сокрушенъ въ себѣ, а слѣдовательно, для него сокрушенъ и

весь міръ, церковъ, какъ внѣшняя изобразительница молитвы, вѣры и Бога, церковъ въ ея неподвижности отъ вѣка, въ ея текстахъ и реченіяхъ, замшившихся въ безконечной давности, церковъ, чуждая измѣняемости, въ смыслѣ моды и развитія, одна только остающаяся неизблемою, неподвижною въ верченіи времени, становится вполне необходимою! Только такую, несомнѣнно неподвижную во времени, церковъ мнѣ нужно, потому что только за такую церковъ, неизмѣняющуюся въ измѣняемости всего, всего рѣшительно, могу я, утопающій, ухватиться. И можете ли вы представить себѣ тотъ великій восторгъ, когда эта церковъ, въ ея вѣчности и неизблемости, въ ея безвременномъ могуществѣ, со всѣми подвижниками вѣры и полнымъ представительствомъ ихъ лучезарнаго, страдальческаго сонма, приходитъ къ вамъ, къ ничтожеству, въ лицѣ ея служителя, приходитъ сама in personam, со всею своею благодатью, приходитъ на вашъ зовъ, на зовъ маленькаго, единичнаго, въ конецъ сокрушеннаго человѣчка, и, ставъ надъ вами, говоритъ: встань! Отсюда, Семенъ Андреевичъ, чтобы кончить на этотъ предметъ, можете сдѣлать сами три не маленькихъ заключенія: во-первыхъ, какъ преступенъ пьяный или развратный служитель церкви; второе, въ какой юдоли невѣдѣнія обрѣтаются всѣ эти редстокисты и пашковцы, и какъ ихъ тамъ звать, и, въ-третьихъ, и это самое важное: что именно наша православная церковъ въ ея прочности и неизмѣняемости имѣетъ великое преимущество, не говорю уже передъ лютеранствомъ, но и предъ католичествомъ. О религіяхъ нехристіанскихъ—нечего и толковать!..

Цѣлыхъ трое сутокъ провелъ Семенъ Андреевичъ у Абадулова; бесконечно много было говорено на тѣ же предметы, но замѣчательно, что въ самыхъ великихъ и противорѣчивыхъ отвлеченностяхъ всегда оказывалось у Абаду-

лова гораздо менѣе метафизики, чѣмъ можно предполагать, и, наоборотъ, то и дѣло подтверждались однажды приведенныя Петромъ Ивановичемъ мнѣнія Тиндала, Шопенгауэра и Гартмана, что, если уже что-либо мистично и трансцендентально, такъ это именно матерія и что, въ этомъ смыслѣ, мистиченъ даже пищеварительный процессъ. Удивительно просто и хорошо намѣчалась у Петра Ивановича, такъ казалось Семену Андреевичу, система этики, правила для нравственной жизни человѣка, выработанныя имъ. Меньше всего оказывалось въ этой этикѣ пуризма, строгости, нетерпимости: въ ней царила одна только свѣтлѣйшая простота и въ этомъ смыслѣ оказался онъ, до глубины души, до мозга костей своихъ—православнымъ. Особенно много основывалъ Петръ Ивановичъ на значеніи «совѣсти» въ человѣкѣ, признавая ее, согласно смыслу всѣхъ положеній своей системы, существующею на свѣтѣ такъ же доказательно, чуть ли не болѣе доказательно и ощутимо, чѣмъ кислородъ.

Но изъ всего того, что повѣдалъ Семену Андреевичу «профессоръ безсмертія», въ памяти его напечатлѣлось одно, дѣйствительно характерное, но уже полумистическое разъясненіе.

— Смерть жены,—сказалъ Петръ Ивановичъ,—открыла мнѣ значеніе вѣры, церкви, молитвы. Помню, какъ теперь, мысли мои на всѣхъ панихидахъ, сначала неясныя, сбивчивыя, но въ день отпѣванія уже достигшія зрѣлости и полной хрустальности. Мысли мои, благодаря совершенно особеннымъ, счастливымъ обстоятельствамъ произрастанія, поднялись чрезвычайно быстро; есть, какъ вы знаете, организмы въ природѣ, растительные и животные, являющіеся въ жизнь, достигающіе зрѣлости, дающіе потомство и умирающіе менѣе чѣмъ въ сутки. Я, видите ли, такъ много лѣтъ, такъ усиленно, постоянно, ежечасно изслѣдовалъ мою

мысль о невозможности отрицать единоличное безсмертіе, не отрицая всего порядка бытія, я такъ сжился съ нею, собирая по зернышкамъ, по песчинкамъ всякія мнѣ нужныя данныя, что, въ силу вполне законныхъ рефлексовъ мозга, сквозь пѣніе «со святыми упокой», работалъ мысленно все-таки въ томъ же направленіи. Церковная молитва самымъ родственнымъ образомъ свивалась у меня съ научнымъ соображеніемъ; я пастойчиво искалъ въ словахъ богослуженія чего-либо разрушительнаго для моей системы и, къ великому счастью, не нашелъ...

— Конечно, въ первыя минуты извѣстія о смерти жены я ни о чемъ рѣшительно думать не могъ. Помните ли вы, какъ въ «Откровеніи Іоанновомъ» сказано, что Вавилонъ, городъ великій, опоилъ «яростнымъ виномъ блуда» всѣ народы? Такимъ «яростнымъ виномъ печали» опоила меня смерть жены! Но съ самаго появленія отца Игнатія или, лучше, не его лично, а вѣчной, незыблемой церкви Христовой въ лицѣ ея представителя, на мой одиночный зовъ, я сталъ успокаиваться, и скоро о неистовствѣ, жгучести, бѣшенствѣ, пьяности тоски моей—не было и помину.

— Только въ такомъ успокоенномъ, какимъ я сталъ, могли, конечно, законно совершаться тѣ рефлексы мозга, о которыхъ я только-что вспомнилъ. Я стоялъ и сидѣлъ у гроба жены, которую любилъ безпредѣльно, много, много разъ. Ну вотъ, думалось мнѣ, то, что ты доказывалъ, совершилось; вотъ ея тѣло, а душа? Она, по-твоему, съ нашимъ міромъ общенія имѣть не можетъ, она стала частичкою тепла, вышедшаго изъ обращенія въ мірозданіи, получила безформенную форму, она вошла, путемъ смерти, въ ежеминутно увеличивающіяся и, съ погасеніемъ людей, постоянно возрастающія количества уравновѣшенной и уже теперь пріавшей «вѣчный покой» температуры! Такъ ли это? что, если нѣтъ?! Страшное чувство одолѣвало меня!

Хорошо писать о чемъ-либо на бумагѣ, но совсѣмъ другое стоять съ чѣмъ-либо лицомъ къ лицу. Я думаю, что какой-нибудь юный, прошедшій всѣ высшіе военные курсы офицеръ, попавъ впервые въ бой, долженъ испытывать то, что испытывалъ я? на что ему вся самоувѣренность теоріи, всѣ примѣры военной исторіи, когда кругомъ свищутъ пули и люди валятся? Какъ, повидимому, безсильны становятся всѣ его знанія, когда, вмѣсто разрисованныхъ карточекъ, которыя онъ двигалъ по плану, или вмѣсто лагерныхъ маневровъ, гдѣ его мнимые противники были, на самомъ дѣлѣ, его лучшими друзьями, конь его скользитъ по грязи, образовавшейся отъ крови, и злобно выпученныя очи убитыхъ ясно свидѣтельствуютъ о томъ, каково должно быть расположеніе духа противника! Я тоже попалъ тогда на подобное поле сраженія! «Тутъ», подлѣ меня,—несомнѣнное разложеніе, неимѣніе лика, безобразіе, а «тамъ», неизвѣстно гдѣ, въ силу тѣхъ именно доводовъ, которые я же сочинилъ, я же призналъ моимъ, имѣющимъ со временемъ разложиться, т.-е. очень слабымъ, такъ сказать, временнымъ мозгомъ, должна обрѣтаться, въ непостижимой вѣчности, какая-то совсѣмъ, совсѣмъ неопредѣленная, не то вѣсомая—не то невѣсомая, не то мертвая—не то живая, неочертимая и, въ то же самое время, въ силу своей индивидуальности, вѣроятно имѣющая какое-либо свое очертаніе—душа! Степени убѣдительности между «тутъ» и «тамъ», согласитесь, были очень и очень различны!

— И все-таки,—продолжалъ Петръ Ивановичъ,—вѣрьте мнѣ или не вѣрьте, но я не сомнѣвался ни одною вибраціею моего мозга. Мнѣ чаще другого вспоминалось то, что сказано въ Евангеліи: «Въ домѣ Отца Моего обителей много» и «мѣста» ихъ не опредѣлить. Изрѣдка, пожалуй, признавалъ я въ себѣ ощущенія, которыя готовъ назвать, если хотѣте, «странными»; особенно сильно ощущалъ я эту

«странность» именно тогда, когда смотрѣлъ на гробъ! Но эти «странныя» ощущенія всегда улетучивались, какъ только отворачивался я отъ этой дѣйствительности, отъ гроба, или закрывалъ глаза, или задумывался. Тогда—о, тогда!—чувствовалъ я себя опять въ своей сферѣ, сознательно плывущимъ на всѣхъ парусахъ. Помню, что уже послѣ похоронъ размышлялъ я о причинѣ этихъ «странныхъ» чувствъ моихъ и пришелъ къ заключенію, что причины ихъ надобно искать не въ чемъ иномъ, какъ въ насъ самихъ, во всей глупой обстановкѣ нашей жизни.

— Отъ ранняго дѣтства начиная, въ наукѣ, въ обществѣ не перестаютъ толковать вамъ на всѣ лады, что со смертію все кончено, что нѣтъ причинности, оправдываемой наукой, которая могла бы допустить отдѣльное отъ тѣла существованіе души, и что тутъ, если угодно, остается мѣсто одной только вѣры! Самую идею вѣры подрываютъ въ васъ, иногда очень остроумно, и всегда съ расчетомъ на успѣхъ, многія тысячи людей образованнаго общества; не оставляютъ ни одного окошечка для просвѣта, который мнѣ такъ несомнѣнно, такъ ясно виденъ; нерѣдки недостойные служители церкви; весело гуляетъ по величайшимъ истинамъ насмѣшка, и вдругъ... послѣ десятковъ лѣтъ такихъ условій, васъ ставятъ вдругъ у открытаго гроба и спрашиваютъ: ну, что! гдѣ же твоя система? Бѣдное, мягкотѣлое, безпокровное существо, вы подвергнуты сразу какому-то убійственному морозу или, если хотите, бѣлокаильному жару, и что же остается вамъ дѣлать? Я, лично, хотя и оказался настолько счастливымъ, что чувствовалъ на себѣ нѣкоторый какъ бы покровъ моей системы, не могшей возникнуть безъ убѣжденія и вѣры въ логику бытія, но, все-таки, будучи поставленъ въ необходимость провѣрить свою теорію на практикѣ, при условіи мгновенной, фактической потери любимѣйшаго существа въ мірѣ—моей жены!—чувствовалъ

себя въ положеніи, названномъ мною «страннымъ». Мало-по-малу, однако, эта неопредѣленная «странность» ощущеній, безспорно, уступала мѣсто прежней увѣренности. Я находился въ бою впервые... смерть унесла человѣческую жертву... что-то исчезло... совершилась какая-то громадная, вершительная перемѣна! Не признать ли безумія бытія? Это гораздо проще! Но что же тогда съ остальнымъ бытіемъ мірозданія? Вѣдь не умерло же оно со смертью жены? Какое имѣю я право придавать своему субъективному чувству чисто объективное значеніе? На какомъ основаніи дерзаю я уяснить себѣ все сокрытое передо мною во всей необъятности и непостижимости какими-то несчастными тремя измѣреніями, семью красками и основанною на нихъ слабенькою логикою! Злополучный я банкротъ своихъ собственныхъ убѣжденій, не умѣющій, въ силу привычки, признать даже несомнѣннаго, и не имѣющій для этого самой не хитрой смѣлости...

— И помню я, помню очень хорошо, что когда простился съ женою въ послѣдній разъ, то почувствовалъ, что вошелъ, такъ сказать, въ полное равновѣсіе температуры моихъ собственныхъ убѣжденій, въ «вѣчный покой» глубочайшаго моего сознанія и искреннѣйшей моей вѣры, которыхъ теперь князю міра сего не сокрушить... Что за глубина и истина въ Іоанновомъ Евангеліи, въ послѣднемъ, прочтенномъ надъ гробомъ, въ которомъ объясняется, для чего пзыдутъ изъ гробовъ «сотворшая благая» и «сотворшая злая»! Много, Семенъ Андреевичъ, вынесла наша земля физическихъ катаклизмовъ, но только однажды совершился на ней катаклизмъ въ духовномъ бытіи земного человѣчества, а именно—съ появленіемъ Іисуса Христа. Тутъ я долженъ предупредить васъ, что ударюсь немного въ метафизику, въ мистику. Мнѣ думается, что появленіе Сына Божія здѣсь, на землѣ, а не на другой планетѣ, соверши-

лось, вѣроятно, въ силу того, что высшею интеллектуальною потенціею въ мірозданіи является, вѣроятно, человѣчество. Вполнѣ научнымъ, естественнымъ путемъ никоимъ образомъ не объяснить значенія Спасителя; катаклизмъ въ духовномъ бытіи человѣчества, Имъ произведенный, такъ неизмѣримо громаденъ по сравненію съ другими наиважнѣйшими, какъ-то: крушеніе Греціи, Рима, появленіе Будды, Магомета и пр., что уразумѣть его причинность обычнымъ путемъ мы положительно не можемъ. Дѣятельность Спасителя—фактъ несомнѣнный, но, въ то же время, и вполнѣ единичный, безпримѣрный; не представляется ли эта единичность снабженною всѣми отличіями чуда? Можно ли признать явленіе, вполнѣ единичное, исключительное, хотя и несомнѣнное, явленіемъ вполнѣ нормальнымъ? Едва ли можно; а если это такъ, то всякій мистикъ пойдетъ дальше... Если духъ человѣка дѣйствительно высшая потенція матеріальнаго міра, если право на дальнѣйшее, высшее развитіе по смерти имѣетъ только та душа, чтò сотворила «благая», то Богочеловѣкъ, такъ сказать, еще здѣсь, на землѣ, какъ бы перешелъ грань земного развитія, и это именно изображено наглядно въ Вознесеніи Христовомъ: у евангелиста Луки сказано, что Онъ, на глазахъ учениковъ своихъ, «сталъ отдаляться отъ нихъ». Какъ умѣстно здѣсь это слово «отдаляться», и какъ ясно показала дѣятельность Спасителя, чтò значитъ «благая», и въ какую сторону должно быть направлено развитіе человѣческой души!

— Не могу также не вспомнить, говоря о Спасителѣ, послѣднихъ строкъ знаменитаго сочиненія Страуса. Онъ, какъ извѣстно, признавалъ Спасителя не болѣе какъ за простого смертнаго; оставаясь вѣрнымъ своему глубочайшему скептицизму, Страусъ, заканчивая сочиненіе, не могъ, однако, не сказать слѣдующаго: «Я признаю Христа за такого человѣка, въ сознаніи котораго единеніе божествен-



наго и человѣческаго возникло въ первый разъ, и съ такою энергіею, что для абсолютной полноты этого единенія не хватаетъ только неизмѣримо малаго и что, въ этомъ смыслѣ, Христосъ примѣръ единственный въ исторіи и не имѣющій себѣ равнаго». Что это за «неизмѣримо малое», чего не хватало въ Спасителѣ для достиженія какого-то нѣмецкаго «абсолюта»,—Страусъ, въ цѣлыхъ двухъ томахъ своего сочиненія, не объяснилъ ни одною строкой!

— И кажется мнѣ, Семенъ Андреевичъ,—говорилъ Абадуловъ,—когда я смотрю на могилу жены изъ моего окна, что она дѣйствительно только «отдалилась!» Будь я богатъ, я, знаете ли, непременно поставилъ бы надъ нею своеобразную часовню. Вся она была бы сложена изъ стекла, т.-е. изъ стеклянныхъ кирпичей, такъ что внутренность ея находилась бы въ постоянномъ, непрерывномъ общеніи со свѣтомъ земли; съ зарею она заливалась бы красными, огненными лучами молодого солнца, при лунномъ сіяніи—лазоревыми тѣнями, въ непроглядную тьму воробьиной ночи она стояла бы, какъ и вся природа, погруженною въ мракъ и вспыхивала бы, во всей своей цѣльности, при блескѣ буревой молніи или лѣтней зорницы. Въ этомъ имѣлось бы наглядное свидѣтельство того, что душа почившей жилицы ея не исчезла, а только «отдалилась». Я бы одухотворилъ всѣ стѣны и весь сводъ часовни изображеніями въ самомъ стеклѣ завѣтныхъ ликовъ мучениковъ, признанныхъ нашею церковью, въ ихъ цвѣтныхъ одѣяніяхъ, по Строгановскому подлиннику, и они, глядя со стѣнъ, являлись бы дѣйствительно свѣтоносными, сквозящими, сотканными изъ лучей. Надобно только припомнить и понять, что значать «мученики»!

— Но все это, дорогой Семенъ Андреевичъ, только фантазія, сути дѣла вовсе не мѣняющая. Я, впрочемъ, предупредилъ васъ, что ударюсь въ метафизику, которую вольны

вы принять или не принять, но что «благая» душа, въ силу чисто естественно-научныхъ законовъ, должна быть единолично бессмертна, такъ это несомнѣнно и это не метафизика. Я сообщилъ вамъ все, что зналъ на этотъ предметъ, я указалъ вамъ на несомнѣнность существованія двери въ бессмертіе и желалъ бы повѣдать свои мысли возможно многимъ... но только отнюдь не въ качествѣ самозваннаго пророка. У насъ давно въ ходу пророчества, разныхъ видовъ и достоинствъ, это правда, но все-таки пророчества; вспомните, чтобы начать снизу, деревенскихъ пророковъ раскола, штунды и перейдите прямо къ спиритамъ и недавно появившимся Редстоку и Пашкову! Въ моихъ доводахъ нѣтъ ничего сходнаго съ ихними: я простой изслѣдователь, дѣлающій свои заключенія... Впрочемъ, виновать, между мною и перечисленными пророками есть сходство: всѣ мы, вмѣстѣ взятые, не новы подъ луною, всѣ пульсируемъ, всѣ повторяемъ какіе-то зады...

Прошло двое сутокъ пребыванія Подгорскаго въ Родниковкѣ. Ко времени прибытія парохода, направлявшагося вверхъ по Волгѣ, такого же крупнаго американца, какъ тотъ, на которомъ Подгорскій прибылъ, Абатуловъ проводилъ гостя до ближайшей пристани.

— Прощайте! Прощайте еще разъ!—закричалъ ему Подгорскій съ палубы при первыхъ поворотахъ неуклюжихъ колесъ американца.

— Нѣтъ! Никакъ не прощайте, а до свиданія, здѣсь или тамъ!—отвѣтилъ ему Абатуловъ.

Публика, слышавшая это прощаніе, конечно, не поняла его.

25 февраля  
1891.



## ТРЕЩИНА.

---

### I.

Мартовское утро просыпалось надъ Петербургомъ и, зарумянивъ крыши домовъ и купола церквей, четырьмя узкими полосами втянулось между опущенныхъ шторъ двухъ низкихъ окошекъ въ квартиру учителя Петра Спиридоновича Панкратьева,—и Петръ Спиридоновичъ проснулся.

— Хорошее утро,—подумалъ Петръ Спиридоновичъ, но замѣтивъ, что лѣвое плечо и лѣвая рука его, вѣроятно уже давно выльзшія изъ-подъ одѣяла, продрогли,—поспѣшилъ спрятать ихъ, побарахтался въ нагрѣтой перинѣ, закутался глухо-на-глухо, съежился и притихъ. Глаза его начали бѣгать по комнатѣ и прежде всего остановились на часахъ.—Шесть часовъ,—ну это слишкомъ рано... Отчего же бы это я такъ рано проснулся?—думалъ Петръ Спиридоновичъ, и всякія свѣтлыя мысли, одна другой лучше, одна другой привлекательнѣе, полѣзли въ его 70-лѣтнюю голову, а глаза быстрѣе и быстрѣе забѣгали по комнатѣ.

— Что жъ, развѣ у меня не хорошая комната?—думалъ Петръ Спиридоновичъ.—Нѣтъ, право хорошая: и диванъ мягкій стоитъ, правда, онъ старый, но все-таки мягкій; надъ

диваномъ зеркало. Федоръ Федоровичъ говоритъ, что онъ себя не узнаетъ въ этомъ зеркалѣ, — вольно же ему родиться такимъ длиннымъ, а снизу зеркало представляетъ очень похожимъ, очень похожимъ. А столъ письменный, а этажерка съ книгами, а гитара, а часы, а коверъ?

Съ ковра на полу глаза Петра Спиридоновича перешли прямо на потолокъ. Изъ одного угла комнаты въ другой, разбѣгаясь въ стороны свѣтъ, — тянулась широкая трещина. Десять лѣтъ жилъ Петръ Спиридоновичъ на этой квартирѣ; онъ даже нанялъ ее съ трещиной на потолкѣ, за что и выторговалъ по четвертаку въ мѣсяцъ. «Эта трещина мнѣ доходъ приноситъ», — говаривалъ, добродушно посмѣиваясь, Петръ Спиридоновичъ, — «и я ее задѣлывать не велю». Но кромѣ дохода, трещина была для Петра Спиридоновича нѣкоторымъ источникомъ удовольствія. Рисунки ея были самыя капризные, учитель зналъ ихъ наизусть, и чего не выстраивалъ онъ въ своемъ воображеніи на двухъ-трехъ изгибахъ ея, когда, проснувшись поутру или лежа на кровати послѣ обѣда, начиналъ глядѣть въ потолокъ. Одно мѣсто трещины, именно надъ серединою комнаты, особенно нравилось ему: трещина довольно ясно и вѣрно вычерчивала профиль Наполеона. Глядя на нее, Петръ Спиридоновичъ приходилъ въ восторгъ: — «сама нагура-сь, — говаривалъ онъ, — чтить великаго человѣка и хранить его черты». Всѣ знакомые Петра Спиридоновича, всѣ ученики его знали объ этомъ Наполеонѣ; и даже самъ директоръ училища изрѣдка освѣдомлялся о здоровьи многолѣтней трещины.

— Хорошій Наполеонъ, великій человѣкъ, — думалъ Петръ Спиридоновичъ, а солнце все щедрѣе и щедрѣе сыпало въ комнату учителя свои блестящія лучи. Трудно объяснить, какимъ именно психическимъ процессомъ, но фактъ вѣренъ; румяное утро, свѣжесть головы и спокойствіе душевное развили въ учителѣ сатирическое направленіе мысленія.

Петръ Спиридоновичъ приснулъ со смѣху, быстро при-сѣлъ на кровати, посидѣлъ и снова легъ. Потомъ снова за-смѣялся, сбросилъ одѣяло, свѣсилъ ноги въ туфли—и оста-новился.

— А что если попробовать,—думалъ онъ,—что же можно... оно трудно, но, конечно, можно... изъ Наполеона сдѣлать директора—маленькое сходство есть... Петръ Спиридоно-вичъ!.. стыдно, старый учитель... а право сходство есть—была не была!—И Петръ Спиридоновичъ всталъ. Онъ стоялъ передъ зеркаломъ. Низъ зеркала отражалъ его фигуру до-вольно вѣрно—учитель узналъ себя и, передвинувъ изъ-за ушей на передъ двѣ длинныя пряди волосъ, завязавъ ру-башку, не могъ не полюбоваться на себя и не улыбнуться своей собственной улыбкѣ—такъ откровенна, такъ добро-душна была она.

Петръ Спиридоновичъ взялъ одинъ изъ стульевъ, пере-несъ его на середину комнаты, осторожно опустил на полъ и всталъ на стулъ. До трещины оставалось очень не далеко и учитель занялся работой: онъ удлинилъ носъ про-фили, сдѣлалъ толще губы, придѣлалъ огромные глаза; на полу, кругомъ стула, валялась отколушенная имъ краска. Онъ былъ доволенъ своимъ произведеніемъ, работа прихо-дила къ концу, казалось, трещина оживала — директоръ становился яснѣе и яснѣе!.. Петръ Спиридоновичъ взгля-нулъ въ зеркало... и покатился со смѣха.

— Груша, рѣшительно груша!—не громко проговорилъ онъ, соскакивая со стула.

Въ это время дверь отворилась и въ комнату вскочили, одна роняя другую, двѣ кошки и собачонка, а за ними во-шла женщина лѣтъ шестидесяти, въ сѣромъ платкѣ и пе-строй дупегрѣйкѣ.

— Чтò вы, родной? Чтò это съ вами такое? Да моли-лись ли вы Богу сегодня, Петръ Спиридоновичъ?

Петръ Спиридоновичъ стоялъ, какъ уличенный школьникъ, передъ своею кухаркою. Неожиданность явленія ея была сильнѣе пароксизма смѣха, да къ тому же, въ самомъ дѣлѣ, онъ не молился Богу.

— Безстыжій этакой, хотъ бы халать одѣли,—при этомъ кухарка почла долгомъ отвернуться, а Петръ Спиридоновичъ машинально подошелъ къ кровати, снялъ съ гвоздя халать и одѣлъ его.

Конечно, кухарка Прасковья (она же, изволеніемъ случая: прачка, швея и пр., и пр., и пр.) могла бы и не отворачиваться. Отношенія ея къ учителю были болѣе чѣмъ дружественныя: сорокъ лѣтъ жили они подъ однимъ кровомъ и несомнѣнно, конечно, что обоимъ случалось видѣть другъ друга и не совсѣмъ одѣтыми. Сорокъ лѣтъ, — легко сказать, пронеслось надъ ними; онъ—брюнетъ, она—блондинка—оба посѣдѣли; былъ у нихъ и сынъ, была и дочка—да обоихъ Богъ отнялъ, и Петръ Спиридоновичъ съ Прасковьей Ѳедоровной жили въ мирѣ и согласіи, любя и не ревнуя другъ друга, вполне убѣжденные въ чистотѣ и непорочности своихъ отношеній. Брачной четой назвать ихъ нельзя было—передъ алтаремъ они не стояли, но они представляли собою одинъ изъ многихъ примѣровъ долгаго сожительства, тихаго и спокойнаго, несмотря на разность положеній. Годъ спустя послѣ перваго робкаго поцѣлуя, положеннаго Петромъ Спиридоновичемъ на щеку почти красивой Прасковьи,—Петру Спиридоновичу представилась довольно выгодная партія, въ лицѣ дебелой, вполне разившейся купеческой дочки. Учитель, на предложеніе отца ея, отвѣчалъ слѣдующими простыми, но многозначительными словами:—«нѣтъ-съ, избавьте меня отъ женитьбы; дочь ваша, конечно-съ, найдетъ партію лучше меня... вотъ хотъ бы и у насъ въ училищѣ есть учителя, видные такіе, красивые-съ,—да и жить мастера, вотъ тѣхъ въ женихи

дочкѣ вашей можно-съ; а ужъ меня избавьте, карьеры никакой не имѣю».

Впрочемъ, и Прасковья не осталась въ долгу у Петра Спиридоновича, и она могла бы имѣть всякія кольца и сережки — да что-то часто слишкомъ о Петрѣ Спиридоновичѣ думала. Были, правда, и горькія минуты, находили п дурныя мысли, — да все это пронеслось вмѣстѣ съ молодостью, а привычка довершила остальное. Къ тому же учитель былъ такой довѣрчивый, и то, чего не досматривалъ онъ, досматривала совѣсть кухарки Прасковьи.

Въ дѣлахъ будничныхъ, мелкихъ голосъ Прасковьи былъ неоспоримо сильнѣе голоса Петра Спиридоновича, но въ вопросахъ болѣе важныхъ учитель сохранялъ все свое значеніе и замѣчалъ, что не позволить наступать себѣ на ногу; въ знакъ своего старѣйшинства онъ говорилъ Прасковѣ ты, и даже не прочь былъ погрозить пальцемъ. Самое сильное выраженіе, на которое рѣшался Петръ Спиридоновичъ въ случаѣ неудовольствія на Прасковью, было слѣдующее: «я тебя непременно, можетъ-быть, оставлю; самъ плакать буду — а все-таки оставлю». За выраженіемъ этимъ обыкновенно слѣдовало молчаніе, и Прасковья, для окончательнаго примиренія съ Петромъ Спиридоновичемъ, предлагала приготовить къ завтрашнему обѣду колдуны или сосиски съ капустой.

— И чего вы такъ рано поднялись, Господь васъ знаетъ, Петръ Спиридоновичъ, народъ отъ ранней обѣдни еще не вышелъ, а вы ужъ на ногахъ, да комнату сорите. Вишь, трещина помѣшала, прости Господи. — Прасковья поставила стулъ на свое мѣсто и приправила кровать.

— Видишь ли ты что, матушка, утро-то сегодня больно хорошо-съ, — преговорилъ Петръ Спиридоновичъ, — солнце спать мѣшало.

Прасковья подняла шторы. Маленькая комната учителя

озарилась краснымъ свѣтомъ. Далеко впередъ передъ окномъ раскидывался Петербургъ. По зеленовато-синему небу чуть замѣтно скользили отъ востока, гонимыя яркою зарею, тонкія тучи. Точно мелкими хрусталиками сверкалъ морозный, ясный и прозрачный воздухъ. Дымъ опаловыми столбами поднимался изъ трубъ и исчезалъ въ сіяніи утра. На ближнемъ домѣ торчалъ трубочистъ. Куполъ приходской церкви съ крестомъ на верхушкѣ одинъ нарушалъ своими высокими очертаніями безконечные гребни плоскихъ крышъ. Шелъ благовѣстъ.

Петръ Спирidonовичъ и Прасковья, переглянувшись, молчали; одна собачонка выражала свое удовольствіе звонкимъ лаемъ, и кошка, выгнувъ спину, поджавъ хвостъ и моргая усами, зѣвала. Вотъ какою семейною картиною встрѣтило выкатившееся солнце квартиру учителя.

— Я все это думаю, Прасковья, о томъ, что мнѣ дѣлать черезъ два года, какъ на пенсію выйду.

— А что дѣлать: то, что люди дѣлаютъ, въ церковь ходить, ѣсть, спать.

— А какъ ты думаешь, Прасковья, въ какой приходъ лучше ходить будетъ: къ Покрову или къ Николѣ?

— И къ Покрову хорошо, и къ Николѣ хорошо тоже. У Покрова, надьсь, дьяконъ поклонился, домой идя,—знакомые люди; а у Николы священникъ три молебна намъ сослужилъ, и голосъ у него чистый, всякое слово слышно.

— А у покровскаго развѣ голосъ хуже?

— Хуже не хуже, а все шипитъ да картавитъ. Я и забыла сторожу тамошнему за масло заплатить, что брала у него на лампадку.

— А какое масло горитъ лучше, Прасковьяшка, отъ Алферова или съ подворья?

— Съ подворья.

— А сегодня какое горитъ?



— Алферовское.

— Отчего же такъ?

— Въ лавкѣ взять просили, уступку сдѣлали. Въ лавкѣ же дворника сосѣдняго дома встрѣтила. Говорить: — хозяину, молъ, управляющаго надо, — такъ онъ васъ и хотѣлъ спросить, не пойдете ли?

— Нѣтъ, ужъ не пойду въ управляющіе, такъ и скажи — не пойду; пожалуй, красть заставить, — отвѣтилъ учитель.

— А ну что жъ — иногда за труды взять не грѣхъ, — отвѣтила Прасковья и сама, покраснѣвъ до ушей, быстро повернулась и пошла за самоваромъ.

Петръ Спиридоновичъ ничего не отвѣтилъ. Онъ всталъ, помылся, одѣлся въ вицмундиръ, напился чаю и пошелъ въ классы.

## II.

Петръ Спиридоновичъ былъ учителемъ русскаго языка. Сынъ попovichа, онъ воспитывался гдѣ-то очень далеко, не то въ деревнѣ, не то въ городѣ, между псалтырью и розгою. Развитіе мальчика, остановленное въ самомъ началѣ своемъ средою, въ которой жилъ онъ, нашло единственный исходъ своей любознательности въ библіотекѣ стараго дѣда, отставного фельдшера, большого любителя сказокъ и притчъ. Начиная отъ мелкихъ, испещренныхъ латинскими терминами, трактатовъ о костяхъ, мускулахъ, болѣзняхъ глазъ и желудковъ, — до героя Добрыни Никитича, исторіи и анекдотовъ изъ русской жизни и до стихотвореній, все занимало юношу и время отъ времени давало пищу его живой, требовавшей дѣятельности, мысли. Но всѣ порывы фантазіи маленькаго Панкратьева разбивали великопостыныя сужденія родни; желаніе идти по докторской части осталось

однимъ желаніемъ, и на двадцать третьемъ году жизни Петръ Спиридоновичъ былъ уже учителемъ русскаго языка, по особенно счастливому стеченію обстоятельствъ, въ Петербургѣ.

Учители языковъ въ заведеніяхъ вообще не пользуются особеннымъ уваженіемъ, потому что предметовъ ихъ не боятся. Да, наконецъ, и выборъ учителей бываетъ нерѣдко очень плохъ. Петръ Спиридоновичъ, въ свое время, былъ учителемъ хорошимъ, зналъ свой предметъ основательно, былъ даже участникомъ въ нѣкоторыхъ журналахъ, слѣдилъ за литературой и отличался добросовѣстностью занятій. Прошло его время, пришли новые люди и добросовѣстность осталась единственной отъ прежнихъ хорошихъ качествъ учителя. Знакомства, пріобрѣтенныя уроками, скоро разстроились, самъ Петръ Спиридоновичъ похитѣлъ, сдѣлался одностороненъ, начальство не дружило ему, а мальчики жестоко трунили надъ старикомъ. Много горькихъ, очень горькихъ минутъ пронеслось надъ головой его. Съ году на годъ долженъ онъ былъ сбавлять цѣну за частные уроки, чтобы остаться при нихъ, и два года, оставшіеся ему до полученія пенсіи, казались ему длинными, очень длинными. Въ классовъ, у себя дома, Петръ Спиридоновичъ остался тѣмъ же веселымъ, беззаботнымъ челоуѣкомъ, какимъ былъ прежде; онъ любилъ перечитывать Державина, Озерова, Богдановича и иногда декламировалъ Прасковью, стоявшей у плиты и варившей сосиски, цѣлые монологи изъ Фингала и Эдипа, не въ шутку принимая Прасковью то за Нину, то за Антигону.

Въ послѣднее время Петра Спиридоновича начало страшить явленіе, для него совершенно новое въ жизни: къ нимъ учителемъ опредѣлился молодой, бывшій студентъ; молва толковала о томъ, что онъ съ директоршею въ очень дружескихъ отношеніяхъ; что его съ тою цѣлью и приняли

учителемъ, чтобы Петра Спиридоновича лучше смѣнить можно было.

Пилуцкій, такъ звали новаго учителя, не отличался ни кроткостью, ни скромностью и съ Петромъ Спиридоновичемъ былъ въ постоянныхъ контрахъ. Споры обоихъ учителей начались съ того, что Петръ Спиридоновичъ какъ-то невзначай повѣсилъ свою шинель на одинъ и тотъ же крючокъ съ шинелью Пилуцкаго, но поверхъ нея. Въ послѣднее время они даже не кланялись другъ другу, а стычки между ними происходили все чаще и чаще. Мысль о Пилуцкомъ какъ тѣнь преслѣдовала Петра Спиридоновича, и Прасковья не разъ слышала, какъ Петръ Спиридоновичъ во снѣ выкрикивалъ фамилію Пилуцкаго. Послѣ этихъ ночей учитель просыпался съ одѣяломъ, сбитымъ въ ноги или скатившимся на полъ.

### III.

Петръ Спиридоновичъ шелъ быстро, закутавшись плотно, съ носомъ включительно, въ свою шинель. Онъ свернулъ съ Торговой на Англійскій проспектъ, повернулъ къ Большому театру, подивился, въ тысячный разъ, громадности театра, отъ души посмѣялся тому, какъ пьяный съ утра мужикъ хотѣлъ и не могъ перейти по доскѣ, Богъ вѣсть почему валявшейся у тротуара, прочиталъ вывѣску вновь поселившагося «месинка», причемъ совершенно невольно схватилъ въ карманѣ карандашъ, чтобы поправить грамматическую ошибку. Петръ Спиридоновичъ имѣлъ очень хорошее обыкновеніе, завидя ѣдущій на всѣхъ рысяхъ экипажъ, останавливаться шагахъ въ десяти;—только на этомъ разстояніи, по его наблюденіямъ, можно было не быть за брызганимымъ;—мудрому этому правилу слѣдовалъ Петръ Спиридоновичъ и зимою, и лѣтомъ.

На ходьбу изъ дому въ училище и обратно Петръ Спиридоновичъ употреблялъ обыкновенно по часу. Въ девять часовъ начинались классы,—безъ пяти минутъ девять онъ съ значительнымъ усиленіемъ отворялъ тяжелую, палисандровую дверь на висящемъ блокѣ и входилъ на парадную лѣстницу.

Лѣстницы почти во всѣхъ казенныхъ зданіяхъ носятъ общій характеръ. Голыя выбѣленные стѣны, чистые полуциркульные своды, висящіе тяжело и неуклюже, каменный полъ, натертый до блеска и скользкій до того, что ходить по немъ своего рода наука; вѣшалка въ углу и возлѣ нея двѣ длинныя скамьи; на широкой стѣнѣ, прямо противъ входа, часы, а если ихъ нѣтъ, огромная лампа со стекляннымъ солнцемъ сзади.

И на этотъ разъ учитель нашъ, по обыкновенію, снявъ шинель, подошелъ къ зеркалу, вынулъ пожелтѣвшую отъ времени гребенку, причесался, поправилъ галстукъ, состоявшій изъ огромнаго чернаго шелковаго платка, снялъ шерстяныя перчатки и, положивъ ихъ въ шапку, а шапку на полку, началъ подниматься по лѣстницѣ.

Швейцаръ подаль ему записку.

Самъ не зная отчего, Петръ Спиридоновичъ схватилъ записку съ судорожною быстротою, сердце забилося въ немъ шибко-шибко,—въ одно мгновеніе вспомнилъ онъ и розовое утро, и шель, и директора, — «молились ли вы Богу сегодня!» — зазвучало у него въ ушахъ... однако Петръ Спиридоновичъ пересилилъ себя и оправился.

— Это, братецъ, отъ кого записка?—спросилъ онъ чуть слышно швейцара, боясь отвѣта и въ то же время нетерпѣливо желая его.

— А вчера, послѣ класса, ее директорскій сторожъ принесъ.

У Петра Спиридоновича зарябило въ глазахъ. На за-

пискѣ большими буквами было написано «Господину Панкратьеву». Петръ Спиридоновичъ узналъ руку Пилуцкаго. Трудно было бы разобраться въ той массѣ совершенно новыхъ ощущений, которыя сразу хлынули въ грудь старика. Ему хотѣлось и молиться, и быть далеко отъ этой лѣстницы, и на колѣняхъ просить Пилуцкаго о помилованіи, и плакать, и въ то же время требовать его къ суду, и, поднявшись высоко надъ училищемъ, прогремѣть свое проклятье всему, что скопилось въ немъ противъ него. Однако, надо было рѣшиться. Петръ Спиридоновичъ сломалъ печать и прочелъ:

«Спѣшу предупредить васъ о вашей отставкѣ. Одно только чувство расположенія моего къ вамъ дало мнѣ возможность сутками ранѣе приказа сообщить вамъ непріятную новость. Директоръ и всѣ мы увѣрены, что вы найдете себѣ и лучшую дорогу, и большія деньги. Всегда готовый къ услугамъ и искренно уважающій васъ Пилуцкій».

Петръ Спиридоновичъ прочиталъ письмо, потомъ прочиталъ его еще разъ, свернулъ и положилъ въ карманъ.

— Директорша!—мелькнуло у него въ мысляхъ.

— Вотъ, братецъ, тебѣ на чай. Спасибо,—сказалъ онъ швейцару, подавая ему гривенникъ, и началъ подниматься по лѣстницѣ.

Вѣсть объ отставкѣ Петра Спиридоновича быстро пронеслась по училищу; еще наканунѣ того дня мальчики знали о перемѣнѣ учителя; какая-то сумасшедшая радость обуюла молодые умы ихъ. Конечно, никто изъ радовавшихся не могъ бы дать себѣ точный отчетъ: чему онъ радовался. Сгорбившаяся, сухая фигура старика, всѣ движенія его, заранѣе извѣстныя и рассчитанныя, шляпа съ широкими полями, сапоги безъ каблукъ,—все это надоѣло ребятишкамъ до - нѣльзя, — имъ хотѣлось перемѣны и больше ничего.

Едва только показался Петръ Спиридоновичъ наверху лѣстницы, какъ толпа мальчишекъ съ шумомъ и гамомъ вынеслась изъ дверей классной галлерей и загородила ему дорогу.

— Прогнали, прогнали! — ревѣла толпа, — и подѣломъ ему старому. Чтѣ ваша шляпа, Петръ Спиридоновичъ? — спрашивали его, вытаскивая шляпу изъ рукъ. — Обрѣжьте фалды, Петръ Спиридоновичъ! — кричали ему, дергая за фалды, — нынче мода безъ фалдъ; отчего у васъ виски впередъ зачесаны — надо ихъ назадъ!

Изъ толпы поднялась было чья-то рука и готовилась распорядиться волосами учителя, который, какъ ошелмленный, стоялъ между бывшими учениками своими, — въ это время раздалась звонкая пощечина и рука опустилась.

Эффектъ пощечины былъ удивительный. Все замолчало, слышны были жаркія дыханья, глаза всѣхъ обратились съ Петра Спиридоновича на одного изъ воспитанниковъ, который, нахмутивъ брови, спокойно выжидать послѣдствій данной имъ пощечины.

— Вишь, заступникъ какой, — заговорилъ кто-то въ сторонѣ. — А ему чтѣ за дѣло? — завопила толпа, — лучше бы уроки знать да ниже кланялся; медвѣдь! Храбрецъ этакой, а нутка, братцы, — его.

Въ отвѣтъ на этотъ вызовъ, двое изъ толпы, помоложе и позапальчивѣе, кинулись на виновника пощечины, и въ ту же секунду подогнулись къ ногамъ его.

Тогда брань обратилась въ глухой и неясный говоръ, ребятишки одни за другими начали расходиться, и скоро Петръ Спиридоновичъ остался одинъ со своимъ избавителемъ. На глазахъ старика блеснули двѣ слезы, онѣ быстро налились и скатились по морщинамъ щекъ на воротникъ вицмундира. Говорить онъ рѣшительно не могъ, онѣ обѣими руками схватилъ руку мальчика, крѣпко сжалъ и долго не выпускалъ ее.

— Ступайте въ классы, — раздалось съ галлерей, — въ классы!

— Прощайте, Петръ Спиридоновичъ, — исподлобья проворчалъ мальчикъ, давшій товарищу пощечину, — и меня скоро выгонять. Прощайте.

Учитель остался одинъ. «Прогнали, прогнали!» — звучало въ ушахъ его; въ головѣ стучали молотки, во рту было сухо, подъ ложечкой давило, глаза почти ничего не видѣли изъ-за слезъ, застилавшихъ ихъ, но зато воображеніе работало сильно: въ памяти Петра Спиридоновича, точно картинки въ китайскомъ фонарѣ, перемѣнялись одни за другими знакомыя лица директора, Пилуцкаго и другихъ. Мгновенно возстановлялись цѣлые эпизоды сегодняшняго утра, и трещина, роковая трещина, точно пронизывала все нравственное существо его.

Петръ Спиридоновичъ вышелъ изъ училища. Въ то же время къ высокому подъѣзду, взрывал копытами снѣгъ и поднимая его пылью, вздернувъ морду подъ тонкую дугу и распустивъ гриву по вѣтру, плавно и высоко подносился сѣрый рысакъ, запряженный въ щегольскія сани; кисти медвѣжьей полости падали съ саней; голубая бархатная шапка кучера мелькала то съ одной, то съ другой стороны дуги. Сани поднеслись къ подъѣзду. Изъ саней почти выскочилъ молодой человѣкъ въ пальто съ медвѣжьимъ воротникомъ. Это былъ Петя Воскобойниковъ, одинъ изъ бывшихъ учениковъ Петра Спиридоновича.

Нельзя сказать, чтобы Петръ Спиридоновичъ очень хорошо помнилъ своихъ учениковъ: ихъ было у него слишкомъ много, да и память старика день-ото-дня слабѣла, но Воскобойникова забыть не могъ онъ никакъ. Во-первыхъ, Воскобойниковъ принесъ ему самый большой доходъ въ продолженіе всей его учительской дѣятельности; во-вторыхъ, никто такъ зло, такъ глубоко не обижалъ старика, затро-

гивая самымъ безсовѣстнымъ образомъ, какъ Петя Воскобойниковъ. Въ послѣднее время онъ напомнилъ о себѣ учителю тѣмъ, что сватался за дочь директора училища, и, какъ слышно было, скоро долженъ былъ жениться на ней.

#### IV.

Петя Воскобойниковъ былъ человѣкъ очень богатый и совершенно независимый. У него были два большихъ помѣстья: одно Орловской губерніи, на р. Быстрой-Соснѣ, близъ Ельца, другое—на берегу Женевского озера, въ Водскомъ кантонѣ. До двѣнадцати лѣтъ Петя пугалъ своихъ родителей своимъ рѣзкимъ, свободнымъ, не любившимъ никакого насилія, характеромъ. Какъ и почему принялъ мальчикъ это направленіе—опредѣлить трудно. Можетъ-быть, долею участвовалъ въ этомъ дворовый человѣкъ его отца, умныя рѣчи и доброе сердце котораго заставляли ребенка любить его. Часто бѣгалъ Петя въ прихожую и оставался тамъ по возможности долго,—несмотря на выговоры и даже наказанія. Ни отецъ, ни мать не предполагали возможности вліянія прихожей на сына и считали свою обязанность конченною, произведя его на свѣтъ, наказавъ раза четыре розгами и бросая на гувернеровъ и гувернантокъ тысячи рублей. Къ несчастію, человѣкъ—любимецъ Пети—умеръ. Съ нимъ вмѣстѣ кончилось почти самобытное развитіе ребенка подъ двумя противоположными, уравновѣшивавшимися вліяніями. Чувство самосохраненія переспорило въ Петѣ чувство свободы, и онъ сдѣлался мальчикомъ такимъ же точно, какъ и всѣ. На девятнадцатомъ году Петя захлопнулъ послѣднюю учебную книгу свою, получилъ отдѣльную комнату въ домѣ отца, пару коней и сто цѣлковыхъ въ мѣсяцъ на непредвидѣнныя издержки. Два года спустя, онъ былъ круглымъ сиротой и юнкеромъ какого-то кавалерійскаго



полка. Разсказъ застаеъ его въ отставку съ маленькими черненькими усиками надъ губами.

Лицо Воскобойникова извѣстно было Петербургу точно такъ же, какъ Александровская колонна. Онъ принадлежалъ къ той стереотипной компаніи посѣтителей театровъ, которые являются послѣ начала представленій, а уходятъ до конца ихъ. Петя Воскобойниковъ былъ однимъ изъ первыхъ, прокричавшихъ Петербургу о талантѣ Львова вслѣдъ за появленіемъ трагикомедіи «Свѣтъ не безъ добрыхъ людей». Онъ же, однимъ изъ первыхъ, возсталъ на Иванова за «зеленаго человѣка» и недостатокъ женщинъ въ его картинѣ «Явленіе Христа народу».

Впрочемъ, было бы несправедливо лишать Петю Воскобойникова и ума, и сердца, но отправленія того и другого были такъ неопредѣленны, перепутывались такъ негѣпо, что даже для сильнѣйшаго психолога онъ могъ остаться загадкою.

Петя Воскобойниковъ принадлежалъ къ числу быстро загорающихся и еще скорѣе погасающихъ натуръ. Подъ сильно гнетущимъ впечатлѣніемъ, безъ посторонняго вліянія, онъ становится доступнымъ всему доброму. Но разъ обстановка переменялась, и Воскобойниковъ дѣлался другимъ человѣкомъ. Какая-нибудь мелочь могла осчастливить его, занять какъ ребенка. Такъ увлекался онъ чтеніемъ, и въ двѣ недѣли собралъ весьма порядочную бібліотеку, — но скоро забылъ ней, и бібліотека не приращалась; такъ хотѣлъ онъ начать заниматься скульптурой, купилъ все нужное, взялъ учителя, усталилъ по комнатамъ нѣсколько снимковъ съ классическихъ статуй, — и, удовольствовавшись этимъ, забылъ о скульптурѣ. Позже увлекся Воскобойниковъ гастронومیей, и въ этой отрасли знаній быстро превзошелъ многихъ стариковъ; долгъ его въ одной изъ Милутинныхъ лавокъ возросъ до чудовищной цифры; но прошло время каприза, и Воскобойниковъ началъ завтракать пор-

цією бифштекса и пеклеванимъ хлѣбомъ. Вообще Воскобойниковъ былъ далеко не глупъ и далеко не золъ. Этими людьми особенно богата наша русская жизнь и эти-то именно люди придаютъ ей тотъ характеръ безхарактерности, который съ глубокою неподвижностью или, лучше, недостаткомъ самодѣтельности славянской натуры самобытенъ и врожденъ русскому человѣку. Въ средѣ этихъ людей гибнетъ многое высокое и сильное и подводится подъ общій уровень безличности,—тѣмъ скорѣе и легче, что эти люди и въ самомъ дѣлѣ не особенно дурны.

Воскобойниковъ соскочилъ съ саней.

— А, Панкратьевъ! Здравствуйте. Куда вы такъ рано изъ класса?

Петръ Спиридоновичъ стоялъ неподвижно, уставивъ на Воскобойникова свои раскраснѣвшіеся глаза.

— Давно не видались мы съ вами.

— Давно-съ,—прошепталъ Петръ Спиридоновичъ.

— Каковъ морозъ! У васъ, какъ и у меня, глаза совсѣмъ красные. Ѳедоръ,—прибавилъ онъ, обращаясь къ кучеру,—надо, братецъ, одѣвать крылья къ санямъ—закидываетъ глаза.

— А каковъ конь, Петръ Спиридоновичъ, только третій день у меня! надули мошенники—чуть изъ-подъ носу не украли. Да ты, Ѳедоръ, расчесалъ ли гриву жеребцу—что-то больно взъерошена. Вы не повѣрите, что это за мошенники кучера.—Ну, ступай, братецъ, домой... ба, ба—постой! Садитесь, Панкратьевъ, онъ довезетъ васъ куда надо. Да заходите же ко мнѣ забыли совсѣмъ,—до свиданья.

Воскобойниковъ схватилъ руку Петра Спиридоновича, потрясъ ее и побѣждалъ по лѣстницѣ.

Вѣроятно, Петръ Спиридоновичъ слышалъ и видѣлъ все, что происходило предъ его глазами. Когда Воскобойниковъ захлопнулъ за собою дверь, Петръ Спиридоновичъ поклонился ему вслѣдъ, пробормоталъ: «благодарю, непре-

мѣнно-съ», — машинально сѣлъ въ сани и, сказавъ кучеру адресъ, помчался.

Быстро замелькали по сторонамъ его дома, рѣшетки, магазины и фонари, окна и двери. Рѣзкимъ вѣтромъ засвистѣлъ подлѣ ушей его неподвижный морозный воздухъ; снѣгъ, комками вылетая изъ — подъ ногъ лошади, щедро осыпалъ старую шинель Петра Спиридоновича и, попадая въ лицо, рѣзко жегъ и колотъ его. Голубая тѣнь кучера и лошади то и дѣло перебѣгала съ одной стороны саней на другую.

— Что жъ, сходите! — проговорилъ кучеръ, какъ-то странно выворачивая голову къ спинѣ.

Петръ Спиридоновичъ только теперь замѣтилъ, что пріѣхалъ, сошелъ съ саней, поблагодарилъ кучера, приподнявъ шляпу, и пошелъ подъ ворота.

— Вишь, оборванецъ, право слово, — сказалъ кучеръ, ожидавшій подачи, вытащилъ кнутъ и неожиданно хлестнулъ жеребца. Конь дернулъ, сани съ шумомъ закатились кругомъ и скоро исчезли.

Петръ Спиридоновичъ слышалъ слово «оборванецъ»; онъ, конечно, далъ бы кучеру на чай, но боялся отказа его принять гривенникъ, а больше у него мелочи не хватало. Учитель поднялся въ свою квартиру, сбросилъ шинель въ дверяхъ или, лучше сказать, она сама скатилась съ плечъ. Прасковья, пораженная блѣдностью Петра Спиридоновича и неожиданнымъ возвратомъ его, только отшатнулась и ахнула.

Есть на свѣтѣ драмы, которыхъ не видитъ никто, которыхъ не можетъ вывести на сцену драматургъ, единственно по недостатку обстановки и послѣдовательности дѣйствія; драмы, которымъ трудно вѣрится только потому, что смѣяться передъ всѣми можно, а плакать передъ другими нельзя.

Едва только Прасковья узнала объ участи Петра Спиридоновича, какъ уже въ головѣ ея составилъ планъ того, что нужно было дѣлать. Прежде всего хотѣла она отправиться къ Государю, но потомъ испугалась своей мысли. Хотѣла просить она митрополита, но и на это не хватало смѣлости. Она вспомнила, наконецъ, о Воскобойниковѣ, о женитьбѣ его на директорской дочкѣ и объ отношеніяхъ его къ Петру Спиридоновичу. Вопросъ состоялъ только въ томъ, какъ отыскать его. Состояніе духа Петра Спиридоновича казалось ей совершенно естественнымъ; онъ только молчалъ, смотрѣлъ какъ-то странно исподлбоя и жаловался на головную боль. Прасковья и въ умъ не приходило, что старикъ готовился къ страшной болѣзни и начиналъ терять сознаніе. Она одѣлась, сказала, что выйдетъ часа на два, потому что должна непременно видѣть кого-то изъ знакомыхъ, и вышла.

Петръ Спиридоновичъ легъ на кровать. Много разъ били часы, съ шипѣньемъ опуская гири, надъ ухомъ учителя; онъ не слышалъ ни боя, ни шипѣнья. Какъ прошелъ день, какъ начало смеркаться — онъ и этого не замѣтилъ, онъ все лежалъ на своей кровати, уставивъ глаза въ потолокъ, изрѣдка шевеля руками и откашливаясь.

Видитъ Петръ Спиридоновичъ, будто трещина, точно цвѣтокъ, распустилась, оживаетъ: я тихо ползутъ по потолку чуть замѣтныя жилки, полнѣютъ, дѣлаются шире... Наполеонъ окончательно замѣнился директоромъ. Кажется Петру Спиридоновичу, будто директоръ начинаетъ ему говорить что-то. Но какъ ни напрягалъ онъ слуха—все-таки ничего не слышалъ, а губы фигуры шевелились, руки двигались и вся она волновалась какими-то странными большими кругами, то уходя сама въ себя, то снова расплываясь по потолку. Голова Петра Спиридоновича застилалась густымъ туманомъ: когда туманъ разсѣивался,—трещина перерѣзы-

вала потолокъ попрежнему; въ комнатѣ было тихо. Долго думалъ старикъ обо всемъ томъ, что случилось съ нимъ сегодня, и, Богъ вѣсть почему, онъ рѣшительно убѣдился, что у него есть знакомый Петръ Спиридоновичъ Панкратьевъ, который хочетъ опредѣлиться на его мѣсто, что Панкратьевъ этотъ очень похожъ на студента Пилуцкаго и у Пилуцкаго на щекахъ растутъ цвѣты. А трещина снова ползла по потолку, расплывалась, являлся директоръ, и опять, и опять то же. Вечеръ давно вступилъ въ полныя права свои, когда Петръ Спиридоновичъ соскочилъ съ кровати: ему казалось, что въ комнату струями хлынула вода, поднимаясь все выше, выше, залила подушку, комодъ, этажерку, по водѣ плыли его книги... все кружилось, кружилось, кружилось. Петръ Спиридоновичъ вышелъ за двери и началъ спускаться по лѣстницѣ, а въ комнатѣ раздались какіе-то побранки, клики, возгласы и неистовый, потрясающій хохотъ какихъ-то небывалыхъ людей.

Надъ Петербургомъ прошелъ одинъ изъ тѣхъ ясныхъ, морозныхъ дней, которыми часто угощаютъ столицу январь и февраль мѣсяцы. Спустился вечеръ; зажглись фонари. Къ Александринскому театру наѣзжали кареты за каретами; жандармамъ было много хлопотъ; шло первое представленіе «Короля Лира». Лиръ—Самойловъ интересовалъ нашу публику, находившуюся подъ впечатлѣніемъ Лира—Ольдриджа, вотъ почему мѣста были разобраны задолго до представленія, а у подъѣзда производился торгъ билетами по утроеннымъ и учетвереннымъ цѣнамъ.

— Господинъ, не прикажете ли кресло: генералъ одинъ отказался-сь.

— Господинъ, господинъ, онъ надуваетъ васъ—у меня перекупилъ мошенникъ... я назначенъ отъ дирекціи—только пятью рублями дороже наложенной цѣны; купите, господинъ.

— Не прикажете ли билетъ, ваше благородіе? Отставной

поручикъ — раненъ подъ Севастополемъ, — купите, ваше благородіе.

— Проходите, проходите, господа!—кричалъ пискливымъ голосомъ квартальный.

— Начали, начали!—послышалось со стороны, и дѣйствительно наступило время и оркестръ заигралъ.

Въ одной изъ ложъ бель-этажа сидѣлъ Петя Воскобойниковъ съ директоромъ и своею невѣстою.

Директоръ былъ человѣкъ среднихъ лѣтъ, худой, съ глубоко впавшими щеками и большими, непріятными, отталкивающими глазами. Онъ никогда не стригся подъ-гребенку, а между тѣмъ волосы его казались всегда короткими—такъ обтянута, такъ гладка была его фигура. Когда-то капитанъ генеральнаго штаба, потомъ чиновникъ министерства финансовъ, онъ былъ назначенъ директоромъ лѣтъ девять тому назадъ и быстро поставилъ училище на степень наружно - блестящаго училища. Директоръ жилъ сердцемъ только въ двухъ случаяхъ: въ картахъ и въ лошадяхъ. Однимъ лѣтомъ, нанимая дачу въ Новой Деревнѣ, онъ заплатилъ что-то очень дорого.

— Ну, что жъ, хорошенькій садикъ при дачѣ; дѣткамъ вашимъ будетъ гдѣ поиграть?—спросили его.

— Нѣтъ,—возразилъ директоръ,—саду нѣтъ, но конюшни великолѣпны.

Разъ какъ-то случилось, что онъ проморилъ дѣтей своихъ голодомъ цѣлый день. Уѣхавъ куда-то съ женою съ утра, онъ наткнулся на знакомаго барышника; поѣхалъ съ женою смотрѣть его лошадей за городъ и вернулся домой къ полночи. Жена брала ключи отъ хозяйства съ собою, и бѣдныхъ дѣтей выручила, пришедшая навѣстить одного изъ нихъ, кормилица.

Директоръ—деспотъ вездѣ и всегда—становился ягненкомъ передъ супругою своею. Получая порядочное содер-

жаніе, умѣя блистать учлищемъ, имѣя свои средства, онъ постоянно оставался въ неоплатныхъ долгахъ; вотъ почему такъ радовалъ его бракъ старшей его дочери съ Петей Воскобойниковымъ.

Оркестръ кончилъ играть что-то величавое и торжественное. Громкіе аккорды его, слабѣя все болѣе и болѣе, перешли въ одинъ дрожавшій, плакавшій звукъ скрипки; наконецъ, и этотъ звукъ, какъ дыханье умравшаго, тихо оборвавшись, замолчалъ. Занавѣсъ поднялся. Король Лиръ, съ двумя дочерями, на пупцовомъ тронѣ своемъ, окруженный пышнымъ дворомъ и стражею, залитымъ въ золото и бархатъ, призывалъ дочерей своихъ къ признанію въ любви и, выдавая замужъ, дѣлилъ царство.

Когда къ концу 1-го дѣйствія завязка трагедіи выяснилась окончательно, Кентъ былъ изгнанъ, Корделія выдана, безъ приданого, за короля французскаго, дѣло Глостеровъ пошло своимъ чередомъ, а шутъ успѣлъ очень зло пошмѣяться надъ тѣмъ дуракомъ, что въ дурную погоду перепоспалъ своего осла черезъ грязь на плечахъ. Когда Лиръ выдержалъ первый и едва ли не самый страшный ударъ со стороны Гонерилы и, потрясенный всѣмъ существомъ своимъ, призывалъ на голову ея проклятія, когда, снявъ шапку съ головы и размахивая въ разные стороны палкой своей, говорилъ:

«Услышь меня, природа!  
Благое божество, услышь меня!»

— по театру пробѣжало что-то въ родѣ дрожи; у болѣе части дрожь эта выразилась откашливаніемъ или просто тѣмъ, что они отвернулись отъ сцены.

Въ той ложѣ, гдѣ сидѣла семья директора, произошло маленькое движеніе.

— *C'est bien écrit cependant*,—сказала, обернувшись къ своимъ, дочка директора, поправивъ шелковый платочекъ

на шеѣ и помахавъ раздушеннымъ платкомъ о свое блѣдное лимфатическое лицо.

— Много фразъ, — сухо замѣтилъ директоръ, — да и въ выполненіи ошибка: нѣтъ того шипѣнія, которымъ поражають Олдриджъ. Въ эту минуту Лиръ долженъ казаться какимъ-то пресмыкающимся.

Воскобойниковъ ничего не сказалъ, — онъ только передвинулъ свой стулъ, который и безъ того стоялъ очень хорошо. Онъ, видимо, пахотился подъ впечатлѣніемъ игры и не совѣтъ оправился даже тогда, когда дѣйствіе кончилось и занавѣсъ упалъ.

— А замѣчательный, однако, талантъ былъ у этого Шекспира, — проговорилъ директоръ.

— Онъ не современенъ, — возразила дочка.

— Его герои вѣрны, но они такъ же вѣрны, какъ образа апостоловъ въ Исаакіевскомъ соборѣ, писанные въ четыре роста. Для этихъ образовъ есть разстояніе, съ котораго должно смотрѣть на нихъ. Въ театрѣ этого разстоянія нѣтъ, — сказалъ директоръ.

— Да его и не должно быть, — рѣзко проговорилъ Воскобойниковъ.

Онъ не стерпѣлъ оскорбленія Шекспиру; напесинное во время самаго представленія, оно казалось ему чуть ли не личнымъ оскорбленіемъ. Кромѣ того, онъ еще съ самаго обѣда былъ раздражительнымъ, а желаніе поспорить, похандрить явилось въ немъ довольно часто.

— Какъ-съ? — началъ онъ съ тою разстановкою, съ какою начинаютъ обыкновенно говорить длинные монологи. — Такъ вы въ самомъ дѣлѣ признаете за Шекспиромъ сплывшій талантъ? Это великодушно! И даже личность Лира, этого патріарха, великаго, никогда не умирающаго старика, находите порядочно! Помилуйте, да въ немъ все — отъ самой взбалмошности до проклятій — царственно. Въ любомъ



словѣ его слышится большой человѣкъ, идеаль большого человѣка...

— Полноте!—перебилъ его директоръ.—Плохъ же вашъ идеаль. Капризный старикашка, который вдобавокъ глупъ, потому что, проживъ 80 лѣтъ, оставилъ себя нахлѣбникомъ дочерей и не понимаетъ безсилія проклятій, правивъ царствомъ болѣе полувѣка, не нашелъ возможности, за неисполненіе уговора, отнять у дочери дарованнаго.

— Такъ вы не видите ли идеала и въ Корделіи?—улыбаясь, спросила Воскобойникова его невѣста.

Воскобойниковъ не зналъ, что ему отвѣчать. Уступить казалось ему стыдно въ защитѣ Шекспира. Защититься онъ не могъ, во-первыхъ, потому, что онъ не былъ достаточно смѣлъ въ спорахъ вообще; и мысль его не могла работать долго и систематично; въ-третьихъ, потому, что дѣло казалось ему слишкомъ яснымъ. Но все-таки онъ не могъ молчать.

— А я вамъ вотъ что скажу: эта Корделія, — началъ Воскобойниковъ, — это одно изъ тѣхъ лицъ, которыхъ никогда не существовало на свѣтѣ, и тѣмъ не менѣе она естественна. Не могла бы она существовать на свѣтѣ по многимъ причинамъ. Прежде всего она не могла бы появиться въ такой цѣльности, въ такомъ нервномъ существѣ, какъ женщина; Корделія не могло бы быть еще и потому, что всякое существо имѣетъ свою плотность, вѣсъ, занимаетъ извѣстный объемъ и т. д. Въ актрисѣ, со стула, на которомъ я сижу, этихъ свойствъ я не вижу, ихъ какъ бы нѣтъ въ ней, и поэтому Корделія на сценѣ невозможна: Корделія слишкомъ божественна, слишкомъ свѣтла, слишкомъ—духъ, если можно такъ выразиться, чтобы существовать въ натурѣ.

Директоръ и дочка улыбались.

— Жаль, что у меня есть свой собственный вѣсъ, Воско-

бойниковъ,—сказала дочка,—я никогда не сдѣлаюсь вашимъ идеаломъ.

— Тише, дѣти, не горячитесь,—сказалъ директоръ, кладя руку на колѣни Воскобойникова,—на насъ смотреть.

Фразы: «на насъ смотреть» было достаточно. Воскобойниковъ ушелъ въ себя и замолчалъ; онъ даже готовъ былъ бы отказаться отъ всего имъ сказаннаго, считать Лира за твореніе посредственное, а вѣсь женскаго тѣла лучшею принадлежностью женщины, лишь бы только не казаться смѣшнымъ. Въ этихъ случаяхъ онъ старался тупѣть и дѣлался фатомъ прежде всего.

Въ серединѣ четвертаго дѣйствія, когда сумасшедшій Лиръ; убранный соломой и цвѣтами, говорилъ съ Глостеромъ, въ дверяхъ ложи нашихъ знакомыхъ слышался легкій стукъ. Отворили.

— Вы г. Воскобойниковъ?—сказалъ капельдинеръ.

— Я.

— Васъ просятъ внизъ; нужно очень,—проговорилъ капельдинеръ.

Воскобойниковъ всталъ и вышелъ къ подъѣзду; тамъ ждала его Прасковья, запыхавшаяся, блѣдная и растрепанная.

— Батюшка, отецъ родной, въ ножки упаду, родимый!

Прасковья хотѣла упасть въ ноги. Воскобойниковъ удержалъ ее.

— Чтò ты, матушка, чтò съ тобою, да и кто ты?

— Я Панкратьевская кухарка!—отвѣтила она и рассказала объ отставкѣ Петра Спиридоновича, напомнила и Бога, и совѣсть и, заливаясь слезами, просила:

— Слово ваше, слово одно, батюшка,—жизнь возвратите, родной! И пенсіи-то не надо-тъ, не нынче—завтра ноги старикъ протянетъ. Спасите, батюшка!

— Все, чтò могу, то сдѣлаю, матушка, — проговорилъ

Воскобойниковъ, сильно недовольный и вызовомъ изъ ложи, и объясненіемъ у подъезда, гдѣ, кромѣ городского, два усатыхъ часовыхъ, выпучивъ глаза, глядѣли на него, не понимая, въ чемъ дѣло.

— Помѣщикъ какой-нибудь, — проговорилъ одинъ изъ часовыхъ послѣ ухода Воскобойникова и Прасковьи.

— Должно полагать, въ военной службѣ служилъ, — отвѣтилъ ему другой, выставляя ноги и опираясь на ружье.

Воскобойниковъ вошелъ въ ложу въ ту секунду, когда Лиръ, при тихихъ звукахъ музыки, вслѣдъ за поцѣлуемъ Корделии, просыпался. Сѣвъ на стулъ, Воскобойниковъ снова погрузился въ Лира, и скоро, вытащивъ платокъ, для того, чтобы высморкаться, стеръ двѣ крупныя слезы, выкатившіяся на рѣсницы и мѣшавшія ему смотрѣть на представленіе. Онъ не былъ виноватъ въ томъ, что, подчпнившись силѣ трагедіи и игры на сценѣ, забылъ о настоящей драмѣ, одинъ изъ эпизодовъ которой только-что разыгрался съ нимъ у театральнаго подъезда, — драмы, въ которой онъ могъ быть дѣйствующимъ лицомъ, орудіемъ милостивой судьбы и счастья ближняго! Правъ ли былъ Воскобойниковъ, не сказавъ директору о Панкратьевѣ ни слова? Спектакль кончился; онъ подсадилъ въ карету свою лимфатическую невѣсту, кликнулъ своего кучера и поѣхалъ домой.

Пока дллось представленіе «Короля Лира», на которомъ можно было познакомиться съ директоромъ, его дочкой и Петей Воскобойниковымъ, у директора дома, гдѣ оставалась его жена, отговорившись отъ театра головною болью, — происходило нѣчто другое.

Директорша — *née comtesse Chicannoff*, какъ стояло на ея визитныхъ карточкахъ, — принадлежала къ тѣмъ сорокалѣтнимъ женщинамъ, при первой встрѣчѣ съ которыми вы непременно спросите себя: «да гдѣ это я видѣлъ ее?» Если

длина посовъ, высота таліи и цвѣтъ волосъ отличаютъ такихъ женщинъ однихъ отъ другихъ, зато общія черты туалета, манеры обращенія, цѣлыя фразы, наконецъ, дѣлаютъ ихъ сестрами одного и того же братства.

Она была высокаго роста, сильно развита въ плечахъ и въ груди и съ особеннымъ тщаніемъ выкручивала на вискахъ по двѣ змѣйки, сильно смазывая ихъ фпксатуаромъ. Кромѣ того, директорша, переступивъ за полжизни, начала сильно ѣсть — припакъ, зловѣщій для красоты тѣлесной и способностей душевныхъ въ женщинѣ.

Какъ только карета мужа отъѣхала отъ подъѣзда, директорша позвала горничную.

— Ты сходишь въ модный магазинъ, — сказала она, — и отдашь вотъ эту картонку. Возьми съ собой и Аксютку, — пусть прогуляется.

Человѣка послала директорша съ двумя письмами, а няньку, посвященную въ ея тайну, оставила дома.

Оставшись въ квартирѣ, директорша одѣла пеньюаръ, перечесала волосы и надушилась. Она ждала кого-то — это было ясно, — и дѣйствительно черезъ нѣсколько времени позвонили. Вошелъ Пилуцкій.

— Вы любите, чтобы васъ ждали, Пилуцкій? — сказала она.

— Простите, впрочемъ: причиной — моя вѣчная медленность, — отвѣтилъ Пилуцкій и, низко нагнувшись, поцѣловалъ руку директорши.

Они прошли залу, гостиную и вошли въ будуаръ.

Пилуцкій былъ отчасти похожъ на Молчалина. Вся разпца между ними состояла въ томъ, что Пилуцкій былъ почти глухъ, красивъ собой, свѣжъ и красенъ — кровь съ молокомъ, какъ выражаются про подобныя наружности. Брошенный милостивою судьбою и вниманіемъ одной откупщицы изъ Казанскаго университета въ Петербургъ, Пилуцкій, какъ выше сообщено, занялъ лекціи Панкратьева

и, въ нѣкоторомъ отношеніи, мѣсто директора. Пилуцкій рано понялъ свое призваніе пробиваться на дорогу и, какъ бѣдшая часть специалистовъ, вообще, въ дѣлѣ интриги и домогательствъ, былъ совершенствомъ, оставаясь рѣшительно глупымъ во всѣхъ другихъ случаяхъ. Лучшею и умнѣйшею оговоркою, которою оправдывалъ онъ себя въ своихъ глазахъ и передъ людьми, считавшимися его близкими пріятелями, была фраза: «съ волками жить—по-волчьи быть». Что касается до румянца и нѣжности кожи, Пилуцкій смотрѣлъ на нихъ какъ на капиталъ и не затрачивалъ его даромъ. Необъяснимо умны были глаза Пилуцкаго; онъ казался постоянно занятымъ, думающимъ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ онъ рѣшительно ни о чемъ не думалъ и ничѣмъ не былъ занятъ. Пилуцкій не имѣлъ ни страсти, ни чувства; временно просыпался онъ отъ своей апатіи и, въ случаѣ надобности, дѣятельность его становилась лихорадочною; цѣли и средства группировались въ головѣ его сами собою: онъ вдохновлялся своимъ дѣломъ. Самое незначительное орудіе могло служить ему для достиженія самыхъ важныхъ для него результатовъ; но, достигнувъ желаннаго, Пилуцкій становился снова соннымъ, вялымъ, неуклюжимъ и глупымъ. На учительствованіе свое смотрѣлъ онъ какъ на вещь доходную, а Петра Спиридоновича, какъ лицо заранѣе побѣжденное, считалъ чѣмъ-то очень незначительнымъ. Гордость Пилуцкаго и почти постоянное молчаніе дѣлали его человѣкомъ гораздо умнѣйшимъ, чѣмъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ для знавшихъ его людей. Вѣроятно, изъ желанія показаться искреннимъ, Пилуцкій, здороваясь съ кѣмъ-нибудь за руку, старался во что бы то ни стало пережать здоровавшагося. Эта привычка была въ немъ до такой степени сильна, что рѣшительно воздерживала многихъ отъ пожатія его руки.

— Пилуцкій, будемте откровенны,—сказала директорша,

сядась на диванъ.—Вы слишкомъ умны, я слишкомъ стара: обманывать другъ друга намъ незачѣмъ. Вы, требуя свиданья у меня на квартирѣ, знали очень хорошо, что я не откажу вамъ въ немъ; я, вводя васъ къ себѣ въ домъ и доставляя вамъ мѣсто Панкратьева, знала напередъ исходъ нашихъ отношеній. Садитесь возлѣ меня, садитесь же.

Пилуцкій былъ приготовленъ ко всякой встрѣчѣ, исключая именно той, которою поразила его директорша. Можетъ-быть, въ первый разъ въ жизни Пилуцкій сконфузился. «Ого»,—подумалъ онъ; однако, поставивъ шляпу на столъ, сѣлъ на указанное мѣсто.

Пока оба молчали, Пилуцкій успѣлъ разсмотрѣть будуаръ. Весь онъ былъ обитъ штофомъ; на полу протянутъ былъ толстый мягкій коверъ; кушетка съ высокими балдахинами, вся въ кружевахъ, стояла въ лѣвомъ углу отъ двери; въ правомъ—блестѣлъ золотомъ и камнями кіотъ съ теплившейся лампадкой. Между окнами стоялъ будуарный туалетъ съ огромнымъ количествомъ скляночекъ, баночекъ и всякихъ бездѣлушекъ. На столѣ передъ диваномъ, подъ огромнымъ рѣзнымъ абажуромъ, помѣщалась богатая карсельная лампа и горѣла ровнымъ и яркимъ свѣтомъ.

— Не удивляйтесь моимъ словамъ, Пилуцкій; вы, можетъ-быть, не первый мужчина, съ которымъ я говорю прямо и откровенно. Я не хороша собою—я знаю это; вы—вы почти красавецъ; я стара, вы—молоды, но зато и на моей сторонѣ есть многое, что можетъ понравиться вамъ. Скажите мнѣ, насколько не хватаетъ у васъ жалованья для того, чтобы жить не стѣсняясь?

Пилуцкій окончательно растерялся. Глаза директорши пронизывали его насквозь и не давали времени оправиться.

— Eh bien, dites donc,—договорила она, пронзительно глядя на него.

Снова воцарилось молчаніе, еще тягостнѣе предыдущаго.

— Знаете ли что, Пилуцкій, вы скучны,—почти сердито проговорила директорша и отодвинулась въ другой уголь дивана; отъ этого движенія пенъюаръ слегка распахнулся.— Послушайте, Пилуцкій, неужели вы сидите съ женщиной въ первый разъ въ жизни?

— Нѣтъ-съ, — отвѣтилъ Пилуцкій, поднимая на директоршу свои большіе темные глаза.

— Однако, вы заставляете думать о себѣ очень дурно...

«Тише ѣдешь—дальше будешь», — подумалъ Пилуцкій, покраснѣвъ до ушей.

Пилуцкій понялъ всю глупость подуманнаго пмъ. Онъ понималъ тоже очень хорошо важность перваго свиданья и двусмысленность своего положенія. «Какъ выпутаться, что сказать?»—думалъ онъ; придвинулся и поцѣловалъ руку директорши.

— *A la fin des fins*,—прошептала она.

Наступило молчаніе.

Въ это именно время по залѣ раздался звукъ шаговъ; кто-то шелъ по гостиной, подходилъ къ спальнѣ...

Директорша поблѣднѣла. Пилуцкій всталъ съ дивана и схватилъ шляпу. Посѣщеніе было болѣе чѣмъ неожиданно.

— Двери, ради Бога, двери! *Eteigner la lampe!*—успѣла проговорить она, но было поздно.

Въ дверяхъ стоялъ Панкратьевъ,—и какъ стоялъ! Сюртукъ его былъ растегнутъ, галстука не было и рубашка открывала его худую, желтую грудь. Сѣдые волосы его были взбиты, зрачки глазъ его, несмотря на полусвѣтъ, царствовавшій въ комнатѣ, ярко блестѣли на широко раскрытыхъ и выкатившихся бѣлкахъ. Гость придвигался, не издавая никакого звука, какъ будто онъ былъ безплотенъ. Руки висѣли, лишеныя всякаго дѣйствія; примерзшіи къ сапогамъ его снѣгъ бѣлѣлъ на темномъ коврѣ будуара; старикъ стоялъ какъ привидѣніе—и не двигался.

Едва ли приходъ самого директора могъ подѣйствовать сильнѣе на Пилуцкаго и его героиню. Да если бы, въ самомъ дѣлѣ, на глазахъ ихъ выросло привидѣніе,—и тогда сердца ихъ не сжались бы такъ сильно, такъ болѣзненно, Передъ ними стоялъ живой мертвецъ—ихъ жертва.

Панкратьевъ задвигался.

— Нѣтъ, нѣтъ, не вставайте, не беспокойтесь,—проговорилъ онъ,—лучше я сяду. Я пришелъ къ директору сказать ему, что очень не дурно было бы уничтожить преподаваніе грамматики. Грамматика отнимаетъ только время. Читать и писать надо больше ученикамъ. Да къ тому же, сегодня ни въ одной лавкѣ грамматики нѣтъ. Я хотѣлъ еще просить директора велѣть закрасить трещину, она начинается надъ печкой, идетъ у меня по головѣ, по сердцу,—вотъ тутъ, и кончается въ другомъ углу комнаты. Я слышалъ, у васъ въ училищѣ есть учитель Пилуцкій,—онъ старъ, силъ у него нѣтъ больше, уроки его скучны, взятки онъ дать не можетъ,—я бы хотѣлъ на мѣсто его. Я съ директоршей въ очень хорошихъ отношеніяхъ. Позвольте имѣть честь рекомендоваться, коллежскій секретарь Петръ Спиридоновичъ Панкратьевъ.

Старикъ поклонился, почти подбѣжалъ къ Пилуцкому, схватилъ его одной рукой, директоршу другою:

— Очень, очень радъ васъ видѣть... но... какія у васъ горячія руки,—проговорилъ онъ, отступая отъ нихъ.—Да, позвольте,—продолжалъ онъ, пристально вглядываясь въ лицо директорши—вы Ольга Аеанасьевна, а вы, что это... у васъ кляки! не троньте, не троньте, — пронзительно крикнулъ онъ,—я уйду... убѣгу...—Панкратьевъ быстро повернулся, выбѣжалъ изъ комнаты, изъ подъѣзда и помчался по улицѣ.

Часы пробили половину одиннадцатаго.

— C'est trop fort! Нянька двери не заперла. Гдѣ былъ швейцаръ? Намъ пора проститься, Пилуцкій: завтра я буду



у васъ въ это же время. Я не думала, чтобы можно было быть до такой степени скромнымъ, какъ скромны вы.

— Мнѣ жаль Панкратьева, вы бы могли помочь ему, хлопотать пенсіонъ,—сказалъ Пилуцкій.

— Да, я объ этомъ сама думала. Уходите же, торопитесь.

Они простились. Панкратьевъ бѣжалъ между тѣмъ безъ оглядки.

— Экъ его гонить, — проговорилъ стоявшій у подъѣзда извозчикъ, сидя бокомъ на козлахъ и перекладывая ногу на ногу, — воръ какой-нибудь, мазурикъ!

Прохожіе сторонились. Городовой, мимо носа котораго промелькнулъ Петръ Спиридоновичъ, готовился схватить его, растопыривъ руки, но Панкратьевъ былъ уже далеко, и только собачонка, съ громкимъ лаемъ слѣдовавшая за нимъ, опредѣляла сторону, въ которую убѣгалъ онъ.

Зимняя ночь лежала широко и торжественно. Полный мѣсяцъ сіялъ тихимъ и ровнымъ свѣтомъ, а звѣзды, напротивъ того, свѣтили, моргая и искрясь; звѣздъ было такъ много, что, казалось, самой синевѣ неба мало было мѣста. Всюду, по бѣлому снѣгу, при малѣйшемъ перемѣщеніи глаза, загорались и потухали алмазы! все кругомъ было переполнено свѣтомъ, и только лѣвая сторона улицы, точно спрятавъ въ себя всю темноту ночи, бросала зубчатую тѣнь на землю.

Фонари были погашены, и траурный пейзажъ лунной петербургской ночи, соответствуя настроенію души Петра Спиридоновича, отчасти возвратилъ ему сознаніе. Мороза онъ не чувствовалъ, но, выбившись изъ силъ, остановился и долго смотрѣлъ на небо; потомъ посмотрѣлъ онъ на землю и, самъ не замѣтивъ какъ—но пошелъ домой. Онъ не помнилъ дороги. Ноги сами шли давно знакомымъ путемъ и вели учителя изъ улицы въ улицу, отъ угла къ углу, и

наконецъ, довели-таки до квартиры. Во все время пути Петръ Спиридоновичъ не думалъ рѣшительно ни о чемъ. Точно въ глубокомъ снѣ видѣлись ему разноцвѣтные ковры, а на коврахъ лица, въ слѣдованіи которыхъ не было ни смысла, ни порядка. Ковры замѣнялись коврами; цвѣта переходили; рисунки составлялись и снова исчезали, все блѣднѣя и блѣднѣя...

Прасковья отворила дверь.

#### IV.

Къ полуночи гомната Петра Спиридоновича представляла картину печальную. Самъ онъ лежалъ на кровати съ головой, обложенной укусомъ и льдомъ; сквозь полумракъ, царившій въ томъ углу комнаты, гдѣ находилась кровать Петра Спиридоновича, можно было отличить темную фигуру, стоявшую у ногъ его на колѣняхъ и положившую голову свою на неподвижно вытянутую правую руку учителя. Это была, конечно, Прасковья. Судорожныя движенія, изрѣдка шевелившія тѣло старухи, показывали, что она рыдала и старалась скрыть свои рыданія.

Въ другомъ углу, подъ черными старинными образами, сидѣла старуха лѣтъ шестидесяти и, свѣсивъ огромныя круглыя очки почти на самый конецъ носа, вязала чулокъ. Это была дворничиха. Передъ нею, давнымъ-давно нагорѣвъ, ровнымъ блѣднымъ огнемъ свѣтила сальная свѣча, оплавая и порою сама сбрасывая головки съ нагорѣвшей свѣтильни; она горѣла такъ слабо, что лунный свѣтъ, даже сквозь шторы, господствовалъ въ комнатѣ и наводилъ на все фосфорическій мертвенный колоритъ. Часы, первый разъ въ теченіе пятнадцати лѣтъ, стояли; въ комнатѣ было тихо; звукъ вязанья чулка казался слышнымъ и неумѣстнымъ. Изрѣдка грудь Прасковьи, уступая напору слезъ, издавала неровные и болѣзненные звуки.

За дверью слышался шумъ.

— Пожалуйте-съ,—говорилъ кто-то шепоткомъ.

Вошелъ докторъ. За нимъ въ дверяхъ остановился дворникъ. Прасковья и дворничиха поднялись со своихъ мѣстъ, докторъ подошелъ къ больному и взялъ его за руку.

— Когда заболѣлъ онъ?—шепотомъ спросилъ докторъ.

— Часа три тому назадъ,—отвѣтила дворничиха, снп-мал съ носа очки.

— Не можетъ быть, — проговорилъ докторъ. — Бредъ былъ?

— Нѣтъ, батюшка, не слышать было; только онъ ходилъ куда-то, такъ, neodѣтый; потомъ пришелъ и легъ, а утромъ совсѣмъ здоровъ былъ.

— Дайте свѣчку.

Свѣчку подали и поднесли къ лицу. Докторъ раздвинулъ Петру Спиридоновичу глазъ. Глазъ былъ совершенно матовый и синеватый. Докторъ покачалъ головой и спросилъ бумагу. Онъ написалъ рецептъ, велѣлъ не мѣшать больному и вышелъ.

— Что, батюшка, какъ больной?—спросила догнавшая его дворничиха.

— Дурно, матушка,—пошлите за духовникомъ, до утра не дожпветъ.

Двери закрылись; въ комнатѣ снова водворилось молчаніе, прерываемое вязаньемъ чулка и глубокими вздохами Прасковьи, сидѣвшей у головы Петра Спиридоновича и перемѣнявшей примочки. Учитель казался совершенно спокоенъ: онъ изрѣдка ровно пошевеливалъ руками и ртомъ.

Прасковья не спускала съ него глазъ, она не плакала; у нея давно не хватало слезъ.

Петръ Спиридоновичъ открылъ глаза. Прасковья не вѣрила, приписывая это темнотѣ и слабости своихъ глазъ.

Она нагнулась къ лицу Петра Спиридоновича, протерла свои глаза; учитель смотрѣлъ дѣйствительно.

— Кто здѣсь былъ?—спросилъ онъ

Прасковья и дворничиха встrepенулись.

— Докторъ былъ, родимый,—отвѣтила Прасковья,—сказалъ, что лучше будетъ. Что головонька твоя, сердечный?

— Дай бумаги и чернилъ, — проговорилъ Петръ Спиридоновичъ твердымъ голосомъ.—Подай и свѣчку!

Петръ Спиридоновичъ сѣлъ на кровать. Обѣ женщины стояли безмолвно и неподвижно. Прасковья не вѣрила своимъ глазамъ. Она затрепетала отъ радости. Бумагу и чернила подали. Петръ Спиридоновичъ между тѣмъ взялъ перо въ руки и сѣлъ писать.

«Ваше превосходительство!»—началъ онъ и остановился. Онъ думалъ о чемъ-то очень важномъ. Казалось, вся жизнь его, самъ онъ сводился на конецъ пера; лицо его было мрачно, почти торжественно.

«Сегодня вечеромъ былъ у васъ»,—писалъ онъ,—«и засталъ Пилуцкаго и супругу вашу въ спальнѣ; во всей квартирѣ не было ни души. Когда вы получите это письмо—меня не будетъ на свѣтѣ. Я не завишу отъ васъ; я свободенъ, я, въ своихъ глазахъ, стою высоко, очень высоко. Прощайте».

Письмо было кончено, свернуто, запечатано и адресовано.

— Возьмите свѣчку. Пошлите за священникомъ.

Ни Прасковья, ни дворничиха не понимали, что дѣлается вокругъ нихъ. Дворничиха вышла.

— Пашенька!—проговорилъ Петръ Спиридоновичъ слабымъ голосомъ,—поди ко мнѣ. Встань сюда. Смотри мнѣ въ глаза. Я умру, Пашенька, благодарствуй за всю жизнь, за всѣ радости, которыхъ было много, много... дай, я благословлю тебя. Похорони меня подлѣ дѣтей... и себѣ мѣсто оставь, слышишь? Да не плачь же, Паша. Скоро, скоро

увидимся. Встань вотъ тамъ... къ образу, читай молитву.

Прасковья повиновалась. Молитва, тихая и искренняя, полилась къ небу. Едва ли много было такихъ молитвъ. По щекамъ молившейся капали крупныя слезы. Прасковья читала молитвы ясно и громко. И не слова молитвы, но сами молившіеся, но смыслъ, который они хотѣли дать словамъ,—вотъ что было въ самомъ дѣлѣ тепло и искренно. Когда за послѣднимъ «аминь» наступило молчаніе, Петръ Спиридоновичъ взялъ написанное имъ письмо, долго думалъ надъ нимъ и, наконецъ, разорвалъ въ куски.

— Такъ лучше,—сказалъ онъ.—Теперь я чистъ. Отвори, Прасковья, двери, священникъ идетъ.

Дѣйствительно вошелъ священникъ.

Полчаса спустя Петръ Спиридоновичъ лежалъ въ агоніи неподвиженъ и нѣмъ. Только мысль его, переживъ тѣло, работала и уносила съ собою...

## V.

Видитъ Петръ Спиридоновичъ будто трещина, точно цвѣтокъ, распускается, оживаетъ: тихо ползутъ по потолку чуть замѣтныя жилки, полнѣютъ, шире, шире. Наполеонъ замѣщается директоромъ. Кажется Петру Спиридоновичу, будто губы директора шевелятся, руки двигаются, а вся фигура его волнуется какими-то кругами, то уходя сама въ себя, то снова расплываясь по потолку. А въ переднемъ углу, подъ образами, сидитъ Прасковья и вяжетъ чулокъ. Замѣчаетъ Петръ Спиридоновичъ, что Прасковья дурно сидитъ на мѣстѣ; старыя щеки ея раскраснѣлись и грудь поднимается неровными вздохами. А трещина, между тѣмъ, сдѣлавшись совершеннымъ директоромъ, соскочила съ потолка, оправилась передъ зеркаломъ, выпрямилась и подошла къ Прасковья.

— Здравствуйте, Прасковья Ѳеодоровна,—говорилъ дирек-

торъ,—ну, вотъ, вашъ Петръ Спиридоновичъ умеръ, желаніе ваше исполнилось; любите ли вы меня?

Прасковья перестала вязать чулокъ.

— Я ровно десять лѣтъ смотрю на васъ съ потолка; сколько разъ въ гости собирался. Вотъ и пришелъ. Любите ли вы меня, Прасковья Ѳедоровна?—И директоръ дотронулся до плечъ Прасковьи, а она опустила глаза и придвинулась къ нему ближе.

Видитъ Петръ Спиридоновичъ, какъ садится директоръ возлѣ нея, какъ обнимаетъ онъ ее старыми руками своими, какъ жметъ къ нему Прасковья. Слышитъ Петръ Спиридоновичъ ихъ шопотъ и поцѣлуй проклятые; слышитъ онъ, какъ смѣется она надъ нимъ, какъ бранитъ его, покойника; видитъ Петръ Спиридоновичъ, какъ она свѣчку тушитъ... Радъ бы былъ рвануться учитель, разнести его и ее вмѣстѣ съ нимъ на части,—да ни руки, ни ноги не слушаютъ; въ крови точно свинецъ застылъ, голова тяжела. Заскрежеталъ зубами учитель, а въ глазахъ туманъ разо-стлался, и все пропало.

Чувствуетъ Петръ Спиридоновичъ, какъ тѣло его холо-дѣетъ; смерть подступаетъ, отъ ногъ начиная. Чувствуетъ онъ, какъ омыли его и одѣли, въ гробъ кладутъ, понесли. И приносятъ его въ какую-то залу. Стоять докторъ-ста-рикъ, рукава засучивъ, и готовится рѣзать, а кругомъ него стоятъ любопытные и студенты, тутъ и директоръ съ Пра-сковьей, и Пилуцкій, и Воскобойниковъ,—все тутъ. Дер-нулъ докторъ ножомъ вдоль по его груди, раздалась грудь па-двое.

— Вотъ это сердце его,—говоритъ докторъ, вынимая кусокъ окровавленного мяса. — Этимъ сердцемъ онъ ѣлъ, оттого оно и зубы имѣетъ. Ходило оно въ вицмундирѣ и сдуру въ самомъ дѣлѣ вѣрило въ то, что ему говорили. Оно родилось прежде тѣла, а умерло послѣ тѣла; оттого

и жило оно всегда въ разладѣ со своимъ хозяиномъ. Его, какъ субъекта замѣчательнаго, мы положимъ въ спиртъ, кто хочетъ—можетъ попробовать.—Чувствуетъ Петръ Спиридоновичъ, какъ сердце его обжогъ спиртъ, какъ накинута на него пробовать и разнесли почти все цѣлкомъ, и больнѣ всего укусила Прасковья. А докторъ, между тѣмъ, отпилилъ ему темя. Отвалилось темя, а за нимъ, замирая и дрожа, выльзъ и разползся мозгъ.

— Это мозгъ, — говоритъ докторъ, — вся ошибка его состояла въ томъ, что онъ былъ слишкомъ похожъ на говядину, но не былъ говядиной. Эти черныя полосы, это такъ-называемыя свѣтлыя мысли его, которыми онъ гордился и думалъ, что имѣетъ много силы. Форма мозга, какъ видите, кишечнообразная; слѣдовательно, имѣетъ много сходства съ желудкомъ. Но организація желудка гораздо лучше и правильнѣе: оттого люди дѣлаютъ большую ошибку, считая желудокъ чѣмъ-то низшимъ относительно мозга. Выбросьте трупъ, — говоритъ докторъ, перерѣзавъ все тѣло на части. Слышитъ Петръ Спиридоновичъ, какъ бросаютъ куски его тѣла въ гробъ.

Ночь. Темнота. Распадается тѣло въ сырую, затхлую землю.—Воздуху; воздуху!—хочетъ онъ крикнуть, но вмѣсто языка виситъ у него червякъ, а по верху ходятъ и топчутъ люди, торопясь хоронить своихъ дѣтей за отцами въ свѣжія могилы. Наконецъ, и этотъ шумъ прекратился. Долго лежитъ Петръ Спиридоновичъ и чувствуетъ, что въ немъ проявилась опять теплота, броженіе; тянется, тянется къ верху тонкимъ стебелькомъ, пробился—глядитъ: наверху лучезарное небо синимъ шатромъ перегнулось, птицы летаютъ; въ тихой дремотѣ стоятъ деревья, высоко поднимающаяся зеленою листвою. Чувствуетъ Петръ Спиридоновичъ, будто ему что-то мѣшаетъ смотрѣть — плита надгробная. Онъ нагнулся на-бокъ и началъ расти наклонившись. Годы

идуть: поднялся Петръ Спиридоновичъ выше травы, растеть онъ растеніемъ; сталъ высокою сосной. Кругомъ у ногъ валяются плиты съ какими-то надписями, въ сторонѣ виденъ какой-то городъ съ церквами. Долго не могла сосна разобратъ, на какомъ это языкѣ надписи написаны: «Петръ Спиридоновичъ Панкратьевъ»! Что за странное имя, думала сосна и вспомнила, будто она когда-то знала какого-то Петра Спиридоновича. Прошла тысяча лѣтъ и еще много тысячъ лѣтъ.

— Чортъ побери, отвѣчайте урокъ вашъ, — кричитъ Пилуцкій, и не знаетъ: заступаться ли ему за Панкратьева?— Вотъ я васъ, вотъ я васъ...—Съ шумомъ и гамомъ бѣгаютъ люди по училищу, — слышно ножи стучать, щиты и латы пскрятся. А въ воздухъ стало темно. Вышелъ директоръ; на немъ золото блещетъ, въ рукахъ длинное копьё и сбоку мечъ. Онъ войску рѣчь держитъ, говоритъ, что Панкратьевы ему надоѣли и онъ хочетъ всѣхъ ихъ передушить. Чувствуетъ Петръ Спиридоновичъ, какъ на него одѣваетъ кто-то латы, даетъ копьё въ руки; это Прасковья. Она молодая, красивая, ну точь-въ-точь сорокъ лѣтъ тому назадъ. Видитъ учитель, какъ собралось за нимъ огромное войско, знамена развѣваются; копья стальные точно лѣсъ. Протрубили, сшиблись! Долго длился бой; далеко внизу, точно грязный шарикъ, виднѣется земля. Копья ломаются о щиты; падаютъ люди головой внизъ, что трава подъ косою.

— Бей ихъ, бей! — кричитъ Петръ Спиридоновичъ, — ударпло войско спльнѣе. Не устоялъ директоръ; ринулись полчища его назадъ. Страшная была погоня въ простран-ныхъ небесахъ; гнали они директора до самыхъ стѣнъ и остановились на углу Морской и Конногвардейскаго переулка...

Скачетъ Петръ Спиридоновичъ, скачетъ онъ домой; только



вѣтеръ свистить у ушей да жжетъ его блѣдныя щеки. По-перекъ сѣдла лежитъ красавица Прасковья. Глаза ея закрыты; русыя косы спущены по вѣтру и смѣшиваются съ гривой коня. На бѣлой груди ея сочтена красная ранка, и кровь течетъ по бархату ея царскаго платья. Петръ Спиридоновичъ скачетъ съ нею за живой и мертвой водой.

— Оживешь, оживешь, моя красавица, — говоритъ ей Петръ Спиридоновичъ, — оба мы заживемъ съ тобой при-пѣваячи, безъ всякихъ директоровъ, и заплатокъ на сапогахъ носить не будешь. Кушать ли захочешь—все только телятину буду давать, да куринку. Одѣвать тебя буду въ шелкъ и бархатъ, въ жемчугъ и яхонты. Я отстрою тебѣ дворецъ великокняжескій; у насъ директоръ и въ прихожей стоять не будетъ. Собачонку я сдѣлаю первымъ министромъ, а обѣихъ кошекъ пожалую въ камеръ-фрейлины. Ты просишь, чтобы я и дворничиху пристроилъ? могу, могу, моя милая,—я ей дамъ кавалерійскій полкъ и вдобавокъ училище. Вотъ мое царство — смотри, ненаглядная. Аршинные цвѣты качаются на высокихъ стебляхъ своихъ и на нихъ сидятъ женщины красивыя; онѣ райскія пѣсни поютъ и держать всѣ по чернпльницѣ, мои дѣла записывать. Небо у меня бѣлое, а по бѣлому небу малиновыя звѣзды горятъ. Земля сквозить камнями самоцвѣтными, воздухъ въ царствѣ моемъ тихъ и спокоенъ; люди въ немъ скромны и кротки и у всѣхъ по одному усу на щекахъ. Изъ раны твоей будетъ золотое солнце свѣтить, моя красавица,—я поставлю тебя высоко-высоко, такъ, чтобы даже злые языки не достали; я поклонюсь тебѣ, зацѣлю тебя, только ты люби не директора, а меня люби... Видишь, какъ темно—это мы въ трещину вѣхали, — громъ и трескъ... свѣтъ занялся... ясный свѣтъ... тише... тише...

## VI.

Пока учитель нашъ умиралъ на рукахъ Прасковьи и дворничихи,—Воскобойниковъ пріѣхалъ домой, раздѣлся и легъ въ постель. Напрасно старался онъ заснуть; сонъ бѣжалъ отъ него. Панкратьевъ, съ красными глазами и блѣдными щеками, точно такой, какимъ видѣлъ его Воскобойниковъ у подѣзда училища, вертѣлся передъ нимъ. Какъ ни утѣшалъ онъ себя тою мыслью, что завтра непременно выпросить ему пенсіонъ, онъ не могъ насиловать себя больше и зажегъ свѣчу. Но ни свѣтъ, ни книга не помогли. Пробыло три часа.

— Какъ это глупо,—проговорилъ Воскобойниковъ и позвонилъ. Отвѣта не было. Онъ позвонилъ еще разъ; двери отворились—вошелъ лакей.—Вели запрячь жеребца, живо!

Лакей стоялъ, выпучивъ глаза, не понимая ни себя, ни барина.

— Слышишь ли: лошадь запрячь!—крикнулъ Воскобойниковъ.

Лакей вышелъ и черезъ полчаса Воскобойниковъ садился въ сани.

— Пошелъ туда, куда отвезъ сегодня утромъ учителя.

Рысакъ тронулъ сани и побѣжалъ ровною и широкою рысью.

— Пошелъ,—сказалъ Воскобойниковъ.

Кучеръ хлестнулъ вожжой; рысакъ прибавилъ ходу.

— Пошелъ, говорятъ тебѣ!—закричалъ Воскобойниковъ, привставая въ саняхъ и толкнувъ кучера.

«Ишь, какъ разобрало»,—думалъ кучеръ и, полосуя спину жеребца вдоль и поперекъ, поднялъ его вскачь. Онъ остановился у тѣхъ же воротъ, у которыхъ выпустилъ утромъ учителя.

— Гдѣ живетъ Панкратьевъ?—спросилъ Воскобойниковъ у дворника.

— Пожалуйте сюда!

Дворникъ повелъ его. Огромный дворъ дома, въ которомъ жилъ Петръ Спиридоновичъ, былъ голъ и пустъ, и въ двухъ окнахъ теплились лампы. Звуки шаговъ дворника и Воскобойникова раздавались рѣзко и громко; нѣсколько кошекъ перебѣжали имъ дорогу. Они начали подниматься по лѣстницѣ, крутой, узкой и совершенно темной.

«Какъ все это глупо»,—думалъ Воскобойниковъ,—«и я тоже дуракъ, съ кровати поднялся. Какъ это глупо... глупо».

А сердце между тѣмъ стучало сильно и неровно. Воскобойниковъ спотыкался нѣсколько разъ; онъ держался лѣвымъ бокомъ у самой стѣны и шелъ за дворникомъ.

Тѣло умершаго Петра Спиридоновича лежало на кровати, прикрытое простыней. Прасковья сидѣла возлѣ него и, разрѣшивши свое долго-сдержанное горе слезами, рыдала.

Воскобойниковъ вошелъ и отшатнулся. Онъ стоялъ неподвижно, держась за ручку двери, до тѣхъ поръ, пока Прасковья не замѣтила его присутствія и не повернулась.

— Поздно, поздно, родной!—крикнула она и съ дикимъ воплемъ кинулась въ ноги Воскобойникову.

Воскобойниковъ насилу оторвалъ ее отъ себя и поднялъ.

Тяжело было у него на душѣ, страшно болѣзненно жалось его сердце; плакать хотѣлъ бы онъ, но слезы не проступали, и только глубокий, искренній вздохъ облегчилъ его. Онъ подошелъ къ тѣлу и отдернулъ съ лица простыню.

Выраженіе лица Петра Спиридоновича было важно и строго. Неровный, дрожавшій свѣтъ лампадки, теплившейся у образа, сообщалъ ему какую-то странную, неуловимую игру; губы были сжаты; въ углахъ ихъ лежала тонкая, едва замѣтная улыбка; на глазахъ чернѣли мѣдныя монеты. Долго стоялъ Воскобойниковъ надъ трупомъ

учителя; тяжелыя, безотрадныя мысли перемѣпывались въ головѣ его; въ эти минуты онъ думалъ много, очень много.

— Когда онъ умеръ?—спросилъ онъ наконецъ.

— Часа два тому назадъ, кормилецъ, — пробормотала Прасковья:— вотъ написалъ эту записку, потомъ разорвалъ ее и тихо уснулъ, даже не простоналъ ни разу.

Воскобойниковъ поднялъ записку, подошелъ къ лампадкѣ, сложилъ клочки и готовился читать. Въ это время руки Петра Сппридоновича, неловко лежавшія на груди его, скатились внизъ. Прасковья и Воскобойниковъ вздрогнули... Воскобойниковъ бросилъ записку на полъ.

— Вотъ тебѣ на похороны старика!

Онъ вынулъ бумажникъ, положилъ его на столъ и вышелъ. Въ бумажникѣ лежало пятьсотъ цѣлковыхъ.

На третій день Панкратьева хоронили. На похоронахъ присутствовали директоръ, Пилуцкій, Воскобойниковъ, нѣсколько пріятелей покойника и два-три учителя.

Похороны были великолѣпны. Директоръ, отпустившій изъ экономической суммы сто цѣлковыхъ, удивлялся, и едва только тронулись дроги, запряженныя четверкою лошадей, шепнулъ Воскобойникову на ухо:

— А у старика были, видно, деньги.

— Да, — сухо отвѣтилъ Воскобойниковъ и отошелъ въ сторону.

Петра Сппридоновича похоронили на Смоленскомъ кладбищѣ, въ третьемъ разрядѣ, на мѣстѣ, которое онъ назначилъ Прасковьѣ. Памятника еще нѣтъ, и едва ли Петя Воскобойниковъ сдержитъ свое обѣщаніе.

Прасковья сдѣлала страшную глупость: мѣсяцъ спустя послѣ похоронъ, — она умерла. А трещина, по требованію новаго жильца, была немедленно задѣлана и закрашена.

А жизнь, этотъ гранитный сфинксъ, съ желѣзными когтями и бумажной короной на головѣ своей, катится по міру, пригибая подъ собою, будто тростинки, всякіе шлицы и купола, золотомъ вѣнчанные. Могучій голосъ кричитъ сфинксу: «стой, безотвѣтный, дай помѣряться силами!» И нѣтъ такихъ слезъ, чтобы выплакать пощаду могли, и нѣтъ такого смѣха, чтобы пощаду высмѣять могъ и раскрыть на показъ сфинкса очи, заколдованныя очи, задвинутыя гранитомъ, а можетъ-быть и совсѣмъ слѣпыя!..

— Жизнь, жизнь!—восклицаютъ поколѣнія, кидаясь подъ сфинкса:—дай намъ отвѣтъ, укажи, что намъ дѣлать?

— Смерть!—отвѣчаетъ имъ сфинскъ изъ-подъ бумажной короны, и вытягиваются изъ-подъ него кладбища; да, кладбища...



# СКАЗКИ.

Альгоя. (Фантазія на южно-сибирское преданіе.)—Любовь сокола.—  
Идолъ. — Грамматическая сказка. — Сосунъ.—Господинъ Можетъ-  
Быть.—Дымный человѣкъ.—Чудесная гитара.—Верба.



# А Л Ъ Г О Я.

(Фантазія на южно-сибирское преданіе).

---

Въ длинномъ списокѣ всякихъ умершихъ царствъ пмѣется одно, изъ единаго уголка котораго возникло нѣкогда и потомъ тоже умерло сибирское царство Кучума. Оно тянулось приблизительно тамъ, гдѣ идетъ теперь граница между Сибирью и Китаемъ, и гдѣ будутъ когда-нибудь имѣть мѣсто великіе бои. Берингова пролива еще не существовало, океанская волна не промыла его, не потопила многихъ царствъ, и то именно царство, о которомъ идетъ рѣчь, перебрасывалось въ Сѣверную Америку. Въ тѣ дни въ тѣхъ далекихъ странахъ было очень тепло, росли пальмы, а подъ пальмами гуляли слоны и тигры; мѣстные люди носили очень легкія одежды.

Въ той богатой, но уже глубоко-развращенной странѣ вырастала чудесная дѣвочка—Альгоя. Она была единственной дочерью у своихъ родителей и, замѣчательно, что въ очень древнемъ родѣ ихъ не совершилось никогда ни одного преступленія. Это былъ, поистинѣ, чуть ли не единственный родъ на землѣ.

Альгоѣ минуло тринадцать лѣтъ, и она страстно любила цвѣты; близкое поле и далекій лѣсъ и цвѣтникъ отцовскаго



сада сіяли ея молчаливыми любимцами. Страна была теплая, цвѣты росли роскошныя и безконечно раскидывалось вокругъ Альгон царство ея любви. Мечты дѣвочки покоились на пестрыхъ и душистыхъ лепесткахъ, на бархатистыхъ коронкахъ и уносились въ неподвижномъ океанѣ благоуханій въ далекое неизвѣстное, туда, гдѣ въ небѣ, въ опаловыхъ переливахъ, занимается заря, гдѣ, должно-быть, очень хорошо и очень весело.

— Милая у насъ дѣвочка!—говаривалъ отецъ.

— Поэтому-то не жилища она у насъ,—съ грустью добавляла мать.

Въ той богатой, просвѣщенной, но глубоко-развратной странѣ, гдѣ жила Альгоня, существовалъ очень странный городъ, жители котораго занимались отвратительнымъ, преступнымъ и постыднымъ ремесломъ. Это былъ большой и богатый городъ, почти самый богатый, самый умный изъ всѣхъ. Онъ посвятилъ себя воспитанію роскошнѣйшихъ женщинъ и поставлялъ ихъ другимъ городамъ царства, которыхъ настроилось видимо-невидимо и всѣ они кишѣли наредомъ. У этого города, издавна, появлялось много враговъ и на него не разъ ходили войною. Отцы и братья похищенныхъ городомъ дѣвушекъ клялись извести его. Но отъ злобствовавшихъ отцовъ откупался онъ золотомъ, а братья отставали отъ войска сами, потому что, тутъ или тамъ, встрѣчалась имъ по пути красавица-женщина и предлагала на выборъ: неизвѣстность войны или себя—любящую, молодую, очаровательную. Къ городу подходили только слабые остатки войска, и граждане безъ труда добывали ихъ.

\* \* \*

Блѣдна и желта окрестность города. Стыдъ и горе обнажили ее, и слезы, пролившіяся ручьями, отняли у земли все ея плодородіе; судьба печальныхъ дѣвушекъ

и женщинъ, заброшенныхъ въ городъ, тяготѣла и надъ окрестностями. Просторные и красивые дома тянулись по сторонамъ обставленныхъ колоннами улицъ. На площадяхъ были водометы, видѣлись мраморныя чаши и возвышались въ сатанинской прелести памятники замѣчательныхъ гражданъ города, павшихъ нѣсколькихъ добрыхъ царей, а съ ними ихъ древнія и славныя царства.

Могучая, но мутная рѣка катилась подъ могучими мостами поперекъ главныхъ улицъ города и на ея волнахъ скользили порою крытыя лодки. Лодки эти хорошо вооружались и снабжались всѣмъ необходимымъ для долгаго пути по безлюднымъ степямъ. На нихъ доставлялись уворованные дѣвушки и развозились опасныя женщины. На лодкахъ же привозились гуляки и расточители всѣхъ возрастовъ и сословіи, наѣзжіе гости, цѣнители и перекупщики женской красоты. «Лодками смерти» называли ихъ въ сосѣднихъ странахъ; «лодками блаженства» величали ихъ горожане.

Сады въ городѣ раскидывались богатые. Не росло въ нихъ только цвѣтовъ. Не было цвѣтовъ—не появлялись и дѣти свѣта—бабочки, а далекая степь служила причиною тому, что никакая птица не залетала въ эти молчаливые сады. Воздухъ, совершенно лишенный обитателей, казался мертвымъ; насыщенный острыми ароматами, лившимися день и ночь съ открытыхъ террасъ и балконовъ, уставленныхъ мириадами искусственныхъ цвѣтовъ, онъ терпѣливо обвѣвалъ эти блестящія пажити смерти. Никогда не раздавались въ городѣ щебетанье птички, лепетъ малютки или веселый смѣхъ матери, и печать отверженія лежала на немъ. Днем онъ спалъ, а къ вечеру просыпался и зарумянивались тогда свѣтами огней памятники красивѣйшихъ женщинъ и наиболѣе извѣстныхъ поклонниковъ красоты и вдохновителей оргій. Само собою разумѣется, что гуляли и пѣли только тѣ женщины, которыя помирлись съ судьбою.

Тѣ же, которыя не успѣли или не могли помириться, скрывались въ глубинѣ роскошныхъ жилищъ. Тамъ, подъ покровомъ безнаказанности, образовывались виртуозки любви... или медленно умирали.

\* \* \*

Альгоя, похищенная изъ дому съ прогулки, была привезена въ городъ и очутилась въ рукахъ одного изъ опытнѣйшихъ и именитѣйшихъ гражданъ его.

Никто лучше этого человѣка не могъ подмѣтить особенностей характера дѣвушки, съ тѣмъ, чтобы вѣрнѣе овладѣть ею. Никто не принимался за дѣло съ такою увѣренностью въ успѣхъ, такъ терпѣливо, такъ вкрадчиво. Никто искреннѣе его не убѣждалъ, не преодолевалъ сопротивленія стыдливости; никто не умѣлъ выслѣдить съ такимъ знаніемъ и вниманіемъ дѣйствіе на организмъ своихъ плѣнницъ тѣхъ или другихъ опасныхъ настоевъ; никто не подносилъ ихъ такъ кстати, съ такою предупредительностью; ни у кого, наконецъ, не собиралось бѣльшаго количества богатыхъ гостей и ни у кого не короталось время безумнѣе и веселѣе. Не рождалось на свѣтѣ такихъ жесткихъ волось, чтобы не сдѣлались подъ опытною рукою его мягче шелка; онъ могъ мѣнять и оживлять всякій цвѣтъ лица, смягчить кожу, зналъ въ совершенствѣ разрисовку рѣсницъ и бровей и сохраненіе зубовъ, училъ играть на арфѣ и рисовать на фарфорѣ и сочинялъ прелестныя, пѣвучія пѣсенки, и всякая женщина, возвращавшаяся въ свѣтъ отъ него, цѣнилась несравненно дороже другихъ. Задумалъ онъ сдѣлать изъ Альгои что-то невиданное и неслыханное, и приступилъ къ дѣлу. Онъ заплатилъ за нее много, и думалъ взять еще больше.

Но дѣвушка отталкивала всякую попытку, и немного нужно было ему времени, чтобы убѣдиться въ совершен-

ной невозможности побѣды надъ нею. Онъ, воспитавшій столько красавицъ, сознавалъ, какъ быстро увядала на глазахъ его лучшая и совершеннѣйшая красота, когда-либо видѣнная на землѣ. Золотыя горы, которыя обѣщаль себѣ этотъ человѣкъ въ будущемъ, смывались, сглаживались подъ слезами Альгой и заманчивая будущность наживы погасала одновременно съ блескомъ ея глазъ и увяданіемъ щекъ. Тончайшія и хитрѣйшія снадобья, подносимыя ей, вызывали дѣйствіе, совершенно противное ожиданіямъ. Подарки оставались нетронутыми, предупредительность—незмѣнною, угрозы—безполезными. Блескъ очей Альгой погасалъ со дня на день и конецъ ея, казалось, былъ не далекъ.

А въ чудовищномъ городѣ не любили такихъ смертей. Это портило его добрую славу и могло помѣшать прибытію новыхъ, добровольныхъ ученицъ, которыхъ все-таки оказывалось больше, чѣмъ похищенныхъ, изъ которыхъ, надо сказать правду, выходили лучшія и совершеннѣйшія представительницы города. Въ такихъ случаяхъ эти добрые люди поступали по обычаю, временемъ и закономъ освященному и каждому изъ нихъ хорошо извѣстному. Обреченную на смерть вывозили или выносили, тайно отъ всѣхъ, далеко отъ города, въ степь, и оставляли на произволъ судьбы подъ чахлымъ кустикомъ какой-нибудь одинокой мимозы, лицомъ къ лицу съ необъятнымъ небомъ и у входа въ еще болѣе необъятную смерть.

Вынесъ учитель въ степь и Альгою, и вынесъ ее одинъ, потому что легче пуху стало захудалое дитя, вынесъ и положилъ ее, безчувственную, разслабленную, и пожалѣлъ, уходя, что столько красоты гибнетъ даромъ, что столько труда потратилъ онъ понапрасну. И жалость его была искренняя, и былъ онъ, какъ видно, человѣкъ не безъ сердца.

\* \* \*

Наступила темная ночь и увлажила длинныя рѣсницы Альгой росой, и вплоть до утра слышался подлѣ нея въ воздухѣ и далеко кругомъ подѣ землею какой-то шумъ. Двигались какія-то таинственныя силы, шла какая-то незримая и торопливая работа.

Когда наступило розовое утро, покинутая на произволѣ судьбы Альгой думала открыть глаза; но отяжелѣвшія вѣки не хотѣли подняться, не могли раскрыться; тогда спустились на нихъ свѣжія капли утренней росы и очи ея раскрылись, и увидала она себя лежащею на сырой землѣ, пестрѣвшей безсчетными маргаритками. Маргаритки выростали передѣ нею вездѣ, куда только могъ достигъ взглядъ ея. Это онѣ, а никто другой, шумѣли ночью подѣ землею, торопясь выйти на свѣтъ; а шумъ въ воздухѣ производили сходящія къ нарождавшимся маргариткамъ росинки, готовясь освѣжить ихъ, чуть только одолѣютъ онѣ тяжесть почвы и выглянуть поверхъ земли.

Вздумалось Альгоѣ поднять руку, лежавшую на землѣ. Рука, еще недавно отягощенная многими кольцами и запястьями, снятыми съ нея при выносѣ дѣвушки за городъ, не слушалась, какъ и очи; тогда изъ-подѣ земли, подѣ самую рукою ея, потянулись въ ростъ, на коренастыхъ стебелькахъ, широколобые тюльпанчики и дружными усилиями подняли руку.

Захотѣлось Альгоѣ улыбнуться, — такъ скоро забылъ грустное прошедшее милый ребенокъ, — но мускулы лица не понимали, что имъ нужно дѣлать для того, чтобы улыбнуться. Тогда прилетѣла бабочка, стала кружиться, коснулась щекъ Альгой своими лазоревыми крыльями, и тихое щекотанье вызвало улыбку, застывшую давно. Потекли по лицу Альгой слезы; взошло солнце и осушило ихъ, и дѣвушка поднялась на ноги.

Она оглядѣлась, и куда только направлялся ея взглядъ.

по степи, всюду вырастали цвѣты; и едва ступила она и пошла, слабо и неувѣренно, пошатываясь со стороны въ сторону,—цвѣты росли все дальше и дальше и раскидывались коврами неописанной красоты и свѣжести.

Но какъ ни чудесно было все творившееся, Альгоѣ все-таки захотѣлось ѣсть, а этому-то, повидимому, не могли помочь прислуживавшія ей невидимыя силы. Но оказать ей помощь онѣ все-таки успѣли: онѣ указывали ей дорогу. Если Альгоя шла по степи вѣрно—цвѣточный коверъ тянулся передъ нею ровный, нескончаемый; если она сбивалась—поперекъ пути прокатывался широкій ручей и заставлялъ ее слѣдовать берегомъ. Ручьевъ попадалось ей все больше и больше, они шумѣли все веселѣе и веселѣе, и привели, наконецъ, къ широкой голубой рѣкѣ. У самаго берега стояла большая, крытая лодка.

Съ ужасомъ бросилась дѣвушка назадъ! Но не тутъ-то было: ручьи бѣжали за ручьями, ручьи перекрещивались, сплетались, имъ не было счета, и гудѣли они веселыми волнами и неслись къ сосѣдней рѣкѣ и мѣшали дѣвукѣ бѣжать. Испуганная, ошеломленная, Альгоя рѣшилась не двигаться съ мѣста и скорѣе умереть, чѣмъ подойти къ лодкѣ. Но и это оказалось невозможно: ручьи подбѣгали къ самымъ ногамъ, ручьи тѣснили ее къ берегу и, шагъ за шагомъ, отступая передъ холодомъ волнъ, не помня себя, не имѣя почему-то возможности упасть, она приблизилась къ лодкѣ и, наконецъ, потеряла сознаніе...

\* \* \*

Лодка принадлежала старому вельможѣ, попавшему у своего царя въ немилость. Много лѣтъ назадъ покинулъ онъ дворъ, столицу и царство и со старухою-женою, вдвоемъ, жилъ на лодкѣ, переѣзжая изъ страны въ страну, отрекшись отъ людей и предпочитая сытанье по широкимъ рѣкамъ и

озерамъ всякой власти и всякому значенію. Старики съ лодки уже давно увидѣли Альгою, слѣдили за нею, и когда, обезсиленная ходьбою, стѣсненная ручьями, она очутилась подлѣ ихъ плавающего дома, старикъ, сойдя съ лодки, въ-время принялъ ее на руки, а старуха, слѣдовавшая за нимъ, успокоила, обласкала и потомъ, приведя на лодку, накормила.

Дѣвушка, отдохнувъ и оправившись, рассказала вельможѣ о своей родинѣ, назвала по имени отца и мать, но никакъ не умѣла объяснить, какъ именно попала она сюда и что съ нею случилось послѣ насильственной разлуки съ родными. Бездѣтные старики приняли Альгою какъ родную дочь. Они, въ безконечныхъ странствованіяхъ своихъ по синимъ рѣкамъ и озерамъ, посвятили себя дѣланію добра; гдѣ только могли, помогали они людямъ, и крохи ихъ прежняго богатства были еще настолько велики, что остановили не одно горе, спасли не одного нуждавшагося. Съ появленіемъ Альгой добродѣтельная жизнь стариковъ стала еще лучезарнѣе. Совершивъ какое-нибудь доброе дѣло, вельможа торопился скрыться; онъ предпочиталъ останавливаться въ самыхъ безлюдныхъ пустыряхъ безконечной страны. Но пустырей этихъ, къ удивленію стариковъ, становилось со дня на день все меньше. Стоило только Альгоѣ сойти на берегъ—берегъ тотчасъ же покрывался роскошною растительностью, и когда лодка отчаливала отъ него, растительность эта не исчезала, а оставалась какъ бы памятью ихъ пребыванія. Старики видѣли это, удивлялись, но ровно ничего не понимали.

Альгоя доживала пятнадцатую весну. Тяжелые дни были забыты ею и расцвѣла она лучше прежняго, и въ прелести ея имѣлось что-то совершенно особенное. Помимо того, что она была поразительно прекрасна, въ ней чувствовалась какая-то безпредѣльная сила очарованія, общавшая тому,

кого она полюбитъ, безконечность забвенья, съ уничтоженіемъ и воли, и памяти, и всего, всего земного.

И случилось скоро нѣчто еще болѣе невѣроятное, чѣмъ все происшедшее: Альгою избралъ себѣ въ подруги одинъ изъ боговъ вселенной, прискучившій вѣчно непорочными созданіями, окружавшими его отъ начала вѣка. Полюбилъ ее богъ цвѣтовъ.

\* \* \*

Какъ разъ въ семнадцатый день рожденія Альгой, о которомъ богъ этотъ зналъ, какъ знали вельможа и его жена, лодка пристала къ берегу, еще не посвѣщавшемуся пми. Для торжественнаго дня этого старики не хотѣли выбрать стоянку, какъ это всегда бывало, мѣстность угрюмую, печальную. Они предпочли роскошный уголокъ безконечно красиваго лѣса, и ввели лодку въ одну изъ мирныхъ заводей рѣки.

Цвѣтовъ на ближайшей лужайкѣ и на деревьяхъ сіяло такъ много, что когда Альгоя сошла на берегъ, что дѣлала она часто, новымъ цвѣтамъ не было мѣста распуститься и никакихъ видимыхъ измѣненій, къ которымъ такъ привыкли старики, не произошло. Въ блескѣ яркаго солнца, обративъ къ Альгоѣ свои лучезарныя коронки, глядѣли на нее цвѣты въ упоръ. Легіоны разноцвѣтныхъ лепестковъ стремились къ ней съ травы и деревьевъ и покоили на прелестной дочери земли свои безмолвные, влюбленные взоры, и чѣмъ дальше шла Альгоя отъ берега, тѣмъ лучше становились цвѣты, тѣмъ страстнѣе являлись сочетанія ихъ красокъ, тѣмъ острѣе, обворожительнѣе ароматъ и тѣмъ шибче подвигалась къ нимъ Альгоя.

Старики видѣли съ лодки, какъ шла она, будто втягиваемая незримою силою въ эту непонятную, необъятную пучину цвѣтовъ. Какой-то священный трепетъ обуялъ ихъ,



они хотѣли позвать дѣвушку, остановить ее, но густыя волны благоуханій, несшіяся къ нимъ, лишили ихъ голоса и движенія, а старческіе глаза, и безъ того слабые, теряли послѣднюю зоркость въ пестротѣ сильнѣйшихъ свѣтовыхъ впечатлѣній. Старикъ видѣли только, будто сквозь сонъ, какъ ворочали цвѣты свои живые взгляды вслѣдъ за отходившею отъ берега красавицею, какъ задвигалась она мало-по-малу ихъ лепестками, и какъ исчезла, наконецъ, въ мерцаніи красокъ и лучей, вошла въ цвѣты...

Благоговѣйно пали старикъ на колѣни; невидимая сила подтолкнула ихъ лодку и пустила внизъ по рѣкѣ.

\* \*  
\* \*

Альгоя ничего этого не замѣтила и не знала. Она шла впередъ отъ цвѣтка къ цвѣтку, поражаясь ихъ совершенно новыми для нея очертаніями. Каждый пѣзъ цвѣтковъ былъ и музыкою, и любовью, и думою, и всего этого оказывалось видимо-невидимо. За зеленью разступавшихся передъ нею стеблей и вѣтокъ видѣлся ей какъ будто бы небольшой холмъ, весь, сверху до низу, усыпанный цвѣтами. Точно розовые рубины обозначались розы, тянулись опушенные серебромъ лиліи и ландыши, синѣли лобеліи и незабудки, тигристымъ бархатомъ сложились и залегали стапеліи и между ними продвигались своими острыми, пламенными, нескромными языками королевскія стрелиціи. Поверхность холма вся мерцала подвижными усиками роскошнѣйшихъ пестрыхъ пассифлоръ, а неуклюжіе, тяжелые, смѣшныя кактусы, обвисавшіе подъ своею тяжестью, лежали на землѣ, глядѣли съ нея и служили холму опорой, продвигая, гдѣ имѣлось мѣсто, свои пурпуровыя, крупныя очертанія.

Альгоя приблизилась къ холму, обошла его и увидала, что это не холмъ, а какое-то жилище. Жилище имѣло даже

что-то въ родѣ входа, образованнаго щелью между двухъ чудесныхъ, громадныхъ опаловыхъ орхидей, лежавшихъ отъ тяжести своей на другихъ цвѣтахъ, служившихъ пологомъ. Дѣвушка заглянула внутрь. Солнечный свѣтъ проходилъ туда только черезъ тонкія тѣла и ткани цвѣточныхъ коронокъ и вѣнчиковъ и мерцалъ какими-то совершенно особенными фосфористыми волнами. И вся эта громада цвѣтовъ будто говорила тысячами благоуханій и колебалась въ своей неземной красотѣ!

\* \*  
\* \*

Дрогнула Альгоя.

Она оглянулась, чтобы посмотрѣть, откуда пришла, но пройденный путь оказался закрытымъ, непроходимымъ, задвинутымъ живыми кущами видимо и быстро распускавшихся цвѣтовъ. Цвѣты надвигались къ ней отовсюду. Альгоѣ становилось страшно. Она думала вернуться, но стѣны цвѣтовъ обступили окончательно и ей волею-неволею пришлось войти въ жилище.

Она вошла... вздохнула. Ей тяжело было стоять и она легла...

Какъ будто изъ-за сквозного, самосвѣтящагося перламутроваго покрывала золотого сна видѣлось Альгоѣ, что и тутъ продолжалось то же самое. Свободное пространство кругомъ нея становилось все меньше и меньше. Живой исполинскій вѣнокъ, составленный изъ лучшихъ цвѣтовъ земли, изъ которыхъ каждый имѣлъ свою дорожку, причемъ маленькіе шли впереди, спирался все тѣснѣе и тѣснѣе, и когда, уже къ вечеру, не хватило мѣста этому напору любви, этому объятію томной, благоухающей страсти и зардѣлась вечерняя заря и спустилась роса, тьма отъ темъ цвѣтовъ собралась какъ бы въ одинъ цвѣтокъ, красовавшійся и благоухавшій за всѣхъ. Альгоѣ чудилось, что этотъ

неописуемо-прекрасный, сборный цвѣтокъ какъ бы наклонился къ ней. На днѣ его бархатной, лазурной коронки несомнѣнно свѣтилось какое-то кроткое око, и во взглядѣ цвѣтка, волею-неволею, началъ тихо тонуть очарованный взглядъ лежавшей передъ нимъ дѣвушки. Неудержимая сила влекла ее къ цвѣтку, къ его устамъ. Она приподнялась, обняла его, обняла сама, по доброй волѣ, и запечатлѣла долгій поцѣлуй на его трепетно дрожавшихъ, увлажненныхъ росой устахъ...

И сдвинулись тогда надъ Альгою могучіе лепестки всего цвѣточнаго царства, и въ который уже разъ соединилось божество съ дочерью человѣческою, зачатою во грѣхѣ и тронутую его прикосновеніемъ.

\* \* \*

Въ то же самое мгновеніе, далеко отъ этого мѣста, подъ громъ землетрясенія, разсыпался прахомъ проклятый городъ! Распались мраморные облики красавицъ и красавцевъ, и лежатъ они тамъ, въ пустыняхъ, гдѣ-то между Байкаломъ и камчатскими сопками, перепутавъ осколки своихъ очертаній и только кое-гдѣ проглядывая изъ-подъ острыхъ мховъ и сѣрыхъ лишавей своимъ человѣческими, все еще улыбающимися, чертами.



# ЛЮБОВЬ СОКОЛА.

---

## I.

Это случилось очень давно; центромъ Москвы были въ тѣ дни государевы царскія палаты. Гостиные ряды и тогда уже отличались великимъ оживленіемъ торговаго люда, а на Москвѣ-рѣкѣ, зачастую, происходили кулачные бои.

Голубей надъ Москвою и въ то время носилось уже многое-множество, и у хлѣбныхъ и сѣнныхъ складовъ, по кладовымъ, по коновязямъ, по возамъ, да и просто по землѣ голуби кишмя-кипѣли, поблескивая на солнцѣ своими перламутровыми шейками.

Имѣлось тогда и на Москвѣ, да и по всей Россіи, много соколовъ, гораздо больше, чѣмъ теперь; соколиныя охоты были въ ходу, и самъ царь подавалъ примѣръ въ нихъ, потому что любилъ эту охоту.

Время было чуть не сказочное, во многомъ невѣроятное, и многіе изъ сѣрыхъ простыхъ людей, которымъ приходилось ночевать подлѣ возовъ и хлѣбныхъ складовъ, увѣрили самымъ положительнымъ образомъ, будто они сами слышали, что голуби разговаривали.

Особенно много говорили голуби на зарѣ. Чуть только забрезжить первый свѣтъ и многіе изъ спавшихъ на возахъ

и подъ возамъ возчиковъ стануть потягиваться и зѣвать, прислушиваясь сквозь сонъ къ звону церковному, тутъ-то и слышатся голубиныя разговоры.

Случилось, въ одно золотистое ясное утро, въ августѣ мѣсяцѣ, людямъ, спавшимъ на возахъ и подъ возами, проснуться неожиданно и сразу, а не то что понемногу, потягиваясь. И было съ чего! Многія тысячи голубей, мирно поклевывавшихъ изъ-подъ воевъ зерно и ворковавшихъ навстрѣчу поднимавшемуся солнцу самымъ зауряднымъ, тихимъ и мирнымъ образомъ, вдругъ, и совершенно неожиданно, поднялись съ мѣстъ почти всѣ разомъ и отдѣлились отъ земли цѣлымъ слоемъ хлопавшихъ крыльевъ. Захлопали голубиныя крылья на всѣ лады. Поднявшихся сразу голубей было такъ много, что всѣмъ ихъ крыльямъ мѣста не хватило, и многіе изъ опоздавшихъ подняться раньше другихъ были оттерты въ сторону, сшиблены и опрокинуты на землю.

Воркованье голубиное замолкло мгновенно, и одно только вѣянье безчисленныхъ крыльевъ тревожило утренній воздухъ и поднимало порядочный вѣтеръ. Голуби направились за городъ.

— Чего ихъ взбаламутило? — проговорилъ коренастый дѣтина, лежавшій на кучѣ сѣна, сложенной подлѣ городскихъ воевъ.

— А кто ихъ вѣдаетъ, — отвѣтилъ другой.

## II.

Голуби давно уже, и не первый день, дѣйствительно суетились по Москвѣ больше обыкновеннаго. Перламутровыя шейки ихъ отливали въ свѣтѣ утренняго солнца чрезвычайно красиво. Наканунѣ того дня, въ который голуби неожиданно полетѣли отъ центральной площади къ окраинамъ Москвы, произошло слѣдующее.

На одномъ изъ многочисленныхъ воевъ, на самомъ высокомъ, возсѣдала въ одиночествѣ красивая голубица съ какимъ-то особливомъ хохолкомъ на головѣ и съ обильнымъ опушеніемъ, еле видимыхъ изъ-подъ этого опушенія, ногъ. Къ ней то и дѣло подлетали отдѣльные голуби, сѣвъ передъ нею, отвѣшивали поклоны и, какъ бы получивъ какое-то приказаніе или порученіе, немедленно отлетали.

— Сегодня Королева особенно безпокойна, — говорили между собою голуби.

— Любовь! что прикажете дѣлать, любовь! — отвѣчали другіе.

— Да еще безумная любовь, — отвѣчали третьи. — Влюбиться въ сокола! да это невозможно, это даже, въ нѣкоторомъ смыслѣ, преступленіе противъ всѣхъ голубиныхъ полчищъ, — такъ говорили голуби.

— Правда-то, правда, — возражали болѣе снисходительные, — но вѣдь нельзя же не отдать справедливости царскому Соколу, въ котораго Королева влюбилась. Что за сила, стройность, какой огонь! — Это говорили голубицы, возражая голубямъ и стараясь, по мѣрѣ силъ, пзвинить свою властительницу.

Можетъ-быть, голубиная болтовня дллась бы еще очень долго, если бы не совершилась неожиданность. Откуда ни возьмись, пронеслись низко-низко надъ возами два сокола. Никогда не летаютъ соколы такъ низко надъ землею, никогда не залетаютъ они на рынки, предпочитаютъ безбрежность открытыхъ полей и необозримую, сіяющую свѣтомъ высь Божьяго неба; но на этотъ разъ залетѣли.

Весь многотысячный голубиный народъ на площади, не столько увидѣвъ, сколько почуявъ приближеніе быстролетныхъ соколовъ, сразу присѣлъ къ землѣ, къ возамъ, къ коновязямъ, на которыхъ находился; многіе даже закрыли глаза, какъ бы не желая видѣть своей или чужой смерти.

Соколы, какъ извѣстно,—кровопійцы и налетъ ихъ едва ли могъ обойтись безъ жертвы и, конечно, былъ вызванъ чѣмъ-либо особеннымъ.

— Ужъ не посланцы ли какіе? — проговорили тѣ изъ голубей, что оправились раньше другихъ.

— Да, да, непременно царскіе посланцы, потому что иначе зачѣмъ же было имъ здѣсь въ такое неурочное время появиться!

— Видите, видите! они бросили Королевѣ какую-то поносочку!

Поносочка, дѣйствительно, была брошена соколами съ великимъ искусствомъ и съ поразительною точностью, на возъ сѣна, передъ самою Королевою. Подняла Королева свою красивую голову, вытянула перламутровую шею, переступила съ ноги на ногу и подошла, сдѣлавъ по сѣну шага четыре, къ брошенному предмету.

Предметъ этотъ былъ ни чѣмъ инымъ, какъ небольшою сухою вѣточкою, вокругъ которой, въ видѣ бумажнаго свитка, была обернута свѣжая ивовая кора. На корѣ этой имѣлась надпись, которую Королева не замедлила увидѣть и прочесть. Писаніе гласило слѣдующее:

«Завтра, на царской охотѣ, какъ только меня спустятъ, я понесусь къ лѣсу надъ Яузой; будь тамъ. Я люблю тебя, но я люблю по-своему. Жду».

Нѣчто въ родѣ печати было приложено къ письму. Королева, прочтя его, затрепетала всѣми нервами своего красиваго голубинаго тѣла и готова была поцѣловать письмо своимъ голубовато-розовымъ, изящно заостреннымъ клювомъ, если бы не голубиный народъ, разсѣянный вокругъ. Голуби замѣтили поноску, замѣтили, что Королева прочла письмо, что она вздрогнула, но, изъ уваженія къ власти, никто головы отъ земли не поднималъ, а дѣлалъ видъ, будто клюетъ зерна; это не мѣшало, однако, клевавшимъ искося

взглядывать на возъ съ Королевою и наблюдать за ея тревогою.

Воркотня шла кругомъ довольно сильная. Отъ соколовъ простылъ и слѣдъ. Королева дала знакъ приблизиться къ ней одному изъ недалекихъ, видимо старѣйшихъ представителей ея народа. Старый Голубь, получивъ приказаніе, не сразу могъ подняться съ земли; порѣдѣвшія отъ времени крылья не хотѣли служить его волѣ; ноги, для того, чтобы согнуться пружинами и дать возможность приподняться отъ земли, служили не такъ, какъ прежде. Съ усиліями и даже споткнувшись, Старый Голубь, тѣмъ не менѣе, поднялся и вспорхнулъ на возъ съ сѣномъ, на которомъ сидѣла Королева. Онъ опустилсѣ такъ же неловко и неуклюже, какъ поднялся, чуть-чуть не задѣлъ самой Королевы и не сразу сложилъ свои крылья, съ такимъ трудомъ расправленные.

Послѣ нѣкотораго молчанія, Королева не громко спросила Старого Голубя:

— Ты знаешь, въ чемъ дѣло, старикъ?

— Знаю,—отвѣтилъ Голубь негромкимъ голосомъ и почти тельно склонилъ голову.

— А почему же ты знаешь?—спросила довольно рѣзко Королева.—Развѣ и другіе знаютъ?

Старый Голубь долго не давалъ отвѣта, но, наконецъ, промолвилъ:

— Всѣ знаютъ, государыня!

— Ну, а если знаютъ, такъ пусть знаютъ,—отвѣтила Королева съ непривычнымъ ей задоромъ.—Если, дѣйствительно, всѣ знаютъ, такъ мнѣ все равно. Не Королева я, что ли, и не вольна я избрать того, кого люблю, кто мнѣ по сердцу? Говори! Отвѣчай!—почти крикнула Королева, глядя, нахохлившись, на прижавшагося къ сѣну Старого Голубя сверху внизъ.



— Прости, государыня,—тихо и медленно проговорил Старый Голубь,—но я буду говорить, я долженъ говорить то, что будетъ тебѣ не по сердцу. Повели лучше молчать!

— Говори, я слушаю,—отвѣтила Королева сердито.

— Вотъ, извольте ли видѣть, государыня,—началъ Старый Голубь, искоса поглядывая на ивовую кору, испещренную знаками и лежавшую передъ нимъ на сѣнѣ.—Смотрю я на эти знаки и вижу дурное предзнаменованіе; вѣдь не на другой какой корѣ, а именно на ивовой, начертана соколиная писанка! взгляни, Королева: вѣдь покраснѣли всѣ письма, будто кровью налились онѣ...

Королева быстро перебила слова Старого Голубя:

— Да вѣдь это всѣмъ извѣстно, что на ивѣ всякая парापина краснѣетъ, на ольхѣ тоже; такъ что же удивительнаго, что покраснѣли знаки письма? Вѣдь это законъ природы, чтобы парapiны на ольхѣ и ивѣ—краснѣли!

— Это точно законъ природы,—возразилъ Старый Голубь,—но не законъ природы—любовь голубицы къ соколу! Враги они наши,—эти соколы. Кровью и страданіемъ отмѣчены всѣ давнишнія, не одну тысячу лѣтъ длящіяся отношенія обоихъ народовъ нашихъ, и не на нашей совѣсти лежатъ темныя, возмутительныя страницы бытописанія...

Королева не сразу отвѣтила на слова Старого Голубя; не сразу могла она найти возраженіе, но, тѣмъ не менѣе, дала свой отвѣтъ.

— Конечно, — сказала она, — печальны тѣ страницы вражды, о которыхъ ты говоришь мнѣ, и я знаю ихъ, конечно, не хуже тебя. Но развѣ не подлежатъ развитію и улучшенію всѣ взаимныя отношенія живущихъ на землѣ тварей? развѣ заповѣдано оставаться всему существующему въ неподвижности и застоѣ? Не пора ли, въ самомъ дѣлѣ, отыскать и положить новые пути бытія болѣе мирнаго, болѣе согласнаго, и—кто знаетъ—не на мою ли счаст-

ливую долю пало быть въ данномъ случаѣ провозвѣстницею лучшихъ, болѣе хорошихъ дней. Вѣдь если посмотрѣть поглубже, почему, въ самомъ дѣлѣ, не жить въ полномъ согласіи и въ совершенномъ единеніи голубямъ съ соколами?

— Но вѣдь соколы кровожадны,—робко возразилъ Старый Голубь,—а ты крови не пьешь.

— Такъ отчего же непременно нужна имъ именно наша кровь, а не какая иная? Много существуетъ для нихъ по лѣсамъ и болотамъ всякихъ птицъ, лебедей, да и четвероногой твари — вродѣ зайцевъ. Если ты правъ и невозможно и думать о томъ, чтобы обратить весь соколиный народъ къ безкровной пищѣ, то отчего же не сдѣлать этого выдающимся дѣятелямъ соколинаго народа, князьямъ, царямъ и другимъ властителямъ? Ихъ примѣру могутъ послѣдовать и другіе.

Наступило нѣкоторое молчаніе. Старый Голубь опять-таки не сразу далъ царицѣ свой отвѣтъ, но онъ далъ его съ такимъ откровеннымъ, не допускавшимъ возраженія добродушіемъ, что вызвалъ въ Королевѣ цѣлую бурю.

— Прости, государыня,—отвѣтилъ онъ.— А что сказала бы ты, государыня, если бы тебѣ предложено было показать примѣръ твоимъ голубинымъ подданнымъ и растерзать какую-нибудь невинную перепелочку или иную пѣвчую пташку? Какъ могла бы ты направить твой царственный клювъ на то, чтобы обогреть его алою кровью; какъ могла бы ты, въ противность всѣмъ завѣтамъ нашего голубинаго былого, покрыть твою высокую грудь ключьями еще трепещущихъ судорогами внутренностей ип въ чемъ неповинной птички? Нѣтъ, Королева, не бываетъ этому никогда, и побереги ты себя для твоего народа. Брось ты гибельную, навѣянную недоброю силою, мечту, и извлеки изъ сердца твоего недостойный обликъ Царскаго Сокола. Мало развѣ у насъ славныхъ, красивыхъ, родовитыхъ юношей, достой-

ныхъ приближенія къ тебѣ? Намѣтъ, пзбери п, кто бы онъ ни былъ, мы преклонимся передъ избраннымъ тобою счастливецемъ и признаемъ его!

Замолчалъ Старый Голубь, но слова его все-таки не достигли цѣли. Ранено было Царскимъ Соколомъ, ранено было на смерть сердце Королевы—п не могла она противостоятъ своей гибельной страсти.

— Хорошо! — сказала королева Старому Голубю, дослушавъ его слова, — можешь уйти! Я соображу о томъ, что тобою мнѣ сказано и дальнѣйшее рѣшеніе мое будетъ объявлено всѣмъ, гдѣ, какъ и когда слѣдуетъ.

Старый Голубь скорѣе свалился, чѣмъ слетѣлъ съ воза на землю.

### III.

Какъ было сказано выше, утромъ, въ назначенный Царскимъ Соколомъ день свиданія съ Королевою, голуби на торжищахъ Москвы ранымъ-рано почти отсутствовали. Внимательному глазу нельзя было не замѣтить, какъ, со всѣхъ концовъ города, словно по тягѣ вѣтра, направились безчисленныя голубиныя стаи на Язуу, къ лѣсу, гдѣ назначена была царская охота.

Случилось то, что всегда случается: Королева, увлеченная любовью и не послушавшая совѣтовъ мудрости, сообщила о своемъ желаніи видѣться съ Царскимъ Соколомъ только самымъ приближеннымъ къ ней голубямъ, подъ строгою тайною; тайна эта была, конечно, вполне достигнута, такъ какъ почти все голубиное населеніе столицы царей московскихъ направилося поглядѣть на любовную встрѣчу въ назначенное мѣсто и въ назначенный часъ.

Летѣли голуби, гдѣ небольшими стайками, гдѣ въ одиночку, а гдѣ и цѣлыми полчищами, въ первыхъ пробле-

скалъ просыпавшагося дня. Удивлены были звонари, находившіеся въ этотъ часъ на колокольняхъ; они привыкли видѣть летающими на зарѣ стаи воронъ и галокъ, но чтобы летѣло такъ много сразу голубей, этого никто изъ нихъ не помнилъ.

— И что это ихъ въ одну сторону тянетъ? — говорилъ одинъ изъ звонарей другому, наклонившись къ нему съ колокольни своей церкви—обѣ церкви стояли такъ близко одна къ другой, что переговариваться съ ихъ колоколенъ было не трудно.

— Должно, съ площадей погнали, соръ и навозъ свозять.

— И какъ они крестовъ церковныхъ не задѣнутъ? вишь, какъ низко тянутъ!

Голуби тянули дѣйствительно очень низко, не выше маковокъ церковныхъ. Тотъ звонарь, къ которому относились только-что сказанныя слова, взглянулъ повыше, даже къ самымъ облакамъ. Если бы онъ былъ повнимательнѣе къ тому, что совершалось передъ его глазами, то онъ непременно замѣтилъ бы нѣсколько соколовъ, стремглавъ пронесившихся по поднебесью въ разныя стороны гораздо выше голубей, облитыхъ красными лучами солнца.

Соколы—эти ярко-красныя точки—стремительно мчались въ вышинѣ надъ темнѣвшими стаями низко летѣвшихъ и еще не освѣщенныхъ солнцемъ голубей.

Не то чтобы очень далеко за городомъ завидѣли голуби тихо подвигавшуюся царскую охоту. Пестрѣли одѣянія, играли кони,—а впереди всѣхъ, на бѣломъ аргамакѣ, ѣхалъ самъ царь московскій. Вотъ и Юза, съ ея извилинами, вотъ и лѣсъ, къ которому стремились голуби. Лѣсъ, только-что украсившійся своимъ осеннимъ уборомъ, не то краснѣлъ, не то желтѣлъ и былъ полонъ тумана въ лучахъ нѣжно согрѣвавшей его зари.

— Что-то будетъ, что-то будетъ? — ворковалъ летѣвшій

голубь, ближе другихъ находившійся къ лѣсу. — Погубить себя Королева, погубить!

— А можетъ-быть и нѣтъ! Какъ бы намъ только на самую царскую охоту не наткнуться. Вонъ у нихъ сколько соколовъ на рукахъ; красныя каптурочки на головахъ соколиныхъ ярче зари блещутъ.

— А подъ каждой каптурочкой острый-преострый клювъ скрывается.

— Да, ужасные у соколовъ клювы; да и нравы у нихъ не голубиные.

Хотя стаи голубей, завидѣвъ царскую охоту и разсуждая объ опасности встрѣчи, и не сговорились однѣ съ другими, но, тѣмъ не менѣе, всѣ они взяли наискось, къ лѣсной чащѣ. Не могли не замѣтить этого множества голубей и охотники; замѣтилъ и царь-государь, и сердце его возвеселилось.

— Одумайся, Королева,—говорилъ ей Старый Голубь, еле поспѣвая за нею и тяжело хлопая старческими крыльями.

— Берегись, родненькая! — ворковала вслѣдъ ей старая кормилица,—опомнись, на смерть летишь!

— Берегитесь, берегитесь! соколовъ спускаютъ! — загалдѣли вдругъ въ голубиныхъ стаяхъ тѣ, что были помоложе и потрусливѣе.

Не слушая своихъ приближенныхъ, Королева, плавно и красиво размахивая крыльями и презрительно взглянувъ на сопровождавшихъ ее, быстро направилась къ лѣсу. Стали отставать отъ нея мамушки и нянюшки, отсталъ и Старый Голубь; мало было замѣтно голубей по сторонамъ; наконецъ, осталась Королева надъ лѣсомъ одна-одинѣхонька.

Славный лѣсъ! Вдохновенная, смѣлая, вся въ лучахъ зари, плыла Королева надъ желтѣвшими вершинами лѣса, то ускоряя, то замедляя работу своихъ роскошныхъ крыльевъ. Сердце ея билось сильно и порывисто. Забыты были ею

всѣ добрые совѣты, всѣ несообразности ея дѣянія, и неумолимая судьба совершала свой приговоръ.

— О, какъ я люблю его!—прошептала Королева, носясь надъ лѣсомъ и замѣтивъ, что Царскій Соколъ, ея Соколъ, спущенъ и отвѣсно взвился надъ своимъ царственнымъ повелителемъ, царемъ московскимъ.

— Какъ онъ красивъ, какъ онъ отваженъ, какъ онъ могучъ! — тихо шептала Королева, слѣдя за тѣмъ, какъ высоко по поднебесью устремлялся Царскій Соколъ, не по кругамъ, не извилинами, а словно стрѣла—прямо въ ту или другую сторону, мгновенно мѣняя путины своего полета.

Глядѣла на него Королева — и все тише и медленнѣе двигались ея крылья; все пристальнѣе слѣдила она за приближеніемъ Сокола. Она чувствовала, какъ, по мѣрѣ этого приближенія, замирало ея сердце. «Что мое царство! что моя красота, что моя вся жизнь за единое мгновеніе счастья, приближающагося ко мнѣ...»—думала она.

Царскій Соколъ давно замѣтилъ Королеву; все выше и выше забирался онъ къ облакамъ, все краснѣе и краснѣе пылалъ онъ въ лучахъ осенняго солнца. Видитъ Королева, что гдѣ-то высоко, еле видный, надъ нею повисъ онъ въ лазури небесной; чутся ей, что смотреть онъ на нее отсюда, съ голубого поднебесья, зоркими, пылающими страстью очами. Все ближе, ближе кажутся ей эти чудныя очи... вотъ онъ, вотъ онъ... мой дорогой, мой ненаглядный... мой повелитель...

— Я люблю тебя, но люблю по-своему! — говорить Королевѣ Соколъ... и свѣтлыя очи ея помутились...

Царскій Соколъ никогда не ошибался въ своихъ ударахъ. Съ высоты необъятной кинулся онъ на медленно плававшую надъ лѣсомъ голубицу и острый клювъ его угодилъ ей въ самое темя. Слишкомъ ярко было осеннее утро, слишкомъ велика ширь полей, холмовъ и лѣсовъ, чтобы замѣтны

были капельки крови, брызнувшія изъ-подъ могучаго удара. Должно-быть, брызнулъ и мозгъ голубицы, еще такъ недавно мечтавшій о счастья и любви и не отличившій смерти отъ счастья...

— Ловко бьетъ!—проговорилъ царь своимъ приближеннымъ, налюбовавшись своимъ соколомъ и мгновенною битвою, порѣшившею голубку.

— Да, государь, промаха онъ, какъ и ты, не дастъ...

Видѣли также и голуби все совершившееся и робко. молчаливо удалились они отъ царской охоты, отъ свѣтлаго раздолья полей и лѣсовъ къ насиженнымъ мѣстамъ своимъ на площадяхъ по возамъ и коновязямъ.



# И Д О Л Ъ.

## I.

Дѣло было лѣтомъ, въ Малороссіи...

На одной изъ базарныхъ площадей очень людного западно-русского уѣзднаго городка, на пять шестыхъ еврейскаго, въ одинъ изъ базарныхъ дней, толпилось, по обыкновенію, очень много народа. Стукъ и гвалтъ надъ площадью стояли неописуемые. Къ общему звуковому оркестру всякихъ криковъ, брани, смѣха, стука и скрипа колесъ, ржанья и лая прибавляла, со своей стороны, очень немного непролазная-молчаливая грязь, лежавшая на площади: нѣтъ, нѣтъ, да и расхлещется подъ колесомъ или копытомъ.

— Вишь ты! Тоже голосъ подаетъ!—сказалъ услышавшій подлѣ себя могучій всплескъ грязи и забрызганный ею отъ головы до ногъ молодой парень малорусскаго происхожденія и философскихъ наклонностей.

Сказавъ это, онъ спокойно взглянулъ на людей цыганскаго типа, сидѣвшихъ на проѣзжавшей мимо него фурѣ. Фура, цыгане и малороссъ—все было типичны.

Фура, сажени въ двѣ съ половиною длинны, поражала прежде всего длиною своего дышла: чахлая лошаденка, разнаго роста и разныхъ мастей, казалось, были привѣшаны къ нему и словно двигали своими тощими ногами именно для того, чтобы помогать дышлу, двигавшемуся впередъ самостоятельно.



Цыгане и цыганята, составлявшіе наибольшую часть поклажи фуръ, зіяли своими черными лицами изо всѣхъ многочисленныхъ отверстій стараго брезента неизвѣстнаго цвѣта и неопредѣленнаго возраста. Много торчало отовсюду красныхъ доскутьевъ, и повсюду вокругъ нихъ высовывались и болтались не то лохмотья, не то, скорѣе, какіе-то чертовскіе хвостики. Такъ казалось по крайней мѣрѣ... Если необычайно длинно было дышло фуръ, то не менѣе длинна была плеть въ рукахъ очень похожаго на чорта цыгана, правившаго фурую. Подъ ея воздѣйствіемъ, настолько ловкимъ, что цыганъ, при желаніи, могъ бы, казалось, убить муху, если бы она осмѣлилась сѣсть на самый конецъ дышла, сухопарые кони валандались въ бесконечно тяжелой упряжи, состоявшей наполовину изъ веревокъ, наполовину изъ старыхъ ремней, тоже казавшихся сплетенными хвостиками.

Типиченъ, очень типиченъ былъ Власть, молодой парень малорусскаго происхожденія, обрызганный грязью, заговорившею подъ фурую. Старая высокая барашковая шапка, рубаха и шаровары изъ толстаго, небѣленаго, грязнаго, полосатаго деревенскаго тканья, тканый кушакъ, когда-то радужнаго цвѣта, опоясывавшій его нѣсколько разъ и болтавшійся обопими концами пониже поясницы, и огромные, съ широчайшими голенищами сапоги, — вотъ и весь Власовъ приборъ. Если прибавить высокій ростъ, смуглое, бородатое лицо съ черными глазами и двадцатипятилѣтній возрастъ, да сказать, что парень былъ красивъ, — вотъ и вся фигура.

Труднѣе, гораздо труднѣе, съ описаніемъ его умственныхъ и сердечныхъ качествъ. Это тѣмъ болѣе трудно, что онъ не только слылъ за колдуна, но и былъ пмъ, кажется, дѣйствительно.

Онъ принадлежалъ къ числу добрыхъ колдуновъ, и вызвать его на что-либо злое было невозможно. Самый злой

человѣкъ въ губерніи, почетный предсѣдатель какого-то общества, Петръ Петровичъ Шулейко, вѣрившій въ нечистую силу и обладавшій большимъ богатствомъ, и тотъ никакъ не могъ купить Власа поклдовать ему съ нехорошею цѣлью.

— Вишь ты! Тоже голосъ подаетъ!..—сказалъ Власъ по адресу грязи, обрызгавшей его съ головы до ногъ. Онъ сказалъ это не спроста, а потому, что у него была такая привычка: слѣдить съ особеннымъ вниманіемъ, если было грязно, за грязью. Съ дѣтскихъ лѣтъ любилъ онъ это и сроднился даже со звуками грязи, если она ихъ подавала.

Не гулъ и стукъ, наводнившіе площадь, не свѣжесть мокрой грязи, проникшая къ тѣлу его сквозь полотно рубахи и шароваръ,—а то, что при проѣздѣ фуры грязь какъ-то чавкнула, хлебнула, заговорила,—вотъ что замѣтилъ Власъ. Онъ посторонился, пропустилъ мимо себя цыганъ и цыганятъ съ хвостами и не замедлил увидѣть, какъ изъ грязнаго холщеваго мѣшка, болтавшагося между задними колесами фуры, что-то вывалилось и не замедлило окупнуться въ непролазную грязь; кусочекъ чего-то бѣленькаго торчалъ изъ нея. Замѣтилъ онъ также и чудное лицо женщины, смотрѣвшее на него съ фуры.

— Ишь, красавица!—проговорилъ Власъ.

Онъ подошелъ, нагнулся и поднялъ изъ грязи какую-то маленькую несуразную стеклянную фигурку-бутылочку.

— Эка рожица!—подумалъ Власъ, держа въ рукахъ курьезную сткланку, только-что вытащенную изъ грязи, еще продолжавшей медленно сливаться съ нея.

— Дай, тятка, мнѣ! Дай мнѣ!—услышалъ онъ на сторонѣ отъ пары ребятишекъ, босыхъ, въ рубашонкахъ, заглядѣвшихъ сткланку.

— Брысь!—отвѣтилъ имъ отецъ и сталъ обтирать фигурку ладонью.

Мальчишки убѣжали.

— Вотъ онъ, идолъ-то самый, идолъ, который мнѣ для Шулейкина нуженъ!—подумалъ Власъ и, отойдя въ сторону за одинъ изъ амбарчиковъ, сталъ разглядывать фигурку. Красная рожица ея уморительно смѣялась; въ головѣ торчала пробка, а въ фигуркѣ болталась жидкость. Власъ встряхнулъ ее.

— Должно-быть, что вода или водка,—подумалъ онъ.

Взболтнулъ еще, посмотрѣлъ: свѣтлые пузырьки поднимаются, словно изъ стлянки выскочить хотятъ. Открылъ ее Власъ, поднесъ къ носу, понюхалъ, глотнулъ...

— Старка,—подумалъ онъ.—Да еще и какая! Воровскіе эти люди, цыгане! Откуда что возьмутъ, конокрады проклятые!

Глотнулъ онъ еще и еще, заткнулъ покрѣпче пробкою и, спрятавъ за пазуху, вышелъ изъ-за амбарчика на дорогу. Какое-то удивительно пріятное тепло разливалось у него по тѣлу, не то отъ желудка, не то отъ сердца. Вся людная площадь казалась ему полною очень хорошихъ людей, а небо было такое голубое, а солнце такое хорошее.

— Охъ, ужъ эти цыгане!—думалъ Власъ, направляясь въ сторону къ своему дому,—и откуда только что возьмутъ! Правда, сами они колдуны, гадальщики проклятые, и снабдѣя дѣлать умѣютъ... Но ужъ старки, настоящей старки, не сдѣлаютъ, нѣтъ! Шалишь... А глазищи-то красавицы на фурѣ, что на меня посмотрѣла!.. У-у-у какіе — во какіе...

Думая такимъ образомъ, Власъ помаленьку, отъ поры до времени присаживаясь, пробирался къ дому.

Площадь кишмя-кипѣла народомъ, и въ многотысячной толпѣ, между арбами, фурами, телѣгами и тарантасами, подлѣ наваленныхъ грудями тыквъ, дынь и арбузовъ, подъ необъятнымъ лазурнымъ небомъ безоблачнаго іюньскаго дня,

Власъ со своею находкой за пазухою какъ бы исчезали, не замѣчались...

Тутъ начинается почти сказка... Власъ вдругъ, дѣйствительно, исчезъ съ площади, т.-е. онъ не исчезъ, а совершенно незамѣтно для всѣхъ юркнулъ куда-то между досчатыми бараками. Городъ былъ старый, въ древности очень католическій, и какъ разъ на базарной площади его еще высились основанія и стѣны упраздненнаго католическаго монастыря. Камеры подвального этажа, когда-то тюрьмы, отдавались кѣмъ-то, какъ-то въ наймы; кто-то кому-то платилъ деньги; кто-то гдѣ-то зналъ, что въ подвалахъ монастырскихъ люди живутъ, но кто, почему, какъ — это оставалось внѣ интересовъ общественныхъ и полицейскихъ.

Юркнувъ въ полусвѣтлый подвальный проходъ, Власъ скоро добрался до толстой двери съ желѣзнымъ засовомъ п, отворивъ ее, очутился въ небольшомъ помѣщеніи у своей жены Ганнуси. Старый столъ былъ приставленъ къ одной изъ гранитныхъ стѣнъ; ломаная кровать — къ другой; на третьей виднѣлся какой-то вычурный, поломанный мраморный гербъ, несомнѣнно признакъ того, что тутъ, гдѣ-то подлѣ, почивалъ вѣчнымъ сномъ представитель какого-то богатаго рода. Никакого имени не виднѣлось: должно-быть, оно было выгравировано на бронзовой или мѣдной доскѣ, и стоимость металла давно уже привлекла къ себѣ чье-то любительское вниманіе.

Ганнуса, некрасивая баба лѣтъ тридцати, спала крѣпкимъ сномъ; стѣлянка, въ которой еще недавно имѣлась на лицо горилка, стояла подлѣ нея пустая.

— Опять готова!—подумалъ Власъ, взглянувъ на спавшую жену.

И вдругъ замѣтилъ онъ, что у него передъ глазами будто затеплилось на могильномъ гербѣ какимъ-то малиновымъ,

теплымъ свѣтомъ лицо той красавицы, что взглянула на него съ фуры. Власъ даже отшатнулся и провелъ рукою по глазамъ. Свѣтъ исчезъ.

— Должно-быть, померещилось,—думалъ онъ, выдвигая пзъ-подъ стола хромой табуретъ и садясь на него. Сквозь рѣшетчатое небольшое оконце проходилъ въ помѣщеніе довольно слабый дневной свѣтъ, вовсе не желавшій быть сильнѣе, чтобы освѣщать такую неприглядную обстановку, въ какой находился Власъ, и такую, еще менѣе приглядную, Ганнусю.

Исторія коротка. Ганнуса была дочерью вдоваго богатого чумака, имѣвшаго десятка четыре дюжихъ воловъ и перевозившаго по степямъ всякіе грузы. Чумакъ испугался-было, когда пробѣжала первая чугунка, но скоро убѣдился, что чугункѣ съ нимъ не спорить, въ особенности въ срочности доставки, и онъ былъ по-своему правъ... Много разъ бѣжалъ мимо поѣздъ, обгоняя его воловъ, пыхтя, хорохорясь, давая свистки, а волы шли, да шли и дѣлали свое дѣло... Между Чернымъ, Азовскимъ и Каспійскимъ морями ходили эти волы, и чумакъ былъ богатъ.

Ганнуса, предоставляемая себѣ на время частыхъ и долгихъ отлучекъ отца, некрасивая и нравная, давно уже сбилась съ толку; любила она также и попить. Пришло время, что надо было, наконецъ, пристроить Ганнусю, дать ей мужа. Самый юный изъ чумаковъ, красивый дѣтина Власъ, приглянулся ей. Онъ—нищій, она—богачка. Поженили... Скоро умеръ отецъ, и не прошло и пяти лѣтъ, какъ воловъ уже не существовало, укатились и денежки, за нихъ вырученныя, и Власъ съ Ганнусею поселились въ подземельи монастыря. Власъ занимался поденной работою, но она не вывозила... Лучше, прибыльнѣе было со знахарствомъ, съ колдовствомъ.

## II.

Усѣвшись на табуретъ, Власъ вытащилъ изъ-за пазухи найденную фигурку; вытащилъ онъ ее не сразу, потому что она запропастилась въ складкахъ рубахи. Фигурка представляла изъ себя маленькаго уродливаго человѣчка съ краснымъ лицомъ и маленькими рожками. Она была стеклянная и, успѣвъ подсохнуть и почиститься у Власа за пазухою, представлялась необычайно смѣшливою, потому что рожица у нея отличалась уморительностью.

— Непремѣнно предсѣдателью, какъ придется, поднесу,—подумалъ Власъ, обтирая ее пальцами.—Скажу, что идолъ—деньги возьму!

Совершенно случайно, разглядывая фигурку, Власъ поднесъ ее къ носу. Какой-то невѣроятно хорошій аромат поразилъ его.

— Пахнетъ! Да, да, пахнетъ!.. И какъ хорошо пахнетъ!—проговорилъ онъ и нюхнулъ посильнѣе.

Не успѣлъ онъ сдѣлать этого, какъ по глазамъ у него что-то опять пробѣжало, мелькнуло. Пасмурная обстановка жилища, столъ, даже кровать съ неприглядной Ганнусею будто заиграли перламутровыми красками...

Власъ отнялъ фигурку отъ носа. Опять полусвѣтъ, опять грязная Ганнуса. А надъ нею, на стѣнѣ, розовое сіянье женскаго лица съ фуры. Приложилъ онъ пахучую фигурку къ носу — снова блескъ, краски, какіе-то огни, дворецъ...

На этотъ разъ Власова рука невольно отодвинулась отъ носа, потому что въ двери постучали.. Быстро глотнулъ онъ изъ фигурки, глотнулъ здѣрово, спряталъ находку за пазуху и, вставъ, подошелъ къ двери и отворилъ ее. На порогѣ стоялъ предсѣдатель.

— Что тутъ у тебя такъ хорошо пахнетъ?—сказалъ онъ, перешагнувъ порогъ.

Власа передернуло, и онъ совершенно безсознательно схватилъ рукою фигурку, спрятанную за пазуху, и крѣпко сжалъ ее.

— А чему у меня пахнуть?—спросилъ онъ въ отвѣтъ.

Предсѣдатель, старикъ лѣтъ шестидесяти, мѣстный кулакъ, богатый и крайне мнительный и суевѣрный, принадлежалъ къ тѣмъ удивительнымъ людямъ, которые съ одинаковымъ чувствомъ робости и прислуживанья входятъ и въ церковь, и къ гадалщицѣ... Для нихъ все чудесное, сверхъестественное существуетъ съ гораздо болѣею несомнѣнностью, чѣмъ все остальное, и весь вопросъ для нихъ только въ томъ, какъ бы воспользоваться имъ, заставивъ чудесную силу, Божью или дьявольскую, проявиться. Они одинаково благоговѣютъ какъ передъ скуфейкою, полежавшею на мощахъ кievскаго угодника, такъ и передъ клочкомъ веревки, снятой съ повѣсившагося...

— А я къ тебѣ, Власъ, по дѣлу!—проговорилъ онъ.

— А не до дѣла мнѣ нынче!—отвѣтилъ Власъ.—Прошу садиться.

Петръ Петровичъ сѣлъ на единственную табуретку.

— Не отдашь ли ты мнѣ Ганнуса своей въ услуженіе?

— А на что она вамъ, Петръ Петровичъ?—промолвилъ Власъ.—Да вы ее самой спросите...

Ганнуса, тѣмъ временемъ, проснулась и, спустивъ ноги съ кровати, протирала глаза. Нечесаная, полупыльная, съ опухшими глазами и краснымъ носомъ, прежняя владѣтельница многихъ десятковъ воловъ медленно приходила въ себя.

— А мнѣ точно что померещилось,—сказала она, потягиваясь.—А и вправду мерещится. Чего вамъ?

— Слышь, Ганнуса,—отвѣтилъ Власъ:—тебя въ услуженіе взять хотятъ.

— Да вѣдь ты ворожить умѣешь?—быстро проговорилъ Петръ Петровичъ.

— Умѣть,—отвѣтилъ за нее мужъ.

— Да кромѣ того,—добавилъ предсѣдатель:—я и хорошее дѣло сдѣлаю, бѣдную женщину пристроивъ!..

— Точно!—подтвердилъ Власъ.—А на какую же должность?

Власъ за все время разсказа продолжалъ крѣпко держать въ рукѣ сткланку, лежавшую у него за пазухою. Неожиданный наплывъ какого-то еще не вполне понимаемого, но чувствуемого, счастья одолевалъ его. Онъ готовъ былъ расцѣловать свою Ганнусю, лишь бы она скорѣе согласилась на предложеніе и ушла. И въ то же время ему страсть хотѣлось понюхать фигурку, клюкнуть изъ нея.

— На какую должность?—спросилъ предсѣдатель.—Ну, ключницею, что ли?

— Ключницею! Меня?—недовѣрчиво переспросила Ганнуса, окончательно пришедшая тѣмъ временемъ въ себя.

— Да, да, ключницею!

— А по сколько это въ мѣсяцъ будетъ?—спросила она.

— Да рубля по три, хочешь?

Наступило короткое молчаніе.

— А кромѣ того, еще что дѣлать нужно мнѣ будетъ?—спросила она, ослабивъ зубы безобразной улыбкою и искоса поглядывая то на мужа, то на Петра Петровича.

— Ничего...—отвѣтилъ предсѣдатель.

— А пущать изъ дому къ мужу часто будете?—продолжала Ганнуса, вставая съ кровати.

— А сколько хочешь,—отвѣтилъ предсѣдатель.—Ладно, что ли?

— Ладно!—отвѣтила Ганнуса и взглянула на мужа.

Власъ, во время хозяйственныхъ переговоровъ Ганнуси съ предсѣдателемъ, уловивъ минуту, вышелъ за двери, чтобы хлебнуть своей старки. Онъ хлебнулъ порядочно, еще хлебнулъ... Хорошо!.. Подумалъ-подумалъ и, мах-



нувъ почему-то рукою, возвратился въ свое каменное логовище.

— Ну, вотъ, мы и порѣшили, Власть,—проговорилъ ему навстрѣчу почтенный предсѣдатель.—Она согласна, пусть идетъ!

Ничего не отвѣтилъ на эти слова Власть, хотя и слышалъ ихъ очень ясно. Онъ стоялъ у двери какъ ошеломленный, какъ вкопанный.

Выѣсто безобразной Ганнуси, грязной, пьяной, одутливой, стояла подлѣ предсѣдателя красавица, и какая красавица! Ничего подобного не случалось Власу видѣть, ничего... Кромѣ, развѣ, этой цыганки на фурѣ, цыганки съ глазами... у-у-у, какими!.. На нее немного похожа, похожа, но только эта еще лучше, куда лучше...

Должно-быть, лицо Власа представлялось не особенно привлекательнымъ, потому что Ганнуса и предсѣдатель, завидѣвъ его, тоже не двигались, словно застыли. Гробовое молчаніе царствовало въ полусвѣтѣ стараго католическаго подземелья. Молчаніе это длилось довольно долго, и первымъ нарушилъ его предсѣдатель.

— Ну что же, Власть, слыхалъ ты или нѣтъ, о чемъ мы договорялпсь?

— Слыхалъ, слыхалъ!..—отвѣтилъ негромко, сквозь зубы, Власть, не глядя на предсѣдателя и вперивъ глаза свои въ стоявшую передъ нимъ обворожительную красавицу. Подобранны были ея черные, какъ смоль, волосы въ ярко-красный длинный, обернутый вокругъ головы платокъ... Въ ушахъ, на смуглой шеѣ, на рукахъ блистали ожерелья и запястья изъ бусъ и монеть... Бѣлая, питаая по краю и рукавамъ, рубаха облекала круглыя плечи и высокую грудь... А глаза! О, эти глаза!.. Черные, съ поволокою... И они глядѣли прямо на Власа, прямо...

## III.

— Ганнуса!..—пролепеталъ Власъ, сдѣлавъ шага два впередъ.—Ганнуса! Ты ли это, кудесница?

— Хе-хе, — усмѣхнулся предсѣдатель, глядя на эту совершенно непонятную для него сцену, — вотъ такъ кудесница!..

Невыразимо глупо глядѣла и Ганнуса... Толстый предсѣдатель покотился, наконецъ, со смѣху.

Злобно, свирѣпо глядѣлъ на него Власъ. Недоумѣвала Ганнуса и положительно опалѣла, когда мужъ, медленно подойдя къ ней, тихо, нѣжно взялъ ее за руку, словно боясь разбить эту руку,—взялъ и, наклонившись, любовно взглянулъ въ глаза ей.

— Чего такъ смотришь, Власьюшко?..—сказала она въ отвѣтъ на этотъ непривычный взглядъ и улыбнулась во весь широкій ротъ свой, ослабивъ зубы.

Но не этотъ ротъ и не эти зубы виднѣлись Власу. Небывалая близость небывалой женской красоты охватила его всего... Мощная сила какая-то пригнала его все ниже и ниже къ этому чудесному лицу, къ этимъ чернымъ, жгучимъ очамъ... Онъ чувствуетъ теплоту дыханія... Онъ видитъ... Господи! Чего не видитъ онъ, желая видѣть?!.. Онъ чувствуетъ прикосновеніе, щекотанье волосъ ея на своемъ лбу.... А эти губы, эти яркія, свѣжія губы...

Раздался звукъ поцѣлуя. Предсѣдатель покатывался со смѣху, а Ганнуса рѣшительно не знала, что ей со своей особою дѣлать...

— Да ну тебя, Власьюшко, полно, полно, родненькій!—говорила она, стараясь придать своему голосу, подъ палящимъ взглядомъ Власа, особенную нѣжность, что ей, однако, не удавалось.—Вѣдь я не совсѣмъ уйду, женою останусь...

Передохнулъ, наконецъ, и предсѣдатель.

— Ну, ладно, ладно, напрощаетесь! — проговорилъ онъ, вставая.—А теперь идемъ ко мнѣ!..

И, обратясь къ Ганнусѣ, онъ взялъ ее за руку.

— Куда «идемъ?»—глухо и беззвучно спросилъ предсѣдателя Власъ.

— Куда? Вѣстимо, къ Петру Петровичу!—отвѣтила Ганнуса, стараясь освободить свою руку отъ руки Власа, сильно сжимавшей ее и мѣшавшей пойти вслѣдъ за предсѣдателемъ, потянувшимъ ее къ двери.

— Какъ идти? Затѣмъ? — рѣзко спросилъ Власъ. — Къ кому идти?!..

— Ко мнѣ,—отвѣтилъ предсѣдатель.—Или три рубля не цѣна тебѣ въ мѣсяцъ? И ѣсть хорошо будетъ, не по-здѣшнему...—добавилъ онъ, направляясь къ двери.

— Извѣстно, не по-здѣшнему, — повторила Ганнуса, вдругъ вспомнивъ неоднократныя голодухи и желая слѣдовать за предсѣдателемъ—поближе къ хорошей говядинѣ, похлѣбкѣ и вареникамъ.

— А я не пушу!..—прорычалъ Власъ, и отъ звучнаго голоса его словно вздрогнули стѣны стараго подвала.

— Ну, такъ она сама пойдетъ!—сказалъ предсѣдатель.

— Пойдешь?—спросилъ Ганнусю Власъ, видимо свирѣпѣя.

— Вѣстимо, пойду! А то нѣтъ развѣ?—отвѣтила Ганнуса, направляясь къ предсѣдателю, ожидавшему ее у дверей.

Едва только шелохнулось въ глазахъ Власа чудесное видѣнье, едва брякнули при этомъ движеніи ея ожерелья и запястья, едва замѣтилъ онъ эту чудную поступь, эту горделивую осанку красавицы, направляющейся къ двери,—какъ прилила ему въ голову вся кровь, затуманилось въ глазахъ, кинулся онъ на предсѣдателя, придавилъ его къ косяку двери,—причемъ дверь съ шумомъ отворплась,—схватилъ его за горло и, какъ сумасшедшій, какъ разъяренный звѣрь, припиралъ его къ косяку до тѣхъ поръ,

пока онъ, не оказывая больше никакого сопротивленія, не грохнулся на порогъ двери мертвымъ...

Вскрикнула дикимъ голосомъ Ганнуса; самъ Власть, опустивъ руки, попятился отъ двери шага на четыре и остановился. Онъ не поднималъ своихъ глазъ на Ганнуса, но и опущеннымъ къ грязному полу глазамъ видѣлось все то же чудесное лицо; въ только-что задушившей предсѣдателя рукъ чувствовалась та удивительная теплота прикосновенія, которую испытывалъ Власть такъ недавно, — до того, что случилось.

Или это все обманъ, навожденіе? Нѣтъ! Вотъ онъ, задушенный предсѣдатель, на порогѣ, съ полуоткрытыми глазами, вотъ его откатившаяся въ сторону шапка... Но что это за шумъ за дверями... Не полпція ли?.. Какъ скоро, однако...

Смотритъ Власть: вбѣжалъ цыганенокъ, другой, третій... Всѣ они пзъ тѣхъ, что сидѣли на фурѣ; вбѣжали, остановились, смотрятъ на Власа и на предсѣдателя... Входятъ большой цыганъ, смуглый, усатый... Вотъ и еще, и еще... Входятъ женщины, много женщинъ.

— Надо спасти Власа!—слышится Власу сквозь порохи двигающихся людей.—Надо спрятать тѣло!..

— Куда?

— Въ рѣку.

— Нѣтъ, ближе надо! Теперь еще свѣтло, не донести!

— Ну, такъ здѣсь, въ подвалѣ.

— Гдѣ же? Негдѣ!

— Какъ негдѣ? А въ чужую могилу, вотъ за эту плиту!..

Видитъ все это Власть и не шевелится,—видитъ, какъ въ одно мгновеніе ока знакомая ему плита съ пстертою надписью отодвинута, какъ открылся какой-то длинный-длинный, съ огонькомъ вдали, подвалъ или проходъ, какъ подняли съ пола тѣло предсѣдателя, какъ двинули его въ отверстіе, какъ протянулись оттуда, чтобы принять покой-

ника, не то руки, не то кости, не то змѣи какія-то, и ихъ было видимо-невидимо, какъ исчезло въ склепѣ тѣло, какъ задвинулась плита...

А женщины-цыганки все входятъ, да входятъ въ двери. Есть молодыя, есть и старухи, и всѣ онѣ кланяются Ганнусѣ, которую Власъ не видитъ, но чувствуетъ подлѣ себя, близко-преблизко, — кланяются ей, будто королевнѣ какой кланяются...

Подходить къ Власу какая-то старая-престарая цыганка, вся въ морщинахъ, — даже не цыганка, а горбъ какой-то на двухъ ногахъ, съ глазами, что уголья, и говорить ему:

— Дай-ка, Власьюшко, ручку! Ужѣ вотъ погадаемъ...

Беретъ она опущенную, неподвижно висящую руку Власа, подноситъ ее къ жгучимъ глазамъ своимъ близко, такъ близко, что рукѣ отъ нихъ тепло становится, смотреть, долго смотреть и предсказываетъ: великое счастье и цѣлое царство въ придачу...

А вотъ оно—и обѣщанное царство! Вотъ и великое множество народа, и всѣ ничкомъ лежатъ: Власа чествуютъ! Вотъ и войско неисчислимое къ нему навстрѣчу идетъ, его повелѣнія ожидаетъ... Отъ знаменъ надъ войскомъ въ глазахъ пестрѣетъ... Музыка заиграла: королевна приближается!

— Гдѣ она, эта королевна? Гдѣ моя Ганнуса? — думаетъ Власъ.

А тѣмъ временемъ на площади раздаются безсчетные клики:

— Давайте его, убійцу! Давайте его, придушившаго предсѣдателя... Казнить его, казнить!

А другіе кричатъ:

— Войско твое готово, Власъ! Скажи только одно слово, и все будетъ твое, и она будетъ твоею...

Знамена вѣютъ... Кликамъ нѣтъ конца... Власа хватаютъ, и—онъ просыпается...

## IV.

Знакомая квартира... Плита надгробная на стѣнѣ... Ганнуса спитъ какъ убитая; а на полу валяется пустая стклянка съ краснымъ лицомъ и рожками на головѣ.

Протеръ себѣ глаза Власъ... Ничего не понимаетъ. Поднялъ онъ стклянку съ пола: пуста, отдаетъ водкою... Помнить онъ, что не все выпилъ: значить, Ганнуса покончила...

Взглянулъ онъ на нее и—плюнулъ... Но какъ же добрался онъ домой—ничего не помнить.

Постучали въ двери... Вскочилъ Власъ и пошелъ отодвинуть засовъ.

Смотритъ онъ и видитъ: стоитъ передъ нимъ—здоровъ-здоровехонекъ—Петръ Петровичъ, председатель, и говорить, что пришелъ насчетъ обѣщаннаго ему гаданія.

Проснулась и Ганнуса, глаза протерла.

— А хорошъ ты былъ, Власъ,—говорить ему председатель:—когда тебя жена домой вела!..

— Какъ такъ вела?

— Да вотъ она сама тебѣ расскажетъ,—смѣется Петръ Петровичъ.

Но, вставши на ноги, Ганнуса все еще не приходила въ себя и ничего объяснить не могла.

Она стояла, точно шалая, хлебнувъ цыганской настойки и покончивъ ее...

— Ну, если она не можетъ, такъ я скажу!—проговорилъ Петръ Петровичъ. — Между амбарами она тебя нашла, на ноги подняла, домой повела... Должно-быть, ты дурману какого хватилъ!..

— Должно-быть,—медленно, сквозь зубы, отвѣтилъ Власъ и насупился.



## ГРАММАТИЧЕСКАЯ СКАЗКА.

---

Сърєнькій, теплый майскій день освѣщаль землю. День былъ воскресный. Садъ нашей гимназіи только-что одѣлся зеленью.

Я помню очень хорошо тотъ годъ. Мнѣ исполнилось одиннадцать лѣтъ, а человѣчество считало тогда 1840 годъ отъ Рождества Христова. Я былъ гимназистомъ и большимъ словесникомъ; мои сочиненія считались безспорно лучшими, а грамматическія свѣдѣнія безупречными.

Удивительное подходило тогда время преобразованія нашихъ грамматикъ, къ выгодѣ или невыгодѣ учившихся—не знаю. Вѣрно только то, что прежде, когда учились по краткой грамматикѣ Греча, писали гораздо правильнѣе, чѣмъ стали писать позже, когда краткими грамматиками—а ихъ нѣтъ числа—стали называть книжки весьма почтеннаго объема.

Въ тѣ дни существовали для насъ, какъ и теперь, предлоги, союзы, нарѣчія, мѣстоименія и проч., но не было и въ поминѣ подраздѣленій ихъ на: обстоятельствъ, подлинности, мѣры, относительныя, опредѣлительныя, указательныя и—какъ ихъ тамъ всѣхъ называютъ. Уже тогда, впрочемъ, у Востокова явились мелкія систематизаціи.

Однихъ союзовъ у него не перечесть! Раздѣлительные, вопросительные, пзяснительные, сравнительные, условные, предположительные, уступительные, противительные, винословные, заклочительные, повторительные, двойные, однокіе,—вѣдь тутъ за деревьями лѣсу не видно и изучающій долженъ былъ сердиться и бранить свой родной, столь могущественный языкъ. Мы стали псать гораздо хуже нашихъ предшественниковъ, мы перестали любить занятіе роднымъ языкомъ п, наконецъ, незамѣтно утрачивали музыку, душу языка изъ-за цѣлаго ряда холодныхъ формъ и ихъ измѣненій.

Ясно, ясно помню я это время. Къ намъ назначенъ былъ тогда новый учитель, не очень старый; фпзіономія его была совсѣмъ педагогическая по тому времени: бороды, усовъ, бакъ—не полагалось, волоса на вискахъ зачесывались впередъ, черный галстукъ, шириною вершка два слпшкомъ, подпиралъ подбородокъ.

Учитель былъ женатъ, но бездѣтенъ; жена, которую мы прозвали Ульяновой, была, прежде всего, превосходной кухаркой, о чемъ имѣли мы подробныя свѣдѣнія отъ двухъ товарищей, жпвшихъ у нихъ на квартирѣ.

Учитель былъ сухимъ педантомъ. Онъ, думая отличиться передъ другими учителями, не ограничивался Гречемъ, а началъ задавать намъ, вполне противъ программы, работы по Востокову, п вотъ чтò случилось вслѣдствіе этого со мною.

На одномъ пзѣ самыхъ первыхъ уроковъ, заданныхъ намъ по Востокову, я провалился; это произвело во всемъ классѣ впечатлѣніе, такъ какъ,—разсуждали товарищи,—если провалился онъ, т.-е. я, самый что ни на есть Ломоносовъ, то чтò же ожидаетъ ихъ, остальныхъ?

Время, какъ сказано, подходило къ лѣту. Оставленный безъ отпуска, я рѣшительно не зналъ, чтò мнѣ дѣлать.



Валандался я цѣлый день изъ угла въ уголъ, игралъ въ чирки, въ пузырникъ, но скука одолѣвала непомѣрная. Другіе оставались безъ отпуска довольно часто, имъ было это въ привычку, но я, я—это совсѣмъ другое дѣло. И изъ-за чего? Изъ-за грамматики Востокова, по русскому языку? Я, я—Ломоносовъ!..

Стояла у насъ въ обширномъ гимназическомъ саду старая бесѣдка. Она была двухъярусная. Верхъ, на колонкахъ, подъ крышею, былъ открытый, съ кругозоромъ по саду; отсюда, обыкновенно, наблюдали за нашимъ братомъ-мальчишками, какъ съ вышки, воспитатели. Въ нижнемъ ярусь имѣлось нѣчто въ родѣ склада: тутъ валялись сломанныя скамейки, поломанныя, кончившія свое существованіе, кегли, лопаты, метлы и между этимъ хламомъ сохранившіеся, вѣроятно, отъ очень древнихъ дней и неизвѣстнаго происхожденія два гипсовыхъ, больше чѣмъ въ натуру, грудныхъ бюста—мужской и женскій, отчасти тоже поломанные; одинъ изображалъ лицо чиновное, въ мундирѣ, съ крестомъ на шеѣ, другой—особу женскаго пола, вѣроятно, супругу перваго.

Бѣлые когда-то, теперь—испачканные, покрытые паутиною, оба гипсовые лика глядѣли отъ стѣны на лежавшую передъ ними рухлядь; на одной изъ скамеекъ валялся выкинутый за ненадобностью, набитый травою матрацъ.

— Не соснуть ли?—думалось мнѣ, когда я вошелъ въ эту рухлядню.

Недолго думая, улегся я на матрацъ и, прежде чѣмъ заснуть, сталъ проглядывать грамматику Востокова, именно на тѣхъ страницахъ, за которыя остался безъ отпуска. Мнѣ приходилось зубрить предлоги: движительные, установительные, мѣстительные, совокупительные, творительный безъ предлога, творительный предмета дѣйствующаго, творительный орудія, и проч.

Но, представьте себѣ мое изумленіе, когда, разлегшись на матрацъ, хорошо всѣмъ намъ знакомый, и начавъ зубрить, я увидѣлъ, что я не одинъ въ бесѣдкѣ. Полосатое, розовое съ голубымъ, рубище матраца шевелилось и изъ-подъ краевъ его поглядывали на меня многочисленныя дѣтскія головки; виднѣлись кое-гдѣ ручки, плечики. Что онѣ всѣ смотрѣли на меня,—въ этомъ не могло быть ни малѣйшаго сомнѣнія, потому что и другія дѣтскія головки, виднѣвшіяся въ бесѣдкѣ повсюду—за скамьями, въ метлахъ, даже на обоихъ бюстахъ,—тоже смотрѣли на меня и улыбались.

Я протеръ глаза, чтобы убѣдиться—не сплю ли я? Но я, несомнѣнно, не спалъ. Вниманіе мое было возбуждено до крайней степени тою миловидною картинкою, которая мнѣ представлялась; не могъ я также не замѣтить, что оба искалѣченные бюста тоже какъ будто оживали, напвалились живыми красками, что розовѣли ихъ лица, темнѣли волосы...

— Да вѣдь это учитель и его Ульяновна!—подумалось мнѣ.

Но бюсты сразу погасли, стали опять бѣлыми и покрытыми паутиною. Все остальное не преображалось; дѣтей, очень хорошенкихъ дѣтей, въ пестрыхъ одѣяніяхъ, виднѣлось, по сторонамъ, много; всѣ они улыбались и всѣ глядѣли на меня.

Я спустилъ ноги съ матраца, чтобы встать. Это послужило какъ будто знакомъ къ тому, чтобы и дѣти пришли въ болѣе опредѣленное движеніе.

Со мною, несомнѣнно, творилось что-то чудесное. Я былъ уже не въ грязной бесѣдкѣ, а стоялъ на какомъ-то очень красивомъ лугу, по которому разставлены были дѣтскія игры: карусели, бильбока, гимнастическія машины. По этимъ машинамъ лазали и прыгали ребяташки и дѣвчонки. Въ

небесахъ свѣтилось солнце, на деревьяхъ порхали и пѣли птички. Шумъ, говоръ, смѣхъ, ссоры дѣтей между собою оживляли все видимое мною пространство, и самъ, я, глядя на нихъ, хотѣлъ бы присоединиться къ ихъ играмъ и тоже веселиться и, если надо, ссориться.

— Ты очень удивленъ тѣмъ, что видишь передъ собою?— пропзнесъ, совершенно неожиданно для меня, за моею спиною какой-то дѣтскій голосъ.

Я обернулся. Дѣйствительно, предо мною стоялъ какой-то мальчикъ, стройный, кудрявый, одѣтый въ лазоревую курточку. Выраженіе его лица было совершенно неопредѣленное: не то онъ смѣялся, не то былъ строгъ, не то печаленъ.

— Кто ты такой?—спросилъ я весьма быстро и громко.

— Я—Онъ!—отвѣтилъ мой собесѣдникъ очень быстро.

— Ты—Онъ? Что это значитъ?

— Я—старшее изъ мѣстоименій,—отвѣтилъ мнѣ голубой камзолъ,—я—Онъ. А вотъ подходятъ къ намъ и Она, и Оно, мои ближайшіе родственники. Есть у насъ Ты, только его что-то не видать подлѣ.

Дѣйствительно, къ намъ подходили два существа, тоже въ голубыхъ одеждахъ—одно въ юбочкѣ, а другое въ какомъ-то неопредѣленномъ камзолчикѣ, но тоже лазореваго цвѣта; былъ это мальчикъ или дѣвочка—опредѣлить было невозможно. Личики ихъ были тоже вполне неопредѣленнаго характера.

Я протянулъ имъ руку—и мы поздоровались.

— А ты кто такой?—спросилъ меня Онъ.

— Да, да, кто ты?—подтвердили Она и Оно.

— Я гимназистъ,—быстро отвѣтилъ я.

— Развѣ это еще новая часть рѣчи?—вкрадчиво и не громко спросилъ Онъ.

— Гимназистъ—часть рѣчи!—воскликнулъ я и невольно расхохотался.

Хохотъ этотъ услышали игравшіе поблизости дѣти. Прежде всего подбѣжали къ намъ тѣ, на которыхъ были лазоревыя одѣянія.

— Новый! новый!—слышалось по сторонамъ.—Какое у него несуразное, грязное платье!

— Позвольте, однако, васъ познакомить,—заговорилъ Онъ.—Вотъ наши милые товарищи: вотъ Нѣкто, вотъ Никто, Кто-либо, Весь, Кто, Что, Сколько...

Голубые камзолчики быстро тѣснились ко мнѣ одинъ за другимъ и искренно пожимали мнѣ руку. Не обошлось безъ дракъ: подлѣ меня столкнулись одновременно Кто и Никто и тутъ же заушили одинъ другого препорядочно.

— Такъ это все мѣстоименія?—спросилъ я моего перваго знакомаго.

— Да, да, мы всѣ мѣстоименія, мы—голубые; а вотъ нарѣчія, такъ тѣ всѣ красныя, и курточки и юбочки ихъ совсѣмъ другого, чѣмъ у насъ, покроя. Это нужно, говорятъ, для порядка,—добавилъ мой хорошенькій собесѣдникъ,—чтобы мы не сблизь въ общую кучку, чтобы мы разнились одни отъ другихъ.

Къ этому времени заинтересовавшіеся мною ребятшки, побросавъ свои игры, отовсюду сбѣгались ко мнѣ. Прежде всего обступили меня красненькіе, то-есть нарѣчія. Эти разнились другъ отъ друга мелкими наружными отличіями.

Послѣдовало, точно въ какомъ-нибудь свѣтскомъ салонѣ, взаимное представленіе. Въ подходившихъ ко мнѣ и пожимавшихъ мою руку дѣтяхъ мнѣ назвали многихъ:

— Вотъ это господа Прежде и Послѣ, вотъ Давно и Недавно, Гдѣ-то и Нигдѣ, Тутъ и Тамъ... вотъ господа: Развѣ, Неужели, Не и Ни... вотъ Почти и Отчасти, вотъ Очень и Едва.

Красенькіе, хорошенькіе ребятишки были очень любезны со мною, и на разспросы о томъ, почему у однихъ изъ нихъ бѣлые воротнички, у другихъ черные, а у третьихъ зеленые, мнѣ отвѣтили, что въ этомъ отличіи нарѣчій: обстоятельствъ, подлинности и мѣры.

— Понимаю,—отвѣтилъ я,—но почему же между вами, господа, вижу я также очень странныя двухцвѣтныя одѣянія?

Сказавъ это, я указалъ на мальчика, стоявшаго поодаль, видимо немного дичившагося всѣхъ остальныхъ и отличавшагося тѣмъ, что на немъ, какъ на клоунѣ въ циркѣ, одна половина костюма была красная, а другая—голубая.

— А это нашъ милый Все,—отвѣтили мнѣ нѣсколько голосовъ;—онъ одновременно и мѣстоименіе, и нарѣчіе: довольно трудная, сбивчивая и хлопотливая должность, такъ какъ его требуютъ на занятія вдвое чаще, чѣмъ насъ.

Вполнѣ удовлетворенный этимъ отвѣтомъ и видя, что мнѣ дадутъ объясненія толковыя и съ удовольствіемъ, я попросилъ также сказать: что это за особички такіе, всего нѣсколько человѣкъ, въ ярко-желтыхъ, bouton d'or, камзолчикахъ, неистово продолжавшіе вертѣться на разныхъ гимнастическихъ машинахъ, тогда какъ почти всѣ другіе обитатели этихъ прекрасныхъ мѣстъ тѣснились вокругъ меня.

— Это наши надоѣдливыя, скучнѣйшія, всюду непрощенныя междометія: Охъ, Ахъ, Увы, Ау, Эхъ и проч. Скучныя мальчишки, дерзкіе, очень непріятные. Если вы хотите,—сказалъ мой собесѣдникъ,—убѣдиться въ этомъ, посмотрите, какъ ринутся всѣ они сюда, чуть только мы почему-либо особенно зашумимъ, заспоримъ. Для примѣра, если хотите, мы затѣмъ ссоры; для этого у насъ тоже всегда наготовѣ множество причинъ; междоусобія у насъ не прекращаются... Вотъ, видите ли, насколько я правъ! Мы не успѣли даже и подумать о междоусобіяхъ, а они уже разразились. По-

смотрите, какъ вцѣпились одни въ другихъ Кто-то и Никто, Здѣсь и Тамъ, Сдуру и Спроста, Давно и Недавно, Всюду и Нигдѣ...

Я посмотрѣлъ въ сторону и, дѣйствительно, увидѣлъ завязавшіяся драки. На зеленой муравѣ, попарно, столкнулись, будто заклятые враги, всѣ противорѣчивыя мѣстоименія и нарѣчія; онѣ вцѣпились другъ дружкѣ въ волосы, подставляли ножки, боксировали, опрокидывали одинъ другого, царапались.

Желтыя междометія, привлеченныя необычайнымъ шумомъ борьбы, какъ меня предупредили, немедленно покинули свои мѣста и бросились къ поединщикамъ. Имена междометій становились мнѣ извѣстными скоро; ихъ мнѣ не называли, потому что онѣ сами себя называли по мѣрѣ того, какъ тотъ или другой изъ желтыхъ кавалеровъ подбѣгалъ къ той или другой изъ боровшихся паръ и выкрикивалъ свой лозунгъ:

— Эхъ! Охъ! Ахъ! Ухъ! Ай! Ой! Хлопъ! Бацъ! Ну! Увы!..

Произнося эти возгласы, желтыя междометія быстро перемѣняли свои мѣста по мѣрѣ того, гдѣ какой возгласъ требовался.

Картина развѣтывалась предо мною самая подвижная. Поединки, совершавшіеся вокругъ во множествѣ, были не одинаковой нервности, не одинаковаго озлобленія. Особенно горячо бились, не на животъ, а на смерть, двое изъ красныхъ мѣстоименій. Желтыя междометія, почти всѣ безъ исключенія, стѣснились вокругъ нихъ цѣлымъ вѣяномъ и одновременно оглашали воздухъ своими возгласами: Ухъ! Ахъ! Бацъ! Хлопъ! Ай! Ой! и т. д.

— Кто это такъ ужасно бьется другъ съ дружкой?—не обращаясь ни къ кому въ отдѣльности, спросить я.

— Это самые отъявленные враги у насъ, это Все и

Ничто, никогда и нигдѣ не скрывающіе своей ужасной вражды и не выносяшіе другъ друга.

— Но вѣдь они кончатъ когда-нибудь убійствомъ?—спросилъ я.

— Это невозможно, такъ какъ мы безсмертны,—отвѣтили мнѣ изъ толпы.

— Но когда же эта свирѣпая драка кончится?—спросилъ я.

— Когда нашъ учитель услышитъ.

— Да скоро ли онъ услышитъ, наконецъ!—почти вскрикнулъ я, негодуя на то, что совершилось предо мною.

Сраженіе двухъ прирожденныхъ враговъ дошло до предѣловъ крайняго напряженія; далеко кругомъ была помята трава, но противники не унимались; одолѣвалъ то одинъ, то другой, видимо равносильные, одинаково ловкіе, одинаково сильные. Вторя имъ, отдѣльные поединки нарѣцій и мѣстоименій тоже усиливались, становились кровопролитнѣе,—такъ сказалъ бы я, если бы видѣлъ пролитіе крови, но крови не было у этихъ безсмертныхъ и дракамъ ихъ не предвѣдѣлось конца...

По правдѣ сказать, я начиналъ терять терпѣніе; у меня какъ будто мутилось въ глазахъ. Все и Ничто продолжали неистовствовать, и странное дѣло: когда одолѣвало Все, оно становилось такимъ большимъ, огромнымъ, всезанимающимъ, что очертаніе его являлось для простого глаза неуловимымъ и оно, поэтому, какъ бы обращалось въ Ничто. Когда брало верхъ Ничто—оно, вполне торжествуя, то-есть становясь вполне ничѣмъ, тоже скрывалось изъ глазъ, дѣлалось по незначительности невидимымъ.

— Вотъ я васъ!—раздалось вдругъ гдѣ-то со стороны,—ахъ вы, негодные!..

Какъ ни въ чемъ не бывало, но очень быстро разбѣжались по своимъ прежнимъ мѣстамъ всѣ голубые и крас-

ные ребятишки. а желтыя междометія взгромоздились на самыя верхы гимнастическихъ машинъ и стали лазать и кувыряться.

— Учитель! учитель!—раздавалось по сторонамъ.

Я думалъ, что увижу учителя, пришедшаго прекратить драки, но вышло наоборотъ: я очутился безмолвнымъ зрителемъ того, что дѣлалъ учитель, но не на лугу, а дома, у себя. Учитель оказался у насъ общій со всѣми голубыми, красными и желтыми ребятишками. Это былъ мой учитель.

Онъ былъ занятъ пысканіемъ или сочиненіемъ новой частицы рѣчи.

Физиономія его, къ великому моему изумленію, была вовсе не та, къ лицезрѣнію которой я такъ привыкъ въ классахъ. На немъ былъ не обычный, со свѣтлыми пуговицами, сюртукъ, не высился подъ подбородкомъ его галстукъ, а длинное одѣяніе. въ родѣ тапихъ, какія рпсуютъ на волшебникахъ, съ черными драконами и змѣями на яркомъ фонѣ, только вмѣсто драконовъ и змѣй виднѣлись разныя частицы рѣчи. На головѣ торчала остроконечная, какъ сахарная голова, шапка. Въ рукѣ держалъ онъ какую-то стеклянку съ жидкостью и переворачивалъ ее, глядя на свѣтъ огромнаго огня, разведеннаго въ печи.

Супруга его, Ульяновна, была тутъ же и занималась приготовленіемъ пеленокъ. Мнѣ вспомнилось при этомъ, что моя мамаша иногда тоже приготовляла пеленки; это случалось всегда, я не знаю почему, именно передъ тѣмъ, что у меня являлись новые братецъ или сестрица.

— Ну что же, жена,—проговорилъ учитель,—скоро у тебя все готово будетъ?

— Вотъ ужъ кончу.

— Торопись, торопись: пожалуй, скоро понадобятся. Удивительный это будетъ у меня субъектъ, совсѣмъ небыва-



лый. Приготовь желтое платье—появится новое междометие—Бррръ! его имя; какъ тебѣ нравится это имя?

— Я предпочла бы: Брысь!—это красивѣе.

Учитель, незадолго передъ тѣмъ оставившій стеклянку и закулившій трубочку, сіялъ счастьемъ. Бррръ! не значилось еще ни въ одной грамматикѣ, да и Брысь, случайно оброненное милою женою, тоже требуетъ узаконенія. «Быть первымъ въ ряду грамматиковъ—это заслуга важная, стоящая всякихъ отличій. И что это за нескончаемое богатство нашъ русскій языкъ, и что за счастье быть однимъ изъ жрецовъ его!»—думалъ учитель.

Всю эту сцену видѣлъ я, и весь разговоръ слышалъ, робко прижавшись къ темной стѣнкѣ, къ которой совершенно случайно и неожиданнымъ образомъ попалъ.

«Ну, что»,—думалось мнѣ,—«если они вдругъ увидятъ меня? Что если я попаду въ стекляночку въ качествѣ какого-нибудь опыта, что если меня начнутъ жарить, рѣзать, гнуть, мять, мучить всѣми способами, на честь и славу грамматикѣ и для знаменитости учителя?»

Холодный потъ проступилъ на лбу моемъ—и я не смѣлъ шевельнуться.

— А какъ ты думаешь, Ульяновна, не испытать ли намъ чего-либо на томъ гимназистѣ, который только-что взбодоражилъ у меня всѣ моп нарѣчія, междометія и мѣстоименія?

Я не зналъ, что учитель называлъ свою жену Ульяновой; такъ называли ее мы, а на самомъ дѣлѣ у нея было другое имя; Ульяновна немедленно отвѣтила:

— Развѣ испытать тебѣ что-либо съ приставками? Помнишь—ты начиналъ какъ-то?

— Т.-е. со всякими На, У, По, При и друг. Мнѣ, дѣйствительно, не разъ приходило въ голову, что эти приставки подлежатъ развитію и классификаціи. Онѣ, соб-

ственно говоря, самая безпардонная команда въ русскомъ языкѣ, хуже всякихъ неправильныхъ склоненій и спряженій; пхъ, дѣйствительно, надо бы привести въ нѣкоторый порядокъ. Пойдемъ-ка, посмотримъ на нихъ, гдѣ онѣ у насъ, эти приставки обитаютъ.

Учитель и его жена неожиданно поднялись со своихъ мѣстъ и ушли.

«Господи!»—думалось мнѣ,—«неужели и всякая приставка тоже живое существо, какъ нарѣчія и мѣстоименія? Неужели и у нихъ есть свое одѣяніе, свое мѣстожительство?»

Я готовился улизнуть изъ того помѣщенія, въ которомъ находился противъ воли, какъ вдругъ неожиданный шумъ поразилъ меня. По мѣрѣ быстрого приближенія этого необъяснимаго, но очень, очень хорошаго, звучнаго, полного музыки шума, вся обстановка помѣщенія, въ которомъ я находился, начинала какъ-то свѣтлѣть, становилась прозрачною. Въ таинственномъ полусвѣтѣ тихонько зашвыряли стѣны и потолокъ, исчезали отдѣльные предметы,—и я увидѣлъ себя гдѣ-то среди луговъ, полей, лѣсовъ, ручьевъ, съ далекими видами на деревни, на церкви ихъ, на стада, на безконечную даль голубого небосклона. Я слышалъ вокругъ себя пѣніе птицъ, ленеть ручьевъ, колокольный звонъ, слышалъ, и не въ одномъ какомъ-нибудь мѣстѣ, пѣсни, слышалъ шорохъ лѣсной, говоръ людской, и все это, вмѣстѣ взятое, сливалось въ одинъ какой-то могучій, музыкальный строй, надвигавшійся въ торжественной гармоніи все ближе и ближе...

— Это живая русская рѣчь близится и слышна тебѣ! Это она грядетъ! — прощепетала, проносясь надо мною, какая-то любезная птичка.

— Видишь ли ты эти валуны, разсѣянные по полямъ? Это грамматическія правила и ихъ сочинители,—объяснила мнѣ струйка быстро пронесшагося вѣтра.

— А вонъ и твой учитель съ Ульяновой!

— Они тоже камнями стали, лежащими въ руслѣ неудержимаго стремленія живого русскаго языка!—объяснила мнѣ попрыгунья-стрекоза, которая, къ слову сказать, нигдѣ никогда не прыгаетъ, и которую почему-то смѣшиваютъ съ кузнечикомъ.

Бѣдная Ульяновна, бѣдный учитель! Обращенные во мшистые, сѣрые камни, они хотя и сохранили человѣческій образъ, но лики ихъ были такіе печальные, некрасивые.

Почувствовавъ въ себѣ, благодаря прибытію русской рѣчи, какую-то небывалую увѣренность, близкую къ дерзости, я громко заговорилъ, обращаясь къ камнямъ:

— И это вы-то думали уловить русскую живую рѣчь,—сказалъ я,—вдавить ее въ формы, опредѣлить ея неопредѣленные тонкости, ея поразительно звучныя вольности, безконечность ея развитія и замкнуть все это въ тиски грамматики?

— Да вѣдь нельзя же вовсе безъ грамматики,—жалобно простонали въ унисонъ учитель съ Ульявною, какъ бы оправдываясь передо мною.

— Нельзя, конечно, нельзя!—отвѣтили хоромъ вдругъ откуда-то появившіяся уже знакомыя мнѣ голубыя, красныя и желтыя частицы рѣчи. Всѣ онѣ защищали свою самостоятельность. Ихъ было гораздо больше, чѣмъ значится въ грамматикахъ. Въ живописномъ беспорядкѣ опустились онѣ на каменные облики учителя, Ульяновны и другихъ грамматиковъ, разсѣянныхъ по полю валунами. Чрезвычайно красиво было видѣть, какъ эти хорошенькія, молодыя, граціозныя созданьяца возсѣдали на неподвижныхъ, мшистыхъ, страждущихъ обликахъ своихъ безмолвныхъ создателей и формовщиковъ. Бунтливые крики ихъ становились все рѣзче и сильнѣе.

— На этихъ каменныхъ устояхъ нашихъ, — вопіяли они:—выдержимъ мы всякую осаду, всякое нападеніе! Намъ не мало для отпора! Мы, вотъ, то и то сдѣлаемъ, то и то преобразуемъ, сокрушимъ, передѣлаемъ по-своему!

Казалось, что бунтъ ребятишекъ и дѣвчонокъ достигалъ размѣровъ невозможныхъ, близкихъ къ кровопролитію. Но тутъ произошла, опять-таки, совершенная неожиданность.

— Вотъ я васъ! — заговорила вдругъ гдѣ-то въ пространствѣ, заговорила полною грудью, во всей музыкальности своего могущества и красоты, невидимая, неуловимая, сама безсмертная русская рѣчь. Откуда шли ея слова, гдѣ находилась она сама—я не знаю и, по правдѣ сказать, значительной части того, что она сказала, я не понималъ, но то, что она говорила, — помню очень ясно и хорошо.

— Вотъ я васъ!—повторила русская рѣчь.—У васъ тутъ, я вижу, возмущеніе идетъ, вы властей не признаете... Ну, такъ и быть, потѣшайтесь, потѣшайтесь... Ни сами вы, дѣтки мои, частицы рѣчи, ни мудрые грамматики, васъ такъ бережно подбирающіе, сортирующіе, согласующіе и прихорашивающіе, мнѣ не страшны... Не въ грамматикѣ дѣло; не подѣ-стать, не по-плечу, не въ-пору мнѣ всѣ ваши разношерстыя одѣянія. Сложилась я — лѣтописная рѣчь, сложилась я — былинное слово, сложилась я — пѣсня народная сама собою задолго до грамматикъ и не нуждаюсь я въ нихъ, и жила, и возрастала. Не въ грамматикѣ позналъ меня нашъ величайшій художникъ слова! Съ колыбельной пѣсенкой внѣдрялась я въ нарождавшуюся душу; не въ грамматикѣ почерпаю и не по грамматикѣ произношу я первое слово молодой любви; не по грамматикѣ, наконецъ, въ снѣжную метель безпросвѣтной ночи, въ мпнуту всплывшей на душѣ отваги, въ тяжелый часъ упорнаго, непосильнаго, столь привычнаго

моему народу, труда создаю я свое крѣпкое слово!.. И не угнаться вамъ, господа грамматики, съ вашими веригами за мною, за воздушною, безплотною, бессмертною живою рѣчью, полною зеленого шума, малиновыхъ звуковъ и обнимающею полземли!

Какъ сказано, я не видѣлъ, кто и гдѣ говорить, не все понималъ, но сладко было мнѣ слушать этотъ задушевный голосъ, западали мнѣ въ сердце эти пѣвучія слова. Повидимому, онѣ оказывали свое вліяніе и не на одного меня: тѣ камни, въ которые обратились учитель и Ульяновна и другіе грамматики, начинали какъ будто пошевеливать своими каменными чертами лицъ и плакали...

---

На утро слѣдовавшаго за всѣмъ рассказаннымъ дня, очутился я въ карцерѣ, потому что произвелъ значительную тревогу во всей гимназій: уже въ десятомъ часу вечера, послѣ долгихъ розысковъ, нашли меня спавшимъ въ бесѣдкѣ, на полугниломъ матрацѣ и съ вывалившеюся изъ рукъ книжкою толстой грамматики Востокова, лежавшею подлѣ меня на землѣ.

---

## СОСУНЪ.

---

Тетка Маланья любила выпить; особенно любила она настаивать очищенную на брусникѣ, и именно на такой брусникѣ, которая долгое время зимовала подъ снѣгомъ.

Это было не легко найти такую бруснику. Во-первыхъ подлѣ деревни Самочухи, въ которой обитала Маланья были только два такихъ мѣста въ сосѣднихъ лѣсахъ, гдѣ брусника водилась; во-вторыхъ, эти два мѣста были знакомы всей деревнѣ отнюдь не меньше, чѣмъ Маланьѣ, и, въ-третьихъ, тетерева и другая лѣсная птица тоже знали эти мѣста и гораздо раньше, чѣмъ деревенскій народъ, по зарѣ, посѣщали ихъ.

— А скажи, Маланьюшка,—говаривала ей родственница Аграфена,—ты бы, по-моему, на рябину перешла для настойки; не въ примѣръ сподручнѣе.

— Горечи той не будетъ,—отвѣчала Маланья,—пробовала я рябиновую, пробовала.

— Зато рябины у насъ вволю, сколько хочешь клади; ну, и въ рябинѣ запаху больше.

— Запаху? запаху больше?

— А и точно, что больше,—повторяла Аграфена.

— Испробуемъ, родная, испробуемъ.

И начинали онѣ пробовать, сходясь со своими фляжками то у одной, то у другой. Любили онѣ призывать къ себѣ, въ качествѣ оцѣнщика, бывшего старосту Михея, и кончалась эта исторія къ полному удовольствію всѣхъ трехъ, но безъ разрѣшенія вопроса о большей или меньшей пахучести брусники или рябины.

Насколько любила Маланья свою брусничную, настолько же, если не больше, любила она и злословить ближняго. Это ужъ отъ временъ Ноевыхъ такъ ведется, что вино и злословье, что соль ко щамъ, что масло къ кашѣ. И досаждала она людямъ сильно, и не любили ея и боялись.

Удивительная была у нея манера защищать себя въ тѣхъ случаяхъ, когда ее излавливали во лжи или клеветѣ. Такъ какъ она была грамотная и даже газеты читала, а въ газетахъ больше всего разные уголовные процессы изучала, то и поняла она всю сласть «невмѣняемости» по причинѣ того, что во хмелю была.

— Ты,—говорять ей,—Маланья такъ и сякъ на такую-то бабу ябедничала!

— Я?—возражала удивленная Маланья:—я? а когда же это было?

— Да на гумнѣ у барина, какъ рожь молотили.

— А ни-ни!—отвѣчала Маланья.

— Да вѣдь всѣмъ міромъ слыхали?

— Что ты, что ты, родимый!—говаривала она.—Да слыханное ли дѣло, чтобы человекъ въ своемъ умѣ былъ, да такія вещи распускать могъ. Ну, развѣ, во хмелю какъ-нибудь, ну, это дѣло другое, тогда, бываетъ, и невѣсть что скажешь. А то, ни-ни, не виновата, видитъ Богъ—не виновата.

Люди уходили отъ нея, не получивъ большаго признанія истины, и Маланья, который уже годъ—ей шелъ шестой десятокъ—людей поносила.

Нерѣдко, въ глубокую зиму, когда вся окрестность Самочухи лежала подъ снѣгомъ, Маланья, запасшись фляжкою съ настойкою, хлѣбомъ и небольшимъ, ею избрѣтеннымъ инструментикомъ для отгребанія снѣга, уходила въ лѣсъ за брусникой. Придетъ, бывало, на брусничное мѣсто, да и смотреть: не взрыли ли гдѣ тетерева снѣгу? Всякій холмикъ, всякую кочку родного лѣса знала она наизусть, и хотя снѣжные сугробы наваливали саженные, хотя не было въ лѣсу никакого протоптаннаго пути, а ходить было трудно, очень трудно, она все-таки находила искомое.

Упарится, бывало, въ душегрѣйкѣ, а все ищетъ, все ищетъ. Войдетъ въ самую чащу въ своей сермягѣ, а если походить съ полчаса—вся бѣлою отъ снѣга станетъ, и не то что платокъ на головѣ, но и сѣдые волосы подъ платкомъ всѣ снѣгомъ пересыплутся. Въ высокія голенища мужицкихъ валенокъ тоже снѣгъ забьется, да и растаетъ, а пальцы на рукахъ красные, чѣмъ твоя малина, стануть.

Взглянетъ она въ свой коробокъ: есть чѣмъ выпить, можно и отдохнуть; сядетъ гдѣ-либо на поваленномъ деревѣ или на пень, примется за фляжку, а тамъ опять на поиски. И никто изъ деревенскихъ не удивлялся, завидѣвъ Маланью въ лѣсу: всѣ знали ея тетеревиные поиски.

Близилось время къ святкамъ, къ Рождеству. Занялся надъ Самочухой удивительно роскошный зимній день. Въ ночь гудѣла метель, снѣгъ валилъ хлопьями, а къ свѣту, примѣрно часу въ восьмомъ, погода стихла. По густымъ, мягкимъ, безусловно бѣлымъ сугробамъ молодого только-что нанесеннаго снѣга скользили розовые отблески заалѣвшаго неба. Все стало розовымъ, все, и тому человѣку, который бы, проснувшись въ восемь часовъ утра и взглянувъ въ окошко, увидѣлъ эту прелесть картины, эту, своего рода, какъ бы весну зимою, не могло бы и въ голову придти, что часа за два до того бушевала вьюга, сыпался



сверху густой, огромными хлопьями, снѣгъ и, казалось, не будетъ исхода ни тѣмѣ, ни завываньямъ метели, ни безвременью ожиданія зоревыхъ лучей.

Неудачна была послѣдняя прогулка Маланьи за брусникой. Не попадала ли она на хорошія мѣса, не порвали ли больше, чѣмъ обыкновенно, тетерева или другая птица, а можетъ-быть, просто-на-просто, ей была незадача, только рѣшила она, въ виду того, что день былъ очень свѣтлый, пробраться на новое мѣсто, подальше, а именно на кладбище, отстоявшее отъ Самочухи верстахъ въ пяти. Мимо кладбища шла дорога въ городъ. На кладбищѣ, замѣтила Маланья давно уже, росла брусника, и что ея по осени тамъ очень много бываетъ.

Запасшись своею обычною поклажею, вышла Маланья на улицу, а въ это самое время дядя Михей выѣзжалъ въ лѣсъ за дровами на дровняхъ. Остановила она его.

— Не подвезешь ли, Михенчъ?—спросила она.

— Для-че не подвезти! А тебѣ куда нужно?

— А куда ты-то ѣдешь? По дорогѣ будетъ — такъ сажусь!

— А я до мельничной поляны.

— За дровами, что ли?

— Точно.

— Ну, и вези меня, потому я на кладбищѣ побывать желаю.

— Мѣсто себѣ готовить, что ли, идешь?

— Тѣфу! лоботрясъ этакій!—отвѣтила Маланья,—не хочешь—не надо.

— Ну, ладно, ужь доругаешься,—отвѣтилъ Михей,—а пока что садись, подвезу!

Михенчъ, стоявшій на дровняхъ, придвинулся ближе къ дуговинамъ, къ хвосту своей савраски, чтобы дать Маланьѣ мѣсто; она усѣлась спиною къ его ногамъ и про-

тянула свои ноги вдоль дрѣвенъ настолько, что онѣ висѣли на воздухѣ.

— А что же, тетка, — спросилъ Михай, полуоборотясь къ ней:—развѣ фляжка-то пуста, что не предлагаешь?

— А и впрямь! погоди, на вотъ, выпьемъ, — отвѣтила Маланья, доставъ изъ-за пазухи фляжку и обернувшись къ Михею полуоборотомъ. Михай глотнулъ изъ фляжки, глотнула и Маланья, затѣмъ повторили, и еще разъ повторили.

— Ну, такъ-то лучше будетъ,—сказалъ Михай, возвращая фляжку.

Хлеснулъ онъ возжой по савраскѣ; лошадь тронула, брыкнула раза два задомъ, сѣдоки всколыхнулись, и понеслась лошадка галопомъ по непорочному, свѣжему снѣгу, разрумяненному роскошнымъ утромъ, какихъ не мало впадать въ нашу непривѣтную и долгую зиму.

Невдали отъ кладбища, когда уже совсѣмъ ясно видна была церковь, Михай остановилъ лошадь.

— Ну, слѣзай теперь. Я направо должонъ.

Маланья слѣзла и побрела дорогою по направленію къ церкви, а Михай свернулъ вправо по пѣхоти, которая кое-гдѣ проглядывала своими черными межами изъ-подъ глубокаго снѣга.

Церковка, къ которой направлялась Маланья, не имѣла своего причта. Какъ и почему случилось такъ, что она стояла одна-одинѣхонька, оберегая свое кладбище, вдали отъ всякаго жилья—сказать трудно. Вѣроятно, когда-то, очень давно, такъ давно, что никто и не запомнить, именно тутъ стояло знатное село и при немъ церковь, имѣлся, можетъ-быть, и помѣщичій домъ, но затѣмъ жизнь предпочла перемѣнить мѣсто и тогда возникли окрестныя села, ближайшее изъ нихъ Самочуха, въ пяти верстахъ. Что тутъ когда-то существовало нѣчто лучшее, свидѣтельство-

вало самое кладбище, потому что на немъ виднѣлось нѣсколько каменныхъ памятниковъ, но такихъ старыхъ, такихъ старыхъ, что даже ни одной надписи на нихъ не сохранилось; въ лѣтнее время эти камни, покрытые желтымъ, густымъ мохомъ, казались даже вовсе не памятниками, а чѣмъ-то очень схожимъ съ камнями, торчавшими по окрестнымъ полямъ.

Въ старой деревенской церкви литургія совершалась только дважды въ годъ: въ день Параскевы Пятницы, во имя которой была она построена, и еще почему-то—этого тоже никто объяснить не могъ—въ день Петра и Павла. Тогда стекались къ ней отъ всѣхъ ближайшихъ селъ богомольцы, устраивалось что-то въ родѣ нигдѣ не прописанной и ни въ какихъ спискахъ не значащейся ярмарки, шла тогда гульба, а затѣмъ, къ ночи, мѣстность опять совершенно пустѣла и водворялось глубокое молчаніе, нарушаемое только звуками птичьяго царства и тѣми неожиданными тресками и стукомъ, которые порождаются царствомъ растительнымъ, благодаря падающимъ вѣткамъ, скрипу древесныхъ стволовъ и разговорами листьвы.

Заросло тихое кладбище деревьями густо-на-густо. Царили на немъ остролистые, свѣтлозеленые клены, много было березъ, даже очень древнихъ, разрастался орѣшникъ и чудесно отдѣняла лиственную зелень темная ель, имѣвшаяся на-лицо въ достаточномъ количествѣ и всѣхъ возрастовъ. Протекала также по окраинѣ кладбища ручей, изобиловавшій шаловливою форелью, не достигавшею, правда, размѣровъ хотя бы четверть-фунтовыхъ, но все-таки это была несомнѣнная форель. Ручеекъ этотъ, струившійся подлѣ кладбища, много оживлялъ его не только своимъ вѣчнымъ, довольно громкимъ лепетомъ, но также и тѣмъ, что свѣжія струйки его нерѣдко привлекали къ себѣ, особенно въ жаркое время, и птичку, и звѣрка, и даже, бла-

годаря обилію прибрежныхъ цвѣтовъ, бабочекъ и множество стрекозъ.

Ничего этого не было и въ поминѣ, когда Маланья, добравшись до кладбища, начала обходить его въ своихъ поискахъ. Аршинная, а мѣстами и болѣе, мощная пелена снѣга покрыла всѣ безсчетные кресты и другіе памятники, которые торчали тамъ и сямъ, темнѣя на глубокой бѣлизнѣ общаго покрова. Опушенные еще съ ночи снѣгомъ деревья пригнули къ землѣ свои вѣтви, и нерѣдко наружные концы этихъ вѣтвей спускались въ самый снѣгъ, словно ушнряя основаніе дерева. Такъ какъ по кладбищу росло много дикаго хмеля и онъ вился повсюду, то длинныя, змѣеобразныя стебли его, оголенные отъ всякой листвы и утолщенные вчетверо облѣпившимъ ихъ снѣгомъ, переплетались повсюду какою-то фантастическою, мѣстами какъ бы порванною, сѣтью.

Когда Маланья очутилась на кладбищѣ, о розовыхъ тѣняхъ утра не было больше и помина; снѣгъ лежалъ ослѣпительно бѣлый и поверху распространялось сѣрое, свинцоваго цвѣта небо, такое именно, какое означаетъ приближеніе непогоды. Множество воронъ летало по кладбищу, стряхивая съ деревьевъ бархатистый, рыхлый снѣгъ, какъ будто мало лежало его на землѣ.

— Какъ же это, однако,—подумала Маланья,—я до сихъ поръ не перекрестилась?

Оборотясь лицомъ къ церкви, она сдѣлала нѣсколько крестныхъ знаменій.

Церковь была деревянная, съ однимъ небольшимъ чечевичнымъ куполомъ и со старою звонницею, стоявшею надъ въѣздными воротами. Зачѣмъ стояли тутъ ворота, тогда какъ не видѣлось никакого забора,—сказать трудно, но вѣрно то, что, когда привозили покойника, чтобы хоронить, то его ввозили непременно сквозь ворота, вѣчно

открытыя настежь. Покойниковъ привозили довольно часто, потому что крестьянскій міръ, дорожившій пахатнымъ мѣстомъ, предпочиталъ кладбище св. Параскевы, потому что оно было готово, крестьянскаго мѣста не занимало и было не то чтобы очень далеко отъ семи или восьми деревень.

Стала обходить Маланья кладбище также и на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ должны были быть берега ручья; натолкнулась на довольно обильную бруснику, и брусника была особенно хороша—совсѣмъ сморщенная. Корзпнчка, взятая ею, быстро наполнялась; отъ бугра къ бугру переходила баба безостановочно. Почуя въ необходимость закусить и выпить, она выбрала подобающее мѣсто и закусила хорошо, а выпила больше, чѣмъ слѣдуетъ.

Заснула Маланья, и заснула глубоко.

Короткій зимній денёкъ уже близился къ концу, а она все спала. Медленно погасъ онъ и, погасая, сталъ сыпать съ неба обильные, густые, чрезвычайно большіе хлопья снѣга. Вѣтру не слышалось никакого, морозу градуса два—не больше, и сонъ Маланьи былъ совершенно безмятеженъ и очень глубокъ. Когда она проснулась—тьма лежала непроглядная.

Она встала. На-ощупь отыскала она свою поклажу и стала соображать, что же ей теперь дѣлать, куда ей путь лежить? Кажется ей, что церковь была вправо, когда она заснула, значить—дорога должна проходить тутъ.

Пошла... идетъ... идетъ съ трудомъ, нерѣдко спотыкается и даже падаетъ.

— И не взяла же я хворостины,—думала она,—все бы сподручнѣе было.

Страшная тишина окружала ее и тьма висѣла тяжелая. По мѣрѣ того, какъ баба подвигалась то вправо, то влѣво, а можетъ-быть, и топталась на мѣстѣ, совершенно противъ

воли ея, начали возникать въ ней воспоминанья о людяхъ, которыхъ она знала и которые похоронены здѣсь. Идти было тяжело и она остановилась, чтобы перевести духъ.

— Алена... Анна... Сидоръ Пахомычъ... Панкратій... Маша-красавица... кузнецъ Ефимъ... малыя дѣти Иванюка, пятеро сразу похороненныхъ... и еще, и еще...

Всѣ эти имена и лица скользили по памяти Маланьи, и все яснѣе, все ярче, все многочисленнѣе!

Прошло неизвѣстно сколько времени, и начинается замѣчать Маланья, что вытаскивать ей ноги изъ снѣга становится все труднѣе, какъ будто снѣгъ глубже становится и что какъ будто она стояла уже на этомъ мѣстѣ. Непроглядная тьма, окружавшая ее отовсюду, не давала никакого отвѣта.

— Хоть бы гдѣ огонекъ какой-нибудь,—думается Маланьѣ,—звѣздочка, что ли, небесная! Хоть бы голосъ какой человѣческій... А ну, какъ покойникъ какой-нибудь позоветь... Панкратій, напимѣрь...

И при мысли о Панкратіѣ заходило въ сердцѣ Маланьи, потому что, такъ да не такъ, а все-таки она, а не кто другой, причиною его смерти явилась!

— Панкратій... Панкратій... какъ онъ тогда навзвичъ сразу повалился!—вспомнилось Маланьѣ.

И словно жаръ какой-то ее обдалъ, когда вдругъ, въ глубокой тьмѣ и тишинѣ ее окружавшихъ, видитъ она передъ собою, видитъ въ полной яркости, со всѣми красками, и слышитъ, какъ бы вотъ дѣйствительно услыхала все происшедшее при смерти Панкратія: толпа деревенская... Маланья жену его при людяхъ поносила... мужъ вступился... за что поносила?.. «Ахъ ты такая, да сякая»,—кричитъ онъ Маланьѣ и кулаки сжимаетъ, въ воздухъ поднимаетъ и ногами топочетъ... Бросился онъ на Маланью... только вдругъ закачался... хлопъ на землю... и былъ таковъ!..

И смѣнился въ Маланьѣ жаръ на холодъ, и погасла передъ глазами ея яркая краска картины съ Панкратіемъ, только-что озарявшая ихъ своимъ свѣтомъ.

И вѣдь Панкратій тоже тутъ похороненъ, тутъ гдѣ-то...

И быстро, по возможности, хотѣла бы Маланья двигать ногами, бѣжать куда-нибудь въ сторону, но гдѣ тутъ сторона, куда бѣжать, когда только и есть, что мракъ и тишина безконечныя, а свѣтъ, что ни шагъ, то глубже, а ноги все слабѣе и слабѣе.

Споткнулась Маланья обо что-то, руками ухватилась: чувствуетъ—малый крестъ въ рукахъ ея; удержалъ онъ ее—не упала...

Только лучше бы упала, потому что и тутъ, пожалуй, она причина... тотъ крестикъ дѣтскій, маленький, такой, а все-таки отъ паденія онъ ее остановилъ. Перекрестилась Маланья, а передъ нею другая, не менѣе яркая, картина поднимается, еще правдивѣе прежней:

...Воскресный день... бабы на улицѣ ссорятся... Алена съ Анной бранью-бранятся, а Алена на сносѣ, совсѣмъ въ концѣ... дѣтища ждутъ... бранятся бабы за сплетню, которую Маланья распустила... Шумъ, крики... Мужики собрались, только вдали, по кругу остановились и смотреть... «Ты, молъ, такая и сякая»,—кричитъ Алена... а Анна, не долго думая, хватъ ей кулакомъ, да въ самый желудокъ... ну, дитя не доносила... дитя похоронили...

...Можетъ, это надъ нимъ крестикъ этотъ поставленъ,—думаетъ Маланья и, выпрямившись во весь ростъ, крестится, крестится, только не знаетъ, на которую сторону ей креститься, потому что тьма и кругомъ ни звука, ни шелеста.

Сдѣлала она еще нѣсколько шаговъ впередъ... Филинъ гдѣ-то закричалъ, ребеночкомъ заплакалъ... Плачетъ, горемычный, плачетъ такъ, что душу воротить...

Побѣжала-было Маланья... свободное мѣсто оказалось... побѣжала. точно будто ей кто-нибудь чудесныя силы прибавилъ, бѣжить, куда—и сама не знаетъ, и не споткнется... а филинъ какъ будто навстрѣчу ей залетѣлъ, и опять плачется...

Ударилась Маланья въ сторону бѣжать... гдѣ сторона—не вѣдаетъ... въ сердцѣ такой грохотъ стоитъ, что хоть грудь разломать, такъ и то впору будетъ... Скорѣй, скорѣй... двигается... вѣтки древесныя въ лицо бьются... она то и дѣло спотыкается... о кресты и стволы древесныя ушибается, и въ лицо ей хватило, и въ бокъ ударило, и нога подвернулась и заныла... А Маланья только бы отъ филина убѣжать, дальше, дальше... И погоня ей какая-то чудится... и бездна вдругъ открылась, и падаетъ Маланья, летитъ... за нею слѣдомъ что-то вокругъ посыпалось, на нее обрушилось, засыпало... ударило...

Та же тьма... только бабѣ двигаться больше некуда, только шумъ какой-то подлѣ Маланьи идетъ, словно камушки сыпаются... больно головѣ, больно плечу... когда она падала—цѣпляясь, руками удержаться думала—руки исцарапала въ снѣгу, въ землѣ; ногти будто съ мѣста содраны.

Не совсѣмъ еще оказалась искалѣченною и уничтоженною баба; вернулось къ Маланьѣ погасшее сознание.

...Филина не слышать... дитя не плачетъ... я, значитъ, въ могилку, кому ни на есть приготовленную, попала... въ могилку! щупаетъ она по бокамъ: точно—земля! корни какіе-то подъ пальцами чуются, комья земли срываются, снѣгъ сыпается... Ни зги не видать...

Филинъ опять закричалъ, близко гдѣ-то, гораздо ближе...

— Не замай, окаянная!—крикнула вдругъ Маланья во всю мочь своей запыхавшейся, ушибленной груди,—не замай!—повторила она, и голосъ ея, одичалый, испуганный,



вырвавшись изъ могилки, въ которой она сидѣла, разнесся по кладбищу и замеръ въ отдаленіи, безотвѣтный, напрасный... Испугался, должно-быть, филинъ, замолчалъ...

....А зачѣмъ это вокругъ меня,—думается Маланьѣ,—такъ свѣтло становится? Господи! Господи! не заря ли небесная, моя спасительница, занимается!

Крестится Маланья, крестится усиленно, никогда такъ не крестилась, никогда...

Только нѣтъ, не заря небесная занимается: это костяки людскіе свѣтятся начинаютъ! которые изъ нихъ рассыпались—въ цѣлое собираются... примѣряютъ одну, другую голову, не своя—бросаютъ! Косточки зардѣлись, одна о другую постукиваютъ, и уже не тьма кромѣшная вокругъ Маланьи, а свѣтъ великій, ослѣпляющій! И не безмолвіе повсюду царствуетъ вокругъ, а идетъ говорливая работа... и не поденщики тутъ трудятся, а сами на себя косточки работаютъ, торопятся въ цѣлыхъ людей собраться...

— Слышали,—говорятъ эти цѣлые, прежніе люди,—Маланья умерла, къ намъ прибыла...

— Алена, Алена! гдѣ ты, родная, гдѣ твое дѣтище малое, невинное, до колыбельки не выросшее?..

— Давайте сюда Панкратія, давайте его сюда! чтò залежался! успѣетъ въ цѣлой-то вѣчности вволю належаться.

Видится Маланьѣ издали и Панкратій, здоровенный дѣтина, съ кулачищами на воздухъ поднятыми; не идетъ онъ, а ногами топочетъ, точь-въ-точь какъ въ самую минуту смерти своей... только не на мѣстѣ онъ остается, а къ Маланьѣ приближается... Хочетъ Маланья перекреститься—не можетъ; глаза закроетъ—еще яснѣе видятъ; крикнуть бы опять—да въ груди точно камень лежитъ, ни шевельнуться, ни откликнуться...

А тѣмъ временемъ косточки, людьми ставши, на Царицу Небесную молиться идутъ.... гдѣ же ты, Царица Не-

бесная, Мать-Богородица?—думаетъ баба.—Спаси ты меня грѣшную, безсидьную... Гдѣ ты, Всеблаженная?—но вотъ Ея-то именно глаза Маланья не видятъ, хотя все остальное въ далекую даль, костяками освѣщенную, видятъ... Поклонились костяки Царипѣ Небесной, возвращаются, на Маланью идутъ, Маланью отыскиваютъ...

А прежде всего идутъ дѣтки, малъ-мала меньше, ихъ видимо-невидимо; подростковъ тоже довольно; искать имъ Маланью приказано. Извѣстно, что малыши вездѣ пролѣзутъ, во всякой дырѣ побываютъ, ну, и приказано имъ искать, искать старательно... ищутъ!

— А вы бы ее, родненькіе,—говорилъ кто-то,—у кабачка поискали.

— А и точно, у кабачка, тамъ ей и мѣсто.

— А нѣтъ, такъ и дома съ Аграфеной и Михеємъ сидятъ и брусничную съ рябиновой пробуютъ.

— Маланья!—кричатъ костяки, — Маланья! гдѣ ты, откликнись! ау! ау! Маланьюшка!..

Никогда, никогда не слыхивала Маланья такого звучнаго ауканья, а это потому, должно-быть, что косточки сами по себѣ звонки, такъ по нимъ, какъ по лѣсу, звончѣе и раздается.

— Ищите, ищите дѣтки!—раздается по сторонамъ.

— А вы-то, большаки,—рывнуль вдругъ Панкратій, а ему вслѣдъ и кузнецъ Ерема,—сами-то чего зѣваете? дѣтей на поиски шлете, а самимъ не въ охоту, что ли, ее живьемъ получить?

— Какъ живьемъ?

— Ну, вѣстимо, живую...

— Такъ не умерла, значить, а живая, съ кровью живою и теплою къ намъ прибыла?..

При этомъ пзвѣстіи радость разлилась по костякамъ непомѣрная; зубы ихъ ослабились, ноги въ плясъ пустились,

и это потому, что нѣтъ высшаго добра, какъ въ холоду зпннемъ къ теплой человѣческой крови прикоснуться, испить ея, хотя бы глотнуть, чтобы по замершимъ губамъ и язамъ опять живое тепло пробѣжало...

И раскатывалось это веселіе костяковъ по подземному царству безъ удержу и безъ препятствія. Шумѣли и бѣгали костяки на поискахъ во все стороны, и сшибались, и разбѣгались. Красно-золотистою была при этомъ далекая даль подземная и нависали по ней корни древесные что деревья, все въ розовыхъ побѣгахъ и ярко-пунцовыхъ почкахъ, и между нихъ шмыгали, отыскивая Маланью и взывая къ радости, тысячи, многія тысячи костяковъ, большихъ и малыхъ, съ черными, круглыми впадинами вмѣсто глазъ, а въ каждой впадинѣ, вмѣсто глаза, по зажженной свѣчкѣ церковной свѣтилось...

— Ищите! ищите!—слышалось въ тысячахъ голосовъ.

— Гдѣ она, эта Маланья?—отвѣчали другіе.

Померкало при видѣ этого, сознанье Маланьи; а Панкратій и Алена все тутъ какъ тутъ искать ее побуждаютъ.

— Ой, сосунчики родные, сосунки-голубчики, — вопила Алена къ малымъ костячкамъ, — вы ищите ее, проклятую!

И двигаются, двигаются малые костячки длинными вереницами; есть такіе между нихъ маленькіе, что и ходить еще не могутъ, а все двигаются, работаютъ, ищутъ...

И вспоминаетъ Маланья своимъ тускнѣющимъ сознаніемъ, что мертвые, дѣйствительно, теплую людскую кровь любятъ... Что есть даже такой вампирь-кровопійца, падкій до грѣшниковъ... Что она, Маланья, несомнѣнно все-таки живая грѣшница къ мертвецамъ попала и что тутъ ей непремѣнно конецъ будетъ...

Ощупываетъ она холодѣющими пальцами по сторонамъ холодную землю, царапается, выскочить хочетъ. Крикнуть

бы что-либо, но языкъ не слушаетъ и не можетъ она понять: какъ это такъ, что въ могилѣ и тьма кромѣшная, и тишина мертвая, а вокругъ костяки пляшутъ, все нутро земли краснымъ полымемъ объято и что ни черепъ, то двѣ свѣчи церковныхъ въ глазныхъ впадинахъ свѣтятся...

И замѣчаетъ вдругъ Маланья, что по красному пламени какъ будто что-то темное вдали ползетъ, пошевеливается, крыльями какими-то пощелкиваетъ; вотъ и когти видны, и зубы склабятся! Змѣя не змѣя, звѣрь адскій, такой, какъ сатана на картинѣ Страшнаго Суда въ церкви: какъ бы огромная пасть съ жаломъ и въ нее грѣшники сыплются, а кольца тѣла змѣинаго клубами катятся...

— Сатана!—подумала Маланья, и чувствуетъ, что онъ на нее зрится.

Костяки, точно услышавъ ея думу, дружно засмѣялись.

— Хе-хе-хе! не видѣла ты, значить, самого сатаны, если простого вампиришку-сосуна за сатану принимаешь!..

— Вампиръ-сосунъ! такъ это вампиръ!—Слыхала Маланья не разъ о вампирахъ, не разъ слыхала...—Богородице-Дѣво, спаси меня!—шепчетъ она холодѣющими губами,—спаси, пощади... Дай мнѣ похолодѣть, холодною быть, какъ всѣ вокругъ, чтобы мнѣ моею теплою кровью вампира къ себѣ не приманивать... Вонми, Богородица... Спаси меня!

Но вампиръ приближается, прямо на нее клубится, вотъ уже и глазами ее видитъ... вотъ, наконецъ...

И послѣ этого Маланья не помнить больше ничего...

Тѣмъ временемъ, не въ видѣніяхъ Маланья, а на самомъ дѣлѣ, тьма на землѣ продолжала лежать непроглядная; сыпался густой, мягкій снѣгъ такъ обильно, какъ давно не бывало. Когда къ утру, чуть забрежжило первымъ свѣтомъ и стали люди просыпаться и въ окна глядѣть,—бѣлая пе-

лена снѣга выросла противъ вчерашняго вдвое: холмы сравняло и дороги занесло.

Уже совсѣмъ разсвѣло, когда къ кладбищу подвезли изъ одной изъ сосѣднихъ деревень покойника. Дровнишки съ желтымъ гробомъ проѣхали подъ ворота церковныя, проѣхали мимо церкви и направились, по указанію двухъ чело-вѣкъ, приготовившихъ могилу еще вчера, къ тому именно мѣсту, гдѣ находилась Маланья. Лошаденка то и дѣло проваливалась въ сугробы, и какъ она не поломала себѣ ногъ, таща свою желтую поклажу между могилокъ, объяснить трудно. Хорошо что гробъ былъ привязанъ къ дровнямъ, а то давно бы лежать ему на боку, съ отвалившейся крышкою.

Подошли къ могилѣ гурьбой... Священника не было, потому что послѣ отпѣванія онъ заболѣлъ и слѣдовать на кладбище не могъ или не хотѣлъ. Не сразу, за снѣгомъ, могилу отыскиали, такъ ее занесло. Сняли гробъ съ дровень, поднесли его къ могилѣ... Заглянули—а она полна снѣгомъ, да еще что-то такое непонятное въ ней торчитъ.

Отставили гробъ; принялись за лопаты. Рыхлый, только поверху лежавшій снѣгъ, уступивъ первымъ усиліямъ, сразу провалился въ глубь могилы, и не могло быть больше сомнѣнія, что въ могилѣ находился чело-вѣкъ... баба...

Пришлось спуститься. Маланья сидѣла въ углу могилы и не пошевелинулась, когда подлѣ нея очутилось двое парней. Одинъ изъ нихъ нагнулся къ ней, хотѣлъ-было поднять голову, въ лицо посмотреть, но голова упорно не двигалась на шеѣ.

— Да вѣдь это Маланья!—крикнулъ одинъ изъ стоявшихъ въ могилѣ:—вотъ и фляжка ея, и брусника.

— Точно что платье какъ будто ея,—отвѣтили сверху, съ края могилы, люди, глядѣвшіе внизъ.

— Ахъ, сердешная!—воскликнули бабы.

— Какъ это она сюда попала?

— Тащи, ребята, тащи! можетъ, еще оживетъ.

Принялись за работу. Оказалось, не легко было вытащить грузное тѣло скорчившейся бабы пзъ узкой, занесенной снѣгомъ могилы, но, наконецъ, вытащили. Положить хотѣли на снѣгъ—тѣло не разгибается, и пришлось отнести Маланью къ сторонкѣ, какъ куль какой-нибудь, пока опустили въ могилу, на ея мѣсто, дѣйствительнаго собственника могилы. При этомъ плакали, рыдали, причитывали и, наконецъ, кое-какъ землей, пополамъ со снѣгомъ, могилу засыпали...

Повалили тогда скорченную морозцемъ Маланью на дровни и, порѣшивъ общимъ совѣтомъ, отвезли въ Самоуху... Вордны стали собираться къ только-что засыпанной могилѣ.

Маланья жива до сихъ поръ, но она ничего не понимаетъ и ни о чемъ не говорить...



## ГОСПОДИНЪ МОЖЕТЪ - БЫТЬ.

---

Что́ это съ тобою случилось, что́ привидѣлось тебѣ во снѣ такого хорошаго, что ты долго какъ-то безмятежно и пріятнѣйшимъ образомъ улыбался, а затѣмъ вдругъ застоналъ?—спросила меня однажды утромъ жена.

— А ты цѣлыхъ полчаса смотрѣла на меня? Развѣ страдала безсонницей?

— Нѣтъ, случайно, — отвѣтила она, — а можетъ-быть, и не спалось.

— Можетъ-быть! — почти вскрикнулъ я отъ радости и удивленія—будто сразу прозрѣлъ во что-то, что-то понялъ, въ чемъ-то нашелся.

Дѣйствительно: при особенно яркихъ сновидѣніяхъ слѣдъ ихъ запечатовывается чрезвычайно быстро. Никакими усиліями памяти, никакими соображеніями, никакими сопоставленіями лоскутковъ отдѣльныхъ мыслей не соберете вы цѣлностью той картины, которая казалась вамъ яркою до ослѣпительности, въ которой сами вы были дѣйствующимъ лицомъ и которая представлялась вамъ дѣйствительною жизнью. Но достаточно иногда одного слова, звука, штриха, чтобы весь этотъ чудодѣйный міръ сновидѣнія всталъ предъ вами сразу, во всей своей необъяснимой пластичности.

Такъ было это со словами «можетъ-быть», совершенно случайно сказанными моею женою.

— А!—воскликнулъ я,—да! да! Этого господина Можетъ-Быть я видѣлъ, я гостилъ у него, я дышалъ удивительнѣйшимъ, животворнѣйшимъ воздухомъ его нерукотворнаго palazzo! Я испыталъ также ужасы невѣроятные. Хорошо, что я только бредилъ.

— Да ты съ ума сошелъ!—возразила жена.—Или ты еще не совсѣмъ проснулся?—спросила она меня, заботливо проводя рукою по моей головѣ.

Мы сидѣли за утреннимъ кофе, и превосходный зимній день разрисовывалъ своимъ серебромъ стекла оконъ. Самоваръ шипѣлъ довольно исправно; горничная въ сосѣдней комнатѣ, вытирая пыль съ фортепіано, почему-то не закрытаго съ вечера, вызывала изъ-подъ клавишей какіе-то одинокіе, урывчатые звуки; въ квартирѣ жилья надъ нами бѣгала и стучала многочисленная дѣтвора. Ничто, ничто, казалось, не располагало къ фантастичности, къ сказкѣ, а между тѣмъ, самъ того не зная, я еще находился въ полномъ обаяніи какихъ-то чудесъ, какого-то чрезвычайно тяжелаго впечатлѣнія.

— О, нѣтъ! я совсѣмъ, совсѣмъ проснулся, — отвѣтилъ я, — но я все еще глубоко потрясенъ моимъ ужаснымъ бредомъ.

— Да что за бредъ такой? Расскажи!

— Я познакомился съ господиномъ Можетъ-Быть!.. Я видѣлъ царство счастливыхъ людей, я видѣлъ царство вѣчныхъ улыбокъ! Какъ тамъ все хорошо, но все это хорошее—сказка!

— Да гдѣ это тамъ?

Только теперь, нѣсколько минутъ спустя послѣ того, какъ словами «можетъ-быть» жена неожиданно сорвала завѣсу съ глазъ моихъ, сообразилъ я, что все то, что было



такъ понятно мнѣ въ бреду, остается непонятнымъ мнѣ самому, и она права, прося разъясненія.

Послѣ нѣкотораго молчанія я повелъ свое повѣствованіе приблизительно такъ:

— Я заснулъ вчера вечеромъ вполне благополучно. Но вдругъ, совершенно неожиданно, какъ Данте-Алигьерп, очутился въ какомъ-то дремучемъ лѣсу. Почему попалъ я въ лѣсъ—не знаю, но только я находился въ лѣсу. Какая-то удивительная, бесконечно-лазурная рѣка катилась по лѣсу, и что показалось мнѣ удивительно страннымъ, такъ это то, что чѣмъ дальше направлялся я вдоль ея берега, тѣмъ ближе поднимались рѣчныя волны къ уровню береговъ. Еще немного, и казалось бы, что вода, переступивъ рубежъ, затопитъ берега и мнѣ идти дальше будетъ невозможно. Но не тутъ-то было: на моихъ глазахъ начиналась сказка, т.-е. полное отрицаніе всякихъ законовъ...

Стремнина, несшаяся откуда-то, съ той стороны, въ которую я, любопытства ради, шелъ, все болѣе и болѣе приподнималась изъ береговъ своихъ, выступая изъ нихъ вполне самостоятельно стѣною. По мѣрѣ моего движенія впередъ, слѣва отъ меня, тамъ, гдѣ голубѣла рѣка, возникала чудесная лазурная стѣна, полная жизни и внутренняго сіянія. Стѣна воды подлѣ меня становилась все выше. Сначала, когда она была еще не очень высока, кромѣ легкой зыби волнъ и очень мелкой рыбешки, я въ водѣ этой ничего не замѣчалъ, но по мѣрѣ возвышенія подлѣ меня водяной стѣны, вздымавшіяся стремнины становились многочисленнѣе и внушительнѣе. Стали скользить подлѣ меня, бокъ-о-бокъ со мною, какія-то чудесныя, красивыя рыбы—не нашихъ, а южныхъ морей, пзвивались по теченію фантастическія водоросли, покачивая своими цвѣтамп, которые аслѣдствіе этого то и дѣло цѣловались. Когда водяная стѣна поднялась надо мною уже очень высоко, я увидѣлъ, что

гдѣ-то наверху рѣки плыло какое-то судно; мнѣ видно было только его дно, киль, и видѣлъ я также грузилъ сѣти, которую лодка тащила и въ которую попало много рыбы.

Хотя все возникавшее предо мною и поражало меня своею оригинальностью, но все это казалось мнѣ какъ будто возможнымъ, естественнымъ. Но съ той минуты, когда, послушная какимъ-то уже совершенно небывалымъ условіямъ, голубая стремнина, несшаяся бокъ-о-бокъ со мною, стала отдѣляться отъ своего дна всею массою, какъ будто она катилась не по дну, а по верху, когда она не сдерживалась болѣе берегами, тогда, двигаясь попрежнему впередъ, и замѣтилъ, что чудесная рѣка окончательно отдѣлилась отъ земли и неслась уже надо мною. Когда я, въ высшей степени озадаченный этимъ явленіемъ, могъ подойти подъ самую рѣку и увидѣть ее надъ собою тамъ, гдѣ видится обыкновенно небо, я не могъ не поддаться чувству глубочайшаго очарованія.

Полная лазурь, жизнь и звуковъ, стремилась рѣка въ воздухъ; подъ сѣнью ея, какъ подъ шатромъ, раскидывались кущи замѣчательной растительности, но не дикой, а культивированной, ограниченной курттинами, направлявшейея аллеями. Вправо и влево отъ меня, стоявшаго подъ рѣкою, открывалась какая-то красивая даль—съ зеленью, озерами, селеніями, а впереди, тамъ, откуда неслась рѣка, видѣлся, весь розовый, весь сіяющій, очень недалеко отъ меня, какой-то, я бы сказалъ, дворецъ, но это было бы неправдою—мнѣ видѣлся какой-то очень красивый, несомнѣнно очень уютный и, еще болѣе несомнѣнно, счастливый дачный домъ. По мѣрѣ того, какъ я близился къ нему, становилось несомнѣннымъ, что надо мною неслась уже не лазурная, съ ея обитателями, рѣка, а что вмѣсто неба вплоть до горизонта сквозила на солнцѣ вода. Какой это былъ удп-

вительный видъ вокругъ меня и надо мною—можно себя представить!..

Скоро встрѣтились мнѣ и обитатели этой удивительной страны. Они рѣшительно ничѣмъ не отличались отъ обыкновенныхъ людей, кромѣ одного, однако,—кромѣ всѣмъ имъ общей, безконечно - добродушной улыбки. Вѣчная улыбка считается у людей выраженіемъ глупости, но въ данномъ случаѣ, какъ мнѣ скоро пришлось убѣдиться, улыбка эта выражала совершенно другое: она говорила о безконечномъ удовольствіи жизнью, о какомъ-то совсѣмъ необычномъ намъ, людямъ, спокойствіи.

Все, все вокругъ меня, кромѣ, однако, воднаго неба и улыбокъ на устахъ людей, сохраняло видъ обычный, хотя и праздничный. Шли въ школу дѣти, ѣхали по дорогѣ возы съ кладью, неся вдали какой-то желѣзнодорожный поѣздъ, виднѣлось стадо и пастухъ при немъ. Пастухъ этотъ былъ отъ меня очень близко, и я подошелъ къ нему. Общая всѣмъ улыбка сіяла на лицѣ и у него.

— Скажи, пожалуйста, чей это такой красивый домъ вонъ тамъ?

— Это домъ господина Можетъ-Быть.

— Какъ?—переспросилъ я, думая, что не разслышалъ.

— Господина Можетъ-Быть.

— А кто онъ такой?

— Ихъ дѣдушка нашимъ помѣщикомъ былъ.

— А не знаешь ли—дома они?

— Не знаю, но думаю, что дома, потому что сегодня, надо полагать, скоро гроза будетъ, и они изъ дому не выйдутъ.

— А почему же ты ожидаешь грозы?

— А вонъ рыбки-то въ небѣ всѣ въ нашу сторону жмутся.

Я взглянулъ на небо и дѣйствительно увидѣлъ, что въ той сторонѣ или части небесныхъ водъ, которая была обращена къ

землѣ, съ какою-то суетливостью жались обитатели водной пучины; многіе изъ нихъ, видимо, желали спрятать свои головы въ какое-либо изъ водяныхъ растений, чтобы не видѣть того, что должно совершиться, и тревожили относительный покой всякихъ звѣздчатыхъ, кораллообразныхъ, медузъ, венеринныхъ поясовъ и другихъ.

— А можно ли пойти къ вашему господину Можетъ-Быть?

— Можно-съ; они всегда рады бываютъ.

Получивъ этотъ отвѣтъ, я возможно-быстро направился къ дому.

И тутъ, какъ во всемъ остальномъ, ничто не отличало таинственной усадьбы отъ хорошихъ, очень красиво расположенныхъ, довольно богатыхъ усадебъ нашихъ. Мнѣ навстрѣчу залаяла сторожевая собака.

«Ужъ не улыбается ли и она»,—подумалъ я, проходя мимо нея и искоса поглядывая. Собака, видимо, не улыбалась, а исполняла свою собачью обязанность, облаивая меня самымъ добросовѣстнымъ образомъ.

Не успѣлъ я подойти къ подъѣзду въ серединѣ двора, какъ мнѣ навстрѣчу вышелъ какой-то улыбающійся казачокъ.

— Дома ли господинъ Можетъ-Быть?—спросилъ я его.—Доложите, что пришелъ такой-то и желаетъ видѣть.

— Пожалуйста-съ, — отвѣтилъ казачокъ,—у насъ не докладываютъ-съ, все равно!

Въ дому тѣ же улыбки прислуги, тѣ же улыбки на хорошихъ портретахъ, висѣвшихъ по стѣнамъ столовой, та же свѣтлая, добрая улыбка на какомъ-то бюстѣ, стоявшемъ между оконъ.

Я не скажу, чтобы вполнѣ равнодушно ожидалъ появленія хозяина. Все мною видѣнное было до того ново, странно, невѣроятно, что я чувствовалъ себя въ области сказки и ждалъ чудеснаго.

Ужъ не драконъ ли съ хвостомъ и крыльями выйдетъ ко мнѣ?

Вышелъ, однако, не драконъ, а человѣкъ среднихъ лѣтъ въ неплохомъ вкуса пестромъ домашнемъ пиджакѣ. Средній ростъ, сѣрые, умные и добрые глаза и классическая улыбка людей таинственной страны, мною посѣщаемой,— вотъ что замѣтилъ я ранѣе прочаго. Къ великому моему удивленію, онъ курилъ сигару, и на сигару эту, волею-неволею, устремилъ я глаза.

— Это заграничная, не прикажете ли?—проговорилъ хозяинъ, предлагая мнѣ свой портъ-сигаръ и отодвигая кресло подлѣ дивана.

Я отъ сигары отказался, но на кресло сѣлъ; сѣлъ и хозяинъ. Я съ удивленіемъ глядѣлъ на него и по сторонамъ, стараясь сообразить: гдѣ я находился и что со мною дѣлается? Должно-быть, все мое лицо изображало изъ себя вопросительный знакъ. Совершенно съ тою же зоркостью, съ какою отвѣтилъ мнѣ хозяинъ на вопросъ о сигарѣ, только еще подготовлявшійся, отвѣтилъ онъ и тутъ.

— Вы удивлены всѣмъ окружающимъ? Вы, вѣроятно, прежде всего удивились моему имени и тѣмъ нашимъ улыбкамъ, которыя произрастаютъ подъ нашимъ удивительнымъ водянымъ небосклономъ?

— Признаюсь... да... я удивленъ... я пораженъ...—пробормоталъ я полувнятно.

— О! я объясню вамъ многое, но не все, конечно... Я называюсь господиномъ Можетъ-Быть и этимъ внѣшнимъ признакомъ проявляю мои воззрѣнія. Я уже не первый въ нашемъ родѣ, насъ было много. Очень много людей такихъ же убѣжденій, что и мы, и въ вашемъ мірѣ, въ вашемъ обществѣ, т.-е. въ томъ, которому вы принадлежите и изъ котораго вы ко мнѣ пришли, но только они изъ робости не принимаютъ на себя гласнаго, всѣмъ понятнаго назва-

нія. Можетъ-быть, это и хорошо, можетъ-быть, это такъ и нужно по вашимъ порядкамъ. Можетъ-быть, ваши порядки лучше нашихъ, но и намъ хорошо.

Нѣкоторое молчаніе послѣдовало за этимъ вступленіемъ. Хозяинъ продолжалъ смотрѣть на меня очень зорко, какъ бы пытливо.

— Постыщенія, подобныя вашему, ко мнѣ очень рѣдки, и вы не можете себѣ представить, какъ трудно мнѣ видѣть передъ собою не улыбающееся лицо? По моему мнѣнію, въ не улыбающемся лицѣ есть что-то очень печальное, траурное, похоронное. Я думаю, что на всѣхъ тѣхъ, кого вы у насъ, по пути, встрѣтили, вы произвели подобное же впечатлѣніе. Можетъ-быть, я ошибаюсь; можетъ-быть, вамъ наши вѣчныя улыбки кажутся глупыми, идіотическими?

По правдѣ сказать, при первыхъ моихъ впечатлѣніяхъ въ этомъ сказочномъ мірѣ, я, дѣйствительно, подумалъ о чемъ-то идіотическомъ, но теперь, слушая хозяина, я не могъ не признать, что, пожалуй, ошибался.

— Можетъ-быть, я угадалъ вашу мысль?—проговорилъ хозяинъ.

— Почти угадали,—отвѣчалъ я.

— Ну, вотъ, видите ли, мы и сговорились, и поняли другъ друга: вамъ мои улыбки, а мнѣ ваше похоронное выраженіе лица вовсе не мѣшаютъ, будемте же друзьями,—продолжалъ онъ и протянулъ мнѣ руку.

Я взялъ ее и ясно ощутилъ теплую, несомнѣнно, фактически существующую руку, я ощутилъ пожатіе и отвѣтилъ тѣмъ же. Ободренный добрымъ ко мнѣ отношеніемъ хозяина, я приготовился—было поставить ему одинъ вопросъ, но почувствовалъ какую-то странную робость, взглянувъ въ широкое венеціанское окно, открывавшееся передо мною. Сквозь широкое, двухсаженное стекло мнѣ очень ясно видно было то, что въ обыденное время я называлъ бы

небомъ, а теперь не могъ не признать за водное пространство. Совершенно лазурное до тѣхъ поръ, оно какъ-то зло-вѣще краснѣло; повременамъ сквозь него блистали молніи, и рыбное населеніе его видимо суетилось. Мнѣ вспомнились слова пастуха, предсказавшаго непогоду. Слышались и раскаты грома. Послѣ нѣкотораго молчанія, я преодолѣлъ свою робость и спросилъ:

— Простите меня, но я рѣшительно не могу понять, откуда ваше удивительное имя — господинъ Можетъ-Быть? Почему эти вѣчныя улыбки у всѣхъ васъ?

— И то, и другое—въ связи, милый гость мой. Въ моемъ имени сказывается цѣлая система счастья, цѣлое міровоззрѣніе. Можетъ-быть, я ошибаюсь, но имя мое вполне выражаетъ мое существо. Я послѣдній отпрыскъ цѣлаго поколѣнія господъ Можетъ-Быть. Женюсь ли я—не знаю, все можетъ-быть, но если не женюсь, то все-таки не думаю, чтобы идея нашего рода пропала: вѣдь ему удалось образовать, такъ сказать, цѣлую народность единомышленниковъ, людей вѣчной, доброй и умной улыбки, служащей внѣшнимъ изображеніемъ безконечной доброты душевной, вѣчнаго и всегдашняго прощенія, потому что все на свѣтѣ можетъ-быть, все бывало и всему есть извиненіе. Повѣрьте мнѣ, что это не пустыя слова, что это дѣйствительность, что тотъ, кто повѣрилъ въ «можетъ-быть» и усвоилъ его себѣ какъ догматъ, тотъ постигъ на землѣ если не счастье, то покой, а въ этомъ вся суть возможнаго на землѣ блаженства. Все считать возможнымъ и ко всему быть снисходительнымъ — это альфа и омега всякой философіи, и мы, здѣсь, философы.

— Но можно ли все пзвпнять, все считать возможнымъ!—воскликнулъ я, самъ испугавшись смѣлости моего восклицанія.

— Да, да!—повторилъ увѣренно мой хозяинъ,—все мо-

жетъ-быть, все можетъ-быть. И такъ какъ все можетъ-быть, то нечего и волноваться, и мы не волнуемся, мы счастливы, мы улыбаемся жизни нашей.

Не успѣвъ онъ проговорить этихъ словъ, какъ со стороны, противоположной входной двери, вошла почтенная, радушно улыбавшаяся старушка. Я всталъ съ мѣста.

— Позвольте представить васъ моей матушкѣ,—сказалъ хозяинъ.—Если,—продолжалъ онъ,—въ различныхъ степеняхъ нашихъ привязанностей имѣется сильнѣйшая степень, то она принадлежитъ во мнѣ, можетъ-быть, моей матушкѣ. Не имѣя самъ своей семьи и своихъ дѣтей, я живу ею, и она мнѣ, можетъ-быть, дороже всего на свѣтѣ.

Хозяинъ почтительно поцѣловалъ руку своей матери.

Только-что поклонился я старушкѣ и готовился сказать что-то, какъ произошло вдругъ нѣчто уже совершенно неожиданное даже въ сказкѣ: лицо старушки мгновенно поблѣднѣло, глаза ея какъ-то страшно закатились кверху, и она звонко повалилась на полъ, точно хрустальная, раньше тѣмъ хозяинъ и я успѣли поддержать ее.

— Эй! кто тамъ, люди!..—крикнулъ хозяинъ.

Немедленно прибѣжала многочисленная прислуга.

Передъ нами, на полу, отъ поры до времени освѣщаемая все чаще и чаще блиставшими молніями приближавшейся грозы, лежала старушка—неподвижная, несомнѣнно мертвая. Сынъ, наклонясь надъ нею, приложилъ руку къ сердцу—оно не билось: старушка неожиданно умерла.

Мнѣ думалось, что мой хозяинъ перестанетъ улыбаться, но нѣтъ, онъ улыбался попрежнему; я думалъ, что перестанутъ улыбаться другіе люди, тѣ, что прибѣжали, но и они улыбались. Улыбалась и сама покойница. Я стоялъ пораженный, какъ громомъ, всею этою удивительною сценою.

— Какъ? неужели они улыбаются? неужели это возможно?—думалось мнѣ.—Неужели они не плачутъ?



Я взглянулъ на хозяина, все еще стоявшаго подлѣ матери на колѣняхъ. По лицу его струились слезы, но свѣтлѣйшая улыбка не сходила съ лица. Онъ взглянулъ на меня.

— Все можетъ-быть, все можетъ-быть! — проговорилъ онъ тихо, глядя на меня и какъ бы отвѣчая на вопросъ. — Вы видите: я улыбаюсь, я не могу не улыбаться! Все можетъ-быть, все...

Я былъ совершенно сбитъ съ толку. Если ранѣе того, по пути въ домъ, я видѣлъ какое-то нарушение физическихъ законовъ, какую-то рѣку, становившуюся небомъ, рыбъ, становившихся птицами, — здѣсь я окончательно пошатнулся въ законахъ психическихъ... Улыбки, слезы, молніи и вода, рыбы въ пространствахъ, мертвая старушка, господинъ Можетъ-Быть, грохотъ грома, народъ улыбокъ, вѣчная улыбка жизни — и все это, въ какой-то безумной неожиданности, окончательно лишило мои мысли всякой стойкости, и что-то бесконечно-смутное, ноющее, болѣзненное обьяло все существо мое.

«Признай, признай, что все «можетъ-быть» и всему надо улыбаться въ смыслѣ общаго умиротворенія природы и что въ этомъ и заключается самая высокая философія жизни», — думалось мнѣ...

Въ окнахъ и по стѣнамъ дома царило все сильнѣе зарево всеобщаго, зловѣщаго разрушенія; число неподвижныхъ улыбокъ людскихъ вокругъ меня возрастало, потому что къ мертвой старушкѣ, кромѣ домочадцевъ, стали стекаться толпы людей не-домашнихъ, людей вѣчныхъ улыбокъ этого таинственного уголка земного. Сердце мое сжималось все сильнѣе и сильнѣе.

«Признай, признай, что все можетъ-быть!» — слышалось мнѣ по сторонамъ, въ отвѣтъ на мой внутренній голосъ.

— Признаю! — воскликнулъ я, наконецъ, какъ-то неистово, не осиливъ минуты.

Тогда вскочила съ земли мертвая старуха и, со злобнымъ хохотомъ и грозя кулаками, бросилась на меня. Объ улыбка ея лица и вообще объ улыбакахъ вокругъ меня на другихъ людяхъ не было больше и помина. Всѣ онѣ погасли, исчезли.

— А! ты призналъ!—рявкнула мнѣ въ лицо неожиданно воскресшая,—ты призналъ! Ну, такъ гибни же, потому что ты призналъ невозможное!..

Въ глазахъ моихъ затуманилось окончательно. Помню я только одно изъ всего, что совершалось вокругъ меня: господинъ Можетъ-Быть, стоявшій на колѣняхъ подлѣ неожиданно умершей и еще болѣе неожиданно воскресшей матери своей, не существовалъ болѣе: вмѣсто него, на полу лежала кучка пепла. Зарево великаго, страшнаго пожара, огни молніи и грохотъ грома слились воедино съ необозримыми массами рокотавшей и пѣнившейся воды... Небесный океанъ обрушился и...

Я проснулся.



## ДЫМНЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ.

---

Удивительное случилось со мною однажды, въ ранней юности, приключеніе, и происходило оно какъ разъ на святкахъ.

Надо сказать, что я курильщикъ большой руки; къ моему куренію можно было бы примѣнить то выраженіе, которымъ обозначаютъ восточные люди пользованіе курительнымъ табакомъ: я «пью»—а не курю табакъ. Это, можетъ-быть, нездорово, но я, навѣрно, совершенно здоровъ. Изъ всѣхъ разнообразныхъ моментовъ куренія, только лишь въ одномъ изъ нихъ причина удовольствія для меня совершенно ясна и вполне подлежитъ объясненію: курево съ его огонькомъ и дымомъ—незамѣнимый, удивительный, совсѣмъ живой другъ, пріятель, собесѣдникъ въ одиночествѣ, ночью, при работѣ. Вспыхиваніе табачнаго огонька совершается немедленно по вашему призыву, по вашему требованію, и воздушные, извивающіеся извороты дыма являются для васъ наглядными воплотителями жизни, движенія, сочувствія къ вамъ, тогда какъ кругомъ васъ—ночь, молчаніе, неподвижность окружающей васъ мебели и ненавистный, разбѣренный, неумолчный, безчувственный стукъ

часовъ, возвращающихъ къ жизни механически, мало-помалу, ту живую силу, которую вы разъ въ недѣлю, при заводѣ, передали имъ. То ли дѣло вспыхивающіе огоньки въ табакѣ! Вѣдь вся жизнь людская, да и всей природы, простое вспыхиваніе и идетъ отъ огня! То ли дѣло необычайно, женственно-граціозныя наслоенія и клубы дыма—и развѣ не въ дымъ перейдетъ все и вся въ этой жизни, когда наступитъ очередь другой жизни, можетъ-быть, лучшей. Одна причина удовольствія курить ночью, въ одиночествѣ—мнѣ понятна; другія—нѣтъ; но я все-таки курю, несмотря на горькій вкусъ, на лишнюю трату денегъ, прожженное платье, и пр.

Помню я, что часы въ моемъ кабинетѣ только-что прозвенѣли часъ ночи. Я сидѣлъ за писаніемъ чего-то и, чтобы успокоить немного усталые глаза, всталъ отъ письменнаго стола и сѣлъ въ кресло, стоявшее въ углу комнаты. Вся комната была передо мною какъ на ладони; у одной изъ стѣнъ, противъ меня, стоялъ огромный старинный комодъ цѣльнаго краснаго дерева, какихъ теперь не дѣлаютъ, потому что изъ одного такого комода, распиливъ его на фанерки, можно оклентъ, пожалуй, сотню-другую комодовъ. На немъ стояли фотографіи близкихъ мнѣ людей и между ними, въ центрѣ, наиболѣе дорогія мнѣ изображенія моихъ братьевъ.

Закуренная мною на этотъ разъ сигара оказалась какъ-то особенно дымообильна, и я тотчасъ замѣтилъ, что, въ силу какихъ-то непонятныхъ, странныхъ причинъ, дымъ отъ нея тянулся именно къ комоду. Его тянуло туда съ такою упрямою настойчивостью, что вниманіе мое все болѣе и болѣе приковывалось къ этому странному его движенію; тяги въ комнату не было никакой.

Эта странность мнѣ нравилась. Надъ комодомъ обозначался мало-по-малу какой-то неясный обликъ, необъяснимый

мнѣ пока-что, и я то и дѣло пускалъ на воздухъ струи дыма для того, чтобы пособить ему окончательно обрисоваться; и точно: всѣ струи тянулись, гнулись въ одну сторону—къ слагавшемуся облику.

Я не шевелился, боясь потревожить эту чудесную формушку дыма, который съ замѣчательною настойчивостью и послѣдовательностью принималъ очертанія какого-то человѣка.

«Да, да, человѣка!—твердилъ я совершенно сознательно самъ себѣ;—вотъ видны голова, плечи; господинъ или госпожа, видимо, намѣрены сидѣть на комодѣ, и ноги уже спускаются до половины его высоты, до второго ящика; значить, человѣчекъ будетъ не особенно большой; любопытно—мужчина или женщина?»

Дымъ тѣмъ временемъ густѣлъ чрезвычайно, и я помню очень хорошо, что продолжалъ курить особенно усиленно именно съ тѣмъ, чтобы прибавить, по возможности, матеріала для тѣла этого неяснаго мнѣ существа. Еще нѣсколько струй дыма, и видѣніе выяснилось съ полною несомнѣнностью.

Это былъ тотъ самый, опушенный снѣгомъ старичокъ, безчисленныя пзображенія котораго, ко времени елки, впадаютъ во всѣхъ игрушечныхъ магазинахъ, булочныхъ, кондитерскихъ.

«Человѣкъ знакомый!»—думалось мнѣ.

Гость оказался невеликъ, въ какомъ-то бѣломъ балахонѣ, съ очень плотною бѣлою бородою; менѣе всего ясны были мнѣ его глаза или, лучше сказать, тѣ мѣста, на которыхъ должны бы помѣщаться глаза: имѣлись они на-лицо или не имѣлись—я положительно не знаю и утверждать не могу.

«Но откуда же взять глазамъ необходимой плотности, блеска?—думалъ я;—это иначе и быть не можетъ, такъ какъ

все сложившееся пзъ дыма—для дыма возможно, но создать глаза—это ему не подъ силу».

Что особенно поражало меня во всемъ этомъ медленномъ, миловидномъ явленіи, такъ это то, что воздушный гость, сидя на комодѣ, вовсе не закрывалъ собою фотографіи! Я различалъ ихъ всѣ, наперечетъ, а изображенія моихъ братьевъ приходились какъ разъ на высотѣ сердца бѣлаго старичка.

Но каково же было мое удивленіе, когда встѣдъ затѣмъ, какъ старичокъ окончательно сложился, онъ, такъ казалось мнѣ, заговорилъ со мною! да, да, заговорилъ! или это я самъ какъ-будто думалъ, что онъ говоритъ.

— Я пришелъ къ тебѣ,—началъ старичокъ, очень благозвучнымъ, соответствовавшимъ росту, голосомъ:—я пришелъ къ тебѣ и принесъ съ собою подарки, удивительные, неподобные подарки!

— Что же, я мальчикъ, что ли?—понялся, возразилъ я и даже сдѣлалъ какое-то движеніе, но тотчасъ же спохватился, смутился и замолчалъ; мое быстрое движеніе немедленно сообщило фигуркѣ, и она какъ-будто немного всколыхнулась, но тотчасъ же оправилась.

— Мой подарокъ мудрый,—продолжалъ старичокъ.—Я дамъ тебѣ нѣсколько такихъ правильныхъ, опытомъ оправданныхъ, совѣтовъ для жизни, какихъ ты ни отъ кого никогда, кромѣ меня, не получишь. Слушай!

Въ это время надоедливые стѣнные часы звучно пробили два часа ночи.

Испугался ли я возможности исчезновенія видѣнія, но мнѣ почудилось, будто, отвѣтствуя бою часовъ, фигурка совершенно отчетливо вздрогнула два раза; трепеть дважды пробѣжалъ по всему ея существу, и нѣсколько складокъ длиннаго балахона даже потянулись было отъ коленъ къ полу.

Я сталъ успленно курить сигару п, къ великой радости моеѣ, замѣтилъ, что фигурка тотчасъ поплотнѣла, п равно-вѣсіе въ ней установилось.

— Какія же это ты принесъ мнѣ истины, старпчокъ?—торопливо спросилъ я.

— Ихъ нѣсколько. Слушай. Первая, п очень важная—это: никогда не лги! не потому, чтобы ложь была дурна, какъ гласятъ ваши прописи, а потому, что именно этимъ способомъ ты будешь достигать всѣхъ выгодъ лжи п ни на юту не вкусишь отъ ея скверныхъ послѣдствій.

Фигурка замолчала.

«Правда»,—подумалось мнѣ.

— Во-вторыхъ,—продолжалъ старпчокъ:—лги всегда п вездѣ, потому что, виднишь ли, только такимъ способомъ можешь ты осилить, хотя сколько-нибудь, значеніе людей, никогда не лгущихъ, которые все-таки существуютъ; они никогда не будутъ знать, чего ты хочешь, что ты сдѣлаешь, и несомнѣнно пойдутъ на удочку, будутъ попадаться къ твоей выгодѣ.

«А вѣдь и это, пожалуй, опять-таки правда»,—думалось мнѣ, п я зорко глядѣлъ на хитроумнаго старичка п какъ бы почувствовалъ къ нему нѣкоторое уваженіе.

— А третье мое тебѣ правило, основанное на опытѣ: быть въ жизни непремѣнно мудрымъ. Самая великая мудрость, какъ ты знаешь, конечно, долгій опытъ; кто же долголѣтнѣе цѣлыхъ народовъ—никто! и поэтому правильно говорится, что въ пословицахъ мудрость народа, п ты ихъ изучай, п по нимъ жизнь направляй, а какъ направлять—я тебѣ скажу. Я, вонъ, вижу, что у тебя въ книжномъ шкапу «Пословицы» Снегирева стоятъ; отыщи букву «Н» п читай! Одна пословица говоритъ: «натура—дура», а другая подлѣ нея стоитъ и во-всю кричитъ, что «натура не

дура»; ты ихъ сообрази, взвѣсь, по нимъ дѣйствуй и счастливъ будешь, не раскаешься — нѣкоторая свобода за тобою, ты видишь, остается.

Старичокъ какъ-будто усмѣхнулся, сказавъ это, а меня злоба взяла. Я думалъ возражать.

— Ну, ну, не сердись,—продолжалъ онъ:—ты еще не очень старъ и часть будущаго передъ тобою; бери отъ него все, что можешь, но только въ мѣру, съ осторожностью. Вотъ хотя бы важнѣйшій для юности вопросъ: любовь... Это вопросъ, подлежащій двоякому разрѣшенію, и все дѣло только въ томъ, чтобы попасть вѣрно, въ мѣру, безъ лжи и по мудрости народной. Одни утверждаютъ, что любовь, по самому существу своему, самое вѣтряное и подвижное изъ чувствъ, и что такимъ оно и быть должно; другіе, наоборотъ, находятъ, что любить въ жизни можно только однажды. Я,—продолжалъ старичокъ, подумавъ,—великій странствователь міра, и знаю только одного такого же опытнаго, какъ я, странствователя, только онъ жидъ—Вѣчный Жидъ, и я его не люблю. Мы съ нимъ нерѣдко встрѣчаемся и на роздыхахъ разговариваемъ. Ни въ чемъ, ни въ чемъ не сходимся мы съ нимъ въ нашихъ воззрѣніяхъ, кромѣ одного, однако, и въ этомъ одномъ мы совершенно тождественны. Онъ, какъ и я, мы оба утверждаемъ, что въ дѣлѣ любви несомнѣнно и безусловно правъ только тотъ, кто...

Я заслушивался моего гостя, сидѣвшаго на комодѣ, и даже не сразу замѣтилъ, какъ, мало-по-малу, сталъ онъ блѣднѣть, что голосъ его слабѣлъ, что весь старичокъ какъ-то странно удлинялся, растрепалась его борода, сползли складки бѣлаго балахона, темными-темными пятнами обозначились глубокія глазныя впадины, все лицо, казалось, уходило въ нихъ, и смерть, мгновенная, неожиданная, безжалостная, развивала это несомнѣнно умное, но странное



существо; старичокъ быстро таялъ, уходилъ въ какіе-то лоскутья дыма и расплзался слоями... Онъ умеръ!

Тутъ только вспомнилъ я о моей спгарѣ! Окурокъ ея, давно погасшій и успѣвшій даже похолодѣть въ моей рукѣ, свидѣтельствовалъ съ несомнѣнною ясностью о томъ, что убійцею старичка былъ я, что, если бы я продолжалъ курить, онъ продолжалъ бы существовать и говорить со мною, и что если я не умудренъ великою опытностью двухъ многолѣтнихъ странствователей—Елочнаго Старичка и Вѣчнаго Жида—такъ это по своей винѣ, по своей собственной. А счастье было такъ возможно, такъ близко,—думалось мнѣ.

Часы пробили три, когда старичка не стало.



## ЧУДЕСНАЯ ГИТАРА.

---

Какъ-то лѣтомъ, въ іюлѣ мѣсяцѣ, сидѣлъ я, часу въ десятомъ утра, у моего хорошаго пріятеля Богуславскаго, на дачѣ на Черной рѣчкѣ. Дача была маленькая, домикъ съ двумя комнатами внизу и одною, съ балкончикомъ, подъ крышею; дача стояла внутри двора другой, большой дачи, нанятой одною изъ очень извѣстныхъ балеринъ. Небольшой садикъ, огороженный дрянною рѣшеткою въ аршинъ вышины, принадлежалъ собственно Богуславскому; рѣшетка эта существовала больше для виду, потому что не было курицы, кошки или собаки, которая, при малѣйшемъ желаніи, не могла бы перескочить ее, и поэтому цвѣты въ садикѣ: настурціи, горошекъ, флоксы и вербены оказывались помятыми чуть ли не каждое утро.

Самъ Богуславскій, человѣкъ лѣтъ сорока, холостой, бо-  
лѣзливый, скромный, относился къ великимъ неудачни-  
камъ и, со всею энергіею оставшихся въ немъ силъ, ухва-  
тился за исполненіе должности начальника отдѣленія въ  
одномъ изъ министерствъ. До того былъ онъ и художни-  
комъ, и музыкантомъ, участвовалъ въ рухнувшемъ театраль-  
номъ предпріятіи, и даже торговалъ одно время лѣсомъ,  
причемъ одною изъ побудительныхъ причинъ торговли  
именно лѣсомъ, а не чѣмъ другимъ, должно признать при-  
чину вполне поэтическую: буду, думалъ Богуславскій, тор-

говать, деньгу добывать, а въ то же время буду близокъ и къ жизни природы, къ лѣсу, зимою и лѣтомъ, осенью и весною; я люблю лѣсъ. Въ доказательство этой любви онъ безжалостно изводилъ его. На лѣсное дѣло ушли у него послѣднія отцовскія денежки, и онъ принялся за должность начальника отдѣленія со всею остававшеюся въ немъ не великою силою жизни.

Погода стояла довольно пасмурная, накрапывалъ дождь и мы сидѣли не на балкончикѣ, выходившемъ въ садъ, всего въ два аршина длиною, а въ одной изъ комнатъ. Звуки жизни: свистки невскихъ пароходовъ, звонки конокъ, грохотъ экипажей, катившихся по ново-деревенскому мосту,— все это доносилось до насъ съ необычайною ясностью. На дачѣ, занимаемой балериною, по утрамъ, т.-е. часовъ до двухъ, царило обыкновенно совершенное молчаніе, а шумъ, бѣготня и смѣхъ поднимался только съ вечера, но зато длились до утра.

Мы сидѣли за кофеемъ, покуривали и болтали о пустякахъ. На одной изъ стѣнъ висѣла гитара, неразлучная, мнѣ знакомая, спутница Богуславскаго, когда-то очень порядочно пѣвшаго подъ ея аккомпаниментъ. Я знавалъ эту гитару и раньше, но именно теперь обратилъ вниманіе на ея совершенно исключительную отзывчивость. Залаетъ собака, простучитъ конка—на всѣ эти звуки гитара отвѣчала немедленно, съ замѣчательною впечатлительностью.

— Гдѣ вы приобрѣли ее?—спросилъ я Богуславскаго.

— О! это удивительная гитара,—сказалъ онъ, вставъ съ мѣста и оправившись съ тѣмъ, чтобы снять ее со стѣны.— Я купилъ ее въ Италіи, лѣтъ двадцать тому назадъ; я былъ тогда счастливымъ юношей и все веселое направлялось мнѣ.

Хозяинъ снялъ гитару со стѣны и поднесъ ее ко мнѣ. Она была шести-струнная. Пока я разсматривалъ ее, онъ

сообщилъ мнѣ, что покупка сдѣлана имъ въ Неаполѣ, въ рухлядной лавкѣ, на торговой площадѣ.

— Помню,—говорилъ Богуславскій:—день стоялъ ясный, жаркій, базарный, и я пошелъ на торговую площадь совершенно случайно, отъ нечего дѣлать. Иду-бреду, вижу лавчонка съ инструментами: скрипки, мандолины, трубы, гитары. Хозяйка, пожилая женщина, сидитъ, что-то пожевываетъ, а на колѣняхъ у нея гитара лежитъ и она ея струны пальцами перебираетъ; я заговорилъ съ нею.

— А вы по-итальянски говорите?—спросилъ я хозяина.

— Si, signore, говорю, и даже очень хорошо. Обращаюсь я къ ней съ вопросомъ: что ея гитара стоитъ?—«Четыре скуди, отвѣчаетъ она; возьмите, говоритъ, посмотрите гитару». Я взялъ гитару. Говоръ по рынку шелъ самый трескучій и струны гитары, такъ казалось мнѣ, точно живыя, вторили ему. Я поднесъ ее къ уху и внимательно слушалъ. Мнѣ казалось, будто, въ самомъ дѣлѣ, какъ солнце въ малой каплѣ воды, отражалось въ гитарѣ—одновременно—всѣ безчисленные звуки торговой, болтливой площади и она отвѣчала имъ. Поднесите-ка ее къ уху, послушайте,—сказалъ Богуславскій, приглашая меня поднять гитару.

Я исполнилъ желаемое имъ. Къ моему величайшему изумленію, гитара воспроизвела съ точностью удивительною, какъ бы слабенькое, еле слышное эхо, неожиданно раздавшуюся со стороны Черной рѣчки пѣсню:

Гопъ, гопъ, гопака  
На четыре пятака!  
Така усы! яка усы!  
Полюбилъ меня Петрусь.

— Должно-быть,—замѣтилъ хозяинъ:—какой-нибудь рьяный посѣтитель театра малороссовъ поетъ! Но что вы скажете про гитару. Она отвѣтила?

Я осторожно положилъ гитару на столъ.

— Удивительно отзывчива!

— Такъ вотъ, видите ли, я въ этой отзывчивости убѣдился еще на площади, въ Неаполѣ. Пока я, думая купить ее, держалъ струны подлѣ уха и прислушивался къ отраженію всякихъ звуковъ торговой площади, къ хозяйкѣ рухлядной лавки, продолжавшей попрежнему сидѣть передо мною и пережевывать, подошель, ковыляя, какой-то нищій и грустнѣйшимъ голосомъ напѣвалъ, протягивая къ намъ руку за подавнѣмъ, какую-то не то молитву, не то просительный стихъ и, можете вы себѣ представить, гитара, надъ которою, рядышкомъ съ нею, раздавалась унылая пѣсня, не отвѣчала на нее вовсе! Я тотчасъ же обратилъ на это вниманіе.

— Но чѣмъ же вы объясняете это?

— Какъ нарочно,—продолжалъ Богуславскій, какъ бы не замѣчая моего вопроса,—старуха-итальянка, замѣтивъ, пока я вертѣлъ гитару, скорченную, плаксивую фیزیомію нищаго, подошедшаго къ ней, неожиданно залилась гомерическимъ, серебрянымъ смѣхомъ.

— Ага, Беппо! ты, братъ, сегодня подъ лѣвую ногу костыль подвязалъ! Забылъ, что ли?

— Могучій, здоровый смѣхъ птальянки словно пробудилъ гитару: струны ея зарокотали будто живыя, отвѣчая на этотъ веселый смѣхъ, и отвѣчали онѣ такъ громко, такъ четко, что я, болѣе чѣмъ удивленный, отодвинулъ гитару отъ уха и молча взглянулъ на нищаго и на хозяйку. Я поторговался и купилъ гитару за три скуди, — добавилъ Богуславскій:—и вотъ уже двадцать лѣтъ, что у меня, и я не отдамъ ее за сто рублей и больше. Она нисколько не измѣняетъ своего удивительнаго свойства: отзывается немедленно на все веселое и весьма рѣшительно не признаетъ грустнаго.

Я недовѣрчиво посмотрѣлъ на хозяйна и на гитару.

— Да вы шутите?—спросилъ я его.

— Ни малѣйше. Да вотъ, послушайте. Хотя у меня голоса и нѣтъ, и я давно уже не перебиралъ струнъ, но понятіе о гитарѣ все-таки дамъ.

Богуславскій всталъ съ мѣста, затворилъ двери въ садъ, перекинулъ ленту гитары черезъ плечо и затянулъ разбитымъ голосомъ:

«Среди долины ровныя...»

Гитара упорно молчала. Богуславскій заплѣлъ другую мелодію:

«Выхожу одинъ я на дорогу...»

То же невозмутимое молчаніе.

— Ну, а теперь,—продолжалъ онъ:—посмотрите-ка, что будетъ съ гитарою:

«Ужъ мы ѣли, ѣли, ѣли,

«Ужъ мы пили, пили, пили...»

И дѣйствительно, гитара словно встрепенулась; откуда только взялась въ ней отзывчивость? Струны гудѣли весело, игриво, а деревянная доска, будто живая грудь, отвѣчала на ихъ дружное рокотанье, вторила имъ и удваивала.

Я покачалъ головой.

— Ну, а насчетъ любовныхъ пѣсенъ какъ?—спросилъ я хозяйна.

— О! она тоже очень, очень отзывчива; итальянская уроженка!—отвѣтилъ Богуславскій и заплѣлъ:

«Въ крови горитъ огонь желанья...»

И дѣйствительно, гитара заплѣла какъ живая; самъ пѣвецъ словно повеселѣлъ и, спѣвъ пѣсню, даже закашлялъ. Гитара сразу замолчала.

— Видите, мнѣ пѣть не годится,—сказалъ онъ и, вставъ съ мѣста, направился къ стѣнѣ и повѣсилъ гитару.

— Однако, чѣмъ же объясняете вы это? — спросилъ я его.

— Естественнымъ приспособленіемъ,—отвѣтилъ онъ, не обинуясь,—приспособленіемъ, дарвиновскимъ приспособленіемъ. Сколько ей лѣтъ, этой гитарѣ, Богъ ее знаетъ, но вѣроятно, что она находилась долго и постоянно въ веселыхъ рукахъ счастливыхъ людей и приспособилась именно только къ веселымъ звукамъ.

Тѣмъ временемъ погода разъяснилась и глянуло солнце. Не успѣлъ Богуславскій отворить двери въ садъ, какъ вылетѣла пчела и стала быстро жужжать по комнатѣ.

— Слушайте, слушайте! — сказалъ онъ, обращаясь къ мнѣ:—подойдите поскорѣе къ гитарѣ.

Я всталъ, подошелъ и сталъ прислушиваться. Топкимъ-тонкимъ, но очень яснымъ звукомъ отвѣчала она всѣмъ струнами пѣснѣ ластавшей по комнатѣ пчелы. Но когда, недовольная случайнымъ заточеніемъ въ комнатѣ, отыскивая выхода на волю, къ солнцу, въ жпзнь, пчела, со всего разлѣта, хлопнулась въ оконное стекло и, повалившись на подоконникъ, завертѣлась, лежа на спинкѣ, и громко, но жалобно зажужжала—гитара мгновенно смолкла, словно замерла, и не хотѣла, не могла воспроизвести плакавшихъ звуковъ. Она не отвѣчала также на кашель хозяина.

— Позвольте заключить съ вами условіе, — сказалъ я Богуславскому:—я не знаю, кто изъ насъ раньше умретъ: вы или я, но если умрете вы раньше меня, то завѣщайте мнѣ вашу гитару!

— Съ удовольствіемъ!—сказалъ онъ.

До сихъ поръ чудесной гитары у меня еще нѣтъ, и когда будетъ она моею—не знаю.



## ВЕРБА.

---

Извѣстны всякія чудесныя «Превращенія», рассказанныя римскимъ писателемъ Овидіемъ, но, если вѣрить нашимъ сказкамъ, бывали они и у насъ, въ тѣ дни, когда Марпна, полюбившая богатыря Добрыню, обращалась въ перепелочку, князь Романъ обращался въ горностая и чернаго вѣрона, рыскалъ князь Всеславъ сѣрымъ волкомъ.

Очень, очень давно, много десятковъ столѣтій тому назадъ, у насъ въ Россіи, а въ тѣ годы въ странахъ Гипербореѣскихъ, гдѣ, какъ говоритъ другой римскій писатель-историкъ Тацитъ, обитатели были «безопасны отъ людей, безопасны отъ боговъ и достигли самаго труднаго—отсутствія желаній», одна дѣвочка только-что перешла къ слѣдующимъ за дѣтствомъ годамъ развитія. Ей сейчасъ же показалось, будто любитъ она Сарматскаго князя, конечно молодого и красиваго, и будто онъ непременно женится на ней. Князь даже вовсе не замѣтилъ ея.

Дѣло, какъ сказано, происходило на сѣверѣ, въ нашихъ странахъ, гдѣ всякое развитіе трудно, гдѣ оно замедляется тысячами причинъ. Добрыя силы мѣстныхъ боговъ не хотѣли, однако, допустить того, чтобы вспыхнувшее въ дѣвчкѣ желаніе выйти замужъ развилось и перешло въ



ступени развитія. Молода она была, слишкомъ молода, чтобы выйти замужъ. Еще немного слѣдовало бы подождать ей, и тогда, какъ соображали добрыя силы боговъ, сложилась бы эта дѣвушка въ такую прелесть творенія, въ такой праздникъ красоты и благоуханія, какихъ мало являлось въ былые дни, а въ наше время не является и вовсе.

И навели добрыя силы боговъ на дѣвушку сонъ.

Снятся ей, закрывшей свои голубыя очи, что сидитъ она на очень высокой скалѣ, на краю паденія какой-то музыкально-шумящей, низвергающейся воды. Это лилась не вода, а катились клубами и водоскатами какія-то какъ бы волны цвѣтовъ. И всѣ эти волны были разныя и разныя шли отъ нихъ краски и благоуханія. Когда подкатывали струи синихъ васильковъ—солнечный свѣтъ обливалъ дѣвушку струями лазури; когда шли опаловыя розы—розовѣла и она, словно родная имъ своими свѣтовыми красками; когда подкатывались бѣлые ландыши—дѣвушка сразу блѣднѣла, становилась будто сквозною и аромат ихъ пронизывалъ ее, прозрачную, всю, всю, до самаго сердца.

Торопились цвѣточныя волны, обвѣвая ее благоуханіями и освѣщая красками, торопились низрпнуться со скалы, отъ свѣта дневного, въ неизвѣстную, но во всякомъ случаѣ темную, непроглядную глубину.

— Не торопись, какъ мы, сорванные до времени за красоту нашу!—слышалось дѣвушкѣ отовсюду:—не слѣдуй нашему примѣру!—говорили ей цвѣты, проскользая въ стремнинахъ.—Подождешь, настанетъ настоящее время великаго праздника жизни, и возьмешь ты тогда все, а не такъ, какъ теперь, только урывки, только стремленія, только обманчивыя облики того, что должно быть и чего, если ты станешь жить раньше чѣмъ слѣдуетъ, не познаешь ты никогда, никогда!

Стремались и клокотали, говоря это, жасмины, колокольчики, дремлики, фіалки, ночныя красавицы и смѣшивались внизу, подъ скалами, въ какую-то гудѣвшую, могучую рѣку и уносились въ даль къ синему морю.

— Не торопись жить!—гудѣлъ водопадъ.

— Не торопись жить!—шумѣла стремнина.

Добрыя силы боговъ, наведшя этотъ сонъ на дѣвушку, присутствовали при этомъ, незримые и неосязаемые, и твердо увѣренные, на основаніи долгаго опыта, въ томъ, что дѣвушка все-таки ихъ не послушаетъ и поставитъ на своемъ, рѣшились они, послѣ долгаго соображенія и даже споровъ между собою, не ограничиться совѣтомъ, а сдѣлать дѣло.

Проснулась дѣвушка—старухою! Съ ужасомъ ощутила она свое преобразование! глубокія морщины вѣдрилились по лицу, потускнѣли голубыя очи, нависли брови, тяжело сжимались пальцы, слухъ отличалъ съ трудомъ даже очень близкіе звуки и трудно было ей ходить, трудно.

Дрожь какая-то постоянно пробѣгала безъ всякой причины по всему тѣлу, пришлось кутаться, и хорошо, что обиліе мѣстныхъ лѣсовъ, нынѣшнихъ пермскихъ, давало возможность запастись мягкой шубкою. Настали холода, сѣверныя сіянія, длинныя ночи и старуха-дѣвушка невыносимо затосковала, кутаясь въ шубку, отогрѣваясь у костровъ и прислушиваясь къ завываніямъ пурги и треску мороза. Хуже всего было то, что безжалостныя на этотъ разъ добрыя силы боговъ сохранили въ ней сознаніе молодости, всю стремительность влеченій неопытной души и всю яркость мечтаній; ей случалось, какъ прежде, встрѣчать Сарматскаго князя, но князь и тутъ не замѣчалъ ея.

Время шло и добрыя силы, по тщательномъ соображеніи и опять-таки поспоривъ между собою въ виду того, другаго и третьяго, и найдя, что дѣвушка подросла, рѣшились

снять съ нея тяжелое навожденіе. Рѣшились они сдѣлать это тоже во время сна.

Наступала весна. Тронулись снѣга, потеплѣли туманы и по лѣсамъ и открывавшимся всюду водамъ начали раздаваться свистки и чириканье перелетной птицы. Прежде другихъ прилетѣли съ пѣснями стайки жаворонковъ п овсянки и изгнали зимнихъ свиристелей и длиннохвостыхъ аполлоновокъ; затѣмъ принеслись веселыми хороводами малпновки, дрозды, кулики, зяблики; стали сбрасывать съ цвѣточныхъ почекъ свои мѣховые колпачки всякія вербы и ивы; тронулись сережки бѣлой ольхи; зацвѣли подснѣжники, камчатская саранча; глянула повсюду травка, пустили листики бузина и таволга и, наконецъ, еще дрожа и только къ самому полдню, стали показываться первыя бабочки. Апрель только-что начался.

Дѣвушкаѣ показалось, что она, все еще старуха въ шубѣ, заснула на глубокомъ снѣгу и мало-по-малу, такъ казалось ей и это возбуждало въ ней ужасъ, увидѣла она себя погружающеюся въ снѣгъ; она уходила подъ собственною тяжестью въ бѣлую, полную смерти, глубину его; она порывалась карабкаться изъ одолѣвавшаго ее снѣга руками, кричала, плакала, но неистовѣдимая глубина тянула ее и всасывала въ себя. Вотъ уже померкають и послѣдніе проблески земного свѣта, вотъ и тьма обнимаетъ непреглядная, но вдругъ занялся внизу новыи свѣтъ, и погружаться стало ей легче и даже любопытно.

На самой неистовѣдимой глубинѣ снѣговъ проснулась дѣвушка во всемъ обаяніи созрѣвшей молодости. Шубка съ нея слетѣла и стала она писаною красавицею! Сарматскій князь, молодой, красивый и храбрый, но, конечно, тоже немного постарѣвшій, на второй или третій день послѣ этого увидѣлъ ее, полюбилъ, женился на ней и они были счастливы и правили народами.

Въ назиданіе потомству, для того, кто понимаетъ говоръ природы, въ нашихъ ивахъ и вербахъ, опушающихся уже на исходѣ зимы, первымъ праздникомъ возвращенія къ жизни, мѣховыми колпачками, шубками почекъ, сохраняется вѣчно повторяющаяся исторія чудесной дѣвушки. Вербя тоже торопится глянуть въ жизнь ранѣе прочихъ глубоко дремлющихъ сестрицъ своихъ, и зачастую мерзнутъ, даже сквозь шубки своихъ колпачковъ, налившіеся весеннею сплюю зачатки почекъ.

— Не торопись!—говорятъ ей налетающіе пурги и морозы:—твой часъ не глянулъ еще, но онъ придетъ, непременно придетъ!—И верба, до поры до времени, не сбрасываетъ своихъ мохнатыхъ колпачковъ.





# МУРМАНСКІЕ РАЗСКАЗЫ.

Передъ закрытыми глазами. — Черная буря. — Безымень. — Моление  
въѣтру.



## ПЕРЕДЪ ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ.

(На Мурманѣ).

---

Дикое это мѣсто, гдѣ вливается въ Бѣлое море рѣка Поной несмотря на то, что тутъ же и село Понойское стоитъ съ двумя деревянными церковками и двумя сотнями обитателей; это мѣсто, по преимуществу—лопарское, и къ церковному приходу приписано, кажется, шесть лопарскихъ погостовъ.

Старое это село потому, что о немъ давнишняя поговорка существуетъ о бабьей глупости: «умной ты мужикъ,—говорить поморь:—а хуже понойской бабы рядишь»; это значить, что мѣстные люди, сложившіе поговорку, навѣрно были очень древними, древнѣе Новгорода, потому что такой мудрости научились. Но былъ молодцу не укора, а кто своихъ былей не имѣетъ, и нечего тутъ другъ дружкѣ глаза колоть, что это только въ Поноѣ люди смекнули: «завидуетъ горшокъ котлу, а оба на одномъ очагу»,—говорить поморская пословица.

Другое отличіе Поноя—это, опять-таки, пословица: «тутъ гора и тутъ гора, а сверху дыра—вотъ и Поной». Это значить, что рѣка Поной вливается тутъ въ море, какъ и большинство сѣверныхъ рѣчекъ, между отвѣсныхъ скалъ, но мало гдѣ эти скалы не настолько близки и отвѣсны, чтобы не оставить поверхъ гранитовъ «дыру», неширокое мѣсто,



сквозь которое можно видѣть небо. Въ Поноѣ дыра есть.

Берегъ низкій, гладкій, отмелистый, и по морскому песку, дважды въ день обнажающемуся, торчатъ изъ морской воды точно пугалы «гольцы», отдѣльно торчащіе черные камни, самыхъ причудливыхъ очертаній. Когда, въ довольно рѣдкихъ случаяхъ, въ жаркое время, царствуетъ на побережьи тишина въ водѣ и въ воздухѣ, и, благодаріи сильнымъ испареніямъ, воздухъ становится тусклъ и небо заволакивается «марью»,—не удивительно, что людямъ, въ этихъ черныхъ гольцахъ, всякія чудища, рожи, водяники «блзнятъ»—чудятся. Бѣдна сѣверная природа, блѣдны ея краски, а воображеніе людское и тутъ не унимается и сквозь дѣйствительную жизнь другую жизнь видѣть. Есть, говорятъ поморы, на свѣтѣ двѣнадцать сестеръ злыхъ духовъ—«полунощницъ», противъ каждой изъ которыхъ найдутся знахари, знающіе заклинанія; но у поморовъ есть также, и это рѣдкость, въ мірѣ народныхъ сказокъ, злой духъ «полудница», пріобрѣтающая силу именно въ полдень.

— Ужѣ ты полудница съѣсть!—страшаетъ мать своего разревѣвшагося ребенка.

Но какъ ни работаетъ людское воображеніе, а природа тутъ все-таки бѣдна до безконечности. Ни поля не вспахать, ни сада развести; одно только и есть, что рыбачій промыселъ съ марта по октябрь, а въ остальное время или въ отходъ куда идти, или сиди дома въ пятимѣсячной, непроглядной тьмѣ. Уйти тоже не легко, потому что дорога, что тропинка, и вѣтся она Богъ знаетъ какъ, и конца ей нѣтъ.

Однако, и въ этихъ обездоленныхъ мѣстахъ имѣются, все-таки, невеликіе уголки, въ которыхъ красивѣе, чѣмъ вокругъ; не одна только «слѣнка», карликовая березка, стелется между мховъ и вересковъ, а глядитъ кое-гдѣ и травка, и полевой цвѣтокъ, поднимаются и береза, и кленъ, и осина, и лиственница. Въ эти уголки, расположенные въ

долинкахъ по берегамъ рѣчекъ, чуть ли не безыменныхъ, вливающихся въ Бѣлое море, залетаетъ порою и лѣсная птица, и мелкая пташка, и слышишь ея щебетанье, а не только урывистые, дикіе крики всякихъ гагаръ, утокъ, чирковъ и прочихъ безсчетныхъ пернатыхъ морского побережья. Рѣчки порожистыя, шумятъ неумолчно, и красны онѣ въ своей дикости, въ своей географической безпаспортности.

Юнь держался сухой и очень жаркій.

Часу въ десятомъ утра къ устью Поноя, между торчавшихъ гольцевъ и незримыхъ отмелей, шелъ съ моря, небольшой барказъ; шелъ онъ на веслахъ, потому что вѣтра не было нисколько. Опытный глазъ тотчасъ замѣтилъ бы, что барказъ направляется умѣлыми руками, своими мѣстными людьми. Ихъ было всего только двое: одинъ сидѣлъ на веслахъ, другой на рулѣ. Первый изъ нихъ, пожилой, сѣдой, бородатый, былъ, несомнѣнно, со-всѣмъ мѣстнымъ человѣкомъ, не снявшимъ съ головы своего теплаго треуха даже лѣтомъ; другой, парень лѣтъ тридцати съ небольшими усиками и такою же бородкой, осанистый и красивый, сидѣвшій на рулѣ, сильно смахивалъ на человѣка городского, приказчика или артельщика: на немъ виднѣлась синяя поддевка и картузь съ козырькомъ. И тому, и другому мѣсто, по которому шелъ барказъ, было, видимо, очень хорошо знакомо.

Подъ ровные взмахи веселъ и вполне вѣрное управленіе рулемъ, барказъ двигался очень быстро между камней и отмелей.

— Такъ вотъ, я тебѣ и скажу, Николай, по сердцу скажу,—говорилъ старикъ, тотъ, что сидѣлъ на веслахъ:—ты эту исторію съ Аленой брось, кинь, несуразная она, по отцу хотя и богатая. Да вѣдь ты и самъ таперича богатый и супротивъ ея теперь, по смерти твоего батьки, ты, почитай, вдвое ея богаче! Да и то сказать, что между

твоимъ батькой и ея отцомъ, за послѣдній годъ, большая «остуда» выросла, совсѣмъ пораздорились.

— А изъ-за чего?—спросилъ Николай.

— А все изъ-за мѣста для постановки сѣти! Мое, говорить одинъ, мѣсто, а другой говорить—мое! ну и не было у нихъ ладу. Да что: до драки доходило, два старика сцѣпились, такъ что дракою своей всю деревню пристыдили, «захалявили». А когда отца твоего хоронить пошли, когда ему Богъ смерть послалъ, Ермолай-то, значить Аленинъ отецъ, хоронить не пошелъ, дома сидитъ и Алену при себѣ держитъ: «не пущу, говорить, озорника Егора хоронить!»—такъ и просидѣли, пока хоронили.

Барказъ въ это время скребнулъ дна. Приподнявъ весла и оглянувшись, гребецъ объяснилъ Николаю, что надо выправо держать, что въ прошломъ году дѣйствительно тутъ ходили, а теперь тутъ песокъ «черепомъ» лежитъ, а глубина въ сторону пошла.

Николай далъ руля, какъ было сказано, и барказъ снова пошелъ ходко, безъ поскребыванія. Недалекое село Поной виднѣлось залитое горячимъ солнечнымъ свѣтомъ; голубымъ было небо, голубымъ было и море.

— А какъ же это, Андреюшка, — спросилъ Николай, обратившись къ весельщику:—смертная хворость отца моего покойнаго кончалась?

— А было это еще по осени. Какъ вернулся онъ со своими судами, шняками да покручниками съ моря, изъ города Архангельска, значить, такъ ужъ онъ болѣзнь свою съ собою привезъ.

— Съ собою?

— Да, съ собою! его и тогда уже не узнать было, такъ она его заѣла. Трясца, лихоманка, его оспливала; то знобя, то огня старика одолѣвала. Сначала еще ходилъ, на

улицѣ его видѣли, а потомъ залегъ, да такъ въ три мѣсяца и кончился.

— Это когда же: въ январѣ было?

— Послѣ самаго, значить, Крещенія. А тебѣ кто объ этомъ, Николай, въ Питеръ отписалъ?—спросилъ Андрей.

— Дядя Ефимъ письмо прислалъ.

— Ну и вызвалъ, значить, тебя къ наслѣдству?

— Да,—отвѣтилъ Николай не громко.

Барказъ въ это время рѣзко стукнулъ о камень.

— А ты вотъ что, Николаюшко, лучше на весла садись,—проговорилъ Андрей:—а я на твое мѣсто.

Перемѣнили мѣста и стали быстро двигаться къ устью рѣчки Пооя. Рѣчная вода, быстрая, порожистая, пѣнящаяся, обозначалась въ тихой водѣ морской своими острыми, катившимися по камнямъ волнами.

Въ лѣтнее время всѣ обиталища терскаго побережья, какъ и другихъ здѣшнихъ побережій, пусты, потому что весь мужской народъ и множество парнишекъ, имѣющихъ свои прямые обязанности при ловѣ рыбы въ океанской водѣ, отсутствуютъ; остаются старики, женщины и дѣти. Очень близко было до берега, казавшагося необитаемымъ, когда Николай поставилъ Андрею еще нѣсколько вопросовъ.

— Ну, а Алена? какъ сама она? строгая попрежнему?

— И не подходитъ къ дѣвкѣ,—быстро отвѣтилъ, не задумавшись, Андрей.

— И ни съ кѣмъ она, значить...

— А ни, ни!

— Недотрога? такая же, какъ была?—повторилъ тихонько Николай.

— Такая же,—отвѣтилъ Андрей, махнувъ лѣвою рукою, свободною отъ руля:—просолить она свою молодость, свою красоту; гордая она, непреклонная, вотъ что!

— А она тутъ, въ деревнѣ?

— Куды ей запропасться.

— А отецъ ея тоже? въ море не пошелъ?

— Дома сидитъ, постарѣлъ, первый годъ не пошелъ.

Наступило недолгое молчаніе, которое неожиданнымъ образомъ прервалъ Андрей:

— А я, знаешь ты, Николай, ужъ, какъ сойдемъ, дочку мою, Аграфену, оповѣстить Алену о твоёмъ прїѣздѣ пошлю. Чай по сердцу тебѣ будетъ?

— Не надо оповѣщать! сама узнаетъ,—отвѣтилъ Николай.

Баркасъ остановился между двухъ высокихъ камней; на берегъ выбѣжало нѣсколько ребятишекъ и минутъ черезъ десять весь Поной зналъ о прїбытіи Николая.

Сойдя на берегъ, Николай перекрестился; чуялось ему, что въ этотъ прїѣздъ судьба его рѣшится, но, какъ и чѣмъ—этого онъ и приблизительно знать не могъ.

Николай былъ человѣкомъ торговымъ. Мальчишкой, когда у него дома еще двое старшихъ братьевъ имѣлось, отдалъ его отецъ въ Онегу, лѣсному торгу учиться. Такъ онъ и пребывалъ въ этомъ дѣлѣ лѣтъ двадцать и зачастую ѣздилъ между Петербургомъ и Онегою. За эти двадцать лѣтъ погбли у него оба старшіе брата въ морѣ, а недавно умеръ старшій-отецъ, и онъ отправился на побывку въ Поной, получать наслѣдство.

Объ Аленѣ разспрашивалъ онъ Андрея не даромъ, потому что въ послѣдній его прїѣздъ минувшимъ лѣтомъ, при прощаніи, Алена сказала ему:

— Ну, Николай Егорычъ, счастливаго тебѣ пути; къ намъ возвращайся!

До того, три года подъ рядъ, никогда на прощанье не говорила ему Алена такого ласковаго слова, а говорила—прощай! а то и ничего не говорила, а теперь сказала: возвращайся!

И какъ сказала она ему это ласковое слово! Вспыхнули ея щеки, а голубые глаза точно синими стали и длинными рѣсницами какъ будто заволоклись и опустились! Неужто и теперь, и въ эту побывку, не уступить она, не поддается? А надо кончить, такъ или иначе,—думалъ Николай,—надо кончить!

Подошелъ онъ къ своему дому. Пусто. Дверь заколочена, а на ступенькахъ крыльца, въ щеляхъ между досками, даже трава выросла...

---

Узнала Алена о прибытіи Николая не потому, что ей мальчишки объ этомъ рассказали, а потому, что сама увидѣла она изъ окна дома своего, стоявшаго наискось отъ дома Николаева, какъ онъ на порогѣ его, поросшемъ травою, остановился.

Смотритъ она... снялъ онъ шапку... на ея домъ тоже взглянулъ... опять отвернулся лицомъ къ своей двери... прошелъ на открытый задворокъ и опять къ дверямъ возвратился и опять смотритъ на Аленинъ домъ.

Быстро откинулась отъ окна Алена, за бѣлую занавѣску юркнула, спряталась, а въ самой сердце ходенемъ ходить, стучить.

Видитъ она: пришелъ къ Николаю Андрей, двери открываетъ, потому что, должно-быть, ключъ принесъ, и оба вошли въ домъ. Этому Андрею имущество Николая подъ охрану сдано было.

Домъ на крайнемъ Сѣверѣ русскомъ высокіе, двухъэтажные, прочные, и если хозяинъ мало-мальски достаточный человекъ—то и диванъ, и занавѣски, и зеркало есть. Въ большихъ сундукахъ, обитыхъ жестью, подъ висячими замкамъ, много женскихъ парчевыхъ нарядовъ, не одна жемчужная повязка, не одинъ, жемчугомъ украшенный, головной уборъ спрятаны.

Много имѣлось этого добра у Алены, и, какъ только увидѣла она изъ окна второго этажа, изъ-за занавѣски, что Николай съ Андреемъ вошли въ домъ, отошла она отъ окна и сѣла на ближайшій къ ней, одинъ изъ обитыхъ жестью, сундуковъ. Совершенно неожиданно и чрезвычайно бурно охватилъ ее потокъ знакомыхъ ей не первый годъ мыслей, и она сознавала, что онъ одолеваетъ ее, что ея голова кружится, что на этотъ разъ не устоятъ ей, не отшатнуться, не избѣжать судьбы, и что быть ей, такъ или иначе, женою Николая, и она этого ни за что не хочетъ, боится, боится до замиранія сердца.

При этой мысли ее бросило въ жаръ. Слово «жена» пугало ее, пугало цѣлымъ длиннымъ рядомъ самыхъ тяжелыхъ воспоминаній изъ жизни ея покойной матери... Истязанія... жестокая суровость отца, Ермолая, хорошаго и добраго въ остальномъ человѣка... слезы покойницы... Да что слезы:—гораздо хуже бывало... и безвременная могила ея... Ну, а у дяди Дениса развѣ лучше было? а у Николая въ его семьѣ, а у другихъ еще! Нѣтъ, нѣтъ, ни за что не будетъ она чьею-либо женою, ни за что! Боязно!

А сердце стучитъ быстро-быстро, такъ что, сидя на сундукѣ, Алена рукой по груди своей поводитъ, по сторонамъ смотреть, и все ей Николай мерещится.

— Всѣ они такіе, всѣ!—думается ей:—хорошо, пока имъ воли нѣтъ, милъ, пока полюбилась, а какъ взялъ свое, такъ куда! нѣтъ, ни за что, ни за что! лучше въ дѣвкахъ вѣкъ скоротать, лучше! Вотъ, хоть бы и отецъ тоже уговариваетъ: иди, да иди, хоть за Николая иди! это ему съ рукъ сбыть меня хочется... нѣтъ, ни за что! лучше въ люди жить пойду!

И все крѣпче и крѣпче нажимаетъ Алена рукою на стучащее сердце, будто унять его хочетъ, еще немного, казалось бы, и она совсѣмъ потеряетъ сознание, какъ вдругъ возвратилось оно къ ней совершенно неожиданно: кто-то

шелъ наверхъ, и ступени лѣстницы поскрипывали. Алена узнала поступь отца своего.

Ермолай, рослый, угрюмый, сѣдой поморъ, войдя въ комнату, прежде всего перекрестился на образа, а затѣмъ, увидѣвъ, что Алена встала съ сундука, проговорилъ ей:

— Сиди, сиди, Алена, а я вотъ тутъ сяду,—и при этомъ, подойдя къ окну, сѣлъ на стоявшій подлѣ него стулъ.

Еще чуднѣе, еще болѣзненнѣе стало на сердцѣ Алены: приходъ отца былъ совсѣмъ необыченъ и не могъ не имѣть отношенія къ прїѣзду Николая.

— Николай прїѣхалъ,—проговорилъ отецъ, послѣ нѣкотораго молчанія:—ты знаешь объ этомъ?

— Знаю!—отвѣтила не громко, сядя на другой стулъ, Алена.

— Ну, такъ что же дальше будетъ? — спросилъ Ермолай:—надо договориться.

— Боюсь, батюшка, боюсь! — почти вскрикнула Алена немедленно вслѣдъ за вопросомъ и, бросившись передъ отцомъ на колѣни, поклонилась ему въ землю и, не отнимая лица отъ пола, зарыдала.

— Хворая ты, что ли, Алена!—сказалъ отецъ:—встань, встань скорѣе!

Ермолай, наклонившись къ дочери со стула, помогъ ей встать, поддерживая подъ локоть. Старикъ-поморъ видѣлъ, что въ ней происходило что-то неладное, но ему и въ голову не приходило взглянуть при этомъ въ искажившееся, при мысли о бракѣ, лицо Алены и видѣть, насколько это неладное—сильно. Алена была блѣдна; слезы, обильныя слезы струились изъ глазъ ея, и не могла она удержать ихъ, не могла, какъ ни утирала широкимъ рукавомъ своей рубахи. Вставъ, она снова сѣла на стулъ, обѣятая какимъ-то совсѣмъ необычнымъ ей, по силѣ своей и по неожидан-



ности, трепетомъ. Четверть часа тому назадъ ничего этого не было; было, какъ всегда, не то скучно, не то хорошо, но тихо, спокойно, привычно, а теперь, вдругъ, сразу... Страшная мысль о бракѣ будто придушила ее своею близостью и непосредственностью, и настолько оказалась она назрѣвшею, необходимою, знакомою и ей, и отцу, и всему Поною, что тутъ, казалось, не оставалось спасенья или перерѣшенія, или возможности отложить, и что тутъ теперь, сегодня, уже нельзя болѣе спастись въ будущее, въ неизвѣстное.

Въ это время съ улицы, изъ-подъ оконъ, донесся звонкій дѣвичій хохотъ, и немедленно вслѣдъ за тѣмъ дрогнули и заговорили ступени лѣстницы, ведущей къ Алени, во второй этажъ. Вбѣжало нѣсколько дѣвушекъ съ извѣстіемъ, что Николай пріѣхалъ, Николай!

— Чего вы, дѣвушки, чего взбѣленились, — проговорилъ недовольный старикъ-поморъ, почти разсерженный ихъ несвоевременнымъ приходомъ.

— Да ты, дядя Ермолай, не сердись, мы не при чемъ, мы только такъ! — затараторили онѣ одновременно нѣсколькими голосами.

— А что же онъ — одинъ пріѣхалъ, или еще съ кѣмъ? — спросилъ поморъ, желая придать разговору болѣе обычное теченіе.

— Одинъ, одинъ, съ Андреемъ пріѣхалъ, а то одинъ! — отвѣтили сразу нѣсколько голосовъ.

Поморъ всталъ съ мѣста и медленно направился къ выходу.

— Алена! Алена! пойдѣмъ на улицу, — говорили дѣвушки, обступивъ молодую хозяйку и стараясь растормошить ее. Но это оказывалось невозможнымъ, и только послѣ многихъ приставацій, поднявшись со стула, Алена отвѣтила имъ:

— Оставьте меня! нѣтъ, я не пойду.

Дѣвушки бросились къ дверямъ вслѣдъ за Ермолаемъ и оставили Алену одну. Совершенно противъ воли своей подошла она къ окну, сѣла на стулъ и, облокотившись на спинку его, стала смотрѣть сквозъ занавѣску на домъ Николая: сердце стучало въ ней сильно, и страхъ непомѣрный и трепеть какой-то сладостный обуяли ее...

Всѣ рѣшительно знали о той старинной нелюбви, которая существовала между Ермолаемъ и отцомъ Николая, умершимъ Егоромъ; зная суровый, неподатливый нравъ стараго помора, Николай видѣлъ въ немъ одно изъ существенныхъ, если не существеннѣйшее препятствіе къ своей свадьбѣ; Алена, думалось ему, тоже, правда, больно строга, ну, да съ нею, дастъ Богъ, справиться можно, а вотъ Ермолай—это совсѣмъ другое дѣло; даже на похороны къ моему отцу не пошелъ. Имъ надобно заручиться прежде всего,—такъ думалось Николаю.

Ермолаю становилось ясно, что Аленѣ, вѣроятно, придется одно изъ двухъ: или быть за Николаемъ, или остаться въ дѣвушкахъ; въ этомъ онъ не сомнѣвался, но великое сомнѣніе брало его въ другихъ отношеніяхъ. Во-первыхъ, думалось ему, Николай человѣкъ торговый, давно сбѣжавшій съ Поморья, и онъ жену свою непременно съ собою увезетъ, если женится; во-вторыхъ, какъ человѣкъ торговый, онъ, Богъ его знаетъ, можетъ-быть, вовсе не на Алену зарится, а на ея имущество; одна только вѣдь она богатая наслѣдница, все ей пойдетъ, и Николаю не она, а ея богатство нужно.—Такъ думалось Ермолаю.

Но оба они ошибались, и это выяснилось лучше всего при частыхъ свиданіяхъ ихъ, отнюдь не случайныхъ, ни съ той, ни съ другой стороны, потому что оба они свиданія хотѣли, и его искали. Вообще, за двѣ недѣли пребыванія Николая въ Поноѣ состоялось нѣсколько свиданій:

видѣлись и говорили Ермолай съ Николаемъ, видѣлись урывками и Николай съ Аленой, толковали они о женитьбѣ между собою и съ другими людьми, и всѣ склонялись къ тому, что, дескать, надобно поженить обоихъ; но дѣло нисколько не подвигалось, потому что всѣ рѣшительно надежды на улаженіе разбивались о какое-то непреодолимое, непостижимое, болѣзненное упорство Алены.

Свѣтлыя, бѣлыя ночи установились тогда надъ Поморьемъ, и солнце не садилось вовсе: опустится оно къ низу и, задолго до того, чтобы коснуться нижнимъ краемъ своимъ той черты, что отдѣляетъ море отъ неба, остановится, задумается и начинаетъ опять подниматься. Словно чувствуя, что недолго ему, солнцу, здѣсь царствовать, что оно потонетъ въ непроглядной полугодовой ледяной ночи, старалось оно даже вовсе не отдыхать, вовсе не сходить съ неба, а тамъ—будь что будетъ. Июнь—это то короткое время въ жизни нашего унылаго Сѣвера, когда растительность, слѣдуя примѣру солнца, тоже не останавливается, не отдыхаетъ и въ большинствѣ видовъ всякихъ травъ и мховъ, не болѣе какъ въ теченіе одного мѣсяца—выходитъ изъ сѣмени, растетъ, цвѣтетъ, даетъ плодъ, сѣмя и обмираетъ. И какъ удивительно цвѣтисты эти сѣверныя вероники, кашки, гвоздики, ранункулы, эти приземистые, стелющіеся по землѣ шиповники! Благодаря неугасающему свѣту, благодаря удивительной чистотѣ воздуха и необычайной прозрачности его, допускающей солнечный лучъ до непосредственнаго лобзанія цвѣточной коронки, безъ всякаго посредничества пыли, міазмовъ, дыма и другихъ копотей,—цвѣтки эти ярки и блестящи. Нѣчто подобное имѣетъ мѣсто на высотахъ альпійскихъ горъ.

Часу въ десятомъ вечера, передъ тѣмъ, чтобы спать идти, между Ермолаемъ и его дочерью, только-что вернув-

шеюся въ домъ, имѣлъ мѣсто слѣдующій разговоръ. Они сидѣли подлѣ дома, на скамьѣ, выходящей во дворъ.

— А вѣдь Николай у меня опять былъ и отвѣта просилъ, Алена! Измаялся парень, да и ты тоже хороша. Надо кончить!

Алена вздрогнула всѣмъ существомъ своимъ, словно ее обожгли, словно произнесенныя отцомъ слова ранили ее въ самое наболѣвшее мѣсто сердца; она молчала.

— Парень-то онъ хорошій, Алена! Одно, чего я боялся, такъ это, что онъ тебя увезетъ; на это онъ отвѣтъ далъ, что, если ты захочешь, онъ въ Поноѣ останется. Боялся я, что онъ на твои деньги зарится—а онъ мнѣ на это въ отвѣтъ, что не то что твоего приданаго онъ не возьметъ, но что все свое имущество на тебя еще до свадьбы запишетъ. Божья воля, значить, Алена, надо кончить!

— Боюсь, боюсь, батюшка! — быстро отвѣтила Алена и спрятала лицо свое, опустивъ его въ приподнятыя ею руки.

— Да чего же ты боишься? Чудная ты!

— Бить будетъ, бптъ! — прошептала она: — а я не могу этого, не вынесу, не могу... утоплюсь...

Такъ откровенно не говорила Алена съ отцомъ своимъ ни разу; если она высказала свою сокровенную мысль, такъ, значить, не въ силу было ей, не въ моготу не выдать главной причины своего упорства, для многихъ, если не для всѣхъ, непостижимой; значить—наболѣло ея сердце несказанно, если она рѣшилась промолвиться, значить—она любила. И Алена была права, задерживая, по возможности, это свое признаніе, потому что, вслѣдъ за нимъ, отецъ быстро насупился, и тоже былъ правъ...

Промелькнули въ памяти его, выросши изъ неожиданныхъ словъ дочери, многіе срамные часы его былой женатой жизни. Забылись они, затерялись, за давностью лѣтъ сгинули, и вдругъ теперь, неожиданно - негаданно, словно

Божье наказанье, отсроченное, но не отмѣненное—возникли они изъ глубины его души по словамъ дочери. Вспомнилось ему, какъ чахла его жена, какъ видывали звѣрскія его расправы съ женою люди, какъ попадала при этомъ и Алена подъ тяжелую руку, когда прижималась она въ испугѣ къ матери, кричавшей отъ боли и заливавшейся слезами. Вспомнилась ему и послѣдняя передъ смертью жены тяжелая расправа; вспомнилась она и Алентъ...

Ермолай поднялся съ мѣста. Не спокойно было въ немъ, говорить ему и хотѣлось, и не хотѣлось, и годы его были старые, и дочери, единственной дочери судьба рѣшалась! Пробормоталъ онъ что-то, переминаясь съ ноги на ногу, что-то неясное, несуразное, проговорилъ невнятное слово, будто самого себя осиливая, и затѣмъ остановился какъ вкопанный...

— Да вѣдь не всѣ же бьютъ своихъ женъ, — быстро и внятно проговорилъ онъ: — не всѣ, и Николай бить тебя не будетъ!

— Да вѣдь не спасешь ты меня, не спасешь, батюшка, — проговорила Алена: — если поздно будетъ.

Взглянулъ Ермолай на дочь свою, не сказалъ ни слова и, махнувъ рукою, отошелъ отъ нея.

Время шло обычнымъ порядкомъ, и, послѣ послѣдняго разговора съ дочерью, Ермолай не только не говорилъ съ нею больше о свадьбѣ, но даже избѣгалъ вообще толковать съ нею и стать угрюмѣе и молчаливѣе прежняго. По воскресеньямъ шли понойцы на службу церковную, подъ вечеръ бабы плясѣ и пѣсни водили; приходила въ обычный срокъ «бабья почта», т. - е. барказы съ письмами, управляемые, за отсутствіемъ мужчинъ, ушедшихъ въ море на промысла, женщинами, но въ общемъ совершалось все одно и то же. Но не одно и то же совершалось въ сѣверной

природѣ, и различныя освѣщенія дня и ночи, различные вѣтры, различное тепло, обуславливали очень быстрые переходы отъ картинны къ картинѣ.

Меньше всего замѣчала ихъ Алена. Ей, собственно говоря, было все равно: утро, вечеръ, вихрь, тишина. Какая-то дремота обуяла все ея существо, и ничего ей не хотѣлось, и ни на что она не рѣшалась. Пойдетъ, бывало, по взморью и пойдетъ дальше, чѣмъ слѣдуетъ; примется полотно ткасть—работаетъ, пока рука онѣмѣетъ и глаза видѣть перестанутъ. Дошелъ до нея слухъ, что къ Николаю письмо пришло, его возвращенія требующее.

«Пойти, развѣ, къ нему, броситься къ нему, обнять его... вѣдь онъ,—думаетъ Алена,—хорошій, онъ добрый... сколько лѣтъ мается, а все не покидаетъ! Да чего же отецъ мой молчитъ... отчего онъ ничего не дѣлаетъ... отчего другіе не вмѣшаются... Вотъ если бы насъ повѣнчали, вотъ если бы сказали: ну, все кончено, теперь нѣтъ спасенья... ты жена его... жена...»

И при этомъ словѣ страшно становится Алени, видится ей ея покойница мать, видятся еще и другія...

Наступила ночь. Шагъ за шагомъ двигается Алена по прибрежному песку, идетъ дальше, дальше, сворачиваетъ къ рѣчкѣ, направляется къ кладбищу... Почему пошла она къ кладбищу и отыскала могилу матери—неизвѣстно: ноги сами шли!

Тихо, тихо на кладбищѣ. Свѣтлая, лѣтняя ночь, необычайно теплая, одѣла своимъ розовыми полутѣнями скалы понойскаго ущелья, и даже все безбрежное море казалось тоже розовымъ, какъ бы теплымъ. Не слѣдовало, конечно, испытывать эту теплоту рукою, потому что разочарованіе наступило бы полное. Давно уже уgomонились морскія птицы, попрятавшіяся въ свои теплыя, темныя гнѣзда по скаламъ, а небо было чисто и безоблачно, и только кое-гдѣ

мелькали въ немъ звѣзды, не смѣя проявиться, потому что солнце оставалось въ небѣ, и красно-малиновый столбъ его отраженія чуть-чуть дробился сонною, успокоенною волной.

На кладбищѣ было еще тише — потому что прибой морской до него почти не доносился, и только одинъ сердитый Поной, дробясь о камни и скалы и катясь къ морю не струями, а бѣлою пѣною, такъ его изорвало, возвышалъ къ ночи свой неумолчный голосъ.

На кладбищѣ тихо... Алена отыскала могилку своей матери и сѣла подлѣ нея. Травка невысокая, цвѣточки яркіе... хорошо... вѣдь въ могилкѣ о побояхъ и помина нѣтъ.

При одной только мысли о побояхъ, Богъ вѣсть почему возникшей въ Аленѣ, она быстро встала съ мѣста и оглядѣлась.

Никого! Вокругъ, въ листьяхъ невысокихъ березъ и лиственницъ, державшихся Богъ вѣсть на чемъ по отвѣснымъ скаламъ ущелья и сползавшихъ къ ихъ подножію. царила полная, полная тишина, и она находила себѣ путь въ жаждавшее покоя сердце дѣвушки. Алена опять сѣла на прежнее мѣсто и задумалась.

— На завтра Николай уѣдетъ! Я не пойду туда... не увижу его, не хочу видѣть!.. А вѣдь онъ добрый, онъ не такой, какъ всѣ... онъ бить не будетъ... Вѣдь, вотъ тутъ матушка забитая лежитъ, забитая, а еще могла бы жить и дочь свою пожалѣла бы, и совѣтъ ей дала бы! Развѣ-что къ ней пойти? У нея тихо, вотъ какъ хорошо и тихо! Только грѣшно на себя руку наложить, не простится никогда!

И Алена глядѣла въ зеленую листву деревьевъ, на небо, въ траву на могилку матери. Мысли ея, однообразныя, докучливыя, назойливыя, въ эти послѣднія три-четыре недѣли, благодаря близости Николая, посредничеству дѣвухекъ, дяди Егора, благодаря измѣненію въ отношеніяхъ къ ней отца, стали до такой степени неотступны, что бѣжать отъ нихъ хотѣлось бы, хоть въ смерть, но только бы бѣжать!

Алена сидѣла на очень невысокой колодѣ какой-то забытой безымянной могилки; утомившись глядѣть, она, облокотивъ правую руку на колѣно, оперла на нее голову и закрыла глаза. Случилось то, что случалось съ нею постоянно: чуть только исчезала въ глазахъ ея видимость, проступала другая видимость, другой міръ, въ которомъ полнымъ хозяиномъ являлся Николай. Такъ было это и теперь.

«Вѣдь онъ добрый, хорошій»,—думала Алена, видя передъ закрытыми очами обликъ дорогого ей человѣка. На этотъ разъ онъ какъ-то особенно ясенъ, хоть разговаривай съ нимъ, хоть руку подай.

— А вѣдь ты,—говорила ему Алена:—отцу моему предлагалъ на мое имя, еще до свадьбы, все твое имущество записать?

— Предлагалъ,—отвѣчаетъ Николай:—но онъ отказался.

— А вѣдь ты не прочь, женившись, въ Поноѣ остаться?

— Не прочь!

— Ну, такъ что же! — воскликнула Алена и открыла глаза: опять кладбище, опять могилка матери; — нѣтъ, лучше снова закрыть глаза и съ Николаемъ бесѣдовать.

Закрыла, и Николай тутъ какъ тутъ передъ нею. На этотъ разъ заговариваетъ онъ:

— Чего ты боишься, Алена, чего? Не власть мужняя, не побои ожидаютъ тебя, а любовь и ласка безконечныя; вѣдь не всѣ на свѣтѣ люди женскія косы рвутъ и лица калѣчатъ.

— Ахъ, если бы такъ,—отвѣчаетъ Алена.

— Такъ, такъ, Алена Ермолаевна, вѣрьте человѣку! Который годъ маюсь, а все отойти не могу! Влечетъ меня къ вамъ, Алена Ермолаевна! Не могу я вашего лица от моего зрѣнія отвести! Никакое дѣло у меня не спорится, а если засну, такъ вы и тутъ подлѣ меня, только ближе какъ-то, добрѣе, и обнять васъ могу, и цѣлую очи ваши...



Чувствуетъ Алена, будто ее сѣтъ какая-то опутываетъ, большая сѣтъ, какъ ярусъ морской: что ей въ сѣти этой двигаться нельзя, что она въ ней, какъ рыбка, поймалась, только что бичевка безконечной снасти боли ей не причиняетъ, не жметъ, а какъ-то ласкаетъ, даже грѣетъ, и чудится Аленѣ... вотъ это уже совсѣмъ непонятно... чудится ей, что какая-то удивительная птица въ вѣтвяхъ деревьевъ поетъ. Неслыханная птица! А какъ поетъ, какъ поетъ! Словно въ любви изнываетъ.

На этотъ разъ Алена настолько осилена впечатлѣніемъ, такъ сладостна ея истома, такъ хороша пѣсня, что не хотѣлось бы ей глазъ открывать, умереть бы, слушая, хотѣлось... Вдругъ трескъ какой-то, по сосѣдству, заставилъ ее открыть глаза.

Передъ нею стоялъ Николай.

Алена не сразу сообразила и провела рукою по глазамъ и опять открыла ихъ. Бѣжать хотѣла бы она, бѣжать... но въ это время совершенно неожиданно зарокотала не вдали, въ кустахъ, только-что слышанная птица.

— Что это?—спросила Алена стоявшаго въ одномъ шагѣ передъ нею Николая.—Что это за птица?

— Это соловей, Алена Ермолаевна, соловей... Не бывало здѣсь такихъ, у васъ, не бывало.

— Соловей... — отвѣтила тихо, еле слышно Алена, еще находившаяся подъ впечатлѣніемъ того, что ей видѣлось и слышалось при закрытыхъ глазахъ.

— Алена Ермолаевна...—пробормоталъ совсѣмъ опѣшившій Николай: — право, я не съ тѣмъ-съ... я уйду... я не смѣю... уйду...

И Николай началъ-было пятиться отъ Алены.

А соловей шелкалъ и заливался во всю мочь, и какъ будто даже ближе подлетѣлъ.

«Зачѣмъ Николай пятится,—думается Аленѣ,—вѣдь такъ

онъ и совсѣмъ уйдетъ... вѣдь этого больше нельзя, потому что до послѣдняго дошло... и опять-таки этотъ соловей... и эта сѣть съ теплыми въ холодной водѣ звеньями опутывается, ласкается, грѣетъ, тянется, какъ рыбку...»

Не выдержала Алена; вскочила она съ мѣста, бросилась къ Николаю въ ноги, обняла его колѣни и только и могла крикнуть:

— Вѣдь ты не будешь бить меня?

Обезумѣлъ Николай, обезумѣлъ въ конецъ. Наклонился онъ къ Аленѣ и поднялъ ее къ себѣ, и случилось это такъ, что лицо ея пришлось противъ его лица, ея губы противъ его губъ, а роскошная коса Алены сама изъ ленты вырвалась и до самой земли, вдоль Аленной спины, скатилась... Она опять закрыла глаза, но уже въ объятіяхъ Николая; она чувствовала его дыханье, она замирала въ могучей близости его и не могла дышать, и не хотѣла дышать безъ этого... О страсти въ этомъ самозабвеніи обоихъ и помина не было, но поцѣлуй былъ и долготъ, и безконечно хорошъ...

Соловей тѣмъ временемъ замолчалъ... Какой это былъ соловей?—мѣстные люди говорятъ, что соловья выше Соликамска и Сердоболя на сѣверѣ не замѣчаютъ, что они не смѣютъ отваживаться. А вотъ этотъ чудный соловей, который Аленѣ пѣлъ, можетъ-быть, горемыка какой-нибудь, въ родѣ Николая, отважился и до самаго предѣла русской земли къ морю залетѣлъ. Правда, что гдѣто на этотъ разъ стояло необычайно теплое, но все-таки неслыханное, сказочное дѣло совершилось съ этимъ соловьемъ; онъ своимъ пѣніемъ словно руки развязалъ Аленѣ и ее на великія радости привелъ. Сказка, да и только! Но вѣдь и всякая любовь сказка, или сказкѣ родня!

Дѣло подходило къ полночи, когда Алена съ Николаемъ возвратились въ Поной. Все село спало крѣпкимъ сномъ, кромѣ Ермолая, сидѣвшаго у своего дома на скамейкѣ.

Утреннее солнце, т.-е. солнце, начавшее опять подниматься, золотило старика и его домъ своими помолодѣвшими огнями. Молодые люди, давно замѣченные Ермолаемъ въ свѣтлой ночи, подошли къ нему, и Алена повалилась ему въ ноги.

— Батюшка,—заговорила она первою:—благослови жениха и невѣсту, если на то воля твоя будетъ!

— Благослови, Ермолай Парамоновичъ!—добавилъ Николай и тоже поклонился старiku въ землю.

— Богъ да благословить васъ,—отвѣтилъ старикъ, заплакавъ и покрывъ обѣими руками своими молодых склонившихся передъ нимъ головы жениха и невѣсты.

На утро неожиданная новость обѣжала весь Поной; по осени сыграна свадьба, и Николай въ Петербургъ не возвратился. Когда же послѣ третьяго ребенка, будучи волостнымъ старшиною, Николай по служебному дѣлу побывалъ въ городѣ, т.-е. въ Архангельскѣ, онъ, увидѣвъ совершенно случайно въ окнѣ у мѣховщика чучело соловья, купилъ его, купилъ дорого и привезъ съ другими гостинцами Аленѣ.

— Что это за птица?—спросила Алена.

— А это соловей!—отвѣтилъ Николай, улыбаясь.

— Соловей!—воскликнула Алена, взяла его въ руки и долго разсматривала, тоже улыбалась. — Не красивая, однако, она птица!—замѣтила она.

— Точно, что не красивая, — отвѣтилъ Николай: — да поетъ хорошо и въ-время...—ехидно добавилъ онъ.

Чучело соловья было поставлено на шкапъ и долгие-долгие годы не уступало никому и ничему своего почетнаго мѣста.



## ЧЕРНАЯ БУРЯ.

---

Мурманское становище, изъ котораго туманнымъ утромъ должна была выйти въ море поморская шняка, притаилось въ одной изъ небольшихъ бухточекъ побережья, недалеко отъ Семи Острововъ. Это одно изъ очень мелкихъ, неудобныхъ становищъ, потому что бухточка открыта всѣмъ рѣшительно сѣвернымъ вѣтрамъ; но становище насижено изстари, чуть не со временъ новгородцевъ, и оживляется, съ приходомъ поморовъ, каждымъ лѣтомъ. Единственная защита бухточки состоитъ въ томъ, что по самой срединѣ входа, со стороны океана, входа, имѣющаго ширины не болѣе ста сажень, поднимается со дна морского конусообразная, довольно хаотическая, груда черныхъ скалъ. Остріе этого конуса состоитъ изъ громадныхъ глыбъ, налегающихъ одна на другую, повидимому, очень неплотно и оставляющихъ даже большія дыры, просвѣты; но глыбы держатся, слиты воедино, прочнѣе всякаго цемента, собственной тяжестью; этотъ незримый цементъ держать ихъ неколебимо. Въ просвѣты сквозить иногда солнце, смотреть мѣсяцъ, а набѣгающая океанская волна даетъ тутъ цѣлые сонмы водопадиковъ и пускаетъ фонтанчики.

И черны эти глыбы гранита, черны невѣроятно. Эта чернота мурманскихъ скалъ, которыя только изрѣдка обна-

жаются отъ океанской воды, удивительна. Открытыя вѣтрами, не покрываемыя водою, скалы мурманскаго побережья въ общемъ — розоваты, тогда какъ ихъ собратья, предоставленныя вѣчнымъ, неистовымъ бурунамъ волны, словно обуглились. Онѣ, будто цыганки, обожжены страстью горячаго, степного солнца и, какъ цыганки, почти обнажены. А вѣдь это на глубокомъ сѣверѣ.

Выгода бухточки, въ которой стояла шняка, состоитъ именно въ этой градѣ скалъ, разбивающей всякую волну, идущую изъ океана; скалы пропускаютъ ее мимо себя, сквозь себя, ослабленною, разорванною, подрѣзанною и, въ то время какъ другія, сосѣднія волны, движимыя могучимъ дыханіемъ, лѣзутъ высоко, высоко на отвѣсныя берега побережья, волны, зашедшія въ глубь бухточки, сравнительно спокойно ложатся на береговые пески.

Въ бухточкѣ могутъ размѣститься три, четыре шняки, не больше. Хотя о полномъ спокойствіи стоянки тутъ, при сѣверныхъ вѣтрахъ, не можетъ быть и рѣчи, но волны бухточки, качающія шняки на дрянныхъ якорькахъ, все-таки ничто въ сравненіи съ вѣтромъ, обдувающимъ ихъ снасти, потому что каменная гряда у входа въ бухту вѣтра не ослабляетъ, не подрѣзываетъ, и онъ врывается сюда съ полною силою, дуетъ всею грудью. Становище, т.-е. деревянные домишки и сараѣчики его, пронизывается насквозь.

Но поморъ заботится больше о своихъ шнякахъ, чѣмъ о себѣ: если ихъ не разобьетъ, то ему до своей личности дѣла нѣтъ. Пусть продуваетъ вѣтеръ, обжигая лицо и окостеняя руки, пусть негдѣ помору обогрѣться, пусть гудитъ заунывный посвистъ и проникаетъ къ нему даже въ видѣнія сна, лишь бы цѣла была его шняка.

Безконечно-долгое утро не отгоняло тумана и тянулось холодное, мглистое. Июнь задался на этотъ разъ далеко не теплый. Солнца не было видно за многими слоями сѣрыхъ,

свинцовыхъ тучъ, густо и низко налегавшихъ на сѣрый, свинцовый, какъ они, океанъ. Кто кого окрашивалъ въ сѣрый цвѣтъ: океанъ тучи, или наоборотъ? Бѣлыми точками видѣлись по этому томительному однообразію сѣраго цвѣта быстро рѣявшія чайки; крикъ ихъ былъ такъ же рѣзокъ, какъ и изломы полета: въ крикѣ, какъ и въ полетѣ, было что-то томительно-безпокойное, заунывное.

Ночевало въ бухточкѣ три шняки; двѣ давно уже вышли въ море, третья запоздала, но тоже готовилась выйти, и весь экипажъ ея, законныхъ четыре человека поморской, шнячной артели, имѣлись на-лицо и, видимо, торопились. Оpozдала шняка по винѣ артели; но былъ еще и другой виновникъ—одно изъ непріятнѣйшихъ млекопитающихъ міра, Богъ вѣсть какъ зашедшее на Мурманъ,—крыса. Крысы перегрызли запасный якорный канатъ, да еще въ нѣсколькихъ мѣстахъ; каната раньше не требовалось, его не осматрѣли; пришла нужда—увидѣли, и, пока производилась починка, шняка опоздала. Артельщики-покруткики могли бы, конечно, осматрѣть всѣ свои принадлежности раньше, въ свободное время, но поморы—русскіе люди, и время было потеряно.

— И откуда ихъ, этого проклятаго гнуса, крысъ,—говорилъ старикъ, хозяинъ шняки:—у насъ, на берегу, завелось?

— Мать говорила, что ихъ тутъ прежде не бывало,—отвѣтилъ зукъ, парнишка лѣтъ двѣнадцати, необходимый участникъ артели, будущій безстрашный поморъ, подбиравшій въ кадушку наживку, мелкую рыбку-песчанку, приготовленную радѣ и уже почти всю доставленную на шняку; онъ подбиралъ тѣхъ рыбешекъ, которыя были разбросаны при переноскѣ и валялись по пестрому щебню побережья.

Крупный поморъ, по имени Вадимъ, разбойный человекъ, много лѣтъ ходившій на морского звѣря, т.-е. на

разбойный промыселъ, проходя мимо мальчишки - зуйка, оперся на него рукою и пригнулъ къ землѣ, такъ что парнишка даже крикнулъ; это была ласка. Вадимъ поддерживалъ мнѣніе зуйковой матери, что крысъ на Мурманѣ прежде не бывало.

— Съ норвежцемъ вмѣстѣ пришли, да и хозяйничаютъ,— замѣтилъ Вадимъ.

— Самъ ты норвежець, — громко отвѣтилъ ему звукъ, оправившись отъ могучаго надавливанія руки Вадимовой.

Вадимъ остановился, повернулся къ зуйку лицомъ и молча погрозилъ ему кулакомъ. Зукъ точно ушелъ въ свою песчанку и сталъ подбирать ее еще тщательнѣе, еще торопливѣе.

— Ну, скоро ль?—обратился къ нему хозяинъ.—Безорудъ ты этакая!—На мѣстномъ нарѣчїи это значило: параличный.

— Норвежець!—проговорилъ Вадимъ, грозя кулакомъ вторично:—я те дамъ норвежець!—Онъ поднялъ съ земли, съ необычайною легкостью, пуда два бичевы, свернутой кольцомъ, и перешагнулъ съ каменной глыбы въ шняку.

Погода была тихая, но не обѣщала особенной устойчивости. Вѣтеръ дулъ съ сѣверо-запада, можно было рассчитывать на дождь; вечеромъ вѣялъ вѣтерокъ южный, слѣдовательно, шелъ онъ по кругу и легко могъ стать и сѣвернымъ и сѣверо-восточнымъ, а тѣмъ болѣе ничего ему не стоило вдругъ покрѣпчать неимоვნно и разстроить всякую надежду на успѣхъ лова.

Тѣмъ не менѣе, выходить въ море было необходимо, потому что люди знали, что треска идетъ, что къ Семп Островамъ и къ Лицѣ шняки полными-на-полно возвращались, а за всю весну наработано немного. Отдали клѣть-веревку, служившую причаломъ, и направились изъ бухты.

Шняка была далеко не изъ молодыхъ и видала всякіе

виды, но она была ходкая, юркая и хорошо слушалась руля. Значительно накреньясь, вышла она въ полвѣтра, миновала гряду и направилась въ открытое море. Кое-гдѣ виднѣлись другія шняки, выскивавшія хорошей стоянки. Все завписать отъ случая; на большихъ глубинахъ океанскихъ ничего не разглядѣть.

Поморы вообще не говорливы, но о томъ, куда направиться и гдѣ якорь бросить все-таки говорили. Подростокъ-зуюкъ оказался и тутъ совѣтчикомъ.

— А у насъ,—говорить:—въ Сорокахъ, мать сказывала, что ей странничекъ совѣтъ давалъ!

— Станничекъ?—спросилъ хозяинъ.

— Гдѣ крестъ, говорить, выйдетъ—тамъ и бросай,—добавилъ зуюкъ.

— Какъ это крестъ?—спросилъ Вадимъ.

— А четыре щепышки или суковья малые взять надо, да по четыре штучки на воду и бросай, и гляди: гдѣ крестъ!

— А-ну!

На грязномъ днищѣ шняки всегда щепышки да суковья найдутся; всѣ они словно пропитаны рыбьимъ жиромъ и поблескиваютъ рыбьими чешуйками. Стали бросать на волны щепышку; больше для забавы, конечно, а шняка тѣмъ временемъ шла быстро-быстро, покачиваясь изъ стороны въ сторону и описывая концами мачтъ длинныя кривыя.

Накренившись, скользила она по круглымъ скатамъ не крутыхъ, но очень могучихъ волнъ. Крестики долго не вырисовывались щепышками. Прпнялись насаживать наживку. Легко сказать: на двѣ тысячи, и больше, крючковъ по рыбкѣ насадить! Не вся насаженная рыбешка сразу попоколѣла и наживленные части яруса—такъ называется рыболовная снасть—пошевеливались подъ ногами поморовъ какою-то странною, мучительною судорогою, какою-то грудою безмолвныхъ, шелестившихъ страданій.



Къ вечеру, на избранномъ мѣстѣ, былъ брошенъ въ море послѣдній кубасъ, т.-е. весь ярусъ, длиною болѣе версты, съ наживленными двумя тысячами крючковъ, протянулся по океану, приманивая жадную треску. Выкинуть ярусъ надо много часовъ времени. Къ послѣднему кубасу, голомяннику или кошкѣ, привязали веревку, сажень въ сто длиною, такъ-называемую симку, а другой конецъ ея прикрѣпили къ носовому штевню шняки. Глубина на этомъ мѣстѣ оказалась около восьмидесяти сажень; хотя ночь была, сравнительно, свѣтла, но о томъ, чтобы видѣть берегъ—не могло быть и рѣчи.

Стоянка съ закинутымъ ярусомъ должна длиться шесть часовъ; надо людямъ поѣсть, надо отдохнуть. На этотъ разъ, кромѣ соленой сельди и хлѣба, взято было и крошево, т.-е. рубленая капуста, фруктъ, для поморовъ, южный, но имѣющійся на-лицо, въ качествѣ колоніальнаго товара, у прибрежныхъ фактористовъ. Раньше всѣхъ приложился къ кадушкѣ съ капустою Вадимъ: онъ сгорстилъ капусту, т.-е. взялъ въ горсть съ добрую чашку и не замедлилъ, поѣдая, разукрасить себѣ капустою усы и бороду; этому способствовало и усиливавшееся волненіе.

— Эка бась какая (по-мѣстному—красота)! хи, хи!—проговорилъ зукъ, указывая на Вадима: — капустой обсѣлъ!

Разстояніе между обонми было большое, и разбойный человѣкъ опять-таки показалъ зуйку кулакъ.

Обратились къ рому, къ знаменитому норвежскому, воичюему, продаваемому безакцизно, отравляющему все наше поморье.

— Мертво пить хочу!—проговорилъ Вадимъ.

— То-то одежу всю пропилъ, въ рямкахъ (т.-е. лохмотьяхъ) ходишь,—отвѣтилъ зукъ и, ранѣе Вадима, осушилъ нипочемъ жгучую четвертную.

— Пострѣленокъ—ужо, погоди!—отвѣтилъ Вадпмъ.

— А что, робя (т.-е. ребята), не сниматься ли?—проговорилъ хозяинъ:—беть идетъ, буря будетъ?

— Соснуть бы!

— Гдѣ тутъ спать!

Хозяинъ былъ правъ. Беть—буря шла дѣйствительно, налетала быстрая и, надо сказать, неожиданная. Она посылала предвѣстниками своими судорожные порывы вихря, тороки. Западный, дождливый вѣтеръ обѣщалъ съ утра болѣе прочную погоду.

Кончили съ питьемъ и ѣдой, кончили раньше, чѣмъ думалъ, и принялись убирать ярусъ, потому что крѣпчалю.

— Не ряхайся, ребята, не медли! — подбодрялъ хозяинъ.

Притянулись къ кубасу, вытащили якорь, стали собирать ярусъ; крючки, выходя изъ воды, обнажались одни за другими, все пустые: или не было на этомъ мѣстѣ трески, или не успѣла насѣсть. Изрѣдка-изрѣдка шлепалась въ шняку грузная рыба. Въ хорошій уловъ что ни крючокъ—то рыба, ожерельемъ тянется, тесьмой блеститъ, руки оттягиваетъ и въ шнякѣ что золотистая гора нарастаетъ, а тутъ ничего, ровно ничего!

Уборка яруса, несмотря на порывы усиливавшихся шкваловъ, была закончена почти до половины. Всякій человѣкъ зналъ свое дѣло отлично, суеты не было. Но все это были только человѣческія усилія, только расчеты ума, навыка, терпѣнія и отваги людской, неизмѣримо маленькіе въ сравненіи съ тѣмъ, что готовилась показать природа.

На Ледовитомъ океанѣ, въ непогодѣ, въ бурю, или въ беть, какъ здѣсь говорится, иногда, среди бѣлаго дня, налетаетъ совсѣмъ глубокая тьма. Грузныя тучи, цвѣта чернаго шифера или аспида, круглыми очертаніями своими,

полныя мрака и холода, спускаются и налегаютъ на черныя, какъ и онѣ, океанскія волны. Только кое-гдѣ, въ этихъ небесныхъ, почти сплошныхъ, черныхъ, аспидныхъ громадахъ, просвѣчиваютъ свѣтовые пятна неба, единственные свидѣтели и продолжатели царящаго на остальной землѣ дня. Не повѣрить этому мраку, если не видѣть его; свѣтовыми пятнами свѣтятся только самые высокіе всплески гигантскихъ волнъ и кажутся рѣзко-бѣлыми; бѣлѣе ихъ—крылья кружащихся въ воздухѣ чаекъ.

Дрогнула старая шняка всѣмъ тѣломъ своимъ, когда, совершенно неожиданно, замело кругомъ въ водѣ и воздухѣ сильнѣйшимъ шкваломъ. Не успѣли люди опомниться, какъ словно отрѣзало гдѣ-то ярусъ и помчалось шняку въ сторону. Къ счастью, парусовъ не ставили и ударъ шквала былъ не такъ силенъ, не такъ опасенъ, какъ бы могъ быть. Заметалась шняка изъ стороны въ сторону; еще ударъ волны—и руль сорвался съ петель и унесъ съ собою и румпель, и погудало. Ни о какомъ управленіи нечего было и думать; шняка словно обезумѣла.

Артель, всѣмъ своимъ наличнымъ составомъ, молча перекрестилась, и всѣ молчали. Не было грома, не было молніи въ этомъ темномъ неистовствѣ разразившейся черной бури, но вѣтеръ жегъ лица невыносимо, и вдругъ посыпались на шняку крупныя, бѣлыя градины и застучали по ней, и запрыгали, и сыпались съ бортовъ ея въ клокотавшую пучину океана. Люди накрылись кто чѣмъ могъ, всякимъ манаткомъ, дырѣмъ, тряпицами.

— Руби ее!—крикнулъ хозяинъ почти одновременно съ трескомъ срѣзанной вѣтромъ мачты. Упавшая мачта легла на правый бортъ и заполоскалась верхушкою въ водѣ. Обрубили снасти, и мачта, подхваченная волною, не замедлила отдѣлиться отъ шняки и запрыгала, и поплыла своимъ путемъ.

— А что, братцы, надоть тонуть будетъ,—проговорилъ Вадимъ, покачивая головою.

Зуекъ поглядѣлъ на него съ недовѣріемъ; ему не хотѣлось тонуть.

— А когда же кулакомъ-то кулачить меня будешь? — замѣтилъ зуекъ, на котораго, повидимому, страшное слово «тонуть» не произвело особеннаго впечатлѣнія.

— Прифуриикъ ты этакой, забавникъ, прости Господи,—добавилъ Вадимъ.

Хозяинъ то и дѣло крестился.

— Малехается шняка, малехается! — добавилъ Вадимъ. когда потрескиванія старой посудыны, усилившись, стали подозрительными и съ праваго борта ея отлетѣли расщепленными верхнія доски и, помелькавъ передъ глазами, поплыли вслѣдъ за мачтою.

Тьма продолжала сгущаться. Ненасытно ревѣлъ вѣтеръ, и волна била со всѣхъ сторонъ совсѣмъ безпорядочно. Пока высились надъ шнякою мачты и висѣли снасти, еще слышались рѣзкіе посвисты вѣтра, еще сказывалось въ звукахъ что-то какъ бы сподручное, знакомое, обыденное, земное; но когда штормъ оголилъ шняку, когда замокли послѣдніе, урывчатые разговоры людей, безконечнымъ гуломъ надавила буря и начала разрушать послѣднія надежды. Шняку кренило и бросало на всѣ стороны. Показалась течь.

— Захлестываетъ!—сказалъ Вадимъ.

— Не захлестываетъ, а тонемъ! Молитесь, ребята,—проговорилъ хозяинъ.

— Заваль! Варака! гляньте! ва!—крикнулъ въ это время зуекъ, указывая рукою прямо по направленію движенія шняки.

Что-то темное, неопредѣленное, дѣйствительно видѣлось между волнами, и не могло быть сомнѣнія въ томъ, что шняка стремилась именно на эту таинственную неожидан-

ность, на это страшилище, сразу воспрянувшее изъ волнъ океана.

— Берегъ!—крикнулъ хозяинъ.

— Кить!—отвѣтилъ Вадимъ, ухватившись съ быстротою молніи за мелькнувшую подлѣ него въ волнахъ веревку гарпуна.

Подтвержденіе послѣдовало чрезвычайно быстро: не прошло и полуминуты времени, какъ шняка, съ полного розмаха, налетѣла на тушу мертвого кита. Вскинувшись носомъ на его громадкую поверхность, покачавшись на ней, словно баланспруя, поклевывая, она сразу осѣла кормою. Людей съ нея смыло, сполоснуло, всѣ они попадали въ воду, но такъ какъ волна била въ сторону кита, то всѣ они немедленно очутились на немъ.

Убитый темный гигантъ принялъ ихъ на могучую тушу свою. Словно приготовлена была она для этого удивительнаго спасенія: глубоко впившійся въ тѣло кита гарпунъ торчалъ высоко надъ водою, и канатъ, къ нему прикрѣпленный, схваченный Вадимомъ, послужилъ, въ полномъ смыслѣ этого слова, канатомъ спасенія. Чуть-чуть не унесло хозяина, но онъ за Вадима ухватился.

О бѣдной шнякѣ не было и помину. Ревѣлъ вѣтеръ, облежала тьма, было невыразимо холодно, но мертвый кить оказался прочнѣе, устойчивѣе шняки. Припасовъ на этомъ фантастическомъ островкѣ не было никакихъ, захватить ихъ съ собою не было времени; могла бы предстоять и голодная смерть. Но буря скоро сдалась, посвѣтѣло и, не больше какъ черезъ сутки, экипажъ шняки снятъ съ кита проходившимъ мимо пароходомъ, а кить, цѣнный предметъ улова, взятъ на буксиръ. Онъ принадлежалъ нашедшимъ его, т.-е. тѣмъ людямъ, которые остались со вчерашняго дня безъ шняки и готовились умереть.



## ВЕЗЫМЕНЬ.

---

Небольшая лодченка наша, чуть-чуть покачиваемая стихавшею океанскою зыбью, вошла въ заливчикъ. Высокая, иззубренная скала нависла надъ нами справа и казалась совершенно темною, потому что эта сторона ея, обращенная прямо къ востоку, обвололась тѣнью, а глаза наши привыкли, за нѣсколько часовъ морского пути, къ сіянью солнечнаго дня и рѣзкому блеску воды. Я и товарищъ мой по пути давно подладились, если можно такъ выразиться, къ мурманскому пейзажу, къ отличающему его недостатку людскихъ голосовъ и безусловному царству звуковъ морской волны и поэтому были очень пріятно поражены хоровою пѣснею, неожиданно вырвавшеюся изъ-за скалы намъ навстрѣчу.

Это двигалась «сарафанная почта». Почтовый карбасъ, довольно неуклюжій, но помѣстительный, прочный, пузатый, шелъ на веслахъ намъ навстрѣчу, и гребцами, какъ это здѣсь постоянно бываетъ, оказались женщины. Онѣ - то именно и голосили во всю. Дружно ударяли ихъ весла по водѣ: одна изъ женщинъ стояла очень картинно подлѣ мачты и приготовляла парусъ для того, чтобы, по выходѣ изъ заливчика, поставить его. На руль сидѣлъ рыжій по-

моръ, въ мѣховой шапкѣ съ наушниками, развалившись съ нѣкоторымъ даже изяществомъ, отнюдь не меньшимъ, чѣмъ то, которое придается на картинахъ итальянскимъ пастухамъ, стерегущимъ стада и наслаждающимся послѣобѣденнымъ отдыхомъ подлѣ какой-нибудь исторической развалины. Поморъ, рулевой на карбасѣ, расположился такъ спокойно и удобно именно потому, что море было тихо, а натружаться ему не придется—на то есть женщины, умѣющія, въ двѣ смѣны, прогresti сто верстъ.

Когда маленькая лодченка наша поравнялась съ карбасомъ, величественно и самоувѣренно скользившимъ, подъ рѣзкіе звуки пѣсни, прямо на насъ, отличили мы приземистую, худенькую, темную фигурку почтальона въ кепи, схоронившуюся въ самомъ карбасѣ, между рулевымъ и мачтою. Маленькій, черненькій почтальонъ еле высовывался остриемъ своего кепи изъ-за толстыхъ бортовъ карбаса. Кепи, какъ головное украшеніе, давно уже отошло у насъ въ вѣчность, но на Мурманѣ ихъ еще донашиваютъ и будутъ долго донашивать.

Слышались также очень явственно характерныя слова бабьей пѣсни:

Ой, маминька, маминька,  
Приведи мнѣ писаря,  
Писаря хорошаго,  
Вѣлаго, румянаго.

Откуда тутъ, въ этой необъятности сѣвернаго океана, вдругъ писарь въ пѣснѣ? или это подъ-стать остроносому кепи почтальона?

— Отчего, — спросилъ я у одного изъ нашихъ двухъ поморовъ, по имени Якова, — на рулѣ у нихъ сидитъ не женщина, а мужчина?

Яковъ объяснилъ, а другой поморъ, Степанъ, подтвердилъ, что сидѣтъ женщиной на рулѣ—стыдъ для карбаса,

трунить начнутъ. Онъ прибавилъ даже, какъ именно начнутъ трунить, что скажутъ, какъ назовутъ. Назовутъ нецензурно, но пластично.

Быстро промелькнула сарафанная почта мимо насъ и унесла съ собою пѣсню. Заливчикъ, въ который мы втянулись, оказался не великъ, и на темнѣвшихъ очертаніяхъ его скалъ рѣзко бѣлѣли два предмета. На одномъ изъ камней высилась небольшая пирамидка, сложенная изъ закругленныхъ водою катышей, такъ-называемый гурій или кекурій, поставленный кѣмъ-либо по объѣту, или на память о какомъ-нибудь крушеніи; въ углубленіи бухты виднѣлась лопарская вежа, покрытая дерномъ и побѣлѣвшими шкурами старыхъ, сѣдыхъ оленей, и раскинутыя на жердяхъ сѣти и мережи.

Мы подошли къ вежѣ почти вплотную; Яковъ соскочилъ на берегъ съ концомъ веревки въ рукѣ, а Степанъ, долговязый, худой, неуклюжій, по-здѣшнему «долгарище», прибралъ весла, подсунувъ ихъ намъ подъ ноги.

— А долго ли намъ стоять можно будетъ?—спросилъ я у Якова, вспоминая о томъ, что съ приливами и отливами тутъ шутить нельзя и упускать ихъ изъ виду невыгодно.

— Воду простои́мъ; вишь она теперь приухла, на прибыли; уйдетъ—ляжемъ, положимъ, пакуль опять вспухнетъ, тогда и уйдемъ.

Цѣль нашей поѣздки состояла въ уженіи рыбы въ не-большой рѣчкѣ, не носящей даже имени, впадающей здѣсь въ океанъ. Намъ говорили, что эта рѣчка очень забавна, потому что въ ней и навага, и камбала попадаютъ, предпочитающія, какъ извѣстно, открытое море. Мы запаслись богатѣйшимъ матеріаломъ для наживки, а именно—сочными, огородными червями, привезенными нами изъ Архангельска въ нѣсколькихъ жестянкахъ.

Сойдя на берегъ и заглянувъ въ вежу, мы не нашли въ



ней никого. Пройти къ рѣчкѣ, устье которой было виднѣхонько, оказалось невозможно, потому что вѣками навороченныя глыбы рѣшительно преграждали дорогу. Предстояло подняться на прибрежныя скалы, пройти съ версту моховымъ болотомъ и затѣмъ уже спуститься внизъ. Такъ мы это и сдѣлали и отправились всѣ вмѣстѣ, закрѣпивъ лодку.

Спустились мы со скалъ къ рѣчкѣ съ большимъ трудомъ, не безъ помощи рукъ, едва не поломавъ удилицъ, цѣпляясь за громадныя глыбы камней, разобрались, принялись за уженье, и дѣло спорилось: рыбы было много и вся она жадная.

— А что, братъ Яковъ, — сказалъ я нашему помору, когда удочки были заброшены, и ловъ шель удачно: — скажи-ка: есть тутъ у васъ привидѣнія?

— Какія это?

— Да такія, вотъ, что что-нибудь привидится, ночью, что ли!

— Какъ не бывать.

— Да ты видалъ?

— Не видалъ. Боюсь. А вотъ Степанъ, тотъ видѣлъ.

— А онъ не боится?

— Нешто станеть бояться, коли всякій заговоръ знаетъ!

— А чтò это за привидѣнія, Степанъ? — обратился я къ другому помору: — какія они тутъ у васъ? съ рогами? съ хвостомъ?

Степанъ сомнительно покачалъ головою.

Онъ, съ самаго прихода нашего на рѣчку, растянулся навзничъ по сухому песку побережья, во всю длину свою, и, подложивъ руки подъ голову, глядѣлъ въ небо. Небо было желтовато-тускло; надъ моремъ лежала такъ-называемая «марь», заволакивающая даль, какъ туманъ; она обусловливается густыми, теплыми испареніями и солнечнымъ свѣтомъ. Въ этой золотистой мари обыкновенно облаковъ

замѣтно не бываетъ, они не очерчиваются; все блеститъ, лучится и сливается въ одинъ золотистый, опредѣленный свѣтъ; трудно сказать: на что именно такъ упорно смотрѣлъ въ небо Степанъ, спрошенный о привидѣніяхъ.

— Какъ же это ты видѣлъ привидѣніе? Расскажи.

— Я не видалъ. Его видѣть нельзя, потому что на немъ лица нѣтъ.

— Такъ какъ же Яковъ говоритъ, что ты видѣлъ?

— Видѣлъ.

— Чтò же ты видѣлъ, если лица нѣтъ?

— Бѣзымень ему имя, ну и видѣлъ, — отвѣтилъ Степанъ, поднявшись съ лежки и упершись на одинъ изъ локтей.

«Бѣзымень ему имя», — подумалъ я и сообразилъ, что это значеніе почти то же, чтò «видѣть не выдавши»; два выраженія — одного поля ягода. Мой товарищъ, слушавшій разговоръ нашъ, натаскалъ за это время нѣсколько навагъ; онъ вмѣшался, заинтересовавшись бѣзымянностью имени привидѣнія.

— Да гдѣ же это было? гдѣ ты видѣлъ невидимое привидѣніе? — спросилъ онъ.

— Въ байнѣ.

— Т.-е. въ банѣ?

— По-вашему баня, а по-нашему байна. Пошелъ я это, разъ, въ байну сайпу варить.

— А чтò это такое — сайпа?

Поморы переглянулись и улынулись, точно показались мы имъ неучамъ.

— Ну, да, чтò это — сайпа?

— По-вашему мыло, — отвѣчалъ Степанъ.

— Какъ мыло? Да развѣ у васъ мыло люди самъ для себя варятъ? Слышно, тутъ и совсѣмъ мыла не знаютъ?

— Какъ не знать мыла; а какъ же покойниковъ моютъ?

Вашего-то мыла, точно, зачастую нѣтъ у насъ, а своего-то какъ не быть; на чтò ребятишки, тѣхъ если не мыть, чтò съ ними будетъ; на то и сайпа!

— Да чтò же это—сайпа?

— А вотъ, если въ кипяткѣ ворвани развести, да съ золою смѣшать, вотъ она сайпа и будетъ, такъ и дѣлаемъ... Такъ пошелъ я, это, въ байну. До того люди невѣсту въ ней выпарили, такъ жару-то развели вдосталь! Поставилъ я, это, ведро на полочку, началъ золу сгребать, а онъ тутъ какъ тутъ.

— Бѣзымень?

— Точно. Самъ и былъ.

— А по виду-то какъ онъ?

— Да нѣтъ у него виду.

— Однакоже, руки, ноги есть?

— А не вѣдаю.

— Да вѣдь ты видѣлъ?

— Видѣлъ.

— Ну, рога, хвостъ—есть?

— Не знаю.

— Да лицо-то, рожа какая у него?

— Нѣтъ у него лица, однимъ словомъ—бѣзымень.

— Ну, такъ ты, значить, не видалъ его, а только слышалъ? — проговорилъ я, какъ бы желая помочь Степану дать мнѣ желаемое объясненіе.

— Кабы слыхалъ, а не видалъ, такъ такъ бы и говорилъ вамъ,—отвѣтилъ онъ, какъ будто даже немного обиженный.

Обидѣлся за него и Яковъ, но только покачалъ головою.

Мы съ товарищемъ переглянулись. Видимо было, что идти дальше въ разспросахъ о неимѣющемъ лица привидѣніи представлялось невозможнымъ. Оба помора удовлетворялись какимъ-то ликомъ безъ лика, чѣмъ-то, гдѣ-то,

когда-то начертившимся въ памяти ихъ, въ далекомъ дѣтствѣ, чѣмъ-то неуловимымъ, необъяснимымъ, безформеннымъ, но несомнѣнно существующимъ.

Кто приглядѣлся къ туманнымъ, неяснымъ очертаніямъ сѣвернаго поморья, къ его таящимъ миражамъ, къ тусклости воздуха, облекающей даль, съ исключеніями для немногихъ свѣтлыхъ дней, гдѣ и въ свѣтлые дни не сходитъ съ горизонта марь, тотъ пойметъ возможность народженія въ народной фантазіи этой удивительной «бѣзымени», привидѣнія безъ очертаній, облика безъ лица. Представить его себѣ не поморскимъ воображеніемъ невозможно.

Сообщеніе поморовъ оказалось такъ характерно, что нельзя было, не стоило какъ-то разспрашивать дальше. Уженье продолжалось.

Вдали, за заливчикомъ, виднѣлся безконечный океанъ, заснувшій въ глубокомъ покоѣ.

— Море «слосѣло»,—говорятъ въ этомъ случаѣ поморы.

Я смотрѣлъ на окрестность. Рѣчка дѣлала передъ нами, прыгая по камнямъ, большую излучину, «хоботину», какъ здѣсь называютъ; соляце опускалось; начала показываться къ вечеру мелкая, непріятная мошка — «мухарь». По обоимъ берегамъ рѣчки виднѣлись длинными рядами «бадни», т.-е. подмытая водою, опрокинувшіяся въ нее деревья.

«Если,—думалось мнѣ, глядя на эти деревья,—такъ неопредѣленны очертанія фантастическихъ представленій въ головѣ помора, то, взявъ изъ этого, какъ четко слѣдить онъ за тѣмъ и опредѣляетъ особымъ именемъ то, что даетъ ему его скудная природа. Вотъ хоть бы слово «бадня» для подмытаго водою дерева; на Русь подобнаго слова и опредѣленнаго понятія, требующаго особаго слова, кажется, нѣтъ, а тутъ есть. Если вѣтромъ выворочено дерево на матерой землѣ и торчитъ корнями, и тамъ, гдѣ оно стояло

прежде, образовалась яма—поморъ называетъ такую яму «баглень», а это опять-таки очень опредѣленное слово для очень опредѣленнаго, самостоятельнаго понятія, котораго на Руси, кажется, нѣтъ.

Время шло, мы «простояли воду», и море снова стало «пухнуть»; необходимо было кончить съ уженьемъ, чтобы поспѣть во-время въ недалекое становище. Подъ самый конецъ удалось мнѣ видѣть то, о чемъ я только слыжалъ. Едва забросилъ я лесу, что-то быстро потянуло поплавокъ вниз; я сильно дернулъ, подсѣкъ: серебряная, довольно длинная навага забарахталась въ водѣ, и не успѣлъ я вытащить ее всю, какъ за хвостъ ея уцѣпилась другая навага, и обѣ не замедлили очутиться на береговомъ песку. Говорять, бывають случаи, что вытаскивають такимъ образомъ сразу по три штуки, когда наваги много, а прожорлива она всегда.

Вечеръ опускался удивительно тихій. Но мѣрѣ приближенія солнца къ горизонту, золотистая марь голубѣла, прояснялась, и по совершенно «слосѣвшему» морю, далеко кругомъ, виднѣлись поморскія шняки. «Бѣзымень» загуляла по поморью.



# МОЛЕНЬЕ ВѢТРУ.

---

## I.

Въ мрачной, молчаливой необъятности осенней ночи сѣвернаго поморья тонкою, желтенькою полоскою только - что обозначился востокъ. Полоска свѣта все росла, удлинялась, становилась лентою, все краснѣе, выше и шире, и по мѣрѣ того, какъ заревои свѣтъ отвоевывалъ себѣ въ небѣ все большую и большую площадь, отвѣсныя скалы мурманскаго берега, на ихъ тысячеверстномъ протяженіи отъ Норвегіи до Святого Носа и дальше, въ глубь Бѣлаго моря, по его западной окраинѣ, проступали все яснѣе и яснѣе. Скалы тоже тянулись лентою, но только темною, каменною, неподвижною, тогда какъ небесная заря противопоставляла имъ ленту свѣта не неподвижную, живую, быстро уширяющуюся, какъ бы кѣмъ-то рисуемую; она, эта лента зари, могла бы на этотъ разъ, какъ это здѣсь часто бываетъ, и вовсе не появляться, если бы не случилось на небѣ, со стороны востока, прогалины въ тучахъ.

При первомъ зарожденіи дневного свѣта встрепенулся на мурманскомъ побережьи прежде всего его пернатый міръ. Закричали неисчислимые чайки, гагары, утки, нырки, лебеди и буревѣстники и, слетая одни за другими мириадами, словно свѣваемые вѣтромъ, со всѣхъ выступовъ, изо

всѣхъ щелей прибрежныхъ гранитовъ, налегли, каждая птица по-своему, на воду. Одни изъ нихъ потянули стремглавъ въ прояснявшуюся даль, другіе закружились широкими кольцами на мѣстѣ, третьи, то взвиваясь отвѣсно, то перепархивая на недалекія разстоянія, толпились вдоль ближнихъ утесовъ, не отваживаясь далѣе, четвертые сѣли на воду, а тяжелый глупышъ только слетѣлъ со скалы на ближній песокъ побережья и снова сѣлъ и будто уснулъ. Во всѣхъ сказались особые характеры.

Осенній день воцарялся.

Но еще раньше пернатыхъ проснулись женщины по очень немногочисленнымъ прибрежнымъ деревнямъ и поселкамъ кандалакскаго побережья; только этого не было такъ замѣтно потому, что женщины закопошились въ домахъ своихъ. Закопошились онѣ потому, что эти дни поздней осени — важные для нихъ дни, а именно: возвращались къ нимъ одни за другими поморы съ дальнихъ промысловъ — мужья, отцы, дяди, сыновья и братья. И это было не простое возвращеніе послѣ разлуки, длившейся все лѣто, — нѣтъ, это было возвращеніе, полное самыхъ трепетныхъ, самыхъ потрясающихъ неожиданностей. На безконечныхъ протяженіяхъ тѣхъ мѣсть нѣтъ ни торныхъ путей, ни обыкновенной почты, ни телеграфовъ, и вѣсть о гибели того или другого суденышка, того или другого человека можетъ не придти къ его семейству до самой зимы. Съ подобными условіями возвращенія «своихъ» людей «баломонить» — шутить, «басалаить» — повѣсничать не приходится, и вотъ почему всѣ домашнія хозяйства или, поздѣшнему, «обрядни», въ лицѣ ихъ хозяекъ зашевелились ранымъ-рано, ранѣе пернатыхъ просыпавшагося поморья.

По мѣрѣ того, какъ проникалась свѣтомъ темень ночи, меркли огоньки въ окнахъ селенія, ясно обозначавшіе въ ночи его широкое протяженіе вдоль берега.

Проснулась раньше другихъ, а то, пожалуй, и совсѣмъ не спала—Мареа, бездѣтная жена помора Еремы, баба молодая и красивая. Вотъ уже пятую осень встрѣчаетъ она, вмѣстѣ съ другими женщинами, возвращающихся; никогда не встрѣчала она Ерему съ радостью, какъ-то встрѣтитъ она его теперь, когда полюбила другого?

Да и какъ не любить этого другого? И другія его любятъ. Когда онъ, этотъ другой, Петръ по имени, раннею весною захилѣлъ въ лютой болѣзни, такъ что не только на промыселъ выйти не могъ, но всему поселку «блазнило» — мерещилось, что смерть его возьметъ, у дѣвокъ только и рѣчи было, что о немъ. Возвратилось, наконецъ, здоровье, но Петру нечего было и думать идти на дальніе промыслы; гдѣ за ними угонишься, когда промышленниковъ уже съ апрѣля мѣсяца по океану разбросало? Оставалось Петру одно — береговая ловля; выходилъ онъ въ море недалеко, по сосѣдству, много разъ возвращался и опять уходилъ, а одна изъ дѣвушекъ, Агафья, та всегда его раньше другихъ встрѣтитъ, да и смотреть, смотреть, глазъ съ него не сводить, а когда удастся, такъ и ласковымъ словомъ подарить.

Не слушаетъ Петръ этихъ словъ Агафьи, не хочетъ видѣть этихъ взглядовъ ея, потому что всѣ его помышленія къ бѣдной Маревѣ ластятся, будто струи морскія берегъ облюбовываютъ и то лазурью отливаютъ, когда тихо, то пѣнистымъ буруномъ бьютъ, если мысль о суровомъ мужѣ ея къ другимъ мыслямъ примѣшается.

А возвратится Ерема, пожалуй, не позже какъ сегодня. Что-то будетъ? Что-то случится?

Еще вчера рѣшено было бабами, что, для обезпеченія благополучнаго возвращенія промышленниковъ, нужно имъ «вѣтеръ молить», потому что за послѣднее время дуетъ онъ все не оттуда, откуда желательно; съ сѣвера бы ему холодомъ дохнуть и пригнать шняки поморскія къ пристанямъ,



а онъ, то и дѣло, по звѣздѣ кругомъ ходить, никакой прочности нѣтъ въ немъ.

По-своему ожидаетъ возвращенія мужа Марее.

Поморскій домъ—двухъэтажный, деревянный и по вѣшности своей, по бѣлымъ занавѣскамъ у оконъ, по окладамъ образовъ, по мебели и, въ особенности, по дивану съ деревянною спинкою и ручками, Богъ вѣсть откуда сюда попадающему, но обязательному въ мало-мальски достаточномъ хозяйствѣ, всегда почти обманываетъ въ мысли о достаткѣ хозяина. Хозяинъ всегда бѣднѣе, чѣмъ можно судить по обстановкѣ и, въ особенности, по одѣяніямъ женской половины семьи.

Много и у Марее жемчуговъ на кокошникахъ; хороши ея сарафаны изъ тяжелыхъ шелковыхъ тканыхъ матерій, прошитые золотою и серебряною нитью, сложенные одинъ на другомъ въ длинномъ, зеленомъ, разными фигурками украшенномъ, сундукѣ. Круглыя, пузырчатые, финифтяныя пуговицы одного изъ сарафановъ, несомнѣнно старо-венеціанской работы, торговалъ, какъ-то, баринъ-англичанинъ, пріѣзжающій сюда чуть не ежегодно на рыбную ловлю, но Марее ихъ не продала. Сундукъ съ сарафанами такая же необходимая принадлежность въ достаточномъ поморскомъ домѣ, какъ диванъ, самоваръ и занавѣски.

Еще недавно перебирала Марее сарафаны, одѣвала ихъ и становилась передъ зеркаломъ, одна-одинѣхонька. Какъ ни плохо было зеркало нижегородской работы, съ неподвижною рябью по стеклу, но все-таки оно служило, и Марее, невольно поглядывая на себя, думала:

— Пригожа, нечего сказать, пригожа! но вѣдь и Агафья тоже пригожа! ея темныя, хитрыя очи лучше, видно, моихъ, сѣрыхъ... Злая она дѣвка, ехидная, но зато въ себѣ со всѣмъ свободна... а я?—я нѣтъ.

И вились черныя мысли въ головѣ Марее, и все ей ка-

залось, что, вѣдь, можетъ же лгать и Петръ, что если онъ ей теплое слово говорить, цѣлуя, такъ это только для отвода... умнѣй ея Агафья! «сквилить» — насмѣхаться — мастерица, и это Марѳа очень хорошо знаетъ. И какъ это Агафья ей насмѣшливо вчера вечеромъ сказала:

— А вѣтеръ молить придешь, Марѳушенька?

— Приду,—отвѣтила ей сквозь зубы Марѳа, и защемило ея сердце, защемило глубоко. И не надо было ей быть такой смущенной...

Теперь, при близости возвращенія, тяжесть налегла на душу еще сильнѣе; Марѳа вовсе не ложилась спать. Такъ темна и непроглядна была эта завершающаяся ночь! А что же будетъ въ долгое зимнее время, когда эта ночь потянется цѣлыхъ три мѣсяца и все надо будетъ быть съ нимъ, съ этимъ суровымъ Еремой, тутъ, въ этомъ домѣ, съ-глазу-на-глазъ. Порою, правда, соберутся люди на вечерницу, пѣсни будутъ лѣтъ, плясать, но вѣдь потомъ еще хуже, опять всѣ по домамъ разойдутся, и опять Ерема съ ней, опять безконечная ночь! вся жизнь сосредоточится въ стѣнахъ немилаго дома, потому что въ глубокую темень трехъ мѣсяцевъ что же можетъ значить улица? О, какъ знакомы Марѳѣ эти скучныя стѣны! Вотъ то мѣсто на стѣнѣ, противъ кровати, гдѣ теперь виситъ мужнина шапка; какъ часто мерцала эта бѣлая стѣна полуночнымъ, розовымъ свѣтомъ сѣвернаго сіянія и чернѣла другая его шапка—треухъ, шитый изъ оленьяго мѣха съ тремя отгибающимися на уши и на затылокъ отворотами; огромный треухъ необходимъ въ морѣ.

Придетъ Ерема съ промысла, одѣнетъ снова вотъ эту шапку, а свой треухъ повѣситъ.

— Починить развѣ, посмотрѣть!—мелькнуло въ мысляхъ Марѳы, и она переставила небольшую керосиновую лампу на комодъ, подъ шапку, сняла ее, осмотрѣла; надо чинить;

отыскала она «могильникъ», кожаный игольникъ съ иглами, нитками и другими принадлежностями шитья, и принялась за работу. Шьеть, а сама все на часы поглядываетъ.

Зашипѣли часы передъ боемъ, ударили разъ, два... стали опускаться гири. Марea сосчитала—пять. Она поспѣшно бросила работу, накинула душегрѣйку, платокъ на голову, погасила лампу и выбѣжала на дворъ, запереувъ за собою на замокъ двери.

— Въ послѣдній разъ! въ послѣдній! до будущаго лѣта, послѣдній разъ! а тамъ Богъ вѣсть что можетъ случиться къ тому времени...

Несмотря на глубокую тьму, Марea шла очень быстро вдоль хорошо знакомой ей тропинки, протоптанной между крупными булыжниками отъ дома въ заполье, отъ берега моря къ скаламъ, вдоль небольшого потока, шумѣвшаго по камнямъ особенно рѣзко въ глубокой, еще чуть тронутой утромъ ночной темнотѣ.

— Петръ уже тамъ, онъ ждетъ!—думала Марea и торопилась. Нѣсколько разъ споткнувшись на пути, отойдя отъ дому безъ малаго съ версту, она остановилась и прислушалась. Ей чудилось, что кто-то слѣдовалъ за нею. Нѣтъ никого! Потокъ шумѣлъ, надутой обильными дождями послѣднихъ дней, сердито и звучно; кромѣ него не было слышно ничего въ этомъ подавляющемъ царствѣ медленно уходившей ночи; вѣтеръ, гудѣвшій съ вечера, замолкъ совсѣмъ, что бываетъ на Мурманѣ къ перемѣнѣ погоды, но длится очень недолго. Сердце Марeы стучало сильно, назойливо; еще нѣсколько шаговъ, и ей предстояло свернуть съ тропинки въ скалы, къ давно знакомому мѣсту. Она опять остановилась. Желтая полоска свѣта, обозначавшаяся на востокѣ, помогла ей разглядѣть хорошо извѣстныя очертанія. Вотъ налѣво, поперекъ потока, поставленъ заколъ для ловли рыбы; значитъ, надо вправо свернуть. Но кто-то

идеть сзади! Вернуться навстрѣчу къ идущему было дѣломъ одного мгновенія. Да, да, вотъ онъ, еле замѣтный надъ камнями въ мерцающемъ свѣтѣ медленно устанавливающейся зари.

— Петръ, Петръ!—быстро проговорила Марѳа и кинулась къ нему...

Но она стала лицомъ къ лицу съ Агафьей.

Ошеломленная Марѳа отшатнулась назадъ и остановилась, какъ вкопаная.

— Что жъ? вѣтеръ молить пойдешь, али не будешь?—сказала ей, смѣясь, Агафья и покачала головою. Рѣзче всего проступали въ полутылѣ ея красивые, бѣлые зубы, открытые улыбкою.

Марѳа схватилась за сердце и ничего не отвѣтила.

— Петръ прошелъ, прошелъ! видѣла! ждетъ!—смѣясь, добавила Агафья и, кивнувъ головой, быстро повернулась, захохотала и медленно пошла обратнымъ путемъ. Марѳа могла отличить только, что она, уходя, нѣсколько разъ обирачивалась и кивала головою. Въ помутившемся сознаніи ея меньше всего чувствовалось воли. Тѣмъ не менѣе, прослѣдивъ глазами Агафью, она пошла вторично старымъ путемъ.

Вотъ опять, почти поперекъ тропинки, виднѣется загородъ закола; надо повернуть вправо, это Марѳа какъ будто помнила. Она двигалась совершенно отуманенная; улыбка и насмѣшливый взглядъ Агафьи мерещились, «блзнили», ей въ невѣрныхъ тѣняхъ утра, мигавшихъ мириадами какихъ-то недобрыхъ, сѣрыхъ глазъ. Али не будешь? раздавалось у нея въ ухахъ; прошелъ! ждетъ! слышалось ей вмѣстѣ съ этимъ, и злобный смѣхъ раскатывался такъ звучно... ноги ея двигались сами собою, неохотно, неустойчиво; душегрѣйка, не придерживаемая руками, качалась на плечахъ и чуть-чуть отдувалась въ стороны снова поднимавшимся вѣтромъ.

— Мареа! — раздалось подлѣ нея совершенно неожиданно. Быстро охватилъ ее Петръ руками подѣ исподѣ душегрѣйки и страстно прижалъ къ себѣ... душегрѣйка скатилась на землю.

Мареа откинула назадъ голову.

— Ты слышалъ?—спросила она его еле внятно, оставаясь въ его рукахъ совершенно неподвижною.

— Слыхалъ! какъ не слышать! аспидъ-дѣвка...

— Что-то будетъ теперь со мною?—еще тише проговорила она и припала головою на грудь помора, обезсиленная, безотвѣтная, холодная...

## II.

Часу въ десятомъ утра того же дня кипѣла на берегу моря бабья «завороха»; заворохой называютъ на Мурманѣ всякое общественное дѣло.

Собрались бабы на берегъ «молить вѣтеръ» о счастливомъ возвращеніи промышленниковъ, и особенно людно стало побережье верстахъ въ двухъ отъ поселка къ сѣверу, къ океану. Острымъ мысомъ выдавался здѣсь берегъ. Отвѣсные утесы его, сажень въ двѣнадцать вышины, не касались непосредственно волны; между ними и волнами тянулась широкая песчаная полоса и обрамляла подножіе черныхъ скалъ. Если на это мѣсто ударяло солнце, пески казались розовыми; если солнца не было, какъ въ день бабьей «заворохи», — они лежали блѣдные, почти бѣлые. Всегда сумрачны и черны оставались угрюмые граниты, возвышавшаяся надъ песками. Полоса песку бѣлѣла подлѣ нихъ будто бѣлыя тесьмы вдоль черныхъ похоронныхъ одѣяній. На самомъ концѣ мыса нависала и самая высокая часть скалъ: остроконечная шапка гранита, когда-то расщепленная, разсѣлась на-двое и образовала два острыхъ рога,

замѣтныхъ съ моря издали; на эти скалы держали обыкновенно рулевые, направляясь къ селенію, и скалы эти такъ и назывались въ народѣ рогами. Къ самому поселку, въ хорошую погоду, направлялись между мысомъ и небольшимъ безымяннымъ островкомъ, лежавшимъ какъ разъ противъ него въ полуверстѣ разстоянія; въ дурную погоду приходилось давать большой крюкъ и подѣзжать къ селенію съ юга, такъ какъ съ сѣверной стороны камней было виднѣлось невидимо, и всѣ они въ отливъ выступали, блестя на солнцѣ.

Ни одной травинки не виднѣлось далеко кругомъ ни по песчаной полосѣ, ни по валунамъ, ни на скалахъ. Могъ быть зеленымъ цвѣтъ выкинутыхъ на песокъ водорослей, но онѣ, лишеныя воды, быстро желтѣли и облегали берегъ длинными, параллельными бугристыми грядами.

Оживленіе на побережьи было большое, но кромѣ женщинъ и дѣтей не было никого. Было холодно, почти морозно. На всѣхъ виднѣлись тулупы и душегрѣйки, на головахъ платки, а на ногахъ темнѣли высокіе, по колѣна, сапоги. Одеѣ изъ женщинъ пріѣхали на лодченкахъ, къ которымъ то и дѣло подплывали новыя; другія прибѣжали пѣшкомъ и, собравшись въ кучки, толковали болѣе всего о предстоящемъ возвращеніи поморовъ.

— Сынь-то у меня одиночка, Власьюшка, на него вся надѣя! — говорила сорокалѣтняя баба своимъ собесѣдникамъ:—што какъ не придеть. Надысь Николѣ Морскому Богу молилась... обѣщаніе дала сюда придти.

— По вѣрѣ, значить, по своей, въ церковь не ходишь? — отвѣтила ей широкоплечая Пелагея, пятидесятилѣтняя крупная баба-раскольница:—дѣло, что въ церковь не ходишь, а сюда пришла!

— И другожды—въ другой разъ—милости просимъ,—подтвердила другая раскольница.

Поодаль отъ разговаривавшихъ, у самаго края воды, копошились въ двухъ-трехъ мѣстахъ мальчишки, камни швыряли, дрались, баласничали. Дѣвушки составили свои кружки, и одна изъ нихъ рассказывала другимъ, какъ ея дядинька съ теткой новый домъ строить хотятъ; среди нихъ виднѣлась и Агафья, то и дѣло поглядывавшая въ сторону къ поселку, откуда она ожидала прибытія Марѣы. По глади прибрежныхъ песковъ бѣгали взадъ и впередъ собаки. Запоздавшія лодки между тѣмъ продолжали подплывать; подходили изъ поселка, одиночками и по-парно, женщины и дѣвушки. Замѣтила Агафья, еще издали, шедшую на бабью завороху Марѣу.

— Глянь-ко, дѣвушки, Еремина спѣсивица тоже жалуетъ,—проговорила она:—знать тоже измаялась, по мужѣ извелась...

— Мужъ мужу рознь,—возразила Агафья:—Ерема скоро и совсѣмъ «залѣтенъ», по мѣстному—старъ, станетъ...

— Широки ворота запрешь, а мірского ротка не забудешь, Агафьюшка! это о тебѣ люди пословицу сложили,—отвѣтила дѣвушка.—Гляди, какъ бы опосля и на тебя какой сплетки не вышло! Ссорить да мутить ты горазда!

Агафья не удостоила эти слова возраженіемъ и, взявъ подъ руки двухъ ближайшихъ къ ней товарокъ, повела ихъ въ сторону къ поселку, навстрѣчу къ медленно подходившей Марѣѣ, и начала имъ свое повѣствованіе:

— Только-что сбѣжала я по тропинкѣ къ заколу,—говорила она:—рано утромъ, чуть-свѣтъ, какъ, слышу, сзади меня Петръ идетъ; я, это, въ камни-то и приткнулась...

И раздавался рассказъ Агафьи навстрѣчу приближавшейся Марѣѣ, и она слышала его.

Если утромъ на ранней зарѣ спряталась Агафья отъ Петра какъ пугливая ящерица въ камни, то въ полномъ свѣтѣ дня, на людномъ берегу, навстрѣчу Марѣѣ, она не

пряталась болѣе. Темные глаза ея, когда соперницы повстрѣчались, проводили Марѳу неподвижнымъ, холоднымъ взглядомъ, и всѣ три дѣвушки, шедшія подъ руки, даже уступили блѣднолицей женщинѣ дорогу. Такъ очищаютъ путь встрѣчные люди похоронному шествію...

Съ приходомъ женскаго населенія на берегъ моря продолжалось исполненіе стариннаго обряда, начатое еще наканунѣ. Къ этому же самому мѣсту ходили женщины еще вчера въ вечеру, налили молитъ вѣтеръ, чтобы онъ не серчалъ и «давалъ льготу» дорогимъ лѣтникамъ-промышленникамъ; вчера ночью собирались онѣ на ближайшій потокъ, послѣ заката, мыли котлы и били камнемъ или полѣномъ флюгарку, чтобы она «тянула повѣтерье»; тогда же, подъ звуки, издаваемые флюгаркою, пересчитывали онѣ поименно, кто кого вспоминалъ, но исключительно только плѣшивыхъ сельчанъ и знакомыхъ, стараясь насчитать ихъ числомъ трижды девять, и отмѣчали каждого сосчитаннаго углемъ на лучинахъ; Агафья назвала Ерему. Уже въ глубокую ночь, съ этими помѣченными лучинами въ рукахъ, ходили бабы по задворкамъ и, переименовывая добрые и недобрые вѣтры, голосили во все горло:

— Востокъ да обѣдникъ, пора потянуть, западъ да шалоникъ, пора покидать, тридевятъ плѣшей всѣ сосчитаны, пересчитаны, востокова плѣшь напередъ пошла!

И пока выкрикивали бабы эти слова, бросали онѣ лучины себѣ черезъ голову, а затѣмъ припѣвали:

— Востоку да обѣднику каши наварю и блиновъ напеку, а западу-шалонику спину оголю, у востока да обѣдника жена хороша, а у запада-шалоника жена померла!

Въ ту же глубокую темень предшествовавшей ночи слѣдовалъ осмотръ брошенныхъ лучинъ,—какъ которая упала? Гаданье предсказывало, что на слѣдующій день вѣтеръ будетъ съ той стороны, въ которую ложились лучины кре-



стами. Желателенъ былъ, конечно, вѣтеръ сѣверный, пригонявшій суденышки съ моря, но не всѣ лучины общали такой вѣтеръ, и вотъ съ этими-то неподатливыми, дурными пророками предстояла своеобразная расправа.

Пелагея-раскольница явилась какъ бы прирожденною распорядительницею, запѣвалою всей совершавшейся обрядности. Окинувъ взглядомъ побережье и видя, что всѣ въ сборѣ, подняла она съ земли старую флюгарку и ударила въ нее камнемъ. Рѣзкій, хриплый звукъ стараго желѣза, насквозь проржавѣвшаго за долгіе годы, разнесся далеко по побережью, и сколько ни виднѣлось кругомъ женскихъ головъ, всѣ онѣ сразу повернулись въ сторону звука. Пелагея, ударившая всполохъ, неустанно продолжала свою музыку, и всѣ немедленно направились къ ней; женская толпа, стянувшаяся къ раскольницѣ, какъ къ центру, обступила ее плотнымъ кольцомъ, легкій паръ отъ дыханія задымился возлѣ нея по широкому кругу. Однѣ только собаки продолжали рыскать попрежнему, и надъ всѣмъ этимъ въ полной неподвижности поднималась отвѣсная, темная скала съ ея двумя острыми рогами.

Пелагея, увидѣвъ, что всѣ собрались, положила подлѣ себя на земь флюгарку, бросила камень и стала спрашивать: у кого тѣ лучины съ собой принесены, которыя вчера на дурной вѣтеръ пали?

— Вона, во! на мою!—завопили по сторонамъ ея многія бабы и дѣвушки, и бѣлыя лучинки, просовываясь къ Пелагее между платковъ и тулуповъ, замелькали въ толпѣ во многихъ мѣстахъ.

— Ну, а тараканы, дѣвушки?—спрашивала Пелагея.

— И тараканы тутъ,—раздалось съ нѣсколькихъ сторонъ одновременно.

— Сажай ихъ, дѣвушки, сажай какъ установлено,—

быстро проговорила Пелагея:—а намъ тѣмъ временемъ лодки справлять!

Толпа, для приведенія въ исполненіе словъ Пелагеи, раздалась пошире, и во многихъ мѣстахъ началось оригинальное сажанье таракановъ на лучины: сдѣланы расщепы и въ каждомъ изъ нихъ, на каждой лучинкѣ, ущеplено по таракану.

— Теперь, кто готовъ, на воду, дѣтки, на воду!—кликнула Пелагея:—да смотри не мѣшкать—вода уходитъ!

Вода дѣйствительно уходила съ быстротою, замѣтною для глазъ, будто кто гналъ море прочь отъ берега; крайнія къ берегу струи воды будто слизывали пески, укатывая, унося съ собою самыя легкія песчинки. Бабы и дѣвки, съ лучинами въ рукахъ, кинулись—было къ лодкамъ, торопились вскочить въ нихъ, собираясь отъѣхать отъ берега и пустить на воду лучины, чтобы «тараканы сѣверный вѣтеръ подняли», какъ вдругъ кто-то изъ оставшихся на берегу неожиданно крикнулъ:

— Наши плывутъ! наши!

Этого клика было совершенно достаточно, чтобы быстрое, суетливое движеніе на берегу обратилось мгновенно въ неподвижную живую картину. Всѣ глаза обратились къ одной сторонѣ, къ сѣверу, и острое зрѣніе поморянокъ не замедлило отличить въ указанномъ направленіи нѣсколько черныхъ точекъ. Если бы эти черныя точки, поморскія шляпки, держали не на рога, не къ поселку, имъ предстояла другая путина—лѣвѣе, далѣе отъ берега; если бы это были не свои, а чужіе люди, они, въ этотъ часъ отлива, не отваживались бы, для сокращенія пути, идти этимъ мѣстомъ, между темными грядами быстро обнажавшихся повсюду камней.

Дрогнули многія сердца на берегу, дрогнули неодинаково; бились, должно-быть, сердца и тѣхъ, что были въ морѣ,

потому что, иначе, зачѣмъ бы такая торопливость, короткій путь въ непогоду выбирать? Усиливавшійся съ сѣвера вѣтеръ убѣждалъ въ томъ, что шняки будутъ на мѣстѣ никакъ не болѣе какъ черезъ часъ. Женщинамъ предстояло немедленно отправляться въ обратный путь къ селенію, кто какъ прибылъ. Одни повскакали въ лодки и отчалили, другія пошли по пескамъ, и вся эта масса сѣрыхъ и темныхъ лѣтвовъ, всѣ эти бабы, дѣвки, мальчишки и собаки, временно оживившія пустынное побережье, свѣялись съ него въ одну сторону, къ селенію, словно опавшіе листья, гонимые вѣтромъ по осени. Это былъ тоже своеобразный, быстрый отливъ людей, только инныя силы отгоняли ихъ, чѣмъ тѣ, что отгоняли одновременно съ ними убѣгавшее море.

Неподвижно чернѣлъ крайній, высокій утесъ съ его рогами. Онъ, будто сознавая, что на него теперь, въ эти минуты, пристально глядятъ рулевые на шнякахъ, высился среди сѣраго, безсолнечнаго, но яснаго дня со всѣми изломами своихъ сложныхъ очертаній. Съ удаленіемъ женщинъ снова потянули къ нему разныя морскія птицы. Спокойно разсаживаясь по его богатырскимъ бокамъ и загибамъ черныхъ щелей, онѣ, будто испуганныя, отпархивали только отъ его вершины. Причина состояла въ томъ, что между двухъ скалъ-роговъ стоялъ Петръ. Неподвиженъ какъ утесъ, нахлобучивъ шапку, осиливалъ онъ взглядомъ далекія, слегка бѣлѣвшія по гребешкамъ, подъ дыханіемъ «сѣвера», морскія волны и глядѣлъ на шняки.

Чтобы ему видѣть Марѳу, надо было присутствовать при «моленіи вѣтру». Петръ, прямо отъ свиданія съ нею, прошелъ хорошо знакомымъ ему «путикомъ» вдоль «няпи» — тинистаго болота, и очутился на утесѣ къ тому времени, когда стали прибывать первыя лодки съ женщинами. Не сказалъ онъ объ этомъ своемъ намѣреніи Марѳѣ, но цѣли

своей достигъ: видѣлъ онъ ее, никѣмъ не замѣчаемый, съ высокаго утеса, слышалъ ржавые звуки флюгарки, слѣдилъ за тѣмъ, какъ пошла Марѣй навстрѣчу Агафѣя, подъ руку съ двумя дѣвушками.

На его глазахъ совершился неожиданный перерывъ бабьей «заворѣхи», и всѣ онѣ потянулись обратно къ селенію. Замѣтилъ онъ также, что Агафѣя помѣстилась въ одну лодку съ раскольницей Пелагеей.

— Завойлочить, запутаетъ, ехидная!—думалось помору.

Не могъ онъ также не замѣтить, что Марѣя пошла къ поселку послѣднюю, забытую, одинокою...

— Голубушка! рѣдная моя!—думалъ Петръ, и недобрый мысли, злые всполохи чувства сказались въ немъ.

Очистилось побережье; быстро приближались шняки. Хорошо знакомый съ ними, Петръ отличилъ—чьи онѣ; вотъ и Еремина второю идетъ, и Ереминъ треухъ у руля виднѣется. Приди шняки часомъ ранѣе, онѣ бы у самаго берега прошли, а теперь, съ отливомъ, пришлось имъ дальше держать, и бѣгутъ шняки, бѣгутъ быстро, и килевой вѣтеръ гонить ихъ мимо утеса, на которомъ стоитъ Петръ и наблюдать.

И когда шняки протянулись мимо, сталъ онъ сходить съ утеса, но уже не въ сторону болота, а въ сторону къ морю, короткимъ путемъ, соскользнулъ съ него и направился песчаною полосою къ селенію. Отбѣжало море, обнажились безсчетныя черныя камни, и похрустывали, и давали брызги подъ ногами помора длинныя водоросли, только-что отложенныя на берегъ водою, еще полныя ею и не начавшія обсыхать. Сердце его угнетала печаль безысходная.

— И какъ это,—думалось ему,—шла Марѣя горемычная позади всѣхъ, блѣднехонька, одиныхонька, голову понурила!.. и какъ это, когда шняки мимо меня «сѣверомъ» гнало, и Ереминъ треухъ вмѣстѣ съ ними, словно бывая

радость, все счастье мимо уплывали... извести бы... его, проклятого...

Эта мысль была совсѣмъ новою мыслью для Петра; онъ, будто испуганный, оглядѣлся, боясь, не подслушалъ ли кто. Но кромѣ водорослей ничего подлѣ не шелестѣло; шумѣлъ вѣтеръ, а отъ селенія, до котораго оставалось недалеко, неся веселый говоръ и смѣхъ. Шняки успѣли подойти и причалить. Прибывшіе поморы сошли на берегъ. Петръ направился прямо къ толпѣ.

Въ одномъ мѣстѣ скопленіе народу было особенно велико; туда-то и пошелъ Петръ. Окруженные вплотную женщинами, видѣлись ему еще издали поморы; отыскивая, какъ бы пробраться въ самую кучку, любопытные мальчишки шныряли вокругъ, стараясь найти лазейку между бабами, но никакой возможности пролѣзть не находили; то вправо, то влево, стараясь заглянуть внутрь кучки, нагибались головы тѣхъ, что стояли снаружи... Происходило что-то необычайное. Еремийъ треухъ высился выше прочихъ.

— Чтой-то?—спросилъ невольно Петръ у первой попавшейся ему навстрѣчу Пелагеи.

— Утопъ!—коротко отвѣтила она.

— Кто утопъ?

— Ерема на покрутчинѣ.

— А Марѳа гдѣ?—спросилъ Петръ, совершенно невластный въ себѣ и своихъ словахъ.

— Омморокъ съ нею, въ омморокъ лежитъ, оттого и люди подлѣ,—отвѣтила Пелагея.

Кучка подалась подъ могучими руками помора. Бросившись къ кучкѣ, онъ протискался прямо по направленію къ большому Еремину треуху.

Точно! шапка Еремы, но человѣкъ подъ нимъ другой—Никита знахарь.

А на холодномъ пескѣ, окруженная говорящими помо-

рами, только - что окончившими рассказъ о томъ, какъ именно потонулъ мгновенно свалившійся со шняки въ море и Богъ вѣсть почему пошедшій вдругъ камнемъ ко дну Ерема, и какъ попалъ треухъ его, всплывшій на воду, на голову къ Никитѣ, — лежала неподвижная, «безрудая», блѣдная какъ смерть, Марѳа; бабы усердно хлопотали подлѣ нея; насупившись стояли по кругу поморы, и лицомъ къ лицу съ Петромъ видѣлись черныя, устремленныя на него въ упоръ, очи Агафьи. Обморокъ Марѳы прошелъ только тогда, когда, раскрывъ съ большими усилиями стиснутые зубы, ей влили въ ротъ нѣсколько капель, всегда имѣющагося при поморахъ, норвежскаго рома. Едва только открыла она глаза свои, какъ отыскала ими Петра, стоявшаго рядомъ съ другими; она устала ихъ на него и снова закрыла, но только на короткое время и со сладкимъ, глубокимъ вздохомъ облегченія. Марѳа вдругъ поднялась съ земли... проводили ее до дома. Привѣтливъ и свѣтелъ показался ей этотъ домъ. Такъ и все въ жизни бываетъ. Кому бѣда, кому радость...

Мѣсяцъ спустя сыграна была свадьба. Еремина треуха Марѳа къ себѣ въ домъ не взяла.





## Т И П Ы.

Выстрѣлъ.—Капитанъ и его лошадь.—Человѣкъ и картоны.—Бабушкины пузыри. — Два Сидоровыхъ — Новый Дулькамара. — Ищутъ клоуновъ.—Какъ можно лгать.





## ВЫСТРѢЛЪ.

---

Лѣтъ тридцать тому назадъ, катеръ съ молодыми людьми, воспитанниками одного изъ морскихъ училищъ, отчалилъ отъ большого военного фрегата, стоявшаго на якорѣ въ виду финляндскихъ шхеръ или скалъ южнаго побережья Финляндіи. На катерѣ сидѣло человѣкъ пятнадцать воспитанниковъ и вмѣстѣ съ ними помѣстился монахъ въ клобукѣ, исполнявшій на фрегатѣ во время плаванія обязанности священника. Этотъ монахъ, отецъ Аеанасій, отличался необычайною робостью и значительною угловатостью движеній, что нерѣдко служило причиною довольно дерзкихъ подтруниваній надъ нимъ со стороны воспитанниковъ. Самъ отецъ Аеанасій никогда, ни разу не обидѣлся на эти подтруниванія, и если молодые люди подвергались за нихъ, иногда, различнымъ взысканіямъ, то дѣлалось это потому, что провинность, часто очень смѣлую, замѣчали начальствовавшіе офицеры. Начальство въ тѣ дни, вообще, было строго и не стѣснялось наказаніями. Несмотря, однако, на полную неповинность въ этихъ взысканіяхъ самого отца Аеанасія, юноши только усиливали свои насмѣшки, и если бы не краткосрочность плаванія, продолжающагося обыкновенно всего три мѣсяца съ небольшимъ, то, вѣроятно, пшало-

сти достигли бы размѣровъ невозможныхъ, такъ какъ бывали случаи, когда подтруниванія переходили отъ словъ къ дѣлу, что являлось уже совершенно неприличнымъ относительно духовнаго лица. Если бы доискиваться до причинъ подобнаго отношенія воспитанниковъ къ монаху, то, если можно такъ выразиться, помимо страдальческой кротости монаха и его упорной невозмутимости, всегда въ концѣ концовъ раздражающей, не безучастно было и слѣдующее обстоятельство: всѣмъ сдѣлалось скоро извѣстно, что отецъ Аеанасій, въ свое время, блестящимъ образомъ окончилъ курсъ въ одномъ изъ кадетскихъ корпусовъ, былъ произведенъ въ офицеры, побрякивалъ шпорами, а затѣмъ перемѣнилъ киверъ на клобукъ, т.-е. сталъ, въ нѣкоторомъ смыслѣ, «измѣнникомъ». Въ молодыхъ умахъ, въ особенности въ тѣ годы, когда юноши зачитывались подвигами «Героя нашего времени» и еще не совсѣмъ былъ позабытъ «Лейтенантъ Бѣлозоръ», въ нихъ не могло запастъ и мысли о глубокой несправедливости нападокъ на отца Аеанасія и никому и въ голову не приходило подумать о томъ: не повліяла ли какая-либо очень внушительная причина на странную замѣну кивера клобукомъ; не обрѣтался ли въ душѣ монаха слѣдъ какой-либо значительной внутренней борьбы, не представлялъ ли изъ себя монахъ образчикъ дѣйствительнаго исполненія и воплощенія душевнаго призванія?

Особенно не нравилась юношамъ вѣчная робость, какъ бы трусость, отца Аеанасія, которая и на этотъ разъ послужила первымъ поводомъ къ началу подтруниваній надъ монахомъ, какъ только катеръ отвалилъ отъ фрегата, и офицеры, стоявшіе подлѣ борта и слѣдившіе за нимъ, не могли болѣе слышать разговоровъ. Совершенно неожиданно поднявшаяся крупная зыбъ стала покачивать катеръ со стороны на сторону такъ сильно, что онъ то и дѣло черпалъ воду и сидѣвшихъ въ немъ обдавало брызгами.

— Потонемъ, отецъ Аеанасій!—заговорилъ одинъ изъ воспитанниковъ:—непремѣнно потонемъ!

— Что? страшно, батюшка?—спрашивалъ другой.

— Страшно!—отвѣтилъ монахъ, боязливо поглядывая въ глубину воды, казавшейся совершенно черною, благодаря набѣжавшей грозовой тучѣ.

— Да и плыть-то вамъ, если опрокинемся, отецъ Аеанасій, въ рясы будетъ не особенно удобно!

— Точно, что будетъ неудобно,—кратко отвѣчалъ монахъ.

— А мы за васъ, какъ за пузырь, держаться будемъ!

Раздался дружный, долгій, звонкій хохотъ, и катеръ, какъ нарочно, черпнулъ воды особенно глубоко.

— Полно вамъ, господа, вздоръ молоть,—громко проговорилъ Поливановъ, сидѣвшій на рулѣ,—что пристали въ самомъ дѣлѣ? Не зачѣмъ было отца Аеанасія на прогулку звать, если смѣяться думали? Не онъ просился!

— Точно!—отвѣтили негромко нѣсколько другихъ голосовъ:—полно, господа, довольно.

— Ничего, ничего! пусть ихъ,—кратко отвѣтилъ монахъ, взглянувъ на Поливанова безконечно добрымъ взглядомъ,—вѣдь они правы, я, вѣдь, по-истинѣ, боюсь...

— Такъ вы же и не морякъ, батюшка,—возразилъ Поливановъ.

Катеръ шелъ быстро къ пикерамъ. Общему молчанію, водворившемуся немедленно вслѣдъ за разговоромъ, довольно шумнымъ, отвѣтило неожиданно наступившее молчаніе въ воздухѣ. Обогнувъ мысъ ближайшаго островка, пловцы очутились въ узенькомъ проливѣ, за которымъ виднѣлось болѣе открытое пространство моря, а на немъ опять многіе островки всякихъ величинъ и между ними проливы безъ счета и еще болѣе количество отдѣльных скалъ всякихъ очертаній. торчавшихъ кое-гдѣ изъ воды,

поближе къ островкамъ. Это и были шхеры, въ безконечномъ ихъ однообразіи, тянушіяся по южному берегу нашей Финляндіи, временно прерываемыя Ботническимъ заливомъ и вновь поднимающіяся изъ моря на западной сторонѣ его, подлѣ береговъ Швеціи. Нѣтъ числа островкамъ шхеръ, нѣтъ между ними двухъ, хотя бы сколько-нибудь схожихъ одинъ съ другимъ, неисчислимы извивы моря, забѣжавшаго между нихъ, безсчетны водяныя прогалины, и насмѣются отдѣльныя скалы всякому желанію подвести ихъ подъ какія-либо цифры—такъ ихъ много. Но, тѣмъ не менѣе, все это—безконечное, утомительное, одно и то же. Стѣдуетъ провести въ шхерахъ день, другой, и вся только-что перечисленная игривость очертаній какъ бы сразу замираетъ въ какой-то безконечной, какъ бы алгебраической формулѣ, не подлежащей никакому измѣненію: сколько ни углубляйся въ шхеры, сколько ни огибай островковъ, сколько ихъ ни оставляй за собою, а все это тѣ же шхеры, тѣ же скалы, тѣ же сосны и можжевельникъ между нихъ; жилия нѣтъ почти совсѣмъ, и только рыбачьи становища, появляющіяся кое-гдѣ, разнообразятъ самымъ бѣднымъ образомъ эту красивую, но безжизненную своимъ мертвымъ единообразіемъ картину. Лучше, гораздо лучше, открытое море; въ немъ, по крайней мѣрѣ, зрѣнію есть гдѣ потонуть, и тогда свободно возникаютъ рисунки воображенія.

Рѣшено было причалить къ одному изъ болѣе крупныхъ острововъ; Поливановъ «положилъ лѣво-руля», какъ говорятъ моряки, но только послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ попытокъ удалось приблизиться къ берегу вплотную; слегка стукнувъ нѣсколько разъ носомъ въ камни и скребнувъ килемъ, катеръ вдвинулся между двухъ гранитныхъ скалъ и остановился. Сложивъ весла, юноши немедленно повскакали съ мѣстъ на ближайшіе камни и, прыгая съ одного на другой, добрались до берега сухіе. Отцу Аѳанасію сдѣлать это

было труднѣе: длинное одѣяніе мѣшало движеніямъ, и онъ перебрался къ берегу не вдругъ, потому что, боясь, чтобы глыбы камней не подвернулись подъ ногами его, онъ переходилъ по нимъ осторожно, высоко поднявъ полы рясы пзъ боязни замочить ее.

— Мужская дама! — кричали съ берега, глядя на него, юноши.

Мужская дама въ это время остановилась на предпоследнемъ камнѣ: разстояніе до слѣдующаго было очень велико, и приходилось прыгать.

— Вотъ вамъ багоръ, батюшка,—проговорилъ Поливановъ, подавая монаху орудіе спасенія;—вѣдь не разъ случалось вамъ прыгать; умѣете?

— Умѣю, умѣю!—отвѣтилъ монахъ.

Онъ началъ неловко приспособляться и, наконецъ, перемхнувшись къ берегу довольно удачно, такъ что замочилъ только одинъ уголъ выскочившаго изъ рукъ одѣянія.

Смѣхъ на берегу, готовый разразиться, смолкнулъ, однако, и какъ-то развѣялся. Юноши разсыпались по лѣсу, по два и по три; раздались ауканья; зазвучала гдѣ-то извѣстная кадетская пѣсня: «наливай, братъ, наливай!» хотя наливать было и нечего; неожиданно прогремѣлъ пистолетный выстрѣлъ, и прогудѣло эхо. Отецъ Аеанасій, сопровождаемый Поливановымъ, отправился собирать всякія травы: онъ хорошо зналъ ботанику и могъ бы руководить экскурсіей съ научною цѣлью.

Островъ былъ не великъ, и разбредшимся по немъ приходилось часто встрѣчаться; двѣ неопытныя утки пали жертвою мѣткихъ выстрѣловъ изъ пистолетовъ; одну подбили камнемъ. Солнце давно перешло за полдень, когда раздался гдѣ-то кличъ:

— Въ цѣль стрѣлять! Въ цѣ-ѣ-ѣ-ль! Собирайся къ ка-а-а-теру!

Не прошло и получаса времени, какъ всѣ до единого сошлись къ мѣсту назначенія и разсѣлись по камнямъ и по травѣ. Стали готовить цѣль; нарѣзали ивиюку, связали мишенью и стали заряжать пистолеты; револьверъ, въ тѣ дни еще большая рѣдкость, нашелся только у одного.

Монахъ присѣлъ въ сторонѣ, надъ самою водою, и задумался, перебирая четки; отъ поры до времени поглядывалъ онъ на молодежь.

— А что, батюшка, выстрѣловъ боитесь? — спросилъ кто-то.

— Конечно, боится, — отвѣтили въ сторонѣ.

— А и вправду боюсь, господа, — проговорилъ отецъ Аѳанасій. — И за что же вы уточекъ невинныхъ побили, вѣдь и сжарить-то не придется, протухнуть, кинете!

— Точно, а выстрѣловъ-то вы все-таки боитесь?

— Боюсь... больше отъ пушекъ боюсь! какъ рывкнетъ, такъ съ кораблемъ вмѣстѣ все нутро вздрогнетъ.

— Ха-ха-ха, — подхватили слѣва, и эхо дружно разнесло по скаламъ и расщелинамъ раскаты молодого хохота.

Цѣль была готова, утверждена — и всѣ собрались въ кучу.

— А вѣдь я вамъ, господа, — неожиданно и громко проговорилъ монахъ: — стрѣлять въ эту цѣль не позволю. — Монахъ оставался сидѣть въ сторонѣ и не поднимался съ камня.

— Что-о-о?

— Это отчего?

— Ха-ха-ха! почему это?

— Да ужъ нельзя, — отвѣтилъ громко монахъ.

— Да почему же нельзя?

— А вы на цѣль-то взгляните, — проговорилъ отецъ Аѳанасій: — развѣ это цѣлью ставить можно? вѣдь это крестъ!..

Дѣйствительно: цѣль была связана крестомъ и пересѣче-

ніе обѣихъ вѣтвей креста, продольной и поперечной, обтянуто какимъ-то краснымъ лоскуткомъ, на который оставалось только прикрѣпить разнумерованную бумагу.

Всѣ глаза устремились на крестъ.

— Ну, такъ что же, что крестъ?—проговорилъ кто-то.

— Да не слушайте его, братцы, стрѣляй!—отвѣтилъ другой.

— Не дамъ стрѣлять!—быстро и громко проговорилъ монахъ, поднявшись съ камня и оглядывая молодежь совершенно непривычнымъ для нея, блиставшимъ рѣшительностью взглядомъ своихъ черныхъ глазъ, широко раскрывшихся.

— А какъ же это вы, батюшка, не позволите намъ?

— А вотъ какъ, — отвѣтилъ монахъ и, недолго думая, твердою поступью подошелъ къ цѣли и сталъ передъ нею.

Наступила минута молчанія; нѣчто совершенно неожиданное озадачило всѣхъ рѣшительно и надо было сойтись съ мыслями. Прежде всего совершившаяся исторія поразила всѣхъ своею несомнѣнною непріятностью, и такъ какъ самодурство и упрямство входятъ всегда весьма значительною частью въ мышленіе юношей, особенно передъ лицомъ товарищей, то и тутъ, прежде всего, сказались они.

— Не мѣшайте, батюшка, отойдите!

— Оттащимъ васъ!

— Вотъ вздумалъ!

— Право, отойдите!

Но монахъ стоялъ, какъ вкопанный. Отънесенный старою, высокою сосною, весь черный, съ золотымъ крестомъ на груди, внушительно обрисовывался онъ между ближнихъ гранитовъ и продолжалъ молчать.

— Стрѣляйте, братцы! вспугните! отойдетъ!

— Не сойду!

— Я выстрѣлю! — проговорилъ одинъ изъ юношей, наводя на монаха пистолетъ.



— Стрѣляйте, если хотите, — отвѣтилъ отецъ Аѳанасій, заслоняя крестъ.

Раздался выстрѣлъ. Онъ былъ направленъ въ сторону монаха, но наискось. Монахъ не дрогнулъ.

Зато дрогнули сердца молодежи, и мгновенно открылись они для новаго, хорошаго чувства.

Обо всемъ случившемся морское начальство узнало только нѣсколько лѣтъ спустя, но всякій разъ, когда предстояло новое плаваніе морскихъ кадетъ, ихъ живо занимало, кто именно пойдетъ съ ними священникомъ? Любъ и дорогъ сталъ имъ отецъ Аѳанасій съ его безотвѣтною скромностью и рѣдко, очень рѣдко блиставшимъ пламенемъ глубоко-черныхъ очей.



## КАПИТАНЪ И ЕГО ЛОШАДЬ.

---

Въ одну изъ многочисленныхъ поѣздокъ моихъ по степному югу Россіи, довелось мнѣ видѣть оригинальнѣйшее обиталище, когда-либо устроенное человѣкомъ. Несмотря на то, что мѣсто этого обиталища находилось подлѣ почтовой станціи—верстахъ въ двухъ, не болѣе,—я, вѣроятно, промелькнулъ бы мимо него, какъ и мимо другихъ окрестностей пути, болѣе или менѣе любопытныхъ, если бы не обыкновеніе мое разговаривать съ ямщиками. Для человѣка, желающаго ознакомиться съ краемъ, болтовня и разспросы направо и налѣво совершенно необходимы. Иногда какая-нибудь старушка съ клюкою, мужикъ на перекресткѣ, паренекъ въ деревнѣ сообщать вамъ вещи удивительныя. Если далеко не всякій разговоръ дастъ вамъ пищу, если зачастую краткость и принужденность отвѣта не сразу удовлетворятъ ваше любопытство, то зато нерѣдки случаи противоположныя. Довольно вѣрна примѣта, на основаніи которой вы можете рассчитывать на успѣхъ вашего желанія разспросить, а именно: подобно тому, какъ горный инженеръ, по нѣкоторымъ особенностямъ почвы, по ея обнаженіямъ, даже по характеру растительности, опредѣляетъ иногда то мѣсто, на которомъ надо производить изысканія, весьма вѣрно,—

съ разспросами надобно обращаться преимущественно къ людямъ молчаливымъ, держащимся въ сторонѣ, особнякомъ. Краткость и неопредѣленность отвѣтовъ въ началѣ разспросовъ еще ничего не обозначаютъ. Сосредоточенные люди, которыхъ въ городахъ встрѣчаешь довольно рѣдко, иногда даютъ отвѣты и какъ бы просыпаются не сразу, не вдругъ, и отвѣтъ слѣдуетъ зачастую тогда, когда вы сами позабыли о вопросѣ. Такъ, или приблизительно такъ, возрождаются звуки, сохраняемые искусственнымъ путемъ.

День былъ необычайно жаркій, и солнце палило немилосердно. Ямщикъ мой, парень лѣтъ тридцати, казалось, не могъ послужить мнѣ источникомъ любопытнаго сообщенія. Уже миновалъ добрый часъ времени, какъ правилъ онъ тройкою разношерстныхъ коней; уже много миновали мы буераковъ, два-три села, переѣхали по мосту совершенно высохшую рѣку, а все не получалось отъ него подходящихъ отвѣтовъ. Я было совсѣмъ отчаялся въ немъ, какъ вдругъ, совершенно неожиданно, самъ онъ обратилъ мое вниманіе на коня въ полѣ и сопровождавшаго его человѣка. Они предстали глазамъ нашимъ въ довольно глубокой котловинѣ, зеленѣвшей тучною травою; до станціи оставалось не болѣе пяти минутъ ѣзды: она виднѣлась на высокомъ пригоркѣ.

— Вотъ, баринъ,—заговорилъ ямщикъ неожиданно:—вы все спрашиваете о томъ, что у насъ диковиннаго въ краѣ есть: вотъ человѣкъ диковинный.

— А что?

— Да вонъ тамъ, съ лошадыю, видите?

— Вижу.

— Офицеръ-съ.

— Какъ офицеръ?

— Да такъ оно, только что отставной, а какъ въ празд-

никъ въ церковь ѣдетъ, орденовъ у него отъ плеча къ плечу, во сколько!—при этомъ ящикъ мой оглянулся и, не выпуская возжей изъ правой руки, провелъ ею поперекъ всей своей груди. Затѣмъ онъ тронулъ возжи, и кони, почуввавъ близость станціи, подхватили.

— И рана у него на щекѣ отъ самого виска до подбородка идетъ большущая. И лошадь тоже вся полосами,—договорилъ ящикъ.

— Старикъ онъ?

— Лѣтъ шестидесяти будетъ, со Скобелевымъ въ степи ходилъ.

— На Геоку-Тепе?

— А Богъ его знаетъ куда, кажись, такъ называется. Хорошій баринъ. Кусокъ земли купилъ съ хуторомъ, такъ, десятинъ сорокъ, да и поселился.

— Самъ землю работаетъ?

— Нѣтъ, нанимаетъ, а вотъ за садикомъ такъ все самъ, и по огороду тоже самъ ухаживаетъ.

— А какъ его зовутъ?

— Полугановымъ, Иваномъ Евстафьевичемъ. А вотъ и домъ его подлѣ мельницы виднѣется. Домъ-то недурной, а лошади его помѣщеніе—лучше.

— Какъ такъ помѣщеніе лошади лучше?

— Она у него первый челоуѣкъ въ домѣ, ей всякая почестъ!

— А нелюдимъ онъ? или съ людьми знакомится?

— Очень даже любить.

Въ это время, давъ большой крюкъ по краю котловины, на которой паслась лошадь, мы подѣхали къ ней довольно близко; можно было различить даже черты лица Полуганова: широкая сѣдая борода прикрывала на половину сѣрый холщевый китель капитана, совсѣмъ разстегнутый, изъ-подъ котораго виднѣлась пестрая рубаха; на ногахъ

пмѣлись высокіе сапоги. Отъ тарантаса до капитана оставалось не болѣе двухсотъ шаговъ.

— Стой!—сказалъ я ямщику.

Тройка исполнила это съ большою охотою.

— Ты доѣдешь,—договорилъ я ямщику:—до станціи... вѣдь это она подлѣ церкви виднѣется?

— Она. Вонъ гдѣ столбы.

— Запрягать не велишь, а за чемоданомъ посмотришь, вдвое на чай дамъ.

— Слушаю-съ!

Тройка направилась по дорогѣ шагомъ, а я пошелъ къ капитану. Полугановъ давно замѣтилъ нашу остановку и ожидалъ моего приближенія. Когда насъ отдѣляло не болѣе десяти шаговъ, я приподнялъ фуражку. Капитанъ, въ отвѣтъ на это, приложился къ козырьку своей фуражки, а лошадь, прекративъ щипанье травы, повернула голову въ мою сторону и потянула ноздрями.

— Простите, капитанъ,—началъ я:—но мнѣ сообщили, что вы человѣкъ военный, походный, и, такъ какъ мнѣ торопиться некуда, все равно ждать на станціи придется, такъ я и свернулъ покалякать.

— Очень, очень радъ,—отвѣтилъ капитанъ:—всегда радъ образованнаго проѣзжаго человѣка увидеть и поговорить; рѣдко это случается, потому что если кто въ наши степи и заѣдетъ, такъ ужъ до дому моего никакъ не доберется. Все это мимо идетъ-съ, близко—а мимо, точно какъ, напрыгъ, награды или чины въ службѣ.

При этихъ словахъ Полугановъ дружески протянулъ мнѣ руку, и я пожалъ ее. Конь, съ своей стороны, почелъ обязанностью сдѣлать къ намъ нѣсколько шаговъ и протянулъ морду надъ нашими, еще не раздѣлившимися, руками.

— Эге, старикъ, и ты туда же!... Это мой другъ, ви-

дите ли-съ,—проговорилъ капитанъ и нѣжно потрепалъ коня по холкѣ.

— Я слыхалъ, однако,—отвѣтилъ я:—что васъ, пови-  
димому, чины и награды не миновали; у васъ крестовъ  
вѣ сколько!—и я повторилъ то же движеніе рукою отъ плеча  
къ плечу, которое сдѣлалъ ямщикъ.

— Точно! есть малая толика,—отвѣтилъ Полугановъ:—  
нельзя сказать, награжденъ... А лучшее все-таки, чтѣ есть  
у меня—это мой конь, мой другъ, мой товарищъ. Я это  
такой же, какъ Чертопхановъ! у Тургенева Чертопханова  
помните-съ?

— Помню, помню!—отвѣтилъ я.—Вы совершенно одиноки?

— Совсѣмъ одинокъ. Послѣдняго родного моего, двою-  
роднаго брата, потерялъ изъ виду лѣтъ сорокъ тому  
назадъ.

— Да сколько же вамъ лѣтъ? извините за нескромный  
вопросъ...—проговорилъ я.

— Чего скрывать-то? вѣдь мы не женщины: шесть-  
десять первый идетъ.

— Вотъ этого дать вамъ нельзя.

— Куда ѣдете-съ?

— По службѣ командированъ въ Николаевскъ.

— Недалеко отсюда—триста двадцать верстъ будетъ.

— Да, знаю.

— На обратномъ пути ко мнѣ милости просимъ,—ска-  
залъ капитанъ:—переночуйте, покалякаемъ, угощу, чѣмъ  
Богъ послалъ... Съ кѣмъ имѣю удовольствіе говорить?

Я назвалъ свою фамилію; оказалось, что онъ слыхалъ о  
ней, что, вѣроятно, такой-то его товарищъ былъ моимъ  
родственникомъ, а такой-то его родственникъ былъ, вѣро-  
ятно, моимъ товарищемъ. Оказались въ быстро мелькнув-  
шемъ перечнѣ именъ другіе общіе знакомые. Перечисляя  
ихъ, мы двигались по направленію къ хутору Ивана

Евстафьевича, виднѣвшемуся крышею своею изъ-за пригорка. Лошадь, безъ всякаго приглашенія, пошла слѣдомъ за нами, и только-что выбрались мы изъ сырой котловины, какъ грузныя, неподкованныя ноги коня стали вызывать изъ сухой земли, непосредственно вслѣдъ за нами, гулкій, словно металлическій, звукъ. Конь довольно рослый, карачовый, несомнѣнно степной породы, съ длинною жилистою шеей, поджарымъ животомъ и необычайно широкою грудью; по объему этой груди приходился и растворъ ноздрей: степной воздухъ расширилъ ихъ непомѣрно, и вволю можно было коню набирать его. На бокахъ, на шеѣ виднѣлись, отливая на солнцѣ, широкіе рубцы, а въ одномъ мѣстѣ не хватало даже цѣлаго куска мяса, и углубленіе это обозначалось рѣзкою тѣнью.

Домикъ капитана былъ окруженъ садикомъ; подлѣ изгороди виднѣлся колодезь, и высокій журавль съ ведромъ на веревкѣ торчалъ надъ нимъ; ведро стояло на срубѣ, окружавшемъ колодезь. Конь, какъ оказалось, Вася по кличкѣ, направился къ колодезю. Капитанъ тотчасъ замѣтилъ это.

— Вы меня извините,—проговорилъ онъ:—Вася пить хочетъ, водицы ему подать.

— Сдѣлайте одолженіе,—отвѣтилъ я.

Опустилъ журавль свой длинный носъ долу, опять вздернулся, и струи холодной воды не замедлили излиться въ огромное корыто. Конь наклонился и сталъ пить.

— Это онъ меня,—проговорилъ капитанъ:—однажды подъ Геокъ-Тепе отъ смертной жажды спасъ, самъ къ водѣ привезъ,—ну и я его, Васю, всегда угощаю.

— А вы весь походъ съ Михаиломъ Дмитріевичемъ сдѣлали?—спросилъ я его.

— Весь, отъ начала до конца. Милости просимъ въ домъ,—добавилъ онъ, видя, что конь напился:—пожалуйте.

До дому оставалось шаговъ двадцать, не болѣе. Мы вошли въ одну дверь — Вася направился въ другую. Въ домикѣ было всего четыре комнаты, занимавшія, совершенно симметрично, всѣ четыре угла его. Въ каждой комнатѣ висѣло нѣсколько портретовъ, гравюръ и фотографій Скобелева и кое-какое оружіе; виднѣлись въ нѣсколькихъ мѣстахъ книжки, а на почетныхъ углахъ—довольно большіе, обложенные блестящею фольгою, образа. Чтò особенно поражаало посѣтителя, такъ это сильный запахъ конюшни; она была пристроена къ самому дому и стояла бокъ-о-бокъ съ нимъ.

— Григорій! а Григорій! — крикнулъ капитанъ въ одно изъ оконъ, выходившее къ огороду: — подай-ка самоваръ... Чайку напьетесь?—спросилъ онъ меня.

— Съ удовольствіемъ,—отвѣтилъ я, чувствуя себя какъ-то особенно легко въ присутствіи этого несомнѣнно заслуженнаго человѣка, въ чистой обстановкѣ и при гостепріимствѣ хозяина. Кромѣ того, въ комнатѣ было прохладно, благодаря высокой крышѣ, покрытой чрезвычайно толстымъ слоемъ сухой осоки и другихъ болотныхъ травъ, обильно произрастающихъ въ сосѣднихъ буеракахъ.

— Готовъ самоваръ! сейчасъ подамъ!—отвѣтилъ какой-то голосъ.

Исполняя приглашеніе капитана, я сѣлъ на диванъ весьма стараго фасона, такъ какъ дерева виднѣлось въ немъ больше, чѣмъ матеріи; но чистъ былъ онъ несомнѣнно. Капитанъ сѣлъ подлѣ меня.

— А вы, я вижу, великій почитатель Скобелева?—спросилъ я, закуривая папиросу.

Вмѣсто отвѣта, Иванъ Евстафьевичъ съ какою-то укоризною, не то подозрительностью взглянулъ на меня. Онъ, видимо, не нашелся, чтò отвѣтить, потому что та сфера



мыслей, съ которою онъ сжился, не допускала даже возможности постановки моего вопроса.

— Божественнымъ воинномъ былъ онъ! божественнымъ! архистратигомъ! — проговорилъ онъ, наконецъ, и провелъ рукою сверху внизъ по обоимъ усамъ и бородѣ. — Да мнѣ вотъ и Вася мой не только тѣмъ дорогъ, что спасъ меня, а также тѣмъ, что Михаила Дмитріевича видѣлъ, и что самъ генераль его однажды по шеѣ рукою погладилъ! было это еще по пути къ Геокъ-Тепе, въ степяхъ, значитъ, когда мы лагеремъ въ Бендессенской долинкѣ стояли; желѣзную дорогу тогда строили, ну, и намъ ее отъ нападенія дикарей хранить приходилось. Тоже и посѣвы мы ихъ портили. Разъ какъ-то и меня съ отрядомъ послали. Идемъ это мы; горы, буераки, ни одного кустика, могила какая-то старая торчитъ. Вдругъ, откуда ни возьмись — нападеніе, да сразу и свалка! Пришлось мнѣ, потому что старшихъ переребили, всѣмъ отрядомъ командовать. Ну-съ, случилось это, потому что мы вдругъ какъ-то на цѣлую ораву текинцевъ напоролпсь, такъ что и къ выстрѣламъ почти не пришли, а сразу въ рукопашную. Горячее было дѣло, многихъ изъ нашихъ искрошили они, ну да и мнѣ досталось, особенно когда дикари на утекъ пошли, да по нимъ картечью пустили. Помню это, что какъ только орудія загрохотали, тутъ только пришелъ я совсѣмъ въ себя: гляжу — лѣвая рука въ крови, и отъ самаго плеча, отъ погона, значитъ, внизъ, весь китель по локоть отрѣзанъ. Пашкой это меня текинецъ, должно-быть, хватилъ, да, къ счастью, скользнула. Помню я, что въ самую сѣчу много вслѣхъ кудрястыхъ текинскихъ бородъ и шапокъ подлѣ меня мелькало; помню, что штыки кругомъ по воздуху словно кружились! стукъ, крикъ, ревъ! не помню ужъ, какъ меня ранили, а чуть только осмотрѣлся — вижу, что и Васька мой тоже весь изсѣченъ. Какъ ужъ онъ на ногахъ устоялъ, какъ онъ кровью

не истѣкъ, какъ онъ меня въ Бендессенъ къ главнымъ силамъ нашимъ привезъ — я и не понимаю, чудо! Только подходимъ мы — а къ намъ навстрѣчу самъ генералъ со штабомъ ѣдетъ, за нимъ фургоны съ краснымъ крестомъ слѣдуютъ, казаки. Велѣлъ остановиться, съ коня сошелъ и ко мнѣ подходитъ. Глаза у него такіе свѣтлые были, красивые, самъ молодецъ писанный, а ужъ говорить какъ умѣлъ—и рассказать не могу! совсѣмъ свѣтоносный былъ! «А что это у васъ,—говоритъ онъ: — съ рукою, капитанъ, какъ будто немножко задѣло? Вы поспѣшите перевязать. Ну, да и конь вашъ тоже окрѣщенъ порядкомъ». А Васька мой стоялъ передъ генераломъ, понуривъ голову, и, какъ мнѣ потомъ говорили, отъ крови весь малиновый на солнцѣ блеснулъ. Потрепалъ Михаилъ Дмитріевичъ моего коня по шеѣ, а потомъ къ солдатамъ пошелъ и имъ ласковое слово сказалъ.—Такъ вотъ, изволите ли видѣть,—замѣтилъ капитанъ:—мой Вася — лошадь какъ бы историческая, и портретъ ея въ журналы помѣстить надо.

— А скажите, пожалуйста, Иванъ Евстафьевичъ, какимъ образомъ спасла васъ ваша лошадь, или въ этой именно стычкѣ, въ томъ, что бойня удачно кончилась для васъ, вы ваше спасеніе конемъ видите?

— Никакъ нѣтъ-съ, это совсѣмъ другое было.

Въ это время вошелъ Григорій съ самоваромъ, а за нимъ какой-то паренекъ, лѣтъ двѣнадцати, тащилъ подносъ съ чашками и чайникомъ.

— А! это ты, Митя, сегодня дежурный? — проговорилъ капитанъ, глядя на мальчика.

— Я-съ!—отвѣтилъ парнишка.

— Я это,—объяснилъ мнѣ Иванъ Евстафьевичъ:—у себя деревенскихъ мальчишекъ дежурить назначаю, очередь у нихъ такая: за дежурство, отъ утра до вечера, гривенникъ, да кромѣ того—я дежурнаго и грамотѣ обучаю. Вѣрите ли:

за пятнадцать верстъ ходить и сами, кому дежурить, списки ведутъ, должно полагать—зарубинками на палочкахъ.

Подавшій намъ самоваръ Григорій былъ тоже, несомнѣнно, старый военный.

— А помнишь, Григорій,—спросилъ его Иванъ Евстафьевичъ:—какъ меня казаки на ручьѣ нашла?

— Какъ не помнить!

— Ну, вотъ видите ли,—продолжалъ капитанъ по уходѣ Григорія и парнишки:—какъ это было. Близо это уже къ самому штурму случилось. Тоже въ развѣдку послали. Ну, извѣстно, встрѣча, пальба, раненные, мертвые! Жаркій очень день былъ, а у меня съ утра въ головѣ точно барабаны стучали. Ранили это меня въ ногу — дурно стало, затуманило; думаю: чѣмъ мнѣ на перевязочный ѣхать, лучше водицы напьюсь, а тутъ и ручей подлѣ въ овражкѣ бѣжалъ: спустился я къ нему и на глубинѣ овражка выстрѣловъ почти не слышалъ. Смотрю — а ручей-то весь красный по камешкамъ катится—кровью, значить, окрашенъ. Ну, думаю, пить нельзя! и это моею самою послѣднею мыслью было: потемнѣло въ головѣ, ничего не помню, а очнулся я уже промежъ своихъ: Васька привезъ.

Глотнувъ чаю и закуривъ снова папироски, мы толковали о томъ, о семъ; сообщилъ мнѣ капитанъ, гдѣ и какъ получилъ рану, исполосовавшую его щеку, и многое другое о степномъ походѣ и его превратностяхъ; рассказалъ онъ мнѣ, съ какими трудами и какою дорогою цѣною доставилъ въ свой домъ Ваську; рассказалъ еще нѣсколько любопытныхъ чертъ о Михаилѣ Дмитріевичѣ Скобелевѣ, о его «свѣтоносности», повторилъ о томъ, какъ онъ его Ваську погладилъ. Съ этими словами разговоръ возвратился опять къ лошади капитана.

— Да, хотите вы,—сказалъ мнѣ Иванъ Евстафьевичъ:—его, коня-то, съ мѣста не сходя, видѣть? можно!..

Капитанъ всталъ съ дивана и направился къ той стѣнѣ, въ которой находилась входная дверь. Откинувъ грузный крючокъ, котораго я до того не примѣтилъ, онъ открылъ люкъ и крпкнулъ:

— Вася! а Вася!

Не прошло и трехъ секундъ времени, какъ мохнатая голова Васи просунулась въ комнату и капитанъ поцѣловалъ коня въ лобъ.

— Сахару хочешь, Вася? — и онъ подалъ коню кусокъ сахара.

Я тоже всталъ и, подойдя къ нему, погладилъ лошадь; умные глаза ея глядѣли на меня чрезвычайно кротко и привѣтливо.

— Одного боюсь я, — промолвилъ капитанъ: — одного: чтобы раньше меня жизнь не покончила; ну, а Чертопхановымъ я себя только въ шутку называлъ, потому что пропасть она у меня не можетъ, потому что всему уѣзду извѣстна, а крестьяне меня любятъ и конокрадамъ какимъ-либо не продадутъ, нѣтъ!

— Ну, что же, не довольно ли, Вася? — спросилъ Иванъ Евстафьевичъ у лошади: — можетъ-быть, гость запаха конюшни не любить?

Онъ осадилъ рукою морду Васи, лошадь втащила ее въ покъ, и онъ захопнулся.

Посѣщеніе мое длилось, конечно, болѣе часу времени. Капитанъ уговаривалъ меня провести у него цѣлый день и ночевать; я бы согласился на это непременно, если бы не то, что мы, съ товарищемъ моимъ по службѣ, условились встрѣтиться въ Николаевскѣ въ назначенный день, а дорога предстояла долгая. Иванъ Евстафьевичъ вызвался проводить меня на станцію, находившуюся подлѣ, что и исполнилъ.

Я простился съ Полутановымъ, и вновь замелькали передо мною знакомыя очертанія безлѣсной степи: холмы, буераки, солончаки; только безлюдная степь какъ будто населилась, стала гораздо оживленнѣе, чѣмъ прежде: меня сопровождали воспоминанія о встрѣчѣ съ Иваномъ Евстафьевичемъ и его описаніе разныхъ стычекъ; какіе-то облики текинцевъ въ огромныхъ папахъ скользили подлѣ тарантаса, но яснѣе всего видѣлись мнѣ, и видятся даже до сихъ поръ, добродушное лицо Ивана Евстафьевича и эта привѣтливая конская морда, которая глянула къ намъ въ комнату черезъ люкъ.



## ЧЕЛОВѢКЪ И КАРТОНЫ.

---

Осталось наслѣдство.

Наслѣдниковъ оказалось немного и ничего спорнаго; разобрали все по рукамъ: вещи, деньги; можно бы сказать, что раздѣлили и благодарныя воспоминанія, но это значило бы солгать, потому что каждый изъ наслѣдниковъ усиливался сохранить себѣ всѣ воспоминанія цѣликомъ! Эти воспоминанія своего рода маіораты, безусловныя, недѣлимые. Трогательно! послѣ покойнаго много осталось въ наслѣдство и хлама; его раздали бѣднымъ и получили благодарности; благодарностей было гораздо больше, чѣмъ хлама.

Въ хламъ попала одна удивительная, необъяснимая вещь. Определить ея назначеніе было чрезвычайно трудно. Представьте себѣ двадцать самыхъ толстыхъ картоновъ, величиною въ порядочный подносъ каждый. Лицевая сторона этихъ картоновъ была подѣлена золотою, тоненькою, фигурчатою бумажкою на шестнадцать клѣтокъ, и каждая клѣтка имѣла свой цвѣтъ. По клѣткамъ этимъ были наклеены, чрезвычайно тщательно, маленькія, вырѣзанныя изъ бумаги, фигурки, одна подлѣ другой, не въ опредѣленныхъ рядахъ, а настолько близко, чтобы оставалось между ними достаточно свободнаго мѣста для ясности самой фигурки. Самыя

крупныя изъ нихъ были величиною съ серебряный рубль, самыя маленькія не болѣе той прелестной бабочки, которую называютъ молью и которая является первою провозвѣстницею нашей вѣчно медлящей весны.

И чего ужъ не изображали эти раскрашенные, вырѣзанные фигурки!

Царь на тронѣ въ какихъ-то страусовыхъ перьяхъ; танцовщица, попугай, улей, бритва, грабля, фонарь, слонъ, лодка, летучій змѣй, два комическіе музыканта, Велизарій, ведомый ребенкомъ, арфа, ѣздокъ на брыкающейся лошади, бой св. Георгія съ дракономъ, арлекинъ, двѣ цѣлующіяся головки безъ туловищъ, маркизъ въ напудренномъ парикѣ, цвѣты, лѣкарственные стклянки, солдатки, дамы... Число этихъ фигурокъ на двадцати большихъ картонахъ, если взять въ расчетъ ихъ величину, было огромное, тысячное.

Но что же это былъ за трудъ: вырѣзать и наклеить эти фигурки!

— Смотрите на эту дѣвочку, несущую клѣтку, — говорилъ одинъ изъ разсматривающихъ картоны: — вѣдь для того, чтобы вырѣзать фигурку такъ, какъ она вырѣзана, надобно большое искусство и, по крайней мѣрѣ, часа четыре времени!

— Если не больше; каждая проволочка клѣтки вырѣзана!

— А птичка! кольцо, на которомъ она въ клѣткѣ качается, и то вырѣзано, а вся-то клѣтка величиною въ пять чашекъ!

— А этотъ толстый колбасникъ, между ногъ котораго проскакиваетъ свинья; вѣдь хвостикъ свиньи и косичка парика, падающаго на носъ колбасника, тоже деликатно вырѣзаны!

— Да, да, на бѣлой косичкѣ его даже красная ленточка видна, и та вырѣзана. Это явѣно въ родѣ китайскихъ прорѣзей.

— Удивительно! для подобнаго вырѣзыванія надобны были совсѣмъ особые инструменты, совсѣмъ особые глаза, совсѣмъ особый человѣкъ.

— А времени, времени сколько!

— Времени... да, времени потрачено тутъ чрезвычайно много, можно бы даже сосчитать, а главное, зачѣмъ эти картоны?

— Дѣйствительно, непостижимо! накрывать что-нибудь—слишкомъ велики, для ширмъ—малы; на стѣну, вмѣсто картинъ—не пригодны, да и колець въ нихъ нѣтъ.

— Такъ зачѣмъ же они?

Судя по характеру наклеенныхъ картинокъ, въ особенности по дамскимъ нарядамъ, картоны эти появились на свѣтъ въ началѣ нынѣшняго вѣка. На мужчинахъ вихры. Шляпы на дамахъ высокія, съ перьями и съ тѣми выдающимися нащечниками, которые устранили всякую возможность заглянуть въ женское лицо сбоку; платья на дамахъ довольно узкія, недлинные; башмачки безъ каблучковъ. Если бы были тогда каблучки, старательный авторъ картоновъ не преминулъ бы вырѣзать и ихъ: подобная мелочь была бы ему совсѣмъ по сердцу.

Но если дамы того времени являлись иными, чѣмъ наши, то неизмѣнно тѣми же, что и теперь, были гуси, медвѣди; ни одного горба не прибавилось у верблюда; такъ же точно, отгибая наружу верхіе лепестковъ своихъ, глядѣли: роза, фиалка; совершенно не измѣнились окорока и булки.

Но сколько труда, сколько времени! и зачѣмъ? какъ зачѣмъ? видимо, у кого-то было слишкомъ много свободного времени, кто-то несомнѣнно убивалъ его, кому-то нужно было убить его, и онъ это дѣлалъ терпѣливо, безропотно, старательно, съ какимъ-то упоеніемъ! чья-то жизнь уходила, утекала въ производство и наклейку безцѣльныхъ фигурокъ.

Можетъ-быть, это былъ какой-нибудь больной, пригво-



жденный къ кровати, которому судьба возбранила всякій другой образъ жизни, кромѣ лежачаго или сидячаго, и онъ занимался этимъ убиваніемъ времени? Но тогда зачѣмъ эта микроскопичность вырѣзокъ, слишкомъ затруднительная для работы больного человѣка?

Можетъ-быть, это коллективная работа многихъ дѣтей, подъ руководствомъ мамы или гувернантки? Но работа слишкомъ точна, слишкомъ закончена для дѣтей; тутъ работалъ, несомнѣнно, одинъ человѣкъ, одна рука, одно чувство.

Этотъ трудъ ни въ какомъ случаѣ не могъ удовлетво-  
рять человѣка нервнаго, беспокойнаго, удрученнаго какимъ-  
нибудь горемъ; трудъ этотъ отнюдь не могъ служить для  
успокоенія всколыхавшейся мысли; напротивъ того, подъ  
звуки ножницъ, подъ тишину наклейки, мысли должны были  
роиться безсчетно, безотчетно и не въ одномъ направленіи...

Но вѣдь была же какая-нибудь причина появленія на  
свѣтъ этихъ странныхъ, удивительныхъ картоновъ; самая  
сохранность, въ которой они дошли по наслѣдству, вѣроятно  
въ третьи руки, свидѣтельствовала о томъ, что ихъ счи-  
тали не ничѣмъ, что ихъ берегли, холили!

Когда Винкельману, для объясненія какой-нибудь зага-  
дочной античной фигуры, неожиданно являлся на помощь  
текстъ или обрывокъ текста, или даже двѣ, три буквы, онъ  
тотчасъ переходилъ отъ заключенія къ заключенію, и часто  
достигалъ результатовъ. Въ данномъ случаѣ, по тщатель-  
номъ осмотрѣ картоновъ, тоже являлся на помощь текстъ,  
а именно: въ углу одного изъ нихъ прописано было каран-  
дашомъ: «Гренадерской Flügel-роты второго батальона, Арак-  
чевскія казармы».

Этимъ все сказано. Вначалѣ, едва увидѣвъ и разглядѣвъ  
картоны, вамъ хотѣлось смѣяться, обвинять того человѣка,  
который производилъ это ненужное вырѣзываніе бумажныхъ

фигурокъ; но мрачныя черты Аракчеева, проступая предъ вами изъ тьмы прошедшаго, измѣняютъ сразу ваше отношеніе къ работнику: вамъ становится жаль его, и вы ему сочувствуете.

Существуютъ двѣ программы въ жизни, прекрасно выраженные знаменитымъ Кузьмою Прутковымъ въ двухъ однословныхъ афоризмахъ. Одна изъ программъ складывается въ формѣ повелительнаго наклоненія глагола:

«Бди!»

Другая предлагаетъ повелительное наклоненіе другого глагола:

«Козырай!»

Между этихъ двухъ, во имя ихъ, во всевозможныхъ степеняхъ дѣйствій, выражаемыхъ этими глаголами, совершаются бытія людскія.

Таинственный исполнитель картоновъ, котораго вамъ жаль, вѣроятно, поставленъ былъ въ необходимость придержи-ваться только перваго афоризма и, можетъ-быть, достигъ своей цѣли. Отвращиваясь отъ того, что видѣлось въ Аракчеевской казармѣ, усиливаясь не слышать того, что въ ней слышалось, закрѣпощенный сотнями ордеровъ и приказовъ, невольный свидѣтель истязаній, или исполнитель, или, можетъ-быть, самъ на себѣ испытавшій ихъ—неизвѣстный человѣкъ создалъ себѣ работу... Стукнули ножницы, улетѣло мгновенье... Какое счастье! Но въ этомъ ли цѣль жизни, и не очень ли ужъ это скучно? Козырать — веселѣе! Авторъ картоновъ аракчеевскаго времени несомнѣнно не козырялъ.



## БАБУШКИНЫ ПУЗЫРИ.

---

Когда-то похоронили стараго прадѣдушку, но такъ давно, такъ давно, что ничего похороннаго, грустнаго въ этомъ воспоминаніи нѣтъ болыпе. У него были, между прочимъ, двѣ дочери, и послѣдняя изъ нихъ недавно тоже умерла, семидесятилѣтнею, окруженною внуками, старушкою. Она умерла, совершивъ самымъ мирнымъ образомъ свое земное странствіе, и въ ея похоронахъ тоже не было ничего грустнаго, потому что и тутъ исполнился законъ природы своевременно, безъ всякаго скачка, такъ, какъ тому подобаеть.

Прадѣдушка захватилъ вѣка Екатерины; его дочери принадлежали главнымъ образомъ времена Александра Благословеннаго, Николая I и Александра II. Обѣ старушки, когда онѣ еще жили, упивались чтеніемъ «Русской Старины» и «Русскаго Архива». Онѣ ничего другого не читали.

Безбѣдное и мирное житіе ихъ было однажды нарушено самымъ неожиданнымъ образомъ; объ этомъ случаѣ необходимо рассказать, потому что, собственно говоря, это и со всякимъ, но иначе и по другимъ причинамъ, случиться можетъ.

Сидѣла, однажды, младшая старушка въ глубокихъ крес-

лахъ и, одѣвъ круглые очки, занималась чтеніемъ «Русскаго Архива». Зимній день склонился къ вечеру, день такой же, какъ и тысячи другихъ, пережитыхъ ею. Ничего особеннаго не случилось, и старушка, давно уже считавшая себя не отъ міра сего, готовилась, по прочтеніи извѣстнаго количества страницъ, отойти ко сну. Нынѣшняя жизнь, со всѣми ея телеграфами, телефонами и электрическими освѣщеніями, вовсе не касалась ея. Старушка вся жила въ быломъ.

Читала старушка на этотъ разъ описаніе какого-то бала, даннаго петербургскимъ дворянскимъ собраніемъ тридцатыхъ годовъ, и натолкнулась на слѣдующее мѣсто въ чемъ-то дневникѣ, писанномъ очевидно по свѣжимъ слѣдамъ:

«Были на балу и обѣ сестры Л\*, коихъ нужно считать какъ бы за одно лицо, такъ похожи; самыя чистыя, правдивыя, смѣшныя и непорочныя провинціалки; одно только, что младшая такими пузырями рукава своего голубого платья снабдила, что въ каждый изъ нихъ можно бы посадить было по одному небольшому человѣчку; это замѣтили, смѣялись; и платье, точно, было вовсе не бальное».

Вотъ и все.

Одною изъ сестеръ, означенныхъ буквою Л\*, а именно младшею, была читавшая.

Старушка, какъ бы ошеломленная неожиданною встрѣчею съ собою, не закрыла, а захлопнула книжку. Легкая дрожь пробѣжала по тѣлу читавшей.

— Какъ!—думала она:—обо мнѣ печатать! Да, да! такъ, значить, я еще не совсѣмъ умерла, не совсѣмъ! Охъ, эти провинціальныя пузыри!...

И снова дрожь по тѣлу, ознобъ.

Господи! какъ ярко вспомнилось ей это голубое платье и его несчастные пузыри! Они точно будто зашуршали подлѣ нея; на плечахъ и рукахъ почувствовался ей этотъ

массивный, упрямый шелкъ, какого теперь больше не выдѣлываютъ; вспомнилось, какъ и гдѣ она его выбирала и какой передъ ней тогда магазинщикъ стоялъ... она пришла туда случайно, онъ купить заставилъ...

А самый этотъ балъ! Да, да! какъ онъ ей живо вспомнился.

Прежде всего выглянули изъ тѣмы былого длинные ряды горѣвшихъ жирандольей, украшенныхъ хрусталими; такія теперь только еще въ деревенскихъ церквахъ встрѣчаются. Свѣчи горятъ такъ свѣтло, отъ нарядовъ въ глазахъ пестрѣть; высокія дамскія прически, темнѣя надъ бѣлыми плечами, движутся какъ бы самостоятельно, какъ бы по вѣтру, по этому зыбкому морю блеска и упоенія.

Контрдансъ въ полномъ ходу; смычки работаютъ усердно... Пузыри раздуваются...

Вдругъ по толпѣ проносится извѣстіе, что государь пріѣхалъ.

— Государь, государь! — слышитъ старушка, совсѣмъ, совсѣмъ ясно слышитъ.

И дѣйствительно, Николай Павловичъ, подъ руку съ императрицею, оба въ полной молодости и красотѣ, окруженные блестящею свитою, шествуютъ по залѣ; всѣ почти-точно разступаются. Государь, не желая мѣшать танцующимъ контрдансъ, сворачиваетъ въ сторону и останавливается. Ей кажется, что государь на нее смотритъ! На пузыри!?

Всѣ шедшіе за ними тоже останавливаются и тоже смотрятъ... тоже на пузыри?!

Смычки работаютъ еще быстрѣе, еще прилежнѣе; темныя высокія прически скачутъ по морю блеска гораздо порхливѣе, живѣе, чѣмъ прежде. Глаза всѣхъ обращены въ одну сторону, къ государю.

Какіе, однако, подлѣ государя молодцы: Орловъ, Чернышевы!..

Стоять они всѣ, будто живые, молодые, ярко освѣщенные тысячами свѣчей, въ блестящихъ регаліяхъ, службѣ и отличіямъ присвоенныхъ.

А императрица! Что за молодость, что за безподобная красота! Улыбка ея точно дробится въ крупныхъ и безцѣнныхъ брилліантахъ, одѣтыхъ на ней самой и на другихъ. Все смѣется, все искрится, все весело и счастливо бесконечно.

Не отвела бы старушка глазъ отъ этого удивительнаго государя и его свиты, не отвела бы, если бы не...

Какъ, однако, сказать это, какъ признаться! Дѣвичій стыдъ находить себѣ забытый путь сквозь глубокія морщины надвинувшихся годовъ.

Онъ, онъ тутъ, онъ, ея будущій женихъ! Статный такой, тоже въ орденахъ, тоже военный. Да, да, она дѣйствительно его видитъ, видитъ... Это не то, что видѣніе, и онъ тоже смотреть! Его глаза — какъ не узнать! Она и онъ уже говорили между собою объ этомъ... т.-е. о свадьбѣ... только отецъ противъ. Почему онъ противъ—неизвѣстно, но только это такъ; что же дѣлать, на что рѣшиться? А пока что, прежде всего—танцевать; танцевать безумно, радостно, до упаду! Танцевать можно вволю, и они танцуютъ, и они разговариваютъ, смотрятся; но чтобы онъ ей руку смѣлъ пожать, или что-нибудь такое—никогда! Это было бы обидно, стыдно, невозможно...

Годы юныхъ возрѣній, годы смутныхъ обѣщаній жизни, гдѣ они? Гдѣ этотъ балъ? Гдѣ эти дворяне? Гдѣ этотъ государь?

Что-то неладное происходитъ подлѣ старушки, что-то невѣроятное...

Угасъ императоръ, угасла императрица и вся ихъ бле-

стящая свита! Нѣтъ больше и ея будущаго мужа. Мужъ на Смоленскомъ, подъ колонною, украшенною черною урною и бѣлымъ мраморнымъ, опадающимъ складками саваномъ.

Но какъ это такъ случилось, что на балъ вдругъ черная урна со Смоленскаго кладбища пришла? и почему это вдругъ свѣчи снова запылали и тотчасъ опять потускнѣли, точно сквозь туманъ какой смотришь? и почему это смычки начинаютъ двигаться такъ вяло, нехотя; самъ дирижеръ оркестра, и тотъ точно скорчился, осунулся, онъ не можетъ больше стоять на ногахъ, онъ непремѣнно сядетъ. Нѣтъ, это не у дирижера, а у нея самой ноги подкашиваются...

Вотъ и совсѣмъ темно стало, совсѣмъ... и синяго шелка нѣтъ, и пузыри на рукавахъ платья опали, смялись... и книга ускакала куда-то... и кругомъ смѣются, охъ! какъ смѣются, какъ зло смѣются, даже сегодня смѣются, полвѣка спустя...

Бабушка Л\* покоилась въ своихъ креслахъ въ глубокомъ обморокѣ; подлѣ нея суетились испуганная сестра, внуки и многочисленная прислуга.



## ДВА СИДОРОВЫХЪ.

---

Подходить двѣнадцатый часъ ночи. Въ вокзалѣ желѣзной дороги маленькаго уѣзднаго городка ожидаютъ прибытія двухъ поѣздовъ, одного съ сѣвера, другого съ юга. За длиннымъ столомъ буфета сидятъ два господина. Одинъ въ фуражкѣ съ краснымъ околышкомъ, другой безъ фуражки и безъ волосъ; оба не старые. Фамиліи этихъ господъ — Сидоровы, хотя родства между ними никакого нѣтъ; они уже нѣсколько разъ говаривали объ этомъ. Передъ ними двѣ бутылки пива и пепельница, переполненная пепломъ и окурками сигаръ и папиросъ.

— Ты, значить, — говоритъ господинъ безъ волосъ: — положительно ѣдешь на Памиръ?

— Ёду.

— И мѣсто получишь?

— И мѣсто получу.

— И общали?

— Общали.

— Ну, а скажи ты мнѣ, конфиденціально скажи, зачѣмъ ты ѣдешь на Памиръ? Цѣль какая у тебя?

— Счастья попытать.

— Да вѣдь тамъ, братецъ ты мой, дичь и глушь, и по дорогѣ подстрѣлить могутъ.



— А я все-таки поѣду. Эхъ, братъ, да вѣдь это-то и хорошо, что дичь да глушь и подстрѣлить могутъ; тамъ, значить, и дѣла много, и нашему брату попытаться можно.

Кого подразумѣвалъ красный околышекъ подъ именемъ «нашего брата» и что это было за «попытаться», опредѣлить было трудно. Красный околышекъ, однако, опредѣлилъ и то и другое.

— Тутъ, вотъ, сидишь-сиднемъ и изъ общаго-то уровня ни на ни; чуть сунулся, такъ тебя и по носу. Хотя ты себѣ способнѣйшій человѣкъ—способностямъ движенія не дадутъ. Ну, а тамъ другое дѣло. Тамъ этакій аулъ (околышекъ такъ и сказалъ аулъ) бунтующихъ иновѣрцевъ сожгешь, или съ китайцами въ новыя торговыя условія, выгодныя для государства, вступишь, или какую-нибудь дорогу проложишь по какимъ-нибудь новымъ мѣстамъ, или на войну попадешь, или мостъ черезъ рѣку въ одну ночь для казенныхъ и торговыхъ надобностей построчишь — ну, тебя и отличать, и денегъ дадутъ. А тутъ что?

— Ты это хотя и не врешь,—замѣтилъ онъ:—но и не совсѣмъ правъ.

— Да въ чемъ же не правъ-то? Неужели тебѣ тутъ плѣснить нравится? На мѣстѣ, братецъ, корни пустишь, въ крапиву обратишься, и никакая живая душа въ тебѣ ничего другого, кромѣ крапивы, не признаетъ.

— Оно вѣрно, вѣрно,—подтвердила лысина околышку,—но на Памиръ-то зачѣмъ? Вѣдь, ей-Богу, ты и въ театръ пойти захочешь, и по желѣзной дорогѣ прокатиться, а вѣдь тамъ еще, пишутъ люди, только четвертый день творенія начался. Нѣтъ, я тебѣ скажу, что я иначе думаю, совсѣмъ иначе...

При этомъ лысина наклонилась къ околышку и оглядѣлась по сторонамъ...

— Въ Петербургъ, братецъ ты мой, поѣзжай,—сказала

лысина вполголоса:—вотъ гдѣ лафа, такъ лафа. А то, что Памиръ. И я поѣду въ Петербургъ, вотъ убей меня громъ, а поѣду. Хочешь, сейчасъ поѣду?

— Ну, ну, ужъ и сейчасъ.

— Ей-Богу, поѣду. Вотъ какъ есть, въ этомъ скюртукѣ и въ этихъ брюкахъ, и помяни ты меня лихомъ, если я тамъ черезъ мѣсяцъ дѣлъ своихъ не устрою.

— Да, вѣдь, у тебя гроша денегъ нѣтъ.

— Себя заложу, жену заложу и деньги будутъ.

— Да вѣдь, тамъ, въ Петербургѣ-то, и безъ насъ съ тобой наѣздниковъ много.

— Много?!—возразила лысина.—Нѣтъ, это только издали такъ кажется. Я вѣдь знаю, что въ Петербургѣ за люди, все болѣе поверхностные, а настоящихъ дѣльцовъ въ Петербургѣ нѣтъ. Дѣльцы у насъ, здѣсь въ глуши, въ провинціи, вырабатываются. Это только такъ принято говорить, что столицы провинціямъ людей даютъ. Мы людей создаемъ и столицамъ посылаемъ, вотъ что.

При этихъ словахъ лысина наклонилась къ околышку еще болѣе и продолжала:

— Вѣрь ты мнѣ, другъ любезный, что только здѣсь, у насъ, гдѣ, такъ сказать, всѣ великія пружины общественной жизни въ своемъ первообразѣ возникаютъ и рядышкомъ толкаются, гдѣ земскіе люди, землевладѣльцы и судебныя власти, желѣзнодорожные дѣятели и лица по администраціи въ одномъ трактирѣ собираются, только тутъ и вырабатывается дѣльный человѣкъ. А въ Петербургѣ, подика ты: попробуй придвинуть министерство юстиціи, что на Итальянской, къ военному министерству, что на Исаакиевской площади, ни во вѣки вѣковъ не придвинешь!

Лысинѣ казалось, что она двигаетъ министерства, но что она еще не довольно близка къ околышку; она придвинула свой стулъ вплотную къ стулу околышка, чуть не влѣзла

на ухо сосѣда и, поминутно озираясь, продолжала уже съ увлеченіемъ:

— Не на Памиръ, а въ Петербургъ, говорю я тебѣ, надобно ѣхать. Здѣсь, въ провинціи, въ этомъ я съ тобою совершенно согласенъ, дѣльному человѣку подготовленіе возможно, но тамъ, тамъ... тамъ — дѣло начинается. Въ Петербургѣ все подъ рукою, все рѣшительно. Задумать, выискать, протрубить, развить, создать, ошибиться и поправиться, еще разъ ошибиться и еще разъ поправиться и довести дѣло до конца, до торжественнаго обѣда, рѣчей и другихъ овацій,—тамъ все это можно. А тутъ что? Задумать надо въ одномъ мѣстѣ, искать въ другомъ, трубить въ третьемъ... Нѣтъ, брать! Одинъ только Петербургъ и есть, и я туда поѣду. Видитъ Богъ, поѣду!

Околышекъ слушалъ лысину, какъ она за Петербургъ ратовала—и насутился.

— Все это правда,—сказалъ, наконецъ, околышекъ:—да свѣжести-то тамъ нѣтъ, первобытности, непосредственности нѣтъ. Въ Памирѣ, по крайней мѣрѣ, аулъ сожгешь или китайца убьешь, это все-таки свѣжесть, подвигъ, какой ни на есть, а все подвигъ. А въ Петербургѣ кого убьешь?

На послѣднее, странное и оригинальное замѣчаніе околышекъ не получилъ ожидаемаго отвѣта, по той простой причинѣ, что сотоварищъ его, преслѣдуя свою собственную мысль, предался мечтѣ о Петербургѣ. Физиономія его приняла умильнѣйшее выраженіе, сложилась какимъ-то акаеистомъ, полнымъ сладости самой сладчайшей, и онъ продолжалъ какъ бы въ ясновидѣніи...

— А потомъ, въ Петербургѣ, эти Аркадіи и Акваріумы, эти женщины, жаждущія любви. Нѣтъ, ты подумай только, что это за женщины! И сколько ихъ, и сравни съ тѣмъ, что у насъ подъ рукою! Жена уѣзднаго начальника — это одно; жена священника—это другое; потомъ эта съ карто-

фельнымъ носомъ, вдова; потомъ двѣ дочери станціоннаго смотрителя... Ёдемъ, братецъ, вмѣстѣ.

— Нѣтъ, я въ Памиръ.

— Рѣшительно?

— Рѣшительно. Но здѣсь не остаюсь. Собственно мнѣ все равно куда, но только бы не оставаться дома, прочь изъ этой среды, прочь... заѣли.

— Да и мнѣ тоже—главное—уѣхать. А ужъ если ѣхать, такъ въ Петербургъ лучше, чѣмъ куда-нибудь.

— Такъ ѣдемъ?

— Ёдемъ.

Оба ѣдущіе господина, оба Сидоровы, продолжали сидѣть на мѣстѣ. Великое наслажденіе доставилъ обоимъ обмѣнъ ихъ мыслей. Хотя, надо сказать правду, ни тотъ, ни другой рѣшительно никуда не собирались ѣхать, да и не могли бы ѣхать, потому что денегъ у нихъ не было, но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы они дѣйствительно не поѣхали, если бы представилась къ тому какая-либо возможность. Напротивъ того, они бы исполнили это, непременно исполнили. Хотя оба родились и выросли въ томъ городѣ, въ которомъ бесѣдовали; хотя всѣ ихъ нравственные узы, которыхъ, по правдѣ, было вообще немного, прикрѣпляли ихъ къ нему; хотя весь ихъ бытъ, все знакомство, все будущее, вся невеликая суть этихъ людей сосредоточилась здѣсь и нигдѣ больше и быть не могла, — а они все-таки готовы были ѣхать, одинъ въ Памиръ, а другой въ Петербургъ. Они готовы были сдѣлать это и сдѣлали бы непременно, да еще и вообразили бы, что несутъ свои жертвы, одинъ свою старуху-мать, другой—жену съ ребенкомъ, на алтарь отечества. И многими такими жертвами загроможденъ у насъ алтарь отечества, и такую кунсткамеру представляетъ онъ собою, какой, на всемъ широкомъ бѣломъ

свѣтъ, другого экземпляра не встрѣчается, до сихъ поръ, по крайней мѣрѣ, не отыскано.

Какъ сказано, оба героя поѣхали, одинъ въ Петербургъ, другой на Памиръ, не трогаясь съ своихъ стульевъ. Тѣмъ временемъ, опоздавъ ровно на шесть часовъ, постукивая и побрякивая, подошелъ одинъ изъ ожидаемыхъ поѣздовъ. Черезъ пять минутъ подошелъ и другой:

Есть что-то въ высшей степени характерное въ останковѣ желѣзнодорожнаго поѣзда на третьеклассной провинціальной станціи. Яркій и ослѣпительный свѣтъ передовыхъ фонарей на груди локомотива; стройный, черный, мѣстами блестящій мѣдью, кажется онъ еще шире и выше, чѣмъ есть, въ сосѣдствѣ съ какимъ-нибудь кривымъ домикомъ, доживающимъ свои послѣдніе дни; мерцаніе красныхъ и зеленыхъ фонариковъ по глубокой и непроглядной ночи; толкотня и пестрота пассажировъ всѣхъ возрастовъ и состояній; шмыганье кондукторовъ, пріемъ и сдача багажа, приходъ почты, встрѣчи и проводы, предъявленіе билетовъ и торги съ извозчиками,—все это представляется картиною крайне оживленною и далеко не чуждою своеобразной красоты. Особенно рѣзко выдается эта картина для тѣхъ, кто ждетъ прихода поѣзда и самъ не ѣдетъ. До появленія поѣзда—тишина и мракъ, провинція и захолустье, послѣ отхода его — то же самое, а въ промежутокъ времени какой-то взрывъ жизни и далекой, гдѣ-то за горами и морями существующей, цивилизаціи съ ея огнемъ, свистомъ, паромъ, шумомъ и подвижностью.

Къ приходу поѣздовъ вышли на платформу оба Сидоровыхъ.

— Ба, ба, ба! Терентій Петровичъ! вы откуда и какъ сюда попали?—воскликнулъ Сидоровъ, отличавшійся лысиною, обращаясь къ человѣку лѣтъ тридцати, весьма изящно одѣтому, съ одноглазкой въ глазу и биноклемъ, висѣвшимъ на ремнѣ черезъ плечо.

— Господинъ Сидоровъ, если не ошибаюсь?—отвѣтила одноглазка.—Очень пріятно.

Послѣдовало рукопожатье.

— Мы здѣсь, кажется, полчаса стоимъ. Что, у васъ буфетъ порядочный?

— По-провинціальному. Сосиски у него сегодня свѣжія. Хотите закусить?

— Да, думаю.

Господинъ въ одноглазкѣ, произносившій всѣ слова на-  
растяжку, какъ бы сквозь сонъ, и немного прихрамывав-  
шій на одну ногу, направился къ буфету, сообщивъ по  
дорогѣ, что онъ очень любитъ сосиски, что лучшія сосиски  
въ Петербургѣ дѣлаетъ бывший Люддекенсъ, а въ Герма-  
ніи, за границей, нигдѣ не ѣлъ онъ такихъ сосисекъ, какъ  
въ Эйзенахѣ. Ихъ подаютъ теплыя и онѣ дешевы и жирны.

Всѣ трое уѣлились за столъ. Сидоровъ представилъ Те-  
рентію Петровичу своего однофамильца. Терентій Петро-  
вича встрѣтилъ онъ лѣтъ пять назадъ у одного изъ по-  
мѣщиковъ сосѣдней губерніи и провелъ съ нимъ два дня.  
Вотъ все ихъ знакомство.

— Откуда вы теперь и куда?

— Изъ Петербурга и въ провинцію. А вы все попреж-  
нему, здѣсь?

— Здѣсь-съ; да, вотъ, думаю уѣхать. Мы оба думали  
уѣхать. Я хочу въ Петербургъ.

Подали сосиски и бутылку вина. Сидоровы спросили себѣ  
опять-таки пива.

— Въ Петербургъ хотите ѣхать?

— Да.

— Странно.

— Отчего же-съ?

— Отчего? Впрочемъ,—возразилъ Терентій Петровичъ:—  
вы къ какимъ людямъ относитесь? Кто вы такой?

— Къ какимъ людямъ? Кто я?

Сидоровъ съ лысиной былъ, видимо, озадаченъ. Провинціальная робость сказалась въ немъ мгновенно передъ заѣзжимъ представителемъ столицы, который, такъ сказать, еще вчера дышалъ тамошнимъ воздухомъ. Ужъ не принято ли теперь у нихъ, подумалъ онъ, прямо съ этого начинать разговоръ съ людьми? Можетъ и въ самомъ дѣлѣ это такъ. Удивиться—значить осрамиться, и онъ поторопился отвѣтить быстро и четко:

— Кто я? Я—дворянинъ.

— Вы дворянинъ?..—вытянулъ протяжно и съ яснымъ оттѣнкомъ ироніи Терентій Петровичъ, поправляя одною рукою одноглазку, а другою откупоривая бутылку.

— Но я не въ такомъ смыслѣ васъ спросилъ, а въ томъ, что: человекъ ли вы дѣла, или такъ, больше для жизни существуете?

— Гмъ!—отвѣтилъ Сидоровъ:—да вѣдь, я думаю, что изъ самаго желанія моего ѣхать въ Петербургъ вы видите, что я желаю дѣла, потому что тутъ чтó? тутъ ничего, одно только земство... шушера.

— Такъ вы та-а-а-къ на это смотрите? Ну, извините, а я съ вами совсѣмъ не согласенъ, — возразилъ Терентій Петровичъ.—Я именно для дѣла-то и уѣхалъ изъ Петербурга.

Сидоровъ съ лысиной былъ окончательно озадаченъ; зато Сидоровъ съ околышкомъ какъ бы почувствовалъ, что онъ оперяется, хотя и счелъ долгомъ не вмѣшиваться въ разговоръ, а довольствоваться побѣдою своею въ молчаніи; потомъ, дескать, наверстаю.

— Да-съ,—продолжалъ проѣзжій послѣ короткаго отдыха и проглотивъ послѣднюю сосиску:—да-съ, очень вы ошибаетесь насчетъ Петербурга. Всѣ вы тутъ, господа, думаете, что мы тамъ дѣла дѣлаемъ. А самое-то дѣло у

васъ подъ носомъ совершается. Вы тутъ, такъ сказать, въ дѣлѣ по уши сидите. Я не скажу, конечно, чтобы Петербургъ уже ровно ничего не дѣлалъ. О, нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ. Тамъ есть люди, и хорошіе люди, но мѣста-то всѣ, главные мѣста, насижены, и свѣжему человѣку, со стороны, на такое мѣсто не попасть. Конечно, гениальная голова всегда проторить себѣ дорогу. Можетъ-быть, вы дѣйствительно и имѣете всѣ данныя, но я, я,—снисходительно завершилъ свои слова Терентій Петровичъ:—я себя за генія не считаю и оставилъ Петербургъ.

— Но вѣдь спросъ на людей теперь большой-съ?

— Большой, только не тамъ, а у васъ здѣсь. Я ѣду въ провинцію, въ Черниговскую губернію. Тамъ, какъ мнѣ въ Петербургѣ говорили, менѣе всего есть людей, тамъ работники нужны. Ну, я и взялъ себѣ мѣсто, какъ только увидѣлъ, что есть такое въ Черниговѣ.

— Какъ же-съ это такъ?—возразилъ Сидоровъ.—Вы только-что сказали, что въ Петербургѣ жить не стѣитъ, а мѣсто-то въ Черниговѣ вы изъ Петербурга высмотрѣли!

— Ну, да, списки въ Петербургѣ есть; списковъ тамъ много, тамъ всѣ они есть. Петербургъ, это—статистическое бюро Россіи. Кстати, какъ идетъ у васъ статистика?

— Статистика?

— Да.

— Недурно идетъ.

— Кто у васъ секретаремъ комитета?

— Отличный господинъ-съ, Сивягинъ, спорщикъ только преобладающій, а то хорошій человѣкъ. А отчего это вы такъ прямо о статистикѣ спросили? Много, развѣ, на нее вниманія нынче обращаютъ, или вы сами по статистикѣ?

— Да, да, много, много! и самъ я немного при этомъ. Я, даже, съ этою цѣлью ѣду. Статистика это такое важное



дѣло, что нужно бы, чтобы вся Россія, сразу, огуломъ, на статистику бросилась.

— Мнѣ кажется, Терентій Петровичъ,—перебилъ его Сидоровъ:—вы прежде въ акцизѣ служили?

— Да, въ акцизѣ. Я тамъ нарочно служилъ, чтобы къ этому отдѣлу статистики приготовиться. Я тамъ, разъѣзжая, да свѣдѣнія собирая, вотъ и ногу себѣ сломалъ,—добавилъ Терентій Петровичъ, хлопнувъ по ногѣ.

— Нѣкоторымъ образомъ,—проговорилъ Сидоровъ:—ваша нога теперь на алтарѣ отечества лежитъ.

— Да, да, на алтарѣ... Однако,—добавилъ Терентій Петровичъ, взглянувъ на часы,—пора и на мѣсто. Эй, человѣкъ—получить!

Подошелъ человѣкъ. Разсчитавшись, Терентій Петровичъ вынулъ бумажникъ и записалъ, за что, гдѣ и сколько заплатилъ.

— Это вы тоже для статистики?—проговорилъ Сидоровъ Терентию Петровичу, окончательно начавшему терять въ его глазахъ тотъ престижъ, которымъ онъ сіялъ въ первую минуту встрѣчи. Сидоровъ даже улыбнулся.

— Отчасти. Я даже и не такія вещи записываю,—сказалъ Терентій Петровичъ, наклонившись къ Сидорову и шепнувъ ему что-то на ухо:—посмотрите вотъ этотъ отдѣлъ записной книжки...

Сидоровъ сталъ разглядывать указанный ему отдѣлъ. Что онъ тамъ прочелъ—неизвѣстно, но онъ тоже улыбнулся.

Въ это время раздался второй звонокъ; первый звонили въ минуту прихода поѣзда.

Наши собесѣдники поднялись со своихъ мѣстъ и направились на платформу.

— Я нахожу,—говорилъ Терентій Петровичъ, ковыляя тою ногою, которую онъ принесъ въ жертву на алтарь отечества:—я нахожу, что эти продолжительныя остановки по-

ѣздовъ на русскихъ желѣзныхъ дорогахъ весьма полезны не столько для осторожности, сколько для обмѣна мыслей населенія ѣдущаго, и населенія, крѣпкаго землѣ. Право, это хорошо. Я, вотъ, премного обязанъ вамъ, господинъ Сидоровъ, и вашему товарищу нѣсколькими пріятными минутами. Вы всѣ, кажется, служите одному дѣлу, а для этого взаимное знакомство необходимо.

Говоря это и позабывъ, что другой Сидоровъ, въ околышкѣ, ни слова ему не сказалъ, Терентій Петровичъ чуть не уперся въ стоявшаго неподвижно жандарма и почелъ своею обязанностью извиниться. Жандармъ далъ дорогу.

— Да-съ, и мы провели очень пріятно время. Вотъ ужъ правда, что гора съ горою не сходится, а человѣкъ съ человѣкомъ сойдутся. Счастливаго вамъ пути.

— И хорошаго сна,—добавилъ другой Сидоровъ, въ околышкѣ.

— О! сплю я отлично. Это моя добродѣтель.

Всѣ трое остановились передъ вагономъ перваго класса, и Терентій Петровичъ заглянулъ въ одно изъ открытыхъ оконъ.

— Здѣсь. Ну, прощайте, господа.

Послѣдовало опять рукопожатіе, и Терентій Петровичъ вошелъ въ вагонъ. Сидоровъ, почти невольно, заглянулъ въ окошко въ ту самую минуту, какъ тотъ успѣлъ подойти къ своему мѣсту. Въ углу виднѣлась какая-то смѣшанная, темная масса.

— *Al te voilà, va, gaillard*,—послышался женскій голосъ изъ темной массы, пришедшей при этомъ въ колыбанье.

Вслѣдъ затѣмъ послѣдовалъ какой-то отвѣтъ, котораго Сидоровы не разобрали, но оба переглянулись и поняли другъ друга.

— Dis donc, ami,—продолжалъ голосъ изъ массы, полухриплый, но во всякомъ случаѣ молодой,—comment tourne-t-il le r'frain de la „Chose“? v'là une demi heure que je me hache la mémoire et pas l'moyen, pas l'moyen d'y parvenir!?

Прозвенѣлъ третій звонокъ. Послѣднія дверцы поѣзда захлопнулись, раздался свистокъ, и колеса завертѣлись.

— Прощайте,—крикнулъ Терентій Петровичъ, высунувшись изъ окна,—прощайте, только смотрите, не ѣздите въ Петербургъ, не стоить.

— Не поѣдемъ, не поѣдемъ,—отвѣтили Сидоровы и замахали руками.

Плавнo и чуть-чуть побрякивая металлическимъ приборомъ своимъ, двинулся поѣздъ, ускоряя движеніе съ каждымъ поворотомъ колесъ. Крупныя и яркія искры летѣли изъ трубы локомотива и далеко не всѣ гасли на лету, но ложились у полотна и медленно дотлѣвали на землѣ. Вотъ миновалъ поѣздъ платформу и блеснулъ краснымъ фонаремъ. На станціи стали тушить огни, запирають двери, и, въ нѣсколько минутъ, тишина водворилась самая полная. Только съ телеграфныхъ столбовъ слышался легкій, непрерывный звонъ проволоки. То былъ голосъ цивилизаціи, неумолчно напоминавшій тишинѣ ночи о томъ, что тамъ, далеко, о провинціяхъ все-таки помнятъ и не забываютъ ихъ, и слѣдятъ за ними, и проволоки къ нимъ провoдятъ...

Оба Сидоровыхъ разошлись по домамъ во-свояси, никуда не поѣхали и еще много лѣтъ будутъ встрѣчать въ вокзалѣ прибытіе поѣздовъ.



## НОВЫЙ ДУЛЬКАМАРА.

---

Не можетъ быть, чтобы тутъ, у насъ въ Петербургѣ, появилась вдругъ на люднѣйшихъ улицахъ римская квадрига, въ золоченой коробкѣ которой, въ шлемѣ и панцырѣ, почтенный докторъ Дулькамара, распѣвая чудеснѣйшія пѣсенки, сталъ бы продавать любовный напитокъ! Но существуютъ, какъ прежде, любовь, шарлатаны, сумасшедшіе и блаженные.

Люди наблюдательные имѣютъ нѣкоторое основаніе утверждать, что самое лучшее положеніе изъ названныхъ трехъ: влюбленнаго, шарлатана и блаженнаго—послѣднее. Можетъ быть, они и правы, и въ такомъ случаѣ это не совсѣмъ безотрадно, потому что нѣтъ болѣе самостоятельности, какъ самостоятельность блаженнаго. И это еще вопросъ, кто болѣе правъ: тотъ ли, кто блаженствуетъ, или внѣшній міръ, обусловившій это блаженство и осмѣивающій его.

Представьте себѣ маленькую комнату, довольно уютно обставленную. Вечеръ. На столѣ горитъ лампа подъ абажуромъ. Хозяинъ, докторъ медицины, человекъ лѣтъ тридцати пяти, сидитъ за столомъ и задумался надъ фотографіями весьма извѣстныхъ каульбаховскихъ картинокъ продащицъ амуровъ. Корзинки, изображенныя художникомъ, полны граціозныхъ амурчиковъ съ крылышками; молодая покупательница торгуетъ ихъ у старой продащицы.

Пока хозяинъ разсматриваетъ фотографіи, въ комнату входитъ гость, близкій хозяину человекъ, здоровается съ нимъ и не можетъ не замѣтить страннаго противорѣчія между довольно легкимъ содержаніемъ фотографій и чрезвычайно серьезнымъ выраженіемъ лица доктора.

— Тише! не шуми!—говоритъ хозяинъ:—упорхнуть!

— Кто упорхнетъ?

— Научныя соображенія! Амуры упорхнуть!

— Какія научныя соображенія, какіе амуры?

— Это мое дѣло, когда-нибудь узнаешь... но я счастливъ, счастливъ до безконечности,—говоритъ докторъ, вставая изъ-за стола. Лицо его дѣйствительно сіяетъ; нѣкоторое небольшое облачко раздумья чуть-чуть скользитъ по его глазамъ, но въ этомъ облачкѣ нѣтъ рѣшительно ничего зловѣщаго.

— Чѣмъ служить тебѣ?—спрашиваетъ хозяинъ.—У тебя навѣрное ко мнѣ дѣло есть, кто боленъ? Садись и кури!

Садятся, курятъ.

— Меня моя дочь беспокоитъ, — начинаетъ говорить гость:—она сильно кашляетъ и на боль въ груди жалуется.

— Кто? Маня?

— Да, она.

— Ей сколько лѣтъ?

— Семнадцать. Я, видишь ли, совсѣмъ не мнителенъ, но меня все-таки немного беспокоитъ то, что ея гувернантка, кажется, чахоточная... Гувернантку надо бы, подѣл благоразумнымъ предлогомъ, изъ дому удалить!

При этихъ словахъ хозяинъ-докторъ быстро вскакиваетъ съ мѣста и проводитъ рукою по лбу.

Гость продолжаетъ:

— Я это потому говорю, что, кажется, у васъ въ медицинѣ какіе-то чахоточные грибки открыли и утверждаютъ, что они легко переходятъ... такъ ли?

— Такъ ли, спрашиваешь ты, такъ ли?—рѣзко прого-

ворилъ докторъ, схвативъ гостя за обѣ руки.—Да если бы кто смѣлъ усомниться въ этомъ, тотъ долженъ прежде всего науку отрицать, всю силу науки, понимаешь!

При этомъ онъ сильно встряхнулъ пріятеля, какъ бы въ подтвержденіе полноправности науки и ея силы, а затѣмъ, въ короткихъ словахъ, объяснилъ новѣйшее открытіе чахоточныхъ грибовъ и назвалъ нѣсколько именъ изслѣдователей.

— Я твою дочку осматрю, непременно осматрю,—пробавилъ онъ:—завтра же... Нѣтъ, сегодня, сейчасъ!..

— Сейчасъ нельзя, она у тетки.

— Жаль! а то съ этими вещами шутить не слѣдуетъ. Скажи, пожалуйста, гувернантка ея молода? Я ея не замѣтилъ.

— Молода.

— И красива?

— И красива.

— А не влюблена ли она?

— Кто? Маня?

— Нѣтъ, гувернантка.

Пріятель улынулся и какъ бы сконфузился.

— Ты,—робко отвѣтилъ онъ:—спрашиваешь меня о такой вещи, о которой я и понятія имѣть не могу. Можетъ-быть, и влюблена.

— Однако, не замѣтилъ ли ты чего-нибудь? Да что далеко ходить,—быстро проговорилъ докторъ:—ты—вдовецъ, красивъ! она въ тебя влюблена, можетъ-быть? Вѣдь любовь гувернантки—это старая исторія... а чахоточныя красавицы—лакомый кусокъ.

Гость, несмотря на то, что былъ человѣкомъ очень близкимъ къ доктору и что въ комнатѣ никого кромѣ ихъ налицо не имѣлось, видимо смутился.

— Ага! влюблена! влюблена!—повторилъ нѣсколько разъ докторъ, торжествуя свое открытіе и точно попавъ на слѣдъ чего-то удивительно важнаго.

Протянулась довольно длинная минута молчанія.

— Надо разлучить Маню и гувернантку!—проговорилъ, наконецъ, неожиданно докторъ.

— Такъ, значитъ, заразительно?—спросилъ гость не безъ смущенія.

— Чтò заразительно?

— Чахотка.

— Чахотка—да, несомнѣнно! но и любовь заразительна...

— Любовь!?

Докторъ подошелъ къ двери, защелкнулъ задвижку и, озираясь по сторонамъ, точно изъ боязни подслушанія, приблизился къ гостю и началъ говорить ему шопотомъ:

— Откровенность за откровенность: ты мнѣ невольно въ любви твоей къ гувернанткѣ признался, а я тебѣ невольно другую тайну сообщу, гораздо важнѣйшую, никому рѣшительно не повѣданную... поди сюда и посмотри.

Они подошли къ столу, и докторъ всунулъ гостю въ руку фотографію Каульбаха.

— Видишь?

— Вижу. Это каульбаховская продавщица амуровъ.

— Ну!

— Какъ? только ну и больше ничего? А скажи ты мнѣ, пожалуйста: ты анекдотъ о Колумбовомъ яйцѣ слыхалъ, какъ онъ его на носъ поставилъ?

— Слыхалъ.

— Такъ это то же самое. Ты стоишь лицомъ къ лицу передъ однимъ изъ величайшихъ открытій нынѣшняго столѣтія и не видишь его. Впрочемъ, это общая доля всѣхъ простыхъ людей и великихъ истинъ; египетскій сфинксъ тоже только тонкою завѣсою отъ народа отдѣлялся...

— Скажи, пожалуйста,—отвѣтилъ, улыбаясь, послѣ нѣкотораго молчанія гость, положивъ фотографію на столъ: — ты бы, мой милый докторъ, самъ доктору показался!

— Я, я! въ качествѣ психически больного, не правда ли?

— Пожалуй...

— Бѣдный, бѣдный... Впрочемъ, ты правъ, совершенно правъ... Но такъ какъ я началъ, то и кончу свое объясненіе, именно для того, чтобы ты меня за сумасшедшаго не принималъ... Если въ твоей гувернанткѣ, къ тебѣ или къ кому другому, это въ данномъ случаѣ все равно, есть любовь—она можетъ быть передана другому, расположенному къ любви сердцу, въ данномъ случаѣ твоей дочери, вѣроятно инфекціонномъ порядкомъ. Я говорю: вѣроятно инфекціоннымъ потому, что это, можетъ-быть, такъ, а можетъ-быть, иначе дѣлается.

При этомъ объясненіи глаза гостя раскрылись во всю ширину; онъ рѣшительно не зналъ, что и какъ отвѣчать доктору, потому что разговоръ видимо переходилъ въ невмѣняемость.

— Ты о бактеріяхъ слышалъ?—спросилъ докторъ.

— Слышалъ: это тѣ, что въ воздухѣ, въ водѣ и т. д.

— Ну, да, да, именно, въ воздухѣ, въ водѣ и т. д. Заразность—общая ихъ черта, передаваемость при расположеніи... Относительно любви и ея заразительности предстоятъ долгія, утомительныя изслѣдованія: я ихъ скоро начну. Бактеріи любви или грибки, или что-либо иное, но заразительность ихъ несомнѣнна... Ты гувернантку съ дочерью разлучи! Потому, видишь ли, тутъ несомнѣнно бактеріи, а гувернантка любить тебя.

Это рѣзкое заключеніе, это обращеніе къ живымъ людямъ, къ дочери и гувернанткѣ, отъ отвлеченностей науки помогло гостю войти въ нормальную колею мышленія, изъ которой хозяину удалось на нѣсколько мгновеній такъ неожиданно выбить его. Откровенность насчетъ гувернантки выходила чрезвычайно забавна; прямого отвѣта насчетъ



заразительности чахотки не получено, но сомнѣніе въ здравомысліи доктора явилось полное.

Разговоръ продолжался еще нѣсколько времени о томъ же. Несомнѣнно было, что докторъ не лишенъ ни памяти, ни соображенія. Онъ толковалъ о существованіи нѣкоторыхъ историческихъ фактовъ, свидѣтельствующихъ о заразительности аффектовъ, вспомнилъ о маніи дѣвушекъ древняго Мплета, кончавшихъ жизнь повѣшеніемъ, о самоубицующихся среднихъ вѣковъ, о пляскѣ св. Витта, о спиритизмѣ...

— И какъ это, въ самомъ дѣлѣ,—заклучилъ онъ:—никто до сихъ поръ на счастливую мысль о существованіи бактерій любви не набрелъ? Удивительно! а вѣдь какъ это просто, какъ это—совсѣмъ на ладони!

При прощаніи докторъ общалъ пріятелю заѣхать къ нему завтра утромъ и поговорить насчетъ дочери.

— Радъ Бога, никому ни слова о слышанномъ, — сказалъ докторъ.

— О! конечно, никому, — отвѣтилъ пріятель: — никому рѣшительно!

Уходя, онъ не могъ не замѣтить, что лицо доктора сіяло чрезвычайнымъ довольствомъ...

— Счастливы блаженные! Новый Дулькамара, — думалось уходившему гостю:—а о гувернанткѣ надобно все-таки подумать. Это чортъ знаетъ, чтò такое! Хотя докторъ, конечно, безумный и его любовная бактерія—вздоръ, но я-то зачѣмъ о гувернанткѣ сболтнулъ? Тутъ сказала одна изъ множества случайныхъ ловушекъ жизни: докторъ бредитъ, а я, вслѣдствіе этого бреда, совсѣмъ опростоволосился фактически и очень вѣсело и, пожалуй, выдалъ себя насчетъ гувернантки. Какъ же теперь сдѣлать, чтобы и гувернанткѣ, и мнѣ нужную намъ обоимъ свободу приобрести? Этому, можетъ-быть, помогутъ бактеріи, и я очень радъ.



## ИЩУТЬ КЛОУНОВЪ.

---

Акимъ Акимычъ, человѣкъ лѣтъ сорока отъ роду, дальнѣй свойственникъ Акакія Акакіевича, прочелъ въ газетѣ объявленіе:

«Ищутъ клоуновъ» и т. д., и т. д.

Эти «и т. д.» его вовсе не интересовали, потому что вся суть была въ первыхъ двухъ словахъ. По нервамъ Акіма Акимыча даже пробѣжала радостная дрожь. Вотъ уже полтора года, какъ онъ въ отставкѣ, оставленъ за штатомъ. Попалъ онъ за штатъ въ то время, когда вѣяло различными сокращеніями; потомъ наступили другія вѣянія, но онъ, свѣянный тѣмъ, предшествовавшимъ вѣяніемъ, остался, по поговоркѣ, какъ ракъ на мели.

Согласно существующему закону, получалъ онъ въ теченіе года, по оставленіи его за штатомъ, содержаніе и приискивалъ мѣсто. Мѣста онъ не нашелъ, годовой срокъ полученія содержанія миновалъ, и вотъ уже прошло полгода съ тѣхъ поръ, какъ Акимъ Акимычъ, свойственникъ Акакія Акакіевича, находился ни при чемъ, въ полномъ смыслѣ этого слова.

Жена, дѣти, ѣсть надо, и прочее тоже надо. Продали одно, продали другое, третье. Вещей для продажи остается

все меньше и меньше, и вдруг объявление «Ищутъ клоуновъ!..»

Надо сказать, что Акимъ Акимычъ отличался съ дѣтства гимнастическими и акробатскими способностями. Тѣло его было какъ бы создано для этого и обладало необычайною гибкостью суставовъ и фizioномія его была комичная. Въ департаментѣ, изъ котораго онъ былъ уволенъ, помѣщался онъ, вмѣстѣ съ другими сослуживцами, въ самой дальней, непроходной комнатѣ. Тамъ, бывало, въ свободныя минуты, а этихъ минутъ оказывалось довольно много, производилъ онъ передъ товарищами разные фокусы.

— А ну-ка, Акимъ Акимычъ, — говорилъ ему столоначальникъ, совсѣмъ юный, изъ лицейстовъ:—потѣшите, покажите штучку!

Столоначальникъ былъ въ названной комнатѣ начальствующимъ лицомъ, а комната, какъ сказано, была непроходная. И Акимъ Акимычъ выкидывалъ что-нибудь особенное. То онъ согнется скобою и просунетъ голову между ногъ, касаясь бородкою паркетнаго пола, и кланяется оттуда, и смѣется; то возьметъ входящій и исходящій журналы и еще какой-нибудь третій предметъ и начнетъ поочередно подбрасывать ихъ такъ, что одинъ изъ трехъ вертится въ воздухѣ, а два другихъ ждутъ очереди въ рукахъ; то загнетъ онъ пятку которой-нибудь ноги къ затылку. Всѣ эти штучки вызывали хохотъ и веселье.

— Молодецъ, Акимычъ!

— А ну-ка, еще что-нибудь!

Столоначальникъ смѣялся болѣе другихъ, и однажды позвалъ даже Акима Акимыча къ себѣ домой и давалъ цѣлое представленіе бывшимъ лицеистамъ и ихъ дамамъ. Но за штатомъ онъ все-таки остался. И вдругъ объявление: «Ищутъ клоуновъ...»

Одѣться, прибратъся и выйти изъ дому было дѣломъ

одной минуты. Быстротѣ одѣванья много способствовали гуттаперчевыя наклонности Акима Акимыча. Жилъ онъ на Выборгской; до цирка у Симеоновскаго моста недалеко, и вотъ, ровно въ часъ пополудни, явился онъ къ цѣли своего странствованія. Въ циркѣ въ это время шла репетиція какой-то новой чудесной пантомимы, долженствовавшей дать большіе сборы и о которой поговаривали даже въ газетахъ. Весь персоналъ цирка находился на-лицо.

Прежде всего наткнулся Акимъ Акимычъ на кассу и кассира.

— Позвольте васъ спросить,—заговорилъ онъ:—отъ васъ было въ газетахъ объявленіе.

Кассиръ, изъ нѣмцевъ, отвѣтилъ, что онъ ничего объ этомъ не знаетъ, какое такое объявленіе? Подошелъ какой-то наѣздникъ въ желтой полосатой курткѣ, подошла барышня съ хлыстомъ въ рукѣ, тоже нѣмцы.

— Што вамъ?—спросилъ наѣздникъ.

— Отъ васъ объявленіе было, что вамъ въ циркѣ клоуны нужны.

— Ото насъ?—спросилъ удивленно и громко небольшой господинчикъ, очутившійся подлѣ, какъ оказалось, клоунъ цирка, одинъ изъ почетнѣйшихъ.

— Да-съ, отъ васъ.

— Ни можно битъ! Unmöglich!—почти вскрикнулъ клоунъ.— Што такой? — спросилъ онъ подошедшаго къ кассѣ господинъ въ черномъ сюртукѣ, съ цилиндромъ на головѣ.

Рѣчь пошла на нѣмецкомъ языкѣ, въ которомъ Акимъ Акимычъ ничего не смыслилъ; но онъ тотчасъ же сообразилъ, что тутъ поднялась какая-то перебранка. Господинъ въ черномъ сюртукѣ и цилиндрѣ какъ будто оправдывался, а на него со всѣхъ сторонъ налегали, подходили чуть не вплотную. Жестикующія заняла мѣсто болѣе видное, чѣмъ слова, число участниковъ преній росло ежеминутно, такъ

какъ на шумъ и гвалтъ стали приходять съ репетиціи, и прекратилось хлопанье бича, до того звучно раздававшееся въ циркѣ.

Акимъ Акимычу, сбитуму съ толку, показалось даже, что въ растворенныя ворота арены просуналась лошадиная голова...

— Позвольте, однако, посмотрѣть ваше объявленіе?— спросилъ его, наконецъ, господинъ въ черномъ сюртукѣ.

Акимъ Акимычъ пошарилъ въ карманахъ и вынулъ согнутый много разъ листъ газеты.

— Вотъ оно-съ!—проговорилъ онъ, развернувъ листъ и указывая пальцемъ на объявленіе.

Точно мухи на кашлю сиропа, устремились всѣ присутствовавшіе къ этому извѣстію печати. Прочестъ было недолго. Объявленіе гласило слѣдующее:

«Ищутъ клоуновъ».

«Общество обработки зудоутоляющихъ булавокъ, озабочиваясь возвышеніемъ дивидендовъ, ищетъ людей, способныхъ на различныя цифровыя эволюціи. Адресъ общества»...

Адресъ былъ дѣйствительный, а не фиктивный. Его можно бы воспроизвести полностью, и тогда человѣкъ, который отправится по этому адресу, неминуемо натолкнется на одно изъ компанейскихъ предпріятій, отчасти извѣстныхъ у насъ и отпраздновавшихъ свой десятилѣтній юбилей.

Понятно, что объявленіе было пущено какимъ-нибудь шутникомъ, которыхъ у насъ много. Въ компанейскомъ обществѣ вызвало оно нѣкоторую бурю, повело даже къ размолвкамъ между властью имущими въ немъ. Въ циркѣ возникла довольно бурная сцена. Въ душу Акима Акимыча закинуло оно лучезарный проблескъ надежды, и вслѣдъ затѣмъ глубокое удрученіе.

Удрученіе это было тѣмъ сильнѣе, тѣмъ неожпданнѣе, что зародилось въ гомерическомъ хохотѣ цирковаго персо-

нала, окружавшаго его. Хохоть поднялся чудовищный, неистовый, точно надъ кургузымъ дикаремъ смѣялись образованные. Господинъ въ сюртукѣ хохоталъ усерднѣе прочихъ и дѣлалъ это тѣмъ искреннѣе, что къ нему продвигались отовсюду руки его товарищей, требуя пожатія, въ знакъ глубокой любви и товарищеской преданности, въ которой они, т.-е. товарищи, временно усомнились.

Ошеломленный, сбитый съ толку, повѣсивъ носъ, вышелъ Акимъ Акимычъ на улицу и побрелъ домой. Хохоть преслѣдовалъ его довольно долго.

«И какъ это я не дочиталъ объявленія»,—думалъ онъ,—«и что это у нихъ за манера печатать такъ, что только нѣкоторая часть объявленія бросается въ глаза, а остального будто и не нужно. Вѣдь это подвохъ, право, подвохъ. А что у насъ теперь клоуны нужны, вездѣ нужны, во всякой, такъ сказать, отрасли человѣческихъ занятій, такъ это, пожалуй, вѣрно. Прежде фокусы только въ циркахъ выкидывали, а нынче...»

Въ такомъ философскомъ, удрученномъ состояніи духа подвигался Акимъ Акимычъ знакомою ему дорогою на Выборгскую. Дома встрѣтили Акима Акимыча жена и дѣти. Онъ былъ самъ не свой. Его клонило ко сну, и онъ заснулъ.

Видитъ онъ, что опять идетъ по адресу объявленія; на этотъ разъ прочелъ онъ объявленіе цѣликомъ, и адресъ запомнилъ. Точно. На домъ такого-то номера читается выѣска общества, отъ котораго шло объявленіе. Въ дверяхъ швейцаръ; по ступенькамъ лѣстницы коверъ; на вѣшалкахъ множество шубъ: ильковыя, енотовыя, между ними дамскія песцовыя ротонды. Калошъ разставлено видимо-невидимо—цѣлая азбука.

— Есть у васъ кто въ конторѣ? — робко спрашиваетъ Акимъ Акимычъ у швейцара.

— У насъ не контора, а правленіе,—отвѣчаетъ швейцарь.

— Да, да, правленіе...

— Пожалуйте наверхъ, направо, тамъ секретарь приметъ.

Идетъ Акимъ Акимычъ по указанному направленію. Только-что вошелъ онъ въ большую помѣстительную комнату съ золоченою мебелью, какъ былъ пораженъ совершенно своеобразнымъ видомъ. На столѣ, стоявшемъ посрединѣ и заваленномъ бумагами, высился пестрый клоунъ, въ той знакомой Акиму Акимовичу позитурѣ, гдѣ туловище согнуто скобою, а голова просунута между ногъ и глядитъ, такъ сказать, съ полу.

— Что вамъ? — заговорила голова, кивая вошедшему, улыбаясь и потряхивая краснымъ паркомъ.

— Миѣ секретаря видѣть надобно.

— Я секретарь.

— Вы?

— Да, я! чтò вамъ угодно?

— Отъ васъ объявленіе напечатано было.

— О клоунахъ? Да, да, только вы поздно пожаловали! я самъ по этому объявленію въ секретари попалъ.

— Однако, вѣдь оно только сегодня напечатано.

— Такъ что же, что сегодня?

При этомъ клоунъ самымъ граціознымъ образомъ переступилъ съ ноги на ногу и кончикомъ ноги своей почесалъ кончикъ носа.

Увидѣвъ это удивительное движеніе клоуна, во время котораго онъ на столѣ держался нѣкоторое время на одной ногѣ, неизвѣстно какъ сохраняя равновѣсіе, Акимъ Акимычъ былъ даже сконфуженъ.

— Этакой штуки,—думалъ онъ,—я, пожалуй, и не продѣлаю...

Онъ робко поклонился, вышелъ и... проснулся.

Долго, долго соображалъ онъ и старался помирить всѣ нелѣпости своего сна.

— И какая это,—думалъ онъ:—газета мнѣ приснилась? и какъ это все естественно началось! Прежде всего: нужда, жена, дѣти; это все, дѣйствительно, на-лицо пугается; но потомъ? Откуда газета и объявленіе о клоунахъ? Ни о какихъ я клоунахъ не думалъ! Тутъ опять правда съ неправдою перемѣшались: клоунскія способности у меня,—думалъ Акимъ Акимычъ:—несомнѣнно есть, но никогда не мечталъ я о циркѣ, никогда! Затѣмъ, что это за общество зудоутоляющихъ булавокъ?

Акимъ Акимычъ даже улыбнулся идеѣ этого общества, такъ забавна показалась она ему. И долго, долго не могъ онъ придти въ себя.

И развѣ можетъ людямъ сниться, что они спятъ во снѣ? А я, помню, во снѣ заснулъ. Но очень хорошъ былъ секретарь на столѣ, очень хорошъ! Тьфу! какая безтолочь!.. Сколько, значить, клоуновъ на свѣтѣ, если въ самый день объявленія...

Вотъ какая странная исторія приключилась съ Акимомъ Акимовичемъ, дальнимъ свойственникомъ Акакія Акакіевича, обладавшимъ гуттаперчевыми способностями и оставленнымъ за штатомъ. Въ самыя грустныя минуты пробовалъ онъ продѣлать ту штуку, которую продѣлалъ передъ нимъ секретарь общества, а именно почесать кончикомъ ноги кончикъ носа, но это ему никогда не удавалось.

— Если секретарь неподражаемъ,—думалъ Акимъ Акимычъ,—чѣмъ же должны быть директоры?

И онъ благоговѣлъ! Голодалъ и благоговѣлъ!..





## КАКЪ МОЖНО ЛГАТЬ.

---

Мужъ и жена были оба совершенно спокойны и очень веселы. Они сидѣли за чайнымъ столомъ, часу въ девятомъ вечера, и долго разговаривали, ожидая родныхъ. Лампу покрывалъ красный абажуръ и, вслѣдствіе этого, волнистые, изкрасна-свѣтлые волосы мужчины отливали ярко-золотистымъ цвѣтомъ. Та же самая игра свѣта была замѣтна и на довольно красивой кружевной накладкѣ, убранной пунцовыми лентами, отгнѣнявшей волосы жены.

Каминъ усердно потрескивалъ и, благодаря перемѣнчивости пламени, по бѣлому потолку двигались, множествомъ какихъ-то темныхъ пальцевъ, острия тѣни отъ листьевъ двухъ фиговыхъ пальмъ, наклонившихся надъ коврами съ высоты очень изящныхъ китайскихъ горшковъ. Серебряный чайникъ прибора тоже краснѣлъ отъ блеска камина и отъ лампы. Все вмѣстѣ взятое было уютно, мило и свидѣтельствоvalo о счастливой домовитости. Супруги читали какой-то романъ и на одной изъ главъ остановились.

— Да, да, любовь удивительное дѣло въ томъ смыслѣ, что никакая любовь не исчерпываетъ всей идеи любви и обязательно должна повторяться въ новыхъ опытахъ.

— Ну, это, положимъ, у васъ, у мужчинъ,—отвѣтила

жена,—можетъ быть много видовъ любви, потому что всѣ вы, по правдѣ сказать, гроша не стоите.

— Однако, почему же-нибудъ, за что-нибудь берете вы насъ, иногда очень дорогою цѣною покупаете, дѣлаете глупости, разрываете родственныя отношенія, бросаете перчатку всѣмъ условіямъ, всѣмъ обрядностямъ общества.

— Не изъ-за васъ,—перебила, громко засмѣявшись, жена,—изъ-за исполненія нашего собственнаго каприза, вотъ что.

— А вы всѣ капризны?

— Всѣ.

Сказавъ это слово, жена взяла въ руки маленькія, тульской работы щипчики для колки кусочковъ сахара на мелкія части, опустила глаза и принялась за работу.

— А до какихъ это лѣтъ полагается женщинамъ капризничать? скажи, чтобы и мнѣ знать?—спросилъ мужъ, улыбаясь.

— Женщины годовъ не имѣютъ и не знаютъ.

— Ну, какъ, напримѣръ, какъ не узнать людямъ твоихъ и моихъ лѣтъ, когда каждый изъ знакомыхъ свои годы помнитъ и по нимъ считать можетъ.

— Прекрасное занятіе, нечего сказать!

Жена, сказавъ это и продолжая колоть сахаръ, еще ниже опустила глаза. Каминъ потрескивалъ особенно быстро. Въ полумракѣ, надъ стѣною, отъ поры до времени, словно вспыхивало изображеніе Леды съ подплывавшимъ къ ней лебедемъ. Водворилось молчаніе...

---

Это молчаніе длилось ровно четверть минуты. Вошелъ лакей съ докладомъ, что внучка съ мужемъ пріѣхала.

Онъ, мужъ, поднялся изъ кресла, но только съ большимъ трудомъ, потому что давишняя подагра сказывалась иногда весьма назойливо. Изкрасна-яркіе волосы его парика сразу потускнѣли, какъ только онъ отошелъ отъ сферы красного

абажура лампы, но жена его продолжала сидѣть попрежнему, а пунцовыя ленты на головѣ ея, сильно нуждавшейся въ искусственномъ прикрытіи, горѣли, какъ и до того; она, случайно, выронила щипчики, которыми колола сахаръ, но поднять ихъ съ пола не могла, такъ какъ ей трудно было наклоняться, вслѣдствіе полноты и постоянной одышки; ихъ поднималъ лакей.

— Хе-хе-хе! — проговорилъ мужъ, подвигаясь къ дверямъ, навстрѣчу пріѣзжимъ.— Не безъ слѣда была наша прежняя любовь, когда до третьяго колѣна развилась, когда у насъ внучка имѣется. Хе-хе-хе!

— Да что же они не идутъ, однако,—замѣтила жена.

Лакей, выходявшій тѣмъ временемъ за дверь, возвратился.

— Виновать-съ,—доложилъ онъ.—Это не внучка-съ пріѣхали, а швейцаръ звонкомъ ошибся.

— Дуракъ!—проговорилъ мужъ,—и зачѣмъ такихъ людей швейцарами держать?

— Точно-съ, что онъ виноватъ, потому завсегда ошибается.

Старикъ направился обратно къ кресламъ и съ трудомъ опустился въ нихъ; старуха занялась опять раскалываніемъ сахара, и красный свѣтъ абажура осѣнилъ обоихъ снова.

Лакей вышелъ изъ комнаты, и прежняя картина возвратилась въ свою рамку и въ свое освѣщеніе. Обмануть ее описаніемъ вторично—нельзя, потому что одна и та же рыбка дважды на ту же удочку не попадается. Другую или третью картинкою обмануть, конечно, можно.

Но не лжетъ ли такимъ образомъ и все художество? не въ обманѣ ли скрывается правда и красота вѣчно обманывающей жизни? Стоило только въ самомъ началѣ разсказа объяснить, что мужъ и жена, сидя за столомъ, разговаривали, ожидая «внучку», а не «родныхъ», стоило прибавить, что изкрасна-свѣтлые волосы на головѣ мужа принадле-

жали не ему, а его «парикку»; стоило помянуть о морщинах почтенной четы и добавить, что жена колола сахаръ щипчиками, вслѣдствіе полного недостатка зубовъ,—и тогда «изображеніе Леды» съ подплывающимъ къ ней лебедемъ получило бы совсѣмъ другое значеніе, чѣмъ то, которое оно, въ полумракѣ стѣны и въ отблескахъ камина, имѣло. Въ рассказѣ о чемъ-то намѣренно умолчали, что-то, намѣренно, усилили, и ложь проступила какъ-бы во всеоружіи правды и дѣйствительно обманула. Но рассказчикъ достигъ своей цѣли, вызвавъ въ слушатель тѣ чувства, которыя хотѣлъ вызвать, и слушавшій оказался въ положеніи совершенно безпомощномъ, довѣрившись прямому смыслу слова, и не зная тѣхъ словъ, которыя сознательно были недосказаны!



Издание А. Ф. Маркса, въ С.-Петербургѣ.

РОСКОШНО-ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ

# „ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ“

Соч. проф. Оскара Іегера.

Переводъ подъ редакцію проф. П. Н. Полевого.

Въ четырехъ объемистыхъ томахъ, заключающихъ въ себѣ 2615 страницъ большого 8°, 946 художественно-выполненныхъ гравюръ въ текстѣ, 81 отдѣльное приложение, отпечатанныя золотомъ, серебромъ, черною и цвѣтными красками, и 41 историческую карту. СПб. 1895 г.

Согласно общепринятому распредѣленію историческаго матеріала, „Всеобщая Исторія“ Оскара Іегера, раздѣляется на четыре тома, изъ коихъ первый заключаетъ въ себѣ Древнюю исторію, второй—Среднюю, третій—Новую, и четвертый—Исторію новѣйшаго времени.

„Всеобщая Исторія“ проф. Оскара Іегера представляетъ собою трудъ, замѣчательный по своимъ научнымъ достоинствамъ и еще болѣе по чрезвычайно умѣлому изложенію историческаго матеріала, которымъ авторъ владѣетъ въ совершенствѣ, а потому и передаетъ его въ удивительно простой, ясной и доступной формѣ. Важнымъ преимуществомъ этого прекраснаго труда слѣдуетъ, конечно, считать строго критическое отношеніе проф. Іегера къ историческому матеріалу; но авторъ его не упускаетъ изъ виду и другихъ весьма важныхъ сторонъ: онъ постоянно выдвигаетъ на первый планъ то, что естественно должно болѣе интересоваться, болѣе привлекать вниманіе образованнаго челоука, не утомлять читателя сухимъ сопоставленіемъ историческихъ фактовъ, а предлагаетъ ему рядъ картинъ, вѣрно и живо изображающихъ возникновеніе, возрастаніе и гибель государствъ, возвышеніе, процвѣтаніе и паденіе народовъ.

Одно изъ важныхъ достоинствъ труда О. Іегера составляетъ чрезвычайное обиліе строго согласованныхъ съ текстомъ иллюстрацій. Всѣ эти иллюстраціи воспроизведены по паятинкамъ, живописующимъ эпоху, къ которой рисунки относятся. Тщательный въ борьѣ иллюстрацій и тѣсная связь ихъ съ текстомъ способствуютъ ясности и наглядности изложенія и живо переносятъ воображеніе читателя на времена минувшія. Можно сказать, что внѣшность книги и ея внутреннее глубокое содержаніе такъ тѣсно связаны между собою, что составляютъ одно неразрывное и прекрасное цѣлое и придаютъ труду проф. О. Іегера тотъ характеръ, которымъ мы особенно дорожимъ въ книгѣ, предназначенной для семейнаго, домашняго чтенія.

Эту книгу мы и рѣшились представить русскимъ читателямъ въ полномъ ея объемѣ и во всей красотѣ той превосходной иллюстраціи, которая составляетъ драгоценное дополненіе къ ея тексту. При этомъ, хорошо знакомые съ потребностями образованныхъ русскихъ читателей, мы озаботились о пополненіи отдѣла „Русской Исторіи“ въ книгѣ Іегера свѣдѣніями, освѣщенными новѣйшей историческою критикою, и массою иллюстрацій, живописующихъ нашу русскую старину и русскихъ дѣятелей новѣйшаго времени.

Кромѣ оглавленія, при каждомъ томѣ имѣется подробный алфавитный указатель собственныхъ именъ лицъ и предметовъ.

Изданіе это разсмотрѣно Военно-Ученымъ Комитетомъ, и о выходѣ его въ свѣтъ объявлено въ цирк. Главн. Штаба отъ 17 окт. 1896 г. № 284.

Цѣна безъ пересылки 16 руб., въ 4-хъ прочныхъ коленкоров. переплетяхъ съ кожан. корешками—20 р. Ящикъ и упаковка 75 к. Пересылка—транспортъ, съ уплатою ея стоимости на мѣстѣ, или почтою за 16 ф., въ перепл. за 20 ф. по разстоянію.

Требованія и деньги просить адресовать въ контору изданій А. Ф. Маркса, С.-Петербургъ, Мал. Морская, № 22.

ИЗДАНИЕ А. Ф. МАРКСА, ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ.  
**РОСКОШНО ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ IN QUARTO:**  
**„ИСТОРИЯ ИСКУССТВЪ“**

(архитектуры, скульптуры, живописи и пр., и пр.)

**Съ древнѣйшихъ временъ до нашихъ дней.**

Въ популярномъ, общедоступномъ изложеніи **П. П. ГНѢДИЧА.** Въ трехъ объемистыхъ томахъ, заключающихъ въ себѣ болѣе 2000 страницъ въ 4-ю долю листа, 2100 гравюръ и около 50 художественно-исполненныхъ хромо-ли-тографій (печатанныхъ въ 18—25 красокъ) и отдѣльных рисунковъ на цвѣтномъ фонѣ. СПб. 1897.

Исторія искусствъ служитъ необходимымъ дополненіемъ къ общей исторіи человѣчества и одною изъ главныхъ основъ общаго образованія, а иллюстрированное изданіе „Исторіи Искусствъ“ — настольною книгою, необходимою въ бібліотекѣ каждаго образованнаго человѣка и дополняющею собою изданную нами ранѣе „Всеобщую Исторію“ проф. О. Іегера (см. на оборотѣ.)

Благодаря значительному объему и обилію рисунковъ, наше изданіе „Исторіи Искусствъ“ даетъ ПОЛНУЮ И ШИРОКО НАПИСАННУЮ КАРТИНУ развитія различныхъ отраслей художества на всемъ пространствѣ историческаго міра. Въ живомъ и доступномъ для каждаго изложеніи авторъ знакомитъ насъ въ началѣ книги съ величавыми и грандіозными памятниками зодчества и ваянія на дальнемъ Востокѣ — этой колыбели человѣчества. Отъ памятниковъ Египта, Ниневіи, Вавилона и Персіи онъ переходитъ къ цвѣтущей и мѣчно-юной Элладѣ, такъ много замѣштовавшей съ Востока и достигнувшей такого дивнаго, неподражаемаго совершенства въ области архитектуры и ваянія. Затѣмъ слѣдуетъ обзоръ римскаго искусства, вдохновленнаго Элладой и тѣсно сблизившаго искусство съ жизнью. Древне-христіанское искусство, съ его символической и иконописью, занимаетъ также рядъ живыхъ страницъ въ книгѣ П. П. Гнѣдича, который вслѣдъ затѣмъ переходитъ къ византійскому, романскому и готическому періодамъ въ развитіи средневѣковаго христіанскаго искусства, подробно говоритъ о древне-русскихъ церковныхъ памятникахъ и наконецъ посвящаетъ одинъ изъ наибольшихъ и наиболѣе живыхъ отдѣловъ своей книги эпохѣ Возрожденія, столь плодотворной въ смыслѣ художественномъ, столь богатой талантами и общимъ пробужденіемъ вкуса къ изысканнымъ искусствамъ. За эпохою Возрожденія, въ особыхъ отдѣлахъ, авторъ знакомитъ насъ съ голландской и фламандской школами, съ испанскими живописцами, съ выдающимися представителями искусства на почвѣ Германіи и Франціи, всюду давая біографіи художниковъ и обставляя ихъ копіями съ ихъ лучшихъ произведеній. Въ послѣднихъ четырехъ отдѣлахъ своей книги авторъ рисуетъ намъ въ бѣгломъ очеркѣ исторію костюма въ Европѣ (тѣсно связанную съ исторіею искусствъ), указываетъ на новыя вѣянія, проявившіяся въ послѣднее время въ европейскомъ искусствѣ, рисуетъ намъ положеніе современнаго русскаго искусства и касается живописи декоративной.

Такому богатому и разнообразному содержанію текста вполне соотвѣтствуетъ роскошная и изящная внѣшность изданія, отпечатаннаго на лучшей веленовой бумагѣ, красивымъ, четкимъ шрифтомъ.

Цѣна изданія безъ пересылки 16 руб., въ 3 изящныхъ коленкоровыхъ переплетахъ, съ кожаными (сафьяновыми) корешками — 20 руб. За ящикъ и упаковку взимается 75 коп. Пересылка — транспортомъ, съ уплатою ея стоимости на мѣстѣ, или почтою: за 27 ф., въ переплетахъ — за 30 ф. по разстоянію.

Для любителей особо роскошныхъ изданій отпечатано 50 нумерованныхъ экземпляровъ „Исторіи Искусствъ“ на слоновой бумагѣ, цѣною каждый экземпляръ, безъ пересылки, 50 руб., въ 6 изящныхъ и прочныхъ коленкоровыхъ переплетахъ — 60 руб. Всѣ 37 ф., въ переплетахъ — 42 ф. Условія упаковки и пересылки тѣ-же. (См. выше). Съ требованіями обращ. въ Контору изданій А. Ф. Маркса, СПб., М. Морская, № 22.